

АЛЕКСАНДР I



Александр
Архангельский



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Императора Александра I, несомненно, можно назвать самой загадочной и противоречивой фигурой среди русских государей XIX столетия. Республиканец по убеждениям, он четверть века занимал российский престол. Победитель Наполеона и освободитель Европы, он вошел в историю как Александр Благословенный — однако современники, а позднее историки и писатели обвиняли его в слабости, лицемерии и других пороках, недостойных монарха. Таинственны, наконец, обстоятельства его ухода из жизни.

О загадке императора Александра рассказывает в своей книге известный писатель и публицист Александр Архангельский.

-
- [Александр Архангельский](#)
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [ЦАРЬ ИЛИ ДИТЯ?](#)
 - [ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО](#)
 - [ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ](#)
 - [ОБРАЗОВАНИЕ](#)
 - [МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА](#)
 - [ТЕЛО, ДУША И ОДЕЖДА](#)
 - [ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!](#)
 - [ЗАЧИНАТЕЛЬ](#)
 - [Вставной сюжет. СПЛИН, или ДОЛИНА ЛАУТЕНБРУНН](#)
 - [ЛЮБОВЬ](#)
 - [ДРУЖБА](#)
 - [«Я ОТ БАБУШКИ УШЕЛ...»](#)

- Часть вторая
 - Глава 1
 - БРАТ АВЕЛЬ
 - МОЛОДЫЕ ДРУЗЬЯ И СТАРЫЕ ВРАГИ
 - АВЕЛЬ И ПАЛЕН
 - ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ
 - ОТЕЦ И СЫН
 - БРУТ И АЛЕКСЕЙ
 - АВЕЛЬ, ГДЕ ПАВЕЛ?
 - Вставной сюжет. БЕДНЫЙ ЖАК
 - Глава 2
 - БУЛЬДОГ ФЕМИДЫ
 - «ЦЕЛИ НЕТ ПЕРЕДО МНОЮ...»
 - ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
 - ЛИБЕРАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ ПРОТИВ КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
 - ПЕРВЫЙ КОНСУЛ И ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ
 - Вставной сюжет. ПОИМКА БОНАПАРТА
 - Глава 3
 - «БУДЬ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ...»
 - МУЖ ПРЕИЗЯЩЕЙШИЙ
 - Вставной сюжет. ЖИЗНЬ ГРАФА АРАКЧЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
 - ПРОДОЛЖАТЕЛЬ И СОВЕРШИТЕЛЬ
 - ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ
- Часть третья
 - ПРОТОКОЛЫ РУССКИХ МУДРЕЦОВ
 - ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ
 - ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ
 - НА ПУТИ ИЗ ПЕРХУШКОВА В КРЕМЛЬ
 - ВОЖДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 - СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ
 - ПОДЖИГАТЕЛЬ
 - Вставной сюжет. АФИШКИ 1812 ГОДА, ИЛИ ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ ОТ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО В МОСКВЕ К
ЖИТЕЛЯМ ЕЕ

- ХРАМОВОЕ ДЕЙСТВО
- Часть четвертая
 - Глава 1
 - МИРУ — МИР
 - «ИМЕНИ ТВОЕМУ...»
 - ЦАРЬ ЦАРЕЙ И КАНАЛЯ ВЕКА
 - ЦАРЬ, ЦАРЕВИЧ, КОРОЛЬ, КОРОЛЕВИЧ...
 - ЖЕНКА КРИДНЕР[217]
 - ЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО И СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ
 - Глава 2
 - УЖЕЛИ Я НЕ ЦАРЬ?
 - ГРАФ ИСТОРИИ
 - Вставной сюжет. ИЗ ПИСЕМ ИСТОРИОГРАФА К ЖЕНЕ
 - ИЗ ПИСЕМ ИСТОРИОГРАФА К ЖЕНЕ
 - ИЗ ПИСЕМ ИСТОРИОГРАФА К ЖЕНЕ
 - ВАРШАВСКАЯ РЕЧЬ
 - ЦАРЬ, ПОЭТ, ГРАЖДАНИН
- Часть пятая
 - ДИКТАТУРА СЕРДЦА И МИНИСТЕРСТВО ЗАТМЕНИЯ
 - АРМИЯ ПОРЯДКА
 - ВЕЛИКИЙ ТУРКА
 - СТРАНСТВОВАТЕЛЬ И ДОМОСЕДЫ
 - СТАРЫЙ РАТОБОРЕЦ
 - ЗВЕРЬ РЫСЬ
 - ПОБОРНИК ЦАРЕЙ
 - НЕВЕСТА ФЕОДОСИИ
 - «ХОТЬ ПЛЮНУТЬ ДА БЕЖАТЬ...»
 - Вставной сюжет. МАРШРУТЫ ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА I ПАВЛОВИЧА ЗА 1819-1825 ГОДЫ

- [ГУРЬЕВСКАЯ КАША](#)
- [ЗЛЕЙШИЙ ПАРОЛЬ](#)
- [Вставной сюжет. ХРАМ ЛЮБВИ](#)
- [Часть шестая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [«ГЛАС БОЖИЙ»](#)
 - [Глава 2](#)
 - [БЕЗУМЕЦ БЕДНЫЙ](#)
 - [«НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА...»](#)
 - [К ИСТОРИИ ВОПРОСА](#)
 - [ШУРА-МУРА](#)
 - [Вставной сюжет. ИЗ ПИСЕМ НАСТАСЬИ МИНКИНОЙ ЛЮБЕЗНОМУ ОТЦУ ГРАФУ](#)
 - [«ОТ СУМАСШЕСТВИЯ СМОГУ Я ОСТЕРЕЧЬСЯ»](#)
 - [«ЧЕМУ, ЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ МЫ БЫЛИ!..»](#)
 - [ТРИ НЕДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКА](#)
 - [БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ](#)
- [Часть седьмая](#)
 - [ГИШТОРИЯ О ВАРЛААМЕ И ИАСАФЕ\[336\]](#)
 - [СТАРЧЕСТВА ЧЕСТНЫЕ ЗЕРЦАЛЫ](#)
 - [БЕГСТВО МОЕ СОВЕРШИЛОСЬ ТАК...](#)
 - [Вставной сюжет. СОЛДАТ И ЦАРЬ](#)
 - [ИСТИНА, УБИТАЯ В СПОРЕ](#)
 - [ЦАРЬ АЛЕКСАНДР I — НЕ СТАРЕЦ ФЕОДОР КОЗЬМИЧ](#)
 - [Вставной сюжет. САМОЗВАНЕЦ ПОСЛЕ САМОЗВАНСТВА](#)
 - [САМОЗВАНСТВО БЕЗ САМОЗВАНЦА](#)
 - [СТАРЕЦ ФЕОДОР КОЗЬМИЧ КАК ЦАРЬ АЛЕКСАНДР I](#)
- [Вместо эпилога: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)

- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)

- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)

- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)

- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)

- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)

- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)

- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)

- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)

- [361](#)
 - [362](#)
 - [363](#)
 - [364](#)
 - [365](#)
 - [366](#)
 - [367](#)
 - [368](#)
 - [369](#)
 - [370](#)
 - [371](#)
 - [372](#)
 - [373](#)
 - [374](#)
 - [375](#)
 - [376](#)
 - [377](#)
 - [378](#)
 - [379](#)
 - [380](#)
 - [381](#)
 - [382](#)
 - [383](#)
 - [384](#)
 - [385](#)
 - [386](#)
 - [387](#)
 - [388](#)
-

ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1129

(929)

Александр Архангельский

АЛЕКСАНДР I



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

*Автор и издательство «Молодая гвардия»
выражают благодарность
издательству «Согласие»
и лично Вацлаву Вацлавовичу Михальскому
за бескорыстную помощь
в подборе иллюстративного материала.*

© Архангельский А. Н., 2005

© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2005

*Маме,
Людмиле Тихоновне Архангельской*

Часть первая ПЕРВОМУ — ВТОРАЯ (Роман воспитания)

«От сего наводнения освобождены были токмо Литейная и Выборгская части города; в частях же, понятых водою, оно и в маловременном своем продолжении причинило весьма великий вред. Суда были занесены на берег. Небольшой купеческий корабль проплыл мимо Зимнего Дворца, через каменную набережную... По всем почти улицам, даже и по Невской перспективе, ездили на маленьких шлюпках. Множество оград и заборов опрокинуты были; малые деревянные дома искривились от жестокого сотрясения, ими претерпленного; даже некоторые самые маленькие хижинки носились по воде, и одна изба переплыла на противоположный берег реки... Сие наводнение случилось во время ночи, потому и множество людей и скотов пропало».

*Свидетельство современника о
петербургском наводнении
10 сентября 1777 года^[1]*

ЦАРЬ ИЛИ ДИТЯ?

ГОД 1777. Декабрь. 12. 10 ч. 45 мин. Санкт-Петербург.

Великая Мария Феодоровна, немецкая жена наследника российского престола Павла Петровича, разрешилась от бремени сыном-первенцем.

«О сем великом благополучном происшествии возвещено жителям столицы 201 пушечным выстрелом с крепостей Петропавловской и Адмиралтейской, а в придворной большой церкви отправлено с коленопреклонением благодарственное молебствие»

(Санкт-Петербургские Ведомости, 1777).

«...жаль, что волшебницы вышли из моды; оне одаряли ребенка чем хотели; я бы поднесла им богатые подарки и шепнула бы им на ухо: сударыни, естественности, немножко естественности, а уж опытность доделает почти все остальное»

(Екатерина II — своему постоянному корреспонденту Гримму, письмо от 14/25 декабря 1777).^[2]

...Гении к нему слетели
В светлом облаке с небес; —
Каждый гений к колыбели
Дар рожденному принес:

Тот принес ему гром в руки
Для предбудущих побед;
Тот художества, науки,
Украшающие свет...
Но последний, добродетель
Зарождаючи в нем, рек:
«Будь страстей своих владетель,
Будь на троне человек!»

(Гаврила Державин. «На рождение в Севере порфирородного отрока», около 1779 года: «Сие аллегорическое сочинение относится ко дню рождения Государя Императора Александра Павловича, случившегося декабря 12 дня 1777, в котором солнце оборачивается на весну...»)^[3]

В России царей любят, но относятся к ним строго. Чтобы стать русским царем не только по имени, но и по существу, мало родиться во дворце. Нужно подтвердить свою преизбранность на царство «от века»; желательно также иметь царский знак. Родимое пятно в форме орла во всю спину, солнечный символ, волосы на груди крестом.

В 1822 году мещанин Старцев известит государя императора Александра Павловича о сибирской встрече с красноярцем Афанасием Петровым: «...известно мне, что он на теле своем имеет на крыльцах между лопатками возложенный крест, который никто из подданных Ваших иметь не может, кроме Высочайшей власти, а потому уповательно и на груди таковой иметь должен; по таковому имени возложенного на теле его креста быть должен не простолюдин и не из дворян и

едва ли не родитель Вашего Императорского Величества...»^[4]

Извещению дадут ход, Петрова доставят в столицу, официально изучат, чем-то в его крыльцах не удовлетворятся и вместе с мещанином Старцевым отправят на поселение в город Тобольск.

Пройдет еще несколько лет. В 1844-м крестьянин Ключкин встретит в бане цесаревича Константина Павловича и сочтет своим гражданским долгом сообщить Николаю Первому: «...и видел у него грудь, обросшую волосами крестом, чего ни у одного человека не царской крови нет...»^[5]

Но в 1777-м до волос на груди еще далеко. У младенца и на голове их почти нет. Пределы его царства — плетеные стенки спальной корзины. В этом царстве не бывает самозванцев, а потому не требуют и доказательств. Здесь каждый зван и каждый призван.

Корзина стоит в беспокойных покоях Зимнего дворца. Окна всегда открыты и в отведенные часы поблизости с пристани палят пушки. Младенец глохнет на левое ухо (глухота обнаружится позже), зато привыкает к сокрушительной музыке Истории. Медленно грубеющей на сквозняке кожей он ощущает, что История холодна и что от нее никому не укрыться. Что делать? Столица ему достанется северная, дворец — Зимний, и только сад для прогулок будет Летним.

Он не умеет еще говорить, а уже включен в состав отдаленного государственного проекта. Его не просто пеленают, купают, укладывают; нет — всякое действие, над ним совершаемое, наделено смыслом и целью, подлежит прочтению.

Корзина неподвижна и устойчива — в противоположность люльке, в которой предыдущая государыня Елизавета Петровна укачивала Павла Петровича. Сына Павла Екатерина терпеть не может;

внука Александра обожает. Холодная ванна (вода для купания приносится накануне и более не подогревается) противостоит парной педагогике Елизаветы. Ножки без чулок, любимое платье («очень коротенькая рубашечка и маленький вязаный, очень широкий жилетик», Екатерина — Гримму) призваны напоминать о плачевных последствиях укутываний Павла. Александр «не знает простуды, он полон, велик, здоров и очень весел, не имеет еще ни одного зуба и не кричит почти никогда» (из того же письма).

ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО

Рождаясь в мир, будущий русский царь, как всякий человек, не имеет ничего, даже имени. Но фамилией он обладает по праву рождения, по праву рода.

Романовы — не самый древний из дворянских родов России; среди слухов 1825–1826 годов, порожденных известием о кончине царя вдали от столиц, будет и такой, сообщенный солдатом музыкальной команды Евдокимом «любезнейшему другу»:

«Однажды сказал граф Воронцов Государю: «Что ваш за род Романов — существуете на свете сто сорок лет, а мой род графской — 900 лет, так мне должно быть царем, а ты самозванец». Этот граф установил закон масонской веры и закон республики. У него уже сделаны были знамя вышиты золотом; корона Российской державы опровергнута была вниз головами. И хотел он быть королем республики».^[6]

Королем республики Александр I быть не хотел (скорее уж республиканцем на троне). И опровергать вниз головами корону российской державы не собирался. (Хотя, может быть, и опровергнул.) Он просто родился Романовым, и, значит, змеиная мудрость патриарха Филарета, голубиная нежность юного Михаила Феодоровича, страшная мощь Петра, версальский размах Екатерины не были для него чем-то посторонним, до него не касающимся. Он родился Романовым — и, стало быть, сыноубийство, совершенное Великим Петром, и мужеубийство, попущенное Великой Екатериной, были для него кровавой частью кровного наследства, долговым обязательством рода. Он родился Романовым — и породнился с большинством владетельных домов Европы, особенно немецких.

ГОД 1777. Месяц тот же. 20.

В большой церкви Зимнего дворца духовником Екатерины Великой о. Иоанном Панфиловым совершено таинство крещения; сын наследника наречен Александром — в честь св. благоверного Александра Невского. Восприемницей стала императрица, заочными восприемниками были император римский Иосиф и король прусский Фридрих Великий.

...Проходит несколько времени — и границы владений младенца раздвигаются. Он царствует, лежа на боку, в очень широкой железной кровати, на кожаном матрасе. Кровать стоит все в тех же покоях Зимнего. Зимний — в центре Петербурга. Петербург — в центре России. Россия — если и не стоит в центре мира, то должна стать. И станет. Это замысел бабушки, громадный и величественный, как сама она. Внуки — и прежде всего старший — часть этого замысла, осуществлению которого ничто не должно мешать. Помехи следует устранить.

Первая из них — недостойные младенца и не включенные в замысел родители. Марии Феодоровне и Павлу Петровичу не благословлено часто видеться с сыновьями. Позже, когда они захотят взять детей в путешествие по Европе, им это не позволят сделать. Напротив, едва они воспротивятся поездке Александра и его младшего брата Константина (родившегося 27 апреля 1779 года) вместе с Екатериной в Крым, им будет жестко указано на пределы их власти. Дело родителей — рожать, остальное — не их дело.

Затем необходимо властной лаской размягчить младенческую волю, мягкой, сладко пахнущей рукой размять глину, придать ей нужную форму и в должный момент обжечь, закалить, возвратит твердость. Сквозной мотив екатерининских писем Гримму — власть

над личностью старшего внука и счастливое упоение этой властью.

«Я все могу из него делать...» (от 29 мая 1779);

«...мне говорят, что я вырабатываю из него забавного мальчугана, который готов делать все, что я захочу... Все кричат, что бабушка делает чудеса, все требуют, чтобы мы продолжали вместе играть» (от 5 июля 1779);

«...это забавный мальчуган, которому доставляет удовольствие принимать все, что я ни делаю...» (от 14 июля 1779);

«...слово бабушки — это наше самое дорогое слово, и ему мы более всего верим» (от 7 сентября 1780).

Но все это — после. Первым же шагом на избранном Екатериной пути стало наречение имени.

Гримму императрица объясняла свой выбор так: «Великая княгиня только что родила сына, который в честь святого Александра Невского получил громкое имя Александр... Aber, mein Gott, was wird aus dem Jungen werden?^[7] Меня утешают Бейль и отец Тристрама Шенди, который считал, что имя влияет на предмет, им обозначаемый. Гордец! Что до нашего имени, уж оно-то прославлено: его носил даже кое-кто из матадоров!»^[8]

Версия сколь красивая, столь и пошлая, уравнивающая в правах покровительства святого и «кое-кого из матадоров».

На деле все обстояло куда сложнее.

В «монарших святцах» XVIII столетия среди мужских имен не было Александра (как не было и Константина, и Николая). Сознательно отступая от этой традиции, Екатерина тем самым указывала европейскому миру на новый вектор российской политики, новое измерение российского исторического бытия. «Греческое», «константинопольское». Не столько о святом благоверном князе Александре Невском, сколько о

расширившем границы своей власти Александре Македонском и закрепившем свое безграничье Константине Великом должны были напоминать прозвания двух старших ее внуков; об устремлении на бывший греческий, ныне турецкий восток европейской цивилизации. Наречение молодой великокняжеской поросли предваряло и предрекало неизбежное расширение российской сферы влияния, создание Греческой империи со столицей в Константинополе, «малое» коронование Константина под неформальным покровительством «большого» венценосца Александра. И таким образом стояло для Екатерины в одном ряду с присоединением Крыма. Недаром так настаивала она на том, чтобы внуки сопровождали ее в знаменитой «потемкинской» поездке по Крыму.^[9]

Замысел был понят — и не только адресатами Екатерины, французскими энциклопедистами и европейскими государями. Характерен анекдот, позже записанный поэтом Петром Андреевичем Вяземским:

«...<Иван Иваныч> Дмитриев гулял по Московскому Кремлю в марте месяце 1801 г. Видит он необыкновенное движение по площади и спрашивает старого солдата, что это значит. «Да съезжаются, — говорит он, — присягать Государю». — «Как присягать и какому Государю?» — «Новому». — «Что ты, рехнулся, что ли?» — «Да, императору Александру». — «Какому Александру?» — спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. «Да Александру Македонскому, что ли!» — отвечает солдат».^[10]

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

Протоиерей Андрей Сомборский, наставлявший будущего государя в вопросах веры, четырнадцать лет провел в Англии. Женат был на девице Елисавете Филдинг. Брил бороду. Ходил в цивильном платье, принадлежал к хорошему обществу. Составил план Царскосельского сада. Богословских споров не любил, полагая, что «одобрения и беспристрастные свидетельства Высочайших Особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многоразличные толкования» (из письма митрополиту Амвросию).^[11] Воспитанник отца Андрея Священного Писания не читал вплоть до 1812 года. Он любил православное богослужение, обряд исполнял, но в тонкости церковных смыслов не вникал и был полувером — как большинство состоявших при дворе современников.

Это и само по себе нехорошо; когда же дело касается царской власти в России — становится и вовсе плохо.

Царь призывается на царство в исключительно редких, исключительно страшных случаях. Смерть бездетного монарха, смута безначалия, убиение малолетнего наследника престола — малоприятный фон династических торжеств по случаю смены Правящего Дома. Мелочная борьба знатных родов, интриги, устранение конкурентов, покупка голосов — неизбежные составляющие такой смены. И все же избрание есть поручение; должно его исполнить. Тот, кого соборяне избрали (точнее было бы сказать — возвели) на трон, есть Избранник, доверенное лицо народа. Чин помазания на царство не просто «закрепляет» это положение, не просто дарует

церковное благословение, но через одно из таинств подтверждает соответствие земного избрания небесной предызбранности. Во Вселенной (значит, и в незримой небесной России, во Святой Руси) царствует Христос; на царство в России земной поставляется Его наместник, Русский Царь.

Основатель династии опирается на волю Собора. Если, не дай Бог, личная вера его пошатнется, непосредственная — через молитву — связь с Источником благодати будет утрачена, останется хотя бы вторая «подпора», снизу.

Для его детей, его внуков и правнуков, которым соборная клятва на верность дается впрок, когда их нет еще и в помине, — все сложнее, все опаснее, все трагичнее.

Только спокойная, глубокая, возвышенная и простая вера в Бога, «доверенность к Творцу» обеспечивают им сознание своей монаршей правоты. Именно — спокойная, глубокая, возвышенная и простая. Это условие совокупно необходимое и достаточное.

Стоит царю утратить спокойствие и простоту веры, позволить себе отдаться религиозной истерике или хотя бы погрузиться в монашеское созерцание, как вверенная его неразумному попечению страна оказывается на грани катастрофы, — как это было во времена слишком своевольного Ивана Грозного и слишком смиренного Феодора Иоанновича. И стоит монарху потерять глубину и высоту веры, как на краю катастрофы оказывается он сам. Кто он такой и каким образом взнесен над людьми? Почему они — его подданные? Чем по существу отличен самодержец от самозванца? Утвердительная формула монаршей власти («Мы, Божией милостию...») берется в скобки и венчается знаком вопроса.

ГОД 1778. с. Дивеево.

Помещица села Дивеева (55 верст от Арзамаса и 24 от Ардатова) г-жа Жданова жертвует 1300 квадратных сажень усадебной господской земли на устройство женской обители. Близ Дивеева живет вдова-полковница Агафия Семеновна Мельгунова, в тайном монашестве мать Александра. Место указано ей в видении Пресвятой Богородицей около 1760 года.

«...и вот здесь предел, который Божественным Промыслом положен тебе: живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих, и Я всегда буду с тобою, и всегда буду посещать место это и в пределе твоего жительства Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда на свете: это четвертый жребий Мой во Вселенной. И как звезды небесные и как песок морской умножу Я тут служащих Господу Богу, и Меня Приснодеву Матерь света и Сына Моего Иисуса Христа величающих: и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ земных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего возлюбленного!»
«Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих!..»

«...разнопо местное и чересполосное село Дивеево было тогда весьма неудобно для житья монахине, ищущей молитвенного покоя. Постоянный шум от стечения большого числа рабочих на открытых здесь заводах, добывавших железную руду, ссоры, драки, разбои — все это давало всей местности особый характер, неприязненный для всего мирного, святого и божественного».^[12]

Ноябрь. 20. Саров.

Канун праздника Введения Пресвятыя Богородицы во храм.

В Саровский мужской монастырь, расположенный в нескольких верстах от Дивеева, среди дремучего соснового леса, на горе, подобной Афонской и омываемой с трех сторон реками Сатисом и Саровкою, по совету Киево-Печерского старца Досифея поступает послушником двадцатичетырехлетний Прохор Моилнин, выходец из курских купцов.

Хорошо еще (хорошо?), если царь достаточно весел и игрив, чтобы красиво разыграть отсутствующий смысл своего царства; чтобы беззаботно пить и веселиться, покуда смертию да не умрет. А если — излишне тонок и впечатлителен? А если — изломан и смыслолюбив? Тогда горе ему. Вся жизнь его будет превращена в сплошное несчастье и несозревшие надежды; он увидит вокруг себя то же, что видит и боголюбивый государь, — взаимное пожирание сановных самолюбий, пышное ничтожество придворной жизни, зависть, пороки, тщету, разврат, жестокость, ложь, ложь, ложь! Но увидит — в отличие от него — только это. И, говоря стихами юного Пушкина, станет мыслить об одном: «С развратным городом не лучше ль нам проститься, / Где все продажное: законы, правота, / И консул, и трибун, и честь, и красота?» А подданные начнут сомневаться: да подлинно, царь ли это? Не подменен ли? И где тогда его царские знаки?

ГОД 1783. Август. 6.

Великому князю Павлу Петровичу подарено имение Гатчино близ Павловска. Вскоре здесь образованы полупотешные Гатчинские войска, подчиняющиеся Павлу Петровичу. С1792 года при Гатчине состоит офицером артиллерист Алексей Аракчеев.

«...толикия проказы позволялись наследнику ради того, чтобы он был чем-нибудь занят и не помышлял бы о правлении государством». [\[13\]](#)

ОБРАЗОВАНИЕ

Неполное, невысшее, среднее.

Екатерина позаботилась о том, чтобы умные (слишком умные) педагоги не превратились в негласных регентов и политических ходатаев «от имени и по поручению» ученика — как то случилось с пестунами Павла Петровича. Поэтому главной заботой генерал-адъютанта Николая Ивановича Салтыкова было «предохранить их (великих князей. —А. А.) от сквозного ветра и засорения желудка».^[14] Основной задачей помощника Салтыкова, генерал-майора Александра Яковлевича Протасова, и было помочь в предохранении от засорения желудка и сквозного ветра. Предназначением отца протоиерея Андрея Сомборского — преподавание Закона Божия. Математику, впрочем, преподавал славный Массой, географию и естествознание — знаменитый Паллас, физику — ученейший Крафт, а русскую историю и словесность — добрейший Михаил Никитич Муравьев, отец и дядя активнейших участников декабрьского мятежа 1825 года, а также дядя поэта Константина Батюшкова.

Александр Павлович ленив, непостоянен, несистематичен, а любимые предметы всех непостоянных и ленивых детей — музыку и поэзию — бабушка преподавать не разрешила (план! план!). Так что ему скучно и грустно в учебном классе. Учителя им недовольны.

Зато им, кажется, доволен воспитатель; бабушка довольна воспитателем; отец — недоволен всеми.

ГОД 1784. Март. 13.

Екатерина II завершает Наставление о воспитании Великих князей и педагогический рескрипт «Записки касательно Российской истории».

Июнь. 10.

Прибывший в Россию полутора годами раньше и состоявший при Великих князьях учителем французского языка швейцарский адвокат Фридрих-Цезарь Лагарп [La Harpe] (1754-1838) подает императрице педагогическую записку, скроенную по лекалу ее же Наставления. Записка имеет успех; Лагарп назначен воспитателем Александра и Константина.

«Провидение, по-видимому, возымело сожаление о миллионах людей, обитающих в России... Благодаря постоянству можно было способствовать сохранению лучшего будущего для 40 000 000 людей... <Целью курса было> читать с моими учениками сочинения, в которых вопрос о свободе человечества был энергически защищаем людьми замечательными и притом умершими прежде революции. Это удалось благодаря речам Демосфена, Плутарху, Тациту, истории Стюартов, посмертным запискам Дюкло, я мог исполнить мою задачу, как человек, сознававший свои обязательства перед великим народом».

(Записки Ф.-Ц. Лагарпа.)

«Перед каким же именно?»

(Примечание П. И. Бартенева к публикации: Ф.-Ц. Лагарп в России (Из

его Записок).^[15])

«Каждый швейцар есть солдат за отечество свое».

(И. Гюбнер. География. СПб., 1719.)

«Лагарп... глубоко внедрил в сердце своего воспитанника религиозное уважение к человеческому достоинству».

(А. С. Стурдза.)

Фридрих-Цезарь Лагарп никогда не готовился стать «советником царям», никогда не рассчитывал им «истину с улыбкой говорить»; тем более — царям русским. Не потому, что не допускал такой возможности; в собственном высоком предназначении он не сомневался. Просто не считал самодержавный принцип правления достойным современного общества. В его планах по окончании знаменитой Незермановой семинарии (где семинаристов воспитывали в традициях древнеримской республики), а затем учебы в Женевском и Тюбингенском университетах, была эмиграция из Швейцарии в Северную Америку для участия в войне за независимость. Что понятно. Лагарп был уроженцем кантона Во, задавленного бернским владычеством, и не мог сделать карьеру в Швейцарии нигде, кроме ненавистного Берна. И главное, Швейцария была «повязана» многовековыми кантональными традициями, а Североамериканские Соединенные Штаты казались идеальной площадкой для строительства мира на совершенно новых основаниях, «с нуля»; единственной в своем роде возможностью организовать государство и общество по заранее продуманному плану, не отягощаясь учетом

косных исторических традиций, не считаясь с социальными привычками, воодушевляясь простором исторического творчества.

Однако по случайному стечению обстоятельств из традиционной Швейцарии Лагарп попал не в новаторскую Америку, а в еще более традиционалистскую Россию. И здесь, вопреки намерению заняться воспитанием детей одного из членов английской миссии, был приглашен ко Двору Екатерины II кавалером и учителем французского языка для великих князей, а вскоре стал их воспитателем.

В педагогическом мемуаре, поданном Екатерине, предлагалось начать преподавание с географии, после чего допустимо прочесть небольшой курс истории. Затем, после изучения естественной истории, следует перейти к основаниям геометрии, преимущественно практической, чтобы увенчать все философией, новой наукой, которая имеет целью разумное сознание того, что ведет к истинному счастью, заключающемуся в добросовестном исполнении своих обязанностей.

Цель же воспитания — убежденность в равенстве всех людей.

Равенству может и должно учить все — в том числе и геометрия.

«Когда он (Лагарп. —А. А.) начал преподавать Великим князьям геометрию, то потребовал кусок мела; слуга принес ему мел, обернутый в позолоченной бумаге, чтобы их высочества не замарали себе рук; но Лагарп снял позолоченную бумагу и, отдав оную слуге, сказал, что это излишне».^[16]

Юркий коренастый демократ пришелся в России ко двору. И, став русским придворным, не изменил своим убеждениям. Утром наставлял великих князей, вечером писал в английские газеты прокламации с призывом к свержению бернско-немецкого ига. В памятном 1789-м

обратился к бернскому правительству с требованием созвать Генеральные штаты и провести реформы в революционном духе. Возмутительные (то есть зовущие к возмущению) письма Лагарпа перехватывались, против него плелись интриги, граф Эстергази доносил царице о политических взглядах великокняжеского наставника — тщетно.

Екатерина Великая, «велев призвать к себе Лагарпа, приветствовала его следующими словами: «Здравствуйте, господин якобинец!» и, показав ему перехваченные письма, спросила его, знает ли он их.

— Государыня, — отвечал он, — эти письма писаны мною.

— Как же после сего, — сказала Екатерина, — вы можете воспитывать великих князей, которые будут напитаны вашими республиканскими правилами?

— Я полагаю, — отвечал Лагарп, — что в монархическом правлении Государь должен быть демократом, а народ исполнен монархических правил, посему-то я намерен из внуков Ваших сделать демократов». [\[17\]](#)

Анекдот этот (равно как и предыдущий) не столько достоверен, сколько характерен. Русские цари столь же расположены к демократам, сколь русские демократы завистливы к монархам. Лагарп это понял — да здравствует Лагарп!

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Итак, внук изъят из губительной семейной среды и переподчинен самовластной, всерастворяющей екатерининской воле. Ему дано имя, и судьба его этим именем predetermined. У него есть воспитатель, наделенный планом воспитания. Теперь можно расширить пределы отроческих владений, поместить внука в некое подобие сказочного царства, в волшебный сад, где дорожки разбегаются и сходятся, как сюжетные линии, где сень таинственных гротов заманчива и неопасна, как неизбежные испытания на пути благородного героя.

Великому князю подарена дача, расположенная на полпути от Зимнего дворца, где обитает великая государыня, и Павловском, где препроводит время ее непутевый сын.^[18] Такая «срединность» может быть (и должна быть — учитывая привычки XVIII столетия) истолкована трояко. Для «внешних» местоположение Александровой дачи означает двойное преемство царственного отрока; одна рука его вложена в руку правящей бабки, другая — в руку любезного отца, оба ведут его стезею жизни. Для «своих» пространственный смысл противоположен: между Екатериной и Павлом поставлен Александр; чем ближе Александрове на символической карте Петербургских окрестностей к Зимнему, тем дальше от Зимнего Павловск. «Свои» слишком хорошо помнили, что уже трехмесячного Александра Павловича при живом наследнике Екатерина величала «будущим венценосцем». И последующие ее действия все отчетливее обнаруживали намерение воцарить внука, минуя сына. Удивляться нечему: образ Павла Екатерине не удался,

из «проекта» этот персонаж выпадает; и не проектировать же ради него все заново.

Но был у высокомонаршего дара еще один подтекст.

Крохотные владетельные островки, как бы изъятые из исторического пространства, условно выведенные из подчинения правящему монарху, имелись у каждого из наследников российского престола. Начиная с потешного флота Петра Великого (кстати, по глади искусственного озера на Александровой даче тоже скользили небольшие суда) и кончая знаменитым Гатчиным, где играл в прусскую армию Павел Петрович, противопоставляя свой войсковой идеал реально существующему в России военному образцу.

Но Александрове не было репетиционным залом, малой сценой, на которой давали прогон будущего государственного действия. Александрово само было спектаклем «по мотивам» екатерининской сказки о царевиче Хлоре.

Спектакль отчасти напоминал модные в XVIII столетии заводные механические театры: позвякивает музыка, вращаются раскрашенные фигурки персонажей, и сколько раз заведешь игрушку, столько раз и будут они вращаться — в одном и том же ритме, по одной и той же траектории.

Главным героем этой механической пьесы стал Александр Павлович.

Гуляя по дорожкам регулярного сада, он обречен был повсюду замечать присутствие Екатерины. Дачный домик великого князя поставлен был на крутом берегу, а прямая аллея, обсаженная цветами, вела от дома к мосту, украшенному трофеями славных сражений, из которых Екатерина вышла победительницей. За мостом начиналось поле, в центре которого возвышался павильон с изображениями Богатств; за павильоном колосилась золотая нива, как бы оплетавшая простую пейзажную хижину и естественным венком

украшавшая каменную глыбу с надписью: «Храни златяя камни».

Ничего лишнего. Все просто, все понятно.

Аллея — жизненный путь будущего государя; он сможет перебраться через бурные воды истории, лишь продолжая военные успехи царственной бабки. Ключ к формуле власти — в надписи на глыбе (потому и глыба, что нерушима!). Это — постоянное напоминание о Наказе, данном Екатериной внукам.

Какой же итог ждет исполнившего Наказ?

Все ответы, как полагается, даны были в конце живой книги.

Пройдя мимо водного ключа, расположенного за храмом Цереры и посвященного имени великой княгини-матери Марии Феодоровны, царевич попадал в пещеру нимфы Эгерии — наставницы Нумы Помпилия. (О том, что она одновременно была его возлюбленной, как-то забывалось.) Здесь отрок задумывался о чудесных плодах послушания. И верные выводы, к которым он неизбежно приходил, подтверждались главным зрелищем — росписями семиколонного храма Розы без шипов, вознесенного на высокий холм. (Конец — делу венец.)

Здесь Петр Великий с купольной высоты взирал на блаженство России; Россия же, достойно окруженная символами богатства, промышленности, наук и художеств, опиралась на щит с изображением Екатерины.

Спустя четверть века в подобном саду, выполненном в екатерининском вкусе (еще раз: по проекту отца Андрея Сомборского), безмятежно расцветет тезка царя, Александр Пушкин.

...А там в безмолвии огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?

Не се ль Минервы Росской храм?
Не се ль Елизиум полнощный,
Прекрасный Царскосельской сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Увы! промчались те времена златыя,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

(«Воспоминания в Царском Селе».)

Самое слово «воспоминание» здесь лишено ретроспективного смысла. «Вспоминается» о том, чего пятнадцатилетний поэт не может помнить. Но мир «педагогической провинции», каковой ощущала бытие культура последней трети XVIII столетия (и какой изображает ее Пушкин), устроен так, что предметы сами помнят о себе, вспоминают себя; они не следы прошедшего, но сгустки непреходящего; они есть олицетворенное время, протекшее, но не иссякшее.

Но то будет — спустя четверть века. И то будет — в Царскосельском саду. Здесь же и сейчас речь об ином. О будущем, вытекающем из настоящего. Когда-нибудь Петр-основатель переместится еще выше, в миродержавные выси, его нынешнее место под куполом займет Екатерина, Россия же обопрется на щит (или меч?) соименника владыки мира Александра Македонского.

ТЕЛО, ДУША И ОДЕЖДА

Екатерина была талантливым режиссером.

Но со спектаклем, который она ставила в Гатчине, вышла осечка. Актер переиграл отведенную ему роль. Павлу дарили игрушку, чтобы тешился и не плакал; он превратил игрушку в действующую модель. Неудивительно: отец в отличие от сына обладал цельностью натуры, хотя и весьма своеобразной. И умел навязать жизни свою волю.

Гатчинские войска в момент их создания имели три рода оружия, в их составе были две команды по тридцать человек. К моменту интронизации Павла, к 1796 году, войска насчитывали две тысячи триста девяносто девять человек нижних чинов и состояли из четырех батальонов пехоты, егерской роты, четырех кавалерийских полков: жандармского, драгунского, гусарского, казачьего, а также пешей и конной артиллерии при двенадцати орудиях. Всей этой оравой командовали девятнадцать штаб- и сто девять обер-офицеров. Так что современник, писавший о «толиких проказах», дозволенных наследнику ради того, чтобы тот не помышлял о правлении государством, весьма заблуждался. Были проказы — стали приказы.

Между екатерининских строк Павел писал свой манускрипт, свое начертание. Поступки его не бессистемны, а по-своему цельны какою-то страшной цельностью запоздалого средневековья. Принадлежавшее ему по праву рождения государство он воспринимал как таинственный рыцарский орден, наподобие мальтийского, где продумано все — от одежды до словоупотребления.^[19] Бесполезно потешаться над гатчинской муштрой; ценой пота и крови солдат покупалась пламенно-сухая ясность

государственного облика грядущей России, так непохожая на обольстительно-влажную, пышную красоту России екатерининской. На версальскую грациозность дворцовых парадов Павел отвечал четкостью гатчинских маршей, на французский образец — прусским, сухим и чистым, как мучная белизна обязательных пуклей и косичек. И форма, и устав, и фронт на гатчинском плацу были как бы чеканной репликой в молчаливом споре между Екатериной и Павлом. Точнее — в недоконченном споре между государыней и убиенным Петром III Феодоровичем, полномочным представителем загробных интересов которого ощущал себя Павел Петрович. (Он был хорошим сыном. Об Александре Павловиче этого, увы, не скажешь.)

Что же до пуклей и косичек, то люди второй половины XVIII века потому так тщательно следили за внешними формами своей жизни, что для них эти формы были вполне содержательны.

В записках князя Адама Чарторыйского (он вскоре властно вторгнется в пределы нашего повествования) находим следующий забавный эпизод:

«Однажды из армии прибыл курьер, которого стали расспрашивать про подробности костюма и туалета французских офицеров. Между прочим, он рассказал, что все они носят большие бакенбарды. Император (Павел — А. А.), услышав об этом, приказал, чтобы все немедля сбрили у себя бакенбарды; час спустя приказание было исполнено. На балу вечером видели, так сказать, уже новые лица, выбритые в тех местах, где были бакенбарды, с белыми вместо них пятнами на щеках. Смеялись, встречаясь и рассматривая друг друга». [\[20\]](#)

Комичны бесчисленные описания одного дня Павла Петровича — дня его воцарения.

«Воротнички и галстуки носили до тех пор довольно пышные, так что они, может быть, чересчур уже закрывали нижнюю часть лица; теперь их моментально уменьшили и укоротили, обнажив тонкие шеи и выдающиеся вперед челюсти, которых не было видно прежде. Перед тем в моде была элегантная прическа на французский лад; волосы завивались и закалывались сзади низко опущенными. Теперь их стали зачесывать прямо и гладко, с двумя туго завитыми локонами над ушами, на прусский манер, с завязанным назад у самого корня пучком волос; все это было обильно напомажено, напудрено и напоминало наштукатуренную стену. До сих пор щеголи старались придать более изящный вид своим мундирам и охотно носили их расстегнутыми. Теперь же с неумолимой строгостью вводилось платье прусского покроя, времен старого Фридриха, которое носила Гатчинская армия».^[21]

Еще комичнее (каким-то похоронным комизмом) окажутся мемории о первом дне по воцарении Александра Павловича.

Государя убили, а люди думают о том, где бы достать разрешенную круглую шляпу, фрак, панталоны и жилет! Столько дел у нового императора, столько бед у выпавшей на его долю страны — а он одновременно с указами о закрытии тайной канцелярии и о допущении ввоза в Россию иностранных книг издает указ об отмене ношения пуклей при временном (нельзя же вдруг все полностью переменить — мгновенные перемены ведут к потрясениям общественным) сохранении косички.

Но ведь на самом деле это не фраки, не косички, не пудра, не панталоны. Это — знаки сверхгосударственной, метафизической реальности, которая реальнее жизни действительной. Так полагают, так чувствуют не только в России — во всей Европе: Так думают, так ощущают не только напичканные книжной

премудростью люди высшего света, но и лондонские мальчишки.

Будущий приближенный Александра граф Комаровский (Евграф; таково было его имя) в 1787 году был в Лондоне.

«Мы трое шли вместе по улице — граф Бобринский, Вертильяк и я. На мне с графом Бобринским был фрак английского покроя и круглые шляпы, а на французе парижский полосатый фрак и треугольная шляпа; мы примеча: ем, что за нами множество бежит мальчишек и поднимают грязь с улицы; один из них закричал: french dog, ^[22] и вдруг посыпался град комьев грязи на бедного Вертильяка, и он насилу скрылся в одну кондитерскую лавку, случившуюся на дороге; мы же двое шли тихим шагом, и ни одного кусочка грязи на нас не попало». ^[23]

В данном случае все обстоит наоборот — круглая шляпа символизирует англomанию и франкофобию, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Александр Павлович формировался именно в эту, «знаковую», эпоху. И потому, например, рассказ о причине, окончательно убедившей его в 1814 году отказаться от верности идее республиканского устройства посленаполеоновской Франции и в конце концов призвать на престол хамоватого Людовика XVIII, — рассказ, отдающий историческим анекдотом, — все-таки кажется достоверным. Батистовое мельтешение в воздухе побежденного Парижа тысяч и тысяч белых платочков и хорошо выбеленных чепчиков привело к тому, к чему не смогли подтолкнуть русского царя Талейран с Меттернихом. Белый цвет — знак роялизма. В первое утро по своем воцарении Александр из окна Зимнего увидел на улицах Петербурга воплощенный в стиле одежды призыв повернуться лицом к Англии; въезжая в Париж спустя тринадцать лет, он читал написанный белым по яркому,

тысячекратно повторенный лозунг: верните нам короля. И кто виноват, что царь привнес в событие смысл, которого оно не имело? Что вместе с новыми временами меняются языки, меняются культурные коды, а «читатели» остаются прежними?..

Но вернемся в 80-е годы XVIII столетия. До психологических романов Ивана Сергеевича Тургенева еще очень далеко. До Фрейда и Юнга — еще дальше. И то, что современный человек именуется переживанием, могло совершаться в сфере практического действия; невидимые нервные окончания как бы соединяли человека с формальным строем его жизни. Общеизвестен пример с мушками, которые меняли свое положение на лице светских дам в зависимости от смены настроения. Важно лишь понимать, что когда дама цепляла мушку на край губы, это не просто означало «хочу целоваться»; мушка для нее действительно наливалась влажностью поцелуя. В мушке сосредоточивались нервные окончания губ.

Другое дело, что царь — не дама. Слишком разные вещи — безупречно владеть искусством платонической любовной игры, главное условие которой несерьезность, необремененность последствиями и терзаниями, и — ощущать игровой жест как часть великого жизненного действия, имеющего прямое касательство до человеческой судьбы, до человеческой истории. В первом Александр не имел себе равных,^[24] второе, увы, не было ему дано.

Затевая в Мемеле (1802 год) двойной роман с императрицей Луизой и ее сестрой, он прежде всего распорядится наглухо запереть все двери, ведущие к его спальне, — чтобы участницы игры ненароком не перешли границы дозволенного. При этом он будет заботиться не о своей чистоте, не о чистоте «партнерш», но о чистоте жанра. В 1815-м в Вене

свободное время Александр Павлович станет проводить в обществе молодой вдовы княгини Габриэллы Лаерсберг и двух графинь Зичи.

«Однажды зашел у них разговор о том, кто в состоянии скорее одеться, мужчина или женщина. Ударилась об заклад и положили сделать испытание в доме одной из графинь Зичи, куда отправлен был камердинер Его Императорского Величества с платьем. В назначенное время Государь вышел в одну комнату, а графиня в другую, чтобы переменить одежду: император выиграл заклад».^[25]

Соблазн без соблазненных, утонченный эрос без эротизма...

Невозможно представить, чтобы после своего воцарения Александр в самый разгар сенатских дебатов велел вынуть из музейного шкафа и принести атрибуты генерал-прокурорской власти, некогда принадлежавшие Петру Великому, — песочные часы и деревянный молоток, отвел бы сенаторам час на завершение спора, а по истечении времени грохнул бы молотком по столу, приведя всех в замешательство и оцепенение. Зато на это был способен действительный носитель «екатерининской идеологии» старик Державин. (В начале александровского царствования он будет ведать делами Сената.) И когда Державин утверждает в своих Записках, что всем в тот миг показалось, будто сам Петр встал из гроба,^[26] — это не просто стилистическая фигура: Державин жил не в музее, а в истории. В музее жил юный Александр Павлович. Он мыслил себя таковым, каковым не был. И никто не мог сказать уверенно, каковым он был.

Гатчина не могла вызывать в нем восторга. Так не может вызывать восторга рояль у того, кто был замучен в детстве гаммами. (Великих князей буквально дрессировали на гатчинском полигоне.) Но как юные

жертвы родительской меломании вырастают и ненавистные гаммы остаются с ними, так основы «гатчинского мироустройства» навсегда въелись в сознание великих князей и продолжали влиять на их жизнь. Не по гатчинской ли канве будет вышиваться свое царствование Александр? И не от Гатчины ли попытается сбежать в пьянство и вольную жизнь Константин?..

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

ГОД 1789. Май. 5.^[27] Версаль.

Король Людовик XVI открывает Генеральные штаты.

Май. Первая половина. Саров.

О. иеродиакон Серафим вместе с о. настоятелем Пахомием и о. казначеем Исайей навещают тяжкоболящую Агафию Семеновну, которая в предчувствии близкой кончины передает мешочек золотом, мешочек серебром и два мешочка медью, общей суммой в 40 000 рублей — на нужды сестер.

«Матушка скончалась в одной рубашечке, и платочек был на голове».

1789 год памятен не только Великой французской революцией. В тот год вторым изданием вышел французский перевод «Утопии» Томаса Мора; переводчиком был женеvский гражданин Жан-Жак Руссо. В том же году появился и русский перевод, переиздание которого сочувственно отрецензирует молодой тогда сочинитель Николай Карамзин. Европа жила воодушевленным ожиданием разумного царства счастья и справедливости; существенность казалась бедной в сравнении с великой будущностью; эпоха буквально напрашивается на звание утопической.

Июнь. 17. Версаль.

Депутаты Генеральных штатов, принадлежащие к третьему сословию, объявляют себя Национальным собранием.

Июль. 9.

Национальное собрание преобразовано в Учредительное.

Уже в XVII столетии утопические острова начали дрейф навстречу истории; однако пришлось обождать 1770 года, когда вышел знаменитый роман Луи-Себастьяна Мерсье «2440 год». Мерсье не утверждал (да ему и не поверили бы), что спустя 666 лет и 4 года Европа будет точь-в-точь, как в его романе. Мерсье не предлагал строить будущее по его чертежам. Но сама готовность в принципе соотнести идеальный и реальный планы, встроить «умственный» проект оптимального общества в реальную хронологию — говорила о многом. Ничто более не мешало европейцам преодолеть веру в то, что историческое время само по себе, само из себя ничего произвести не может; что оно предначертано Промыслом и допускает социальное творчество человека лишь как сотрудничество с волей Божией. Эпоха Мерсье готова была предначертывать будущее сама, разлучая утопию с мечтательной утопичностью, обручая с деятельным утопизмом, превращая в инструкцию к игре «сделай сам».

Как водится, тут же изменили свой статус и прежние утопии; в них был «вчитан» практический, утилитарный смысл; переводя Томаса Мора, Руссо превращал его абстрактный труд в часть своей практической программы; рецензируя русское переложение, Карамзин рифмовал с ним свои социальные упования.

ГОД 1789. Июль. 14. Париж.

Попытка разгона Учредительного собрания венчается штурмом Бастилии. Начало Французской революции.

Август. 26.

Принята Декларация прав человека и гражданина. Но в 1790 году Карамзин возвратится из дальних странствий по Европам. Возвратится — вдохновленный грозой, очистительной атмосферой всеобщего обновления. Однако вскоре бывшего масона, «брата Рамзея»,^[28] бывшего сподвижника просветителя Новикова, бывшего вольнолюбца потрясут результаты Французской революции. Не столько сама пролитая кровь, сколько бесполезность ее пролития смутит его: возможность «истинной монархии» упущена, а республика не состоялась. И это в Европе с ее просвещенностью и внутренней склонностью к демократии. Чего же следует ждать от России, еще помнящей кровавые реки Пугачевского восстания? От России, где никто не знает удержу? Нечего от нее ждать; сохранить бы то, что имеется; с помощью словесности, наук и художеств подготовить общество к далеким условно-возможным переменам — и довольно. Пройдет четверть столетия, и окончательно постаревший, окончательно прославившийся Карамзин запальчиво пообещает уехать со всем семейством в Константинополь, если в России отменят цензуру. Причем Константинополь будет символизировать не родину православной империи, а столицу мусульманской деспотии: все лучше, чем русская воля.

Но предварительный набросок этой мысли появится в карамзинских сочинениях уже начала XIX века:

«Революция объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства, что разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти; что самое Турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает следствием государственных потрясений; что все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы моральному и политическому миру, должны остаться в книгах, вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума; что одно время и благая воля законных правителей должны исправлять несовершенства гражданских сообществ; и что с сею доверенностию к действию времени и к мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя.

То есть Французская революция, грозившая испровергнуть все правительства, утвердила их...»^[29]

(Из статьи «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени».)

Стоило ли воодушевляться идеалом прогресса и свободы, чтобы на европейском политическом театре всего лишь переменились декорации и исполнители ролей, а сами роли остались прежними — и прежней осталась разыгрываемая ими пьеса абсолютизма? Не значит ли это, что социальный мир неизменен, что его скрытое от глаз ядро неподвижно, а изменчива лишь калейдоскопическая поверхность? Что «осьмнадцатое столетие», «столетье безумно и мудро», с его упованиями на силу человеческого разума и надеждой на усовершенствование общественного бытия, как бы помножило себя на ноль и разрешилось в ничто? В погоне за лучшим человечество может растерять и то, что имеет. Ибо «с самой половины восьмоганадесять века все необыкновенные умы страстно желали великих перемен и новостей в учреждении обществ; все они были, в некотором смысле, врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения... видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость крова нашего и быть рассудительным». [\[30\]](#)

Можно назвать такую позицию трезвой. А можно — безыдеальной. Можно — реалистичной. А можно — холодной. Это зависит от избранного угла зрения. Главное в другом. Карамзин, как лицо частное, имел право — и возможность — стать на позиции отчаянного охранения нелюбезных ему порядков; Александр Павлович такой привилегии был заведомо лишен. Его в Константинополь не пустили бы. В том и парадокс, что революционная утопия равенства выводила мир из равенства себе самому; не ответить на ее вызов европейские монархи не смели. Счастливая пора просвещенного абсолютизма, когда бедная существенность расцветивалась фейерверком гуманной идеологии, не обязательной для исполнения, прошла;

наступала эпоха целенаправленных потрясений, эпоха утопий. Это поняла Екатерина, это понял Павел Петрович. Ей казалось, что делу поможет переход к представительному правлению; он, напротив, поначалу считал, что мир спасется красотой рыцарства (хотя впоследствии осознал всю силу законности и всерьез задумался о конституционной перспективе). Юный Александр не имел ничего против мирной фазы Революции — в Париже, не в Петербурге. Дальше этого он пока не загадывал. Но ему предстояло править одной из величайших империй; страной, от которой во многом зависели судьбы европейского мира; державой, нуждавшейся в обновлении, в согласовании с новым европейским порядком. И потому цесаревич обречен был рано или поздно «сочинить» свой ответ французскому Конвенту. Проблема заключалась только в том, как соотнести революционные перемены с родными обстоятельствами, вписать в окружающий ландшафт, заземлить, чтобы роскошное здание новой жизни не обернулось воздушным замком или карточным домиком... Как вычислить градус допустимого отклонения утопии от традиции.

«Просто» циником эпохи упадка или неизлечимым скептиком, разочарованным прагматиком наподобие Карамзина Александр стать не мог.

Пустота искала заполнения.

ЗАЧИНАТЕЛЬ

Александр Павловичу, рожденному 12-го числа 12-го месяца, предстояло взойти на трон 12 марта, процарствовать два раза по 12 лет; в год Французской революции он как раз отпраздновал свое 12-летие. Столько будет Александру Пушкину, когда накануне славной войны 12-го года он поступит в Царскосельский лицей и будет вдохновлен гуманными речами профессора политэкономии Куницына.

Юный Александр Павлович тоже вдохновлен — гуманными речами профессора Лагарпа.

Помещенный, как между молотом и наковальней, между властной царствующей бабкой и желчным, жаждущим власти отцом, ставший заложником их бесконечной борьбы, Александр увидел в Лагарпе то, что молодой Платон увидел в Сократе: воплощение нравственной правды и силы.

Придворный анекдот той поры гласит. Отправившись к Лагарпу без предупреждения (пешком, заметим), великий князь был остановлен новонанятым швейцаром, который не знал его в лицо. «Кто вы?» — «Александр». — «Г-н Лагарп необычайно занят». Высокородный ученик не потребовал точас доложить безродному учителю и смиренно ждал в приемной. На извинения Лагарпа благоговейно отвечал: «Один час ваших занятий стоит целого дня моего»; швейцара же щедро наградил за усердное исполнение его обязанностей.^[31]

Это не было позой, не было рисовкой; это был жест, изображавший действительную глубину чувства.

И позже, когда Лагарп был удален, в этом удалении Александр увидел то же, что Платон (по словам В. С. Соловьева) увидел в смерти Сократа: «Тот мир, в

котором праведник должен умереть за правду, не есть настоящий, подлинный мир. Существует другой мир, где правда живет».^[32] Исходившее от Лагарпа, равно как воспринятое в Гатчине, врезалось в память сразу и навсегда, чтобы спустя годы отголоском отозваться в тех или иных государственных решениях или проектах.

То, чему этот обаятельный и яркий педагог намеревался обучить будущего государя, реконструируется по сохранившейся «римской» части его курса истории.^[33] Курс, как тогда полагалось, был не «информационным», а «идеологическим». С помощью жесткого отбора освещаемых фактов и не менее жесткого комментирования их Лагарп лепил что-то вроде образца для подражания.

Худшие из римлян — кесари. Худший из худших — Константин Великий, ни одно из действий которого, от Вселенского собора до учреждения духовного суда и поддержки монашества, нельзя признать положительным. (Вот тебе, бабушка, и «греческий проект».)

Один из лучших — ярый республиканец Сулла.

Идеал государственного мужа — Юлиан Богоотступник: «...еще в юности отказался <он> от всех удовольствий и развлечений, а достигнув престола... в подданных видел людей себе подобных, сознавая свою обязанность заботиться об их благосостоянии и счастье». А что до преследования христиан при Юлиане, то христиане во всем повинны сами: нарушали законы Рима, подняв восстание, оказывая сопротивление законным властям.

Единственное оправдание нарушению закона Лагарп видит в борьбе за свободу. Поэтому восстание гладиаторов он извиняет: «Пчела впускает свое жало в угрожающую ей руку, и муравей язвит попирающую его пята», а жертвоприношения, совершавшиеся

германскими племенами, не то чтобы одобряет, но относится к ним с пониманием: «...такое бесчеловечие вполне извинительно, ибо оно обрушивалось на похитителей лучшего человеческого блага — свободы и независимости». По той же причине законно какой-то запредельной человеческому пониманию законностью и убийство Цезаря.

Следует ли из того, что Лагарп — сторонник народоправления? Ничуть. Народоправство в его исторической системе — худший из типов государственного устройства; только ограниченная монархия уравнивает требования свободы, с одной стороны, и законности — с другой. Однако в его описаниях «идеального» «ограниченного монарха» едва заметно проступают какие-то иные, «немонархические» черты. Но о них мы скажем чуть позже, а пока задумаемся о другом.

В том, что Лагарп желал добра России, сомневаться не приходится. Но применялся ли он, составляя план воспитания, к реальности державы, в которую попал? Не только к ее привычкам, но и к ее культурно-государственной традиции, и к ее облику: беспощадной протяженности, разнородности культурных укладов, «мирному сосуществованию» средневекового строя монастырской жизни, «допетровского» патриархального крестьянского мира и утонченно-новоевропейских привычек придворного круга? Помнил ли, чем кончились для нее не столь уж исторически давние реформы патриарха Никона, верные по существу, но не примененные к российским обстоятельствам?

Судя по всему, Лагарп представлял положение страны в общих чертах; видел, что миновать освобождения крестьян не удастся; понимал, что грядущее царствование обречено на проведение законодательных реформ. Но, кажется, не понимал

разницы между Северной Америкой и Россией. Между культурно-историческим пустырем, где, прежде чем начать строительные работы, достаточно начертить «комплексный план застройки», и древним государственным ландшафтом, где необходимо либо вписывать «новострой» в сложившуюся систему, осторожно расчищая место для него, либо рушить все до основания, а уж затем приниматься за дело.

Он исходил из благих пожеланий, он внушал своему воспитаннику те же мысли, какие лицейский профессор Куницын будет позже внушать лицеисту Пушкину и какие этот лицеист вложит в оду «Вольность»:

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Но достаточно представить себе Россию конца XVIII века, чтобы понять: страшно далека она от Закона! Не кодифицировано право, не проведена черновая работа по составлению свода законов и их полной ревизии, сосуществуют взаимоисключающие правовые нормы... Ограничение царской власти — прекрасно как идеал, важно как некая политическая перспектива, необходимо как смысловой итог многолетних преобразований. Но в разнородной стране, раскинувшейся так далеко, что до 30-х годов XIX столетия ни один член царствующей фамилии не пересек границ Уральского хребта и Сибири, централизованная власть — неизбежность, и

ограничение ее без хорошо продуманной замены (а не подмены в виде специфического русского парламентаризма) есть не отказ от самовластья, но лишь ограничение ответственности монарха в пользу придворной безответственности. И самое главное: начинать в России реформы с конституционного «небосвода», а не с решения крепостной проблемы, не с грешной земли,^[34] было все равно, что «делать пением лодку», с помощью не укорененных в бытии юридических заклинаний пересоздавать живую жизнь.

«Лагарп видел, что его старания приносили плоды. Братья в своих детских играх создали себе идеальное, вымышленное существо, названное ими графом де-Сент-Альбаном (comte de-Saint-Albant). Этот граф был у них всегда во главе их солдат и их воинственных игрушек; он был центром, вокруг которого вертелись все политические соображения, ибо Французская революция, которая была в то время в полном разгаре, составляла постоянно предмет толков при дворе и возбуждала их молодые умы. Великий князь Александр ставил этого графа де-Сент-Альбана во главе всех революций, народных восстаний, всех предприятий, направленных против власти, и всегда награждал его. А Великий князь Константин приговаривал его к повешению или расстрелянию. Эти мелочи были весьма знаменательны и обрисовывали характер этих двух детей; из них один проявлял свои врожденные чувства, а другой высказывал те убеждения, которые ему внушали».^[35]

1789 год. Утопия. Революция...

А если уж предлагать воспитаннику именно такой путь, то следовало бы указать на рычаг, способный перевернуть российский мир; следовало бы определить силу, которая способна была бы восполнить

ограниченность монаршей власти. Не абсолютная монархия, не народоправление... Что же?

Позже, уже в царствование Александра II, ответ будет найден; впервые в русском политическом лексиконе появится слово «гласность». Опора — как бы даже и помимо воли императора — будет сделана на пробуждение к жизни общественного мнения, и цепь великих реформ, безупречно логичная в своем поступательном движении, хотя и преисполненная роковых компромиссов в содержательной части, хотя и предельно запоздавшая, начнет выстраиваться. Сначала Великая крестьянская 1861 года, затем Великая судебная 1864-го. И дальше — путь к самоумалению власти, к конституции; путь, оборвавшийся именно потому, что историческое время было уже упущено в эпоху первого Александра.

Но «глас народный» в Лагарповой системе никакой роли не играет; больше того — монарший наставник страшится общественного мнения. И тут мы наконец понимаем, какие черты проступали сквозь начертанный Лагарпом образ «идеального монарха», верящего в безусловную силу Закона, оправдывающего ярость толпы, если она направлена против «богоустроенной» (а не заслуженной личными доблестями) власти и железной рукой ведущего вверенное ему общество к царству свободы путями необходимости.

Это черты диктатора. (Естественно, в том мягком смысле, какой придавал этому слову XVIII век.)

Случайно ли, что в 1798 году, став после антибернского восстания руководителем Швейцарской директории, сверхлиберально настроенный Лагарп немедленно ввел жесткую цензуру, изгнал Лафатера, в 1799 году уничтожил Совет, чтобы стать консулом (то есть маленьким швейцарским Наполеоном), объявил всю Швейцарию военным лагерем, каждого ее жителя — солдатом и, в полном согласии с утопией Платонова

«Государства», запретил театральные действия, ибо театры неуместны, когда кипит война? Случайно ли, что, после поражения и изгнания приехав в Россию (август 1801-го) и вновь застав любимого воспитанника между молотом и наковальней, на сей раз — между «екатерининскими стариками» и «молодыми друзьями», боровшимися за сферы влияния, он посоветовал — не отказаться от планов самоограничения власти, не поменять стратегию, сосредоточившись на земельных проблемах, не апеллировать к мнению несановных дворян, а затаиться. Вести свою линию втайне, за плотно прикрытыми дверями секретных комитетов. И главное — заняться реорганизацией «властных структур»... (То же советовал и граф Аракчеев.)

Впоследствии Лагарпа упрекали многие и во многом. Практический Адам Чарторыйский иронизировал: «Лагарп принадлежал к поколению, воспитанному на иллюзиях конца XVIII века, — к тем людям, которые воображали, что их доктрины, как новый философский камень, как новое универсальное средство, разрешали все вопросы и что одними сакраментальными формулами можно рассеять все многообразные препятствия, выдвигаемые практической жизнью при осуществлении отвлеченных идеалов. У Лагарпа было для России свое всеисцеляющее средство, о котором он распространялся в своих писаниях так многоречиво, что у самого императора не хватало терпения дочитывать их. Я вспоминаю, между прочим, что он напал на выражение «регламентированная организация», которому он придавал, не без основания, большое значение, но которое повторял беспрестанно и с такой настойчивостью, что выражение это, в конце концов, стало его прозвищем».^[36]

Вряд ли Чарторыйский был прав — до конца. Вряд ли до конца справедлив был автор английской «Истории Наполеона», бросивший полупрезрительно: «На нем (русском царе. —Л. Л.) отразилось влияние его воспитателя, француза Лагарпа. Александр не мог сбросить с себя ту соединенную с тщеславием чувствительность, которая превращает доброжелательный поступок в театральную сцену и опьяняется аплодисментами».^[37] Скорее наоборот — Лагарп был едва ли не единственным из окружения великого князя, кто делал все, чтобы склонность к эффектному жесту соединилась в Александре с верностью благой идее, чтобы пустота душевного излома начала заполняться.

Иное дело — ядовитые замечания нечестивца Вигеля о том, что Лагарп свою карманную республику поставил образцом будущему самодержцу величайшей империи в мире. Или басенный скепсис Ивана Крылова, поведавшего читающей публике о Льве-отце и Львенке-сыне; царствующий Лев ищет сыну воспитателя; Лисица не подходит — умна, да лжива; Крот «во всем большой порядок любит», но «под носом глаза Кротовы зорки, / Да вдаль не видят ничего; / Порядок же Кротов хорош, да для него; / А царство Львиное гораздо больше норки». Выбор падает на Орла — и вот результат: Львенок возвращается после учебы домой. Отец радостно вопрошает:

«...Чему учен ты, что ты знаешь,
И как ты свой народ счастливым сделать
чаешь?»

— «Папа», ответствовал сынок: «я знаю то,
Чего не знает здесь никто...

Вот от учителей тебе мой аттестат;

У птиц недаром говорят,

Что я хватаю с неба звезды;

Когда ж намерен ты правленье мне вручить,
То я тотчас начну зверей учить
Вить гнезды»...

Мораль:

...важнейшая наука для царей:

Знать свойство своего народа

И выгоды земли своей. [\[38\]](#)

Единственная вина воспитателя Лагарпа состояла в том, что «главный» его воспитанник рос (и вырос) русским царем без царя в голове; что либерализм, как намагниченная стружка, был напылен лишь на поверхность александровского сознания; что идея свободы не сомкнулась в его сердце с образом традиционной России, не соотнеслась с ее судьбой; что природное добродушие князя не развилось в деятельную любовь к добру. А другой — «дополнительный» воспитанник, Константин, — рос (и вырос) одиноким циником. Страшно читать воспоминания о последних годах и того и другого. Один лихорадочно мечется от иссохшего архимандрита Фотия к раздобревшей Марии Феодоровне; скачет из конца в конец Европы и обратно, нигде не находя покоя; вспыхивает то одной надеждой, то другой — и медленно угасает по причине душевной сырости. Второй, нахохлившись, сидит под Варшавой в сумрачном гулке Бельведере, откуда редко кто выезжает и куда еще реже кто въезжает и где грозному огню лагарповых мечтаний противопоставлен холод остывшего очага.

Вставной сюжет. СПЛИН, или ДОЛИНА ЛАУТЕНБРУНН Сочинение Сурразеня (С французского. [\[39\]](#))

Молодой аристократ Томас Вентворт собирает друзей своих на обед, чтобы отпраздновать избавление от тяжкой болезни, было приведшей его на край могилы. Болезнь новомодная, истинно английская: сплин.

Томас жаловался доктору: «Окруженный всеми выгодами богатства, я чувствую себя изнуряемым от уныния и скуки. Мне только двадцать пять лет от роду, а я уже расстался со всеми очарованиями молодости; душа моя опустела... бытие мое становится мне в тягость; оно походит не столько на жизнь, сколько на печальный сон, возмущаемый печальными видениями...» Доктор велел забыть отечество, звание, доходы, «то, что вы теперь и чем были прежде», — и отправиться в Швейцарию со ста гинеями в кармане. Сумма незначительная; как раз на покупку хижины и дюжины коз.

Прибыв в Швейцарию, сир Томас для начала затосковал от зрелища горного ландшафта. Затем он избрал для жительства долину Лаутенбрунн и отправился туда пешком через горы. Вскоре он устал, замерз, проголодался, опечалился — и вдруг, о! увидел водопад. Драгоценная влага! Томас переоделся в пастушеское одеяние; вскоре он повстречал свадебное шествие и присоединился к нему. Как хороши, как свежи были юноша и девушка! Сколь счастливы их лица! Но мысль о счастье зовет за собою воспоминание о скоротечности блаженства. «О счастье, счастье!

говорил я сам себе; образ твой причиняет мне смертельную горесть. Увы!»

Тут невеселый сир Томас примечает плачущую красавицу пастушку; горестные сердца ищут соединиться.

Затем, как положено, он трудился на ферме своей в поте лица своего; страдал, голодал, заболел; две недели боролся в бреду со смертью и, очнувшись, обнаружил близ себя двух нежных пастушек — пожилую, Марию, и юную, Лауру. Это они спасли его от неминуемой смерти. Природа. Любовь. Труд. Вера. И некоторое сомнение; неужто все простые швейцарские поселянки так умны и прециозны, как Мария и Лаура?

Лаура, которую благодарный за спасение Томас ответно спас от горной лавины, повела любовную игру искусно, не давая объясниться и разжигая огонь чувства в его сердце. Но внезапно она вынуждена была раскрыть свою тайну, сознаться, что принадлежит знатному французскому роду графов Бланвиль, изгнанных с родины «ужасами революции»: решением Бернской республики всем политическим эмигрантам велено оставить Швейцарию. Том сочувственно выслушал Лауру, отер ее слезы; но инкогнито не раскрыл. Ничего не говоря «пастушкам», он потихоньку отправился в Берн и от своего настоящего имени направил Марии и Лауре приглашение явиться в свой лондонский замок. Слезы восторга; слезы разлуки. О! чудный незнакомец сир Вентворт, каким чудесным образом узнал он о злосчастной судьбе знатных француженок? О! почему непреодолимы сословные барьеры? как расстаться со славным лаутенбруннским пастухом? Счастье в горести, печаль в торжестве! О!

Они прибыли в замок... здесь встретил их тот, кого они привыкли видеть в пастушеском наряде... узнавание... слезы... свадьба... Сплина как не бывало.

Об этом сир Томас Вентворт и рассказывает своим друзьям за славным обедом.

Вывод сделать трудно. Вместо вывода можно сделать примечание: 29 июня 1798 года Бернская республика, навредившая Марии с Лаурой, пала; во главе сменившей ее Гельветической республики стал Директор Лагарп.

*Источник: Вестник Европы. 1815. Ч. 82.
№ 13-15.*

ЛЮБОВЬ

С 1790-го Екатерина начала исподволь вводить в организуемый ею государственный спектакль любовную линию.

ГОД 1790. Ноябрь. 4. С.-Петербург.

Н. П. Румянцеву дано поручение съездить в Карлсруэ и тайно «обследовать» дочерей наследного принца Баденского одиннадцатилетнюю Луизу-Марию-Августу и девятилетнюю Фредерику-Доротею; в отчете Румянцев сообщает, что нашел Луизу «несколько полнее, чем обыкновенно бывают в ее лета», и что «некоторая полнота... грозит в будущем слишком увеличиться». Впрочем, обе принцессы необычайно хороши характером.

ГОД 1792. Октябрь. 31.

Баден-Дурлахские принцессы инкогнито прибывают в Россию.

Декабрь. 20.

Отправлен курьер к маркграфу Баден-Дурлахскому с просьбой о согласии на брак великого князя Александра Павловича с Луизой.

ГОД 1793. Май. 9.

В большой церкви Зимнего дворца совершено миропомазание принцессы Луизы, нареченной в православном крещении Елисаветой Алексеевной.

Май. 10.

Обручение.

«Совоспитателю» Александра Павловича генералу Н. Протасову пожаловано 10 000 руб. Лагарп обойден наградой.

«Психея сочеталась с Амуром». (Екатерина II — Гримму.)

Амуру вздумалось Псишею,
Резвяся, поймать,
Опушаться цветами с нею
И узел завязать...
Так будь, чета! век нераздельна,
Согласием дыша:
Та цепь тверда, где сопряжении
С любовью душа.

(Гаврила Державин. «Амур и Псишея», 1793 год: «Сочинено в Царском Селе, 1793, при случае сговора Великого князя Александра Павловича с Великой княжной Елисаветой А. в мае месяце, когда они играли с придворными и с Великой княжною запутали так лентами ненарочно, что принуждены нашлись разрезывать».)

Сентябрь. 28.

Бракосочетание. Венчает соборный протопресвитер Спасо-Преображенской церкви, член Св. Синода Лукьян Протопопов. Колокольный звон продолжается в течение трех дней, празднование длится две недели и завершается фейерверком на Царицыном лугу.

После свадьбы Александр попивает (хоть и не допьяну), марширует (хотя и не до упаду); графиня Шувалова пытается сблизить с ним свою дочь графиню Головину; с молодой женой грубоват и занят ею мало.

В 1790-м Александру было тринадцать лет. В сентябре 1793-го ему не исполнилось еще шестнадцати. Официальное объяснение скоропостижной женитьбы незамысловато: великий князь не по летам страстен, надо бы остудить. Один из дядек, не без умысла угодить просматривающей отчеты императрице, записывает: Александр начал видеть томные сны, раздаются стыдливые вздохи, на особ женска пола заглядывается...

Верится во все это с трудом.

То есть в то, что заглядывается — верится безусловно; не верится в другое. Мы знаем, что представления о приличиях у государыни были весьма своеобразные. Есть все основания довериться придворным слухам о распоряжении, данном ею одной из опытных фрейлин «подготовить» великого князя к утехам брачной жизни; на послесвадебные похождения великого князя и диковатое обращение с юной женою (по молодости лет он не в состоянии был понять — что это за существо такое, жена, и зачем стала она все время находиться с ним рядом) Екатерина смотрела сквозь пальцы. Если вообще смотрела в ту сторону. Взгляд ее базедовых, навывкате глаз устремлен был в иные дали. В рационально устроенной немецкой голове ее зрели иные планы. Императрицу не интересовало даже то, что обычно интересует в брачном действе правящую элиту: возможность упрочить связи с

владельцами домами Европы. Баден-Дурлахское карликовое княжество; какая уж тут сила...

Придворные правильно поняли истинное намерение любимой царицы. И как новые рынки ценных бумаг немедленно оттягивают на себя часть свободно циркулирующих денег, так молодое семейство незамедлительно отвлекло на себя долю свободно циркулировавших при Дворе интриг. Интрига — своеобразный знак придворного признания, подтверждение серьезности притязаний на престол. Сеть надо закидывать заранее — пока царь-рыба молода.

Когда Федор Ростопчин, будущий поджигатель Москвы, жалуется в Лондон российскому посланнику Семену Воронцову на то, что у великой княгини Елизаветы перед глазами дурной пример дочери графини Шуваловой, «что замужем за Головиным; это — лукавейшая тварь, сплетница, кокетка и беззастенчивая в речах» — не стоит подозревать старого безобразника в избытке стыдливости. Просто его оттеснили от участия в устройении любовной игры с наследной четой и ему обидно. (Позже он отыграет свое на Павле Петровиче, «внедрив» в его семейный расклад фаворитку Екатерину Нелидову; в том, что связь с Нелидовой окажется платонической, Ростопчин будет совершенно неповинен.)

Точно так же, когда графиня Шувалова пыталась соблазнить великого князя своей собственной дочерью и одновременно — вовлечь великую княгиню в любовный роман, в ее действиях было меньше эротики, чем политики. По-своему она даже проявляла двусмысленное благородство и соблазнительную независимость — бороться за Александра и Елизавету при живых Павле и Марии значило демонстрировать предпочтение первым перед последними. Хотя бы и половое предпочтение.

Женитьба — возможность расширить владения внука до размеров семьи.

Женитьба — повод даровать ему собственный двор, назначить гофмейстера князю (им стал полковник граф Головин) и гофмейстерину княжне (ею и стала графиня Шувалова).

Женитьба — способ окончательно ритуализовать жизнь «будущего венценосца», уподобить ее императорской.

Потому что женатый человек совершенно иное, чем холостой. Претендент на царство не может быть холостым, не может не быть инициированным. Это не менее важно, чем крест на груди и орел на спине, и даже более заметно. Потому лучше поверить правдивому слуху, бродившему по Петербургу и подтверждаемому письмами императрицы, чем заведомо лживому официальному источнику:

«Передавали даже шепотом друг другу, будто бы у императрицы не раз вырывалось в самом коротком ее кружке об Александре Павловиче: «Сперва его обвенчаю, а потом увенчаю»». [\[40\]](#)

ГОД 1793. Октябрь. 18.

Екатерина призывает Лагарпа и требует, чтобы он подготовил воспитанника к мысли «о будущем возвышении».

«Если бы тайна открылась, вся ответственность пала бы на беззащитного иностранца».

(Записки Ф.-Ц. Лагарпа.)

ГОД 1794. Октябрь. 23.

Лагарпу объявлено об отставке в звании полковника, с 1000 червонных на проезд и сверх пенсии полным по чину жалованьем.

ГОД 1795. Май. 9. С.-Петербург.

После отсрочки, которую Лагарп употребил на безуспешные попытки войти в доверие к Павлу, он отбывает из России.

«Я... хотя и военный, жажду лишь мира и спокойствия и охотно уступлю звание за ферму подле вашей или, по крайней мере, в окрестностях».^[41]

(Александр Павлович — Лагарпу, от 21 февраля 1796 г.)

ДРУЖБА

Нет чувства святее товарищества.

В 1792-м Александр познакомился со славным племянником екатерининского вельможи Безбородко, Виктором Кочубеем. Кочубей горел свободой и желал добра. Только что он вернулся из охваченной революционным огнем Франции; огнем горели и глаза его. Террор еще не начался, и как было хорошо дышать воздухом Французской революции!

Чуть позже Александр Павлович сблизился с Павлом Строгановым, который тоже знал революционную Францию не понаслышке.^[42]

Воспитателем Строганова был французский математик Жильбер Ромм. Подобно Лагарпу, Ромм воспитывал аристократического дитя в демократическом духе; подобно Лагарпу, жил миром идей; подобно Лагарпу, успешно сочетал педагогическую деятельность с организационно-политической работой. В июльские дни 1789-го учитель и ученик (последний под именем Поль Очер) были в Париже, посвящали труды и дни созданию общества «Друзья Закона». Как раз летом 1789 года умер слуга Строганова, Клеман; учитель и ученик не допустили священника к ложу умирающего и затем устроили гражданские похороны. Зато в гроб (погребенный не в церковной ограде, но в саду г-на Ромма) были положены Евангелие и Декларация прав человека и гражданина, а также бутылка с запиской: «Положенные здесь Евангелие и катехизис человеческих и гражданских прав свидетельствуют об его (покойника. — Л. А.) религиозных и общежитских убеждениях...»

Учитель и ученик не ведали тогда о том, что спустя три года член клуба якобинцев, член Законодательного собрания, составитель революционного календаря Жильбер Ромм окажется в числе подписавших смертный приговор Людовику XVI, спустя два года он сам будет приговорен к смерти и заколется кинжалом за минуту до исполнения приговора. К счастью, Строганова по приказу Екатерины задолго до этого чуть ли не насильственно доставят из Парижа в Россию, где будущий наследник престола предложит ему носить тайный знак, чтобы российские якобинцы могли узнавать друг друга...^[43]

Строганов не скрыл от кузена Николая Новосильцева (он как раз и доставил Строганова в Россию) своего восхищения благородными помыслами великого князя; кузен, которому к тому времени исполнилось уже тридцать пять лет, решил не упускать выгодную возможность войти в доверенность к будущему властителю России и тоже стал активным участником кружка. Именно он впервые предложил «молодым друзьям» незаметно взять шефство над мятущимся цесаревичем, исподволь направляя его волю и выполняя при нем роль коллективного Лагарпа.

Однако он, в свою очередь, не учитывал эффекта матрешки и не замечал, как над ними вырастает еще одно «прикрытие». Сверху за резвящимися на пленэре племянниками зорко приглядывали малоподвижные дядюшки.

Величественно-жуликоватый граф Безбородко, до конца дней не сумевший (или не пожелавший) избавиться от малороссийского выговора, который придавал его льстивой речи оттенок добродушия и провинциальной простоты.

Строганов-старший, почти всю жизнь проведенный в Париже и представлявший собою «странную смесь

энциклопедиста и русского старого барина»; «с умом и речью француза он соединял чисто русский нрав и привычки; он имел большое состояние и много долгов, обширный дом с изящной обстановкой, прекрасную картинную галерею, для которой сам составил систематический каталог, бесчисленное множество слуг-рабов, которым очень хорошо жилось у такого господина, и в том числе несколько лакеев-французов. В нем много было беспорядочности: обкрадываемый своими людьми, он сам же первый смеялся над этим».
[44]

Александр Воронцов, который спустя несколько лет взял на себя «роль посредника между новыми идеями императора и старой русской рутинной и умерителя тех преобразований, которые, как он предвидел, должны были проистечь из намерений молодого императора»^[45].

Они поддерживали молодежь, подмигивали ей, поощряли, подхихкивали. Славные добрые старички. Смелые благородные друзья человечества.

Безбородко по просьбе племянника чуть позже подготовил «Записку для составления законов российских», выдержанную в духе идей Монтескье. И, возможно, связанную с неосуществившимися конституционными планами Великой Екатерины. Строганов «стоял за то, чтобы каждому человеку была дана возможность счастья и свободы». И это не мешало ему в то же самое время быть «в полном смысле придворным куртизаном, то есть царская милость, придворное расположение и хороший прием во Дворце были ему необходимы. Не честолюбие или какие-нибудь расчеты вызывали в нем это чувство; нет, просто холодный прием или вид нахмуренных бровей Государя были ему невыносимыми, делали его несчастным, мешали твердости духа и покоя».^[46] Но это объяснимо и

простительно. Век нынешний и век минувший. Верьте им, верьте, только помните: в случае опасности дядя за племянника не отвечает. А в случае успеха может рассчитывать на свою долю высокомонаршего сочувствия...

Последним, властно раздвинув круг и ближе всех продвинувшись к великому князю, появился на его «идейном» горизонте невеликий князь Адам Чарторыйский.

ГОД 1796. Весна.

Трехчасовая беседа Александра с Чарторыйским. Великий князь признается, что не разделяет воззрений и правил Кабинета и Двора, называет заточенного Екатериной в крепость лидера польских повстанцев Костюшко великим человеком, который «защищал дело человечества и справедливости», хвалит Лагарпа; осуждая кровь Французской революции, желает, ей успеха.

«Происхождение Чарторыйского проложило бы ему путь к польскому престолу, если бы ему не помешала в том Императрица Екатерина. Он не забыл этого и обрек себя вечной ненависти к Русским, коих гнушается, к Императору, которого обманывает, к его министрам, которых презирает; но скрывая свои чувства, он один лишь знает свои намерения».

(Позднейший донос Дюрока министру тайной полиции Фуше, из Петербурга. [47])

Чарторыйский в революционной Франции не бывал. Чарторыйский говорил об идеалах свободы так, как говорят о них те, от чьей воли свобода зависит. За Чарторыйским дядюшки не присматривали.

Дюрок не лгал. Потомок польских магнатов, униженных и разоренных последним разделом Польши, князь был воспитан, как положено, в ненависти и презрении к русским. Он говорил, что взгляды его были чисто республиканскими; возможно — чего на свете не бывает. Однако в жилах его (и он это слишком хорошо помнил) текла королевская кровь; однако род его был одним из древнейших в Польше; однако в позднейших «Записках» он не упустит случая подчеркнуть, что в детстве от опасной болезни его смог излечить лишь придворный доктор короля Станислава-Августа. (Какова кровь, таковы и болезни; каковы врачи, таковы и пациенты.) И в случае восстановления Отечества князь Адам мог рассчитывать на большее, чем Лагарп в случае победы антибернского восстания: низвергнутый король Станислав-Август был бездетен.

Беда заключалась в том, что вплоть до эпохи наполеоновских войн единственной силой, способной восстановить государственное тело Польши, была сила, его разрубившая, — Россия. Князь Адам понимал это. И как политик, умеющий пройти между Сциллой безыдеальности и Харибдой утопической эйфории, ценил шанс, который давала ему конфиденциальность с наследником русского престола. Впрочем, ближайшие планы его были проще и обозримее. Он был отправлен в Россию и определен на службу в русскую армию, чтобы ценой коллаборационизма вернуть имения, отобранные императрицей у его деда за пролитие русской крови. В этом отношении дружба с Александром Павловичем также сулила многое. На дворе стоял апрель 1796-го, Екатерина II здравствовала, Павел Петрович скрежетал зубами, все шло по плану.

ГОД 1796. Июнь. 25. Санкт-Петербург.

У Марии Феодоровны и Павла Петровича рождается третий сын, нареченный Николаем — имя это тоже отсутствовало в мартирологах русского императорского дома. Восприемник — Александр Павлович.

«Голос у него бас... длиною он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих».

(Екатерина II — Гримму.)

Дитя равняется с царями... Он будет, будет славен, Душой Екатерине равен.

(Гаврила Державин. «На крещение Великого Николая Павловича», 1796 год.)

«Новорожденный был назван Николаем. Смотри тогда на него, как он лежал в пеленках и кричал, утомленный обрядом крещения, весьма продолжительным в русской церкви, я не предвидел, что это слабое, миловидное существо, красивое, как и всякий здоровый ребенок, станет со временем бичом моего Отечества».

(Адам Чарторыйский. Мемуары.)

«Я ОТ БАБУШКИ УШЕЛ...»

Великий князь талантливо вел назначенную ему бабушкой роль. Но, в отличие от Кочубея, не пылал романтической страстью к свободе; в отличие от Строганова — не рвался в бой за нее; в отличие от Чарторыйского — не посвящал каждую минуту жизни достижению патриотической цели, естественно спавленной с личными амбициями. Он — играл. Он играл с ними в игру либерализма; он играл в бабушкином спектакле; он играл в кошки-мышки с отцом. И до конца серьезно относился лишь к одной возможности, одной перспективе — переиграть всех. А затем, с предписываемой правилами высокого сценического искусства грациозностью, склонив голову на правое плечо, плавно раскинув руки как бы для нежных объятий, неотрывно глядя в зал и мелко семеня на цыпочках, вовремя ускользнуть за кулисы. Ибо чем сильнее было давление бабушки, отца, Двора, обстоятельств, мыслей о судьбе царственного брата Людовика (все люди царской крови — братья) и воспоминаний о кончине царственного дедушки Петра Федоровича Третьего, рассказов об ужасах Пугачевского восстания — тем отчетливее и радостнее становилась перспектива ухода.

Если бы в Законе Божиим Александра наставлял не отец Андрей Сомборский, он, возможно, почерпнул бы эту идею из трогательного жития индийского царевича Иоасафа, которому старец Варлаам открыл сокровища христианской веры и который отверг все радости царской жизни ради сладкой муки сораспятия Христу. Но Александра наставлял отец Андрей. И потому жития благочестивого Иоасафа, над которым проливалось слезы не одно поколение русских людей, он не знал.

Зато его хорошо учили Лагарп и Муравьев. А потому Александр помнил пример славного римского полководца Цинцинната, призванного из деревни принять обязанности диктатора и спасти Рим и после скоропостижной победы вернувшегося к деревенским трудам. И римского же императора-реформиста Диоклетиана, доходившего с армией до границ Рейна, подавившего восстание в Египте, завоевавшего Армению и Месопотамию, чтобы в 305 году по Рождестве Христовом отречься от престола и жить в огромном дворце в Солонхах на побережье Далмации. Вероятно (хотя утверждать невозможно), знал он и книгу аббата Прево «Воспоминание знатного человека, удалившегося от мира». И совершенно достоверно известно, с каким удовольствием читал он новомодные сочинения в идиллическом роде, герои которых стройными рядами покидали пышные города и царственные чертоги ради уединения под мирным кровом сельской тишины.

Сохранилась учебная тетрадь великого князя за 1787–1789 годы; первое упражнение по русской грамматике, какое мы в ней находим, взято из идиллии «Обитатель предместья» Михаила Никитича Муравьева; открывалась же тетрадь рассуждением «О счастливых селянах».^[48] Особо чтит он самого знаменитого швейцарского поэта той эпохи, Соломона Геснера, стараясь подражать его скромным, чистым, живущим естественной жизнью, знающим горести, но не ведающим отчаяния поселянам и поселянкам.

Практически параллельно с Мерсье, построившим утопию в реальную историческую хронологию, Геснер приблизил время и место действия пасторали к современности; герои его идиллий жили не в Аркадии, а во вполне реальной Швейцарии — стране, пока еще не обретшей нейтрального статуса (это обретение

произойдет после победы европейских держав над Наполеоном — и не в последнюю очередь благодаря позиции Александра I). Но даже Геснер не смог избавиться идиллию от принципиальной «одноколейности»: идиллический герой имел право или уйти в идиллию из истории, или вернуться в историю из идиллии, но никогда — перемещаться из одного пространства в другое.

Герой весьма популярного, неоднократно в России переведенного Геснерова сочинения «Эвандр и Альцимина» (1762), воспитанный пастухом царевич, восклицает в миг прощания с сельской сенью:

«О вы, безмятежные тени! вы, тихо журчащие ключи! и вы, прекрасные поля, в которых лета юношества моего столь спокойно протекали! вас я оставляю для жизни, которая мне неизвестна... По сие время жил я собственно для меня, а отныне должен жить для народа, быть так! я все силы мои напрягу».^[49]

Именно таким царевичем-пастушком, обреченным на вечную разлуку с мирными дубровами ради сомнительного удовольствия власти, и ощущал себя Александр. Знающая толк в жанрах бабушка и о том позаботилась.

«Если бы вы видели, как господин Александр мотыжит землю, сажает горох, высаживает капусту, идет за плугом, боронит и затем, весь в поту, бежит ополоснуться в ручье, после чего берет сеть и вместе с сударем Константином лезет в воду ловить рыбу. И вот они уже отделяют щук от окуней, потому что, видите ли, щуки поедают других рыб... мы берем книгу для чтения с тем же настроением, с каким садимся в челнок, чтобы грести; и надо видеть нас сидящими в этом челноке...»

(Екатерина II — Гримму, из Царского Села 3 июня 1783.)

Это было в духе времени; в 1788 году было завершено строительство фермочки Марии-Антуанетты, на самой окраине Версаля.

Выглядывая по утрам из окон центрального дворца, старшие Людовики как бы окидывали взором пространственную модель своего королевства — бескрайнего, упорядоченного, всеобъемлющего. Всему было отведено свое место, выделена своя роль: офицеры охраняли, садовники обихаживали, цветочницы собирали, мусорщики выметали, фонтаны пенились, лодочки плыли, жизнь продолжалась.

Младшим Людовикам стало неуютно в отцовских владениях. Им хотелось чего-нибудь менее помпезного, более человеческого — чтобы взгляд, бросаемый по утрам с балкона, не блуждал тоскливо в поисках далекого горизонта, а сразу упирался во что-нибудь миленькое и уютное. В игру теней на холмистых лужайках. В миниатюрный фонтанчик в укромном уголке сада. Так центр версальской жизни сместился чуть вправо: рядом с главной аллеей вырос Малый Трианон. Вырос, но не подрос: здесь королевский дворец был как бы уполовинен, парк сужен и лишен регулярности, в облицовке появился томный розовый мрамор.

Но французские монархи быстро и неумолимо теряли вкус к величию. Уже следующее поколение королей сочло скромный Трианон неуютной громадиной. Большими должны быть картины, изображающие королевскую жизнь (французская живопись XVIII века более чем склонна к гигантомании и пышности.) А сама королевская жизнь должна быть маленькой и счастливой. Так и учредилась на самом краю версальского парка деревенская ферма. Не пруды, а прудики с золотистыми прожорливыми карпами,

которые гужевались у самого берега и, жадно разевая рты, выпрыгивали из воды за кусочками хлеба. Не мрамор Каррары, хотя бы и розовый, а плотно спрессованная и ровно подстриженная солома. Не фрейлины и пажи, а пастухи и пастушки, не грязные и бородатые подданные с их вечными проблемами, а чистые черненькие свинюшки, стриженные овечки и козочки с бугорочками рогов.

Никаких аллей, никаких далей, никакой перспективы. Боковая дорога истории сузилась до предела. Горизонт сомкнулся. Осталась крохотная прорезь — как раз для королевской головы. Через год совершится Французская революция, в 1793-м в эту прорезь обрушится нож революционной гильотины, и на дорожки огромного парка ворвутся те, кого так боялись и так не любили последние французские короли, от кого они так робко прятались на своих крохотных фермах: их несчастные подданные...

И если Екатерина играла в пастораль легко и беззаботно, то ее внук отнесся к этой игре и ее правилам абсолютно всерьез. Не случайно в миг своего высшего торжества, возвращаясь из только что взятого Парижа через Швейцарию, Александр «отправился на поклонение к могиле любимого певца». А в Богемии, в годовщину Лейпцигской битвы, собственноручно пахал поле; так же поступал в будущем и граф Лев Николаевич Толстой.

...Сюжет ухода от давящего, обрекающего на неизбывную пожизненную муку царского дела и представление об идеале мирной, тихой частной жизни накладывались друг на друга, сплетались, как средство и цель:

«Вот, дорогой друг, важная тайна... В наших делах господствует невероятный беспорядок, грабят со всех сторон; все части управляются

дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя... стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления?.. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы».

*(Письмо Александра Павловича
В. П. Кочубею от 10 мая 1796 года)^[50]*

Это была не безвольная мечта о воле; это была деятельная утопия безволия, предложенная в ответ на непосильный вызов Революции. То есть — не игра мысли, а твердое, хотя и не до конца продуманное намерение. Ради его воплощения великий князь впервые вышел из слепого повиновения бабке и обогнул воздвигнутое ею препятствие — преждевременное, внеочередное бремя власти.

ГОД 1796. Август. 13.

В Петербург под именем графа Гааги прибывает наследный принц шведский Густав, встреченный у границы и сопровождаемый в Северную столицу Михайлой Кутузовым; цель приезда — обручение с великой княжной Анной Павловной.

Сентябрь. 11.

Не приняв условия брачного контракта, по которому его русская жена сохраняла православие, Густав не является на объявленное обручение.

С Екатериной II случается удар.

16.

Опасаясь близкой кончины, Екатерина предлагает внуку занять престол «вне очереди» еще при ее жизни.

24.

Александр направляет ей письмо с выражением уклончивого согласия; одновременно сближается с Павлом (в письме Аракчееву, отправленном накануне, Павел поименован «Его Императорским Величеством», из чего историк конца XIX столетия генерал Николай Карлович Шильдер предполагает тайную присягу Александра отцу в присутствии Аракчеева. Впрочем, великий князь Николай Михайлович Романов, автор двухтомных материалов к биографии нелюбимого им предка, роскошно изданных в 1912 году, такую возможность начисто отмечает).

План Екатерины нашел на встречный план, как находит коса на камень. И — странная вещь, непонятная вещь. Ее твердокаменность была сокрушена его мягкотелостью. Императрица была умна и хитра. Но ей и в голову не могло прийти, что желание обрести блаженное безволие пробудит в наследнике железную волю. Что великий князь, при всей переменчивости характера, проявит неуклонную, пожизненную, как сам

крест царской власти, верность однажды поставленной цели. Он еще не понял, что для отказа от власти тоже нужна власть; что никто не позволит ему отречься от престола и променять царство на ферму, пока престол ему не принадлежит; что он в состоянии погубить чужой замысел, но не может осуществить свой.

Если бы понимал — согласился на план Екатерины, на мирный бескровный переворот. Но он — не понимал, а Лагарп — не объяснил. Во-первых, потому, что Закон превыше всего, превыше целесообразности, превыше здравого смысла. Не тот закон, что писан законодателями (с этой точки зрения намерения Екатерины осуждению не подлежат, ибо до Павла никакого юридического установления о престолонаследии не существовало, только петровское правило о престолоназначении; да и Павел, при всем его уме и реформаторских наклонностях, утверждая новую норму, заботился не только о юриспруденции, но и о своей безопасности на случай заговора со стороны Марии Феодоровны). А Закон извечный, незримо разлитый во Вселенной; Закон как таковой; Закон как идея Закона. Отступить от него можно лишь в том случае, если исхищено святейшее из прав человеческих — свобода; здесь же речь о свободе не шла. Во-вторых, осчастлививатель 40 000 000 русского народу, оправдатель германских жертвоприношений не хотел рисковать. И по-человечески это понятно. В-третьих, он должен был беречь себя для своего собственного «проекта», своей собственной постановки на своем собственном политическом театре. И потому невольно содействовал провалу постановки — екатерининской. Последний акт затеянной ею драмы обернулся пятым актом не предусмотренной ею трагедии и столько лет приуготавливавшийся итог оказался полностью противоположен замыслу. (Как говорил в таких случаях Пушкин, какую «штуку удрала» Татьяна: «отказала

Онегину и бросила его: этого я от нее никак не ожидал». [\[51\]](#))

ГОД 1796. Ноябрь. 5. Утро.

У Екатерины — апоплексический удар. В ночь с 6 на 7. Государыня скончалась. Принесена присяга Павлу Петровичу.

Александр не успел уйти от бабушки. Бабушка сама ушла от него.

Часть вторая

НЕВОЛЬНЫЙ РЕЖИСИД [\[52\]](#)

*«74 октября, в исходе второго часа пополудни, мы чувствовали легкое землетрясение, которое продолжалось секунд двадцать и состояло в двух ударах, или движениях. Оно шло от востока к западу и в некоторых частях города было сильнее, нежели в других... Оно не сделало ни малейшего вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в стене одного погреба (в Городской части) оказались трещины, а в другом отверстие в земле, на аршин в окружности. Такие землетрясения называются в физике колебательными (*tremblement de terre a'oscillation*).[\[53\]](#) Удары были чувствительнее в высоких домах; почти во всех качались люстры, в иных столы и стулья... летописи наши говорят, о землетрясении, которое случилось в Москве при князе Василье Васильевиче Темном... и которое ужаснуло народ: ибо он, по невежеству и суеверию, вообразил, что сей естественный случай предзнаменует государственные бедствия, как будто бы тогдашняя Москва еще мало страдала... ..Лиссабонское землетрясение отдалось в Америке; но удары имеют всегда один центр...»*

*Н. М. Карамзин. О московском
землетрясении 1802 года*[\[54\]](#)

Глава 1

АВЕЛЬ И ПАВЕЛ

БРАТ АВЕЛЬ

ГОД 1796. Ноябрь. 7-8.

Александр Павлович — полковник в Семеновском полку. Алексей Аракчеев — комендант С.-Петербурга, генерал-майор с квартирой в Зимнем дворце.

Ноябрь 19,25.

Тело Петра III, покоившееся в Александро-Невской лавре, вынута из гроба и переложено в новый гроб, на который Павлом собственноручно возложена корона Российской империи: опальный отец нового императора посмертно коронован.

Переворота 1762 года не было. Убийства тоже не было.

Декабрь. 2, 5.

Гроб торжественно перенесен в Зимний дворец и поставлен рядом с гробом Екатерины; затем оба погребены в Петропавловской крепости.

Последствия переворота 1762 года также считать небывшими.

Четырежды — в 1801, 1802, 1812, 1825-м — на жизненном горизонте Александра Павловича возникал странноватый монах Авель.

Брат Авель пророчествовал.

В напечатанном «Русской Стариной» (с досадными выпусками «некоторых мистических измышлений»^[55])

«Житии и страданиях отца и монаха Авеля» о начале его пророческой деятельности сказано так:

«...пришел в самую северную страну и вселился там в Валаамский монастырь, который Новгородской и Санкт-Петербургской епархий, Сердобольской округи... В то время в нем был начальник игумен Назарей: жизни духовной и разум в нем здравый. И принял он отца Авеля в свой монастырь как должно, со всякою любовью; дал ему келью и послушания и вся потребная; потом же приказал ему ходить вкупе с братиею в церковь, и в трапезу, и во вся нужная послушания. Отец же Авель пожил в монастыре токмо один год, вникая и присматривая всю монастырскую жизнь и весь духовный чин и благочестие, и видя во всем порядок и совершенство, как в древле было в монастырях, и похвали о сем Бога и Божию Матерь». [\[56\]](#)

После переселения тридцатилетнего Авеля в пустынь (что само по себе удивительно: благословение на жительство в пустыни получали лишь немногие опытные, «искушенные» монахи; отнюдь не послушники) у него начались борения с врагом, в которых он «показался страшный воин».

«По сему же», в октябре 1785-го, «взяли отца Авеля два духа... и рекоша ему: «буди ты новый Адам и древний отец Дадамей, и напиши, яже видел еси: и скажи, яже слышал еси»».

Очевидно, Авель (тогда он носил еще мирское имя — Василий Васильев — и звание выходца из деревни Акулово Алексинского уезда Тульской губернии) обо всем рассказал настоятелю; сразу после видения ему было велено вернуться из пустыни к монастырскому общежитию. Здесь ему было новое видение, в церкви Успения Пресвятой Богородицы, а вслед за тем он вышел из Валаамского монастыря, «тако ему велено действием [той силы, которую сообщили ему два духа];

сказывать и проповедывать тайны Божия и страшный Суд Его».

Девять лет он странствовал, пока в 1794-м не водворился в костромском монастыре Святого Николая Чудотворца, где и составил первую из своих «мудрых и премудрых» книг, касавшихся до будущности русских царей и русской державы.

Авеля легко можно было принять за одного из множества бродячих прорицателей, наводнявших тогдашнюю Россию.

Самым знаменитым легионером этого пророчествующего легиона был скопческий отец-искупитель Кондратий Селиванов, как раз в 1795-м бежавший из Сибири и в начале странных дней Павла Первого объявившийся в Московии. Он именовал себя Государем Петром Феодоровичем; рассказывал, как был приговорен к смерти распутной женой Екатериной за святую неспособность к блуднобрачной жизни; как чудесно спасся в Европах; как в конце концов перебрался на жительство в Орловскую губернию, где ждали его матушка-императрица Елисавета Петровна, граф Чернышов, княгиня Дашкова и прочие верные слуги престола, которым не стало житья в Петрограде. Тем временем Екатерина сошлась с врагом рода человеческого, прижила от него сына, чтобы выучить в Российской академии, а затем отправить в Париж, где «со своими способностями [он] вышел в императоры».

[57]

В первой половине 1797-го арестованный отец-искупитель был доставлен в столицу и удостоен встречи с сумрачным царем Павлом и его ангелоподобным сыном Александром; в позднейших «Страдах великого искупителя»^[58] Селиванов так описывал знаменательную встречу:

— Правда ли, старик, что ты мой отец? — спросил Павел I Селиванова.

— Я греху не отец.

— Отец, я хотел уготовать тебе золотой венец, а теперь прикажу посадить тебя в каменный мешок...

— Павел, Павел. Я хотел было жизнь твою исправить, а за это накажу тебя лютою смертью. [\[59\]](#)

Встреча закончилась для Селиванова плачевно; только 6 марта 1802 года Александр Павлович — уже не великий князь, а русский царь — выпустит Селиванова из смиренного дома при Обуховской больнице, чтобы встретиться с ним впоследствии перед самым Аустерлицем.

Но брат Авель в отличие от Селиванова и подобных ему сектаторов, во-первых, не самочинствовал. Пророчества, прежде чем возгласить принародно, давал на прочит светскому начальству и отцам-настоятелям монастырей, в которых обретался. Во-вторых, Авелю оказывал доверие один из самых прозорливых и молитвенно глубоких старцев той одновременно и мало- и легковерной эпохи, отец Назарий, вытребованный в 1778 году из Саровского монастыря на Валаам для восстановления обители. В-третьих, о нем церковным преданием сохранена добрая память, несмотря на то, что Авель скончал дни свои в исправительно-трудовом Спасо-Евфимиевском монастыре Владимиро-Суздальской епархии, где содержались монахи-ослушники и склонные к ересетворчеству миряне. [\[60\]](#) В-четвертых, Авель избежал одной из самых распространенных на Руси духовных прелестей — безблагодатного, «театрализованного», без особого призвания принятого на себя подвига юродства. В-пятых же, и в главных, все его мрачные предсказания имели одну неприятную особенность — они сбывались.

Первой жертвой прозорливости брата Авеля пала государыня Екатерина.

Будущий генерал и покоритель Кавказа, человек отнюдь не восторженный и не склонный к мистическим переживаниям, Алексей Петрович Ермолов оставил мемуар об этом роковом предвидении.

На излете екатерининской эпохи Ермолов переживал опалу в Костромской ссылке и здесь на обеде у губернатора Лумпа стал свидетелем того, как некий монах Авель предсказал близкую кончину государыни «с необычайной верностию».^[61] В «Житии» о том поведано возвышеннее — и подробнее: был Авель послушником монастыря Святого Николая Чудотворца, «и написал он в той обители книгу мудрую и премудрую... в ней же написано о царской фамилии». Отец настоятель переправил ее в Костромскую консисторию, оттуда она попала к правящему архиерею; епископ Павел пришел в ужас: «Сия твоя книга написана под смертною казнию». Только после этого книга очутилась в руках губернатора (Ермолов скорее всего и присутствовал при «наружном осмотре» подозрительного ясновидца).

«Губернатор же и советники его приняли отца Авеля и книгу его и видеша в ней наимудрая и премудрая, а наипаче написано в ней царские имена и царские секреты. И приказали его на время отвезть в костромской острог».

Российское делопроизводство — наука особая, тонкая, труднопостижимая. Делу могут не давать хода десятилетиями; но если ход все-таки дан, события начинают разворачиваться неостановимо. Послушник Авель недолго пробыл в костромском остроге; его с нетерпением ждали в столицах.

«И привезен был прямо в дом генерала Самойлова; в то время он был главнокомандующий всему Сенату.

Самойлов же рассмотрел ту отца Авеля книгу и нашел в ней написано: якобы Государыня Вторая Екатерина лишится скоро сея жизни. И смерть ей приключится скоропостижная, и прочая таковая написано в той книге. Самойлов же видя сие, и зело о том смутися; и скоро призвал к себе отца Авеля. И рече к нему с яростию глагола: «како ты злая глава смела писать такие титулы на земного Бога!» и удари его трикраты по лицу, спрашивая его подробну: кто его научил такие секреты писать и отчего взял такую премудрую книгу составить? Отец же Авель стояша пред ним весь в благодати, и весь в Божественных действиях. И отвещевая к нему тихим гласом и смиренным взором, рече: меня научил писать сию книгу тот, кто сотворил небо и землю, и вся яже в них: тот же повелел мне и все секреты составлять. Самойлов же сие слыша, и вмени вся в юродство».

Однако (если верить «Житию») обо всем было донесено земной, слишком земной богине Екатерине, и отец Авель в феврале — начале марта 1796-го заключен бысть «в Шлюшельбургскую крепость», где провел 9 месяцев 10 дней. «Послушание ему было в той крепости: молиться и поститься, плакать и рыдать и к Богу слезы проливать, сетовать и воздыхать и горько рыдать, при том же ему еще послушание, Бога и глубину Его постигать».

ГОД 1797. Апрель. 4. Москва.

Павел коронован.

К этому времени освобождены вожди польского восстания Костюшко и Потоцкий, в Мраморном дворце поселен экс-король разделенной Польши Станислав-Август, выпущен сочинитель-масон Новиков, опальный автор сожженного «Путешествия из Петербурга в

Москву» Александр Радищев переведен из илимской ссылки в деревню, в деревню же отправлен отставленный полководец Александр Суворов.

МОЛОДЫЕ ДРУЗЬЯ И СТАРЫЕ ВРАГИ

Плохо быть человеком конца века, но еще хуже быть человеком переломной эпохи, не сумевшим ее перерасти. Одна система ценностных представлений распалась, другая не сложилась; обломки первой, смешиваясь с начатками второй, образуют странную взвесь, сквозь которую не видно ни зги. Историки последующих поколений много писали о «безволии» Александра Павловича, путая проблему личных качеств будущего монарха с проблемой общих жизненных ориентиров его поколения. Женственной изменчивости характера цесаревича не было и в помине — был эффект лицедейства, игровой смены масок, позволявшей скрыть истинное лицо, волевое и жесткое. Но не было и ориентиров — сферу идеального в сознании Александра Павловича покрывал разноцветный туман ускользящих взаимопротиворечивых смыслов. Все смешалось в этой сфере — размышления о народном представительстве и о духе законов, об истинной монархии и о христианском долге, о правах гражданина и о родовых правах монарха. Это-то смешение и парализовало подчас Александра, повергало в шок, приводило в ступор, создавало видимость безволия.

Помазание и венчание на царство было для него красивым ритуалом — не более того. О своей будущей участи он размышлял или в сухих терминах «теории управления» государственным механизмом, или в чувствительных образах семейственной гармонии России-матушки и Царя-батюшки. Но политический

прагматизм великого князя, раскрашенный в сентиментальные тона, приходил в полное противоречие с живым и очень сильным «монархическим инстинктом», который был в полной мере унаследован им от предков и развит самим строем дворцовой жизни. Вослед французским энциклопедистам Александр понимал самодержавие как самовластное искажение «истинной» монархии, а «правильную» монархию осмыслял как систему «сдержек и противовесов», способных организационно обеспечить авторитарный тип правления и ввести его в законные рамки. Но ощущал ее по-прежнему как предельную, метафизическую полноту монарших полномочий, укорененных в Боге.^[62] И наоборот: ощущая царскую власть как таинственную силу, даруемую царю Провидением, он совершенно не понимал, почему государь получает ее безграничные лишь в обмен на личную свободу? Сердце князя-наследника было расположено к царскому призванию, а мысль его упиралась в самое существенное противоречие «монархической экклезиологии», рационально не разрешимое даже в пределах церковного миропонимания, за вратами же Церкви и вовсе бессмысленное. Чего ради «царская вакансия» наследственна, а не выборна — и часто достается тому, кто ее не заслуживает? Отчего, властвуя всеми, царь не властен изменить собственную судьбу и зачем, подобно крепостному, раз навсегда делается «крепок земле»? Независимо от того, хочет он того или не хочет, талантлив ли он как политик или бездарен, исчерпал ли свой государствовостроительный потенциал или нет? Не ошибка ли это, не дань ли косной традиции, не вредный ли политический анахронизм? Мечта об уходе до и вместо коронации потому и пришлась по сердцу юному Александру, что разом сняла все неразрешимые

противоречия, указала путь в обход Голгофы, предназначенной цесаревичу правом рождения.

Но тешить себя этой иллюзией можно было лишь до 1796 года. Воцарение отца отрезвило сына — и раз и навсегда лишило его надежды на добровольное отступление. Ибо после принятия павловского закона о престолонаследии Александр стал официальным преемником — и обязан был понять, что никто никуда его не отпустит. (Разве что в сибирскую ссылку, если разгневанный Павел когда-нибудь сочтет своего старшего сына реальным заговорщиком и опасным конкурентом, или — под домашний арест, если отец рассудит изменить им же утвержденное законодательство и переназначит наследника.)

Сопrotивляться грядущему воцарению отныне было не только бесполезно, но и опасно. Единственно возможный путь к отречению лежал теперь через принятие царства. Возможно, именно об этом (в других, осторожно-намекающих, предельно ритуализованных выражениях!) говорили с Александром «молодые друзья» во время московских торжеств — когда, под прикрытием всеобщей суматохи, они обсуждали «Записку» Николая Новосильцева о предстоящей совместной работе.^[63] Как бы то ни было, к 27 сентября 1797-го наследник окончательно переформулировал свои ближайшие жизненные задачи — о чем немедленно известил Лагарпа. Отъезжающему за границу Новосильцеву было вручено тайное письмо:

«...Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами: существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыорот... Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены... Если когда-либо придет и

мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев... Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей...»

Следует «в течение настоящего царствования поручить перевести на русский язык» множество книг; издать те, что будет возможно, «остальные мы прибережем для будущего». Когда же придет черед, «необходимо будет образовать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы, и я, если Провидение благословит нашу работу, удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там счастливый и довольный, видя процветание своего отечества и наслаждаясь им». [\[64\]](#)

Итак, волшебное средство было обретено; имя ему — конституция.

В те же годы (чуть раньше, чуть позже) о конституции думали самые отъявленные царедворцы; о свободе крестьян размышляли богатейшие землевладельцы; об ограничении самовластья мечтали не только мартинисты, не только масонствующий сочинитель Новиков, которому нечего было терять, кроме своей типографической машины, но и высшие сановники Империи. И не просто думали, но и делились своими размышлениями с государем Павлом Петровичем, который принимал в обсуждении конституционных проектов живейшее участие. Недаром в первые же дни по воцарении Александра Павловича

на него буквально обрушится шквал конституционных предположений, и даже могучий фаворит покойной императрицы Платон Зубов решит ознакомиться с англиской конституцией. (Под покровительством — чтобы не сказать под присмотром — Зубова будет Державин составлять свои знаменитые конституционные Кортесы.^[65])

Страшные сполохи Французской революции бликами плясали на стенах европейских дворцов. Поток конституционных установлений «сверху» вполне мог упредить огнеопасные порывы низов. Даром ли Екатерина Великая, с которой Безбородко был вполне единомыслен, после 1793 года вновь серьезно задумалась о проблеме сословного представительства, «народоправства»?

Но были и другие, менее глобальные причины.

Связанные с крупнопоместным дворянством дядюшки втайне сочувствовали идее представительной власти хотя бы потому, что лишь с ее помощью можно было сохранить монаршую позолоту екатерининских времен. Екатерина слишком хорошо помнила, чем кончился для ее венценосного супруга конфликт с дворянством, и делала все, чтобы дворяне были довольны. В результате — в 1785 году правящему сословию была дарована Жалованная грамота с набором из 92-х привилегий. В то самое время как формировался хлебный рынок, как в сельское хозяйство стало выгодно вкладывать деньги и появилась возможность остроумных земельных спекуляций (с помощью фиктивных сделок земле- и душевладельцами становились купцы, а в некоторых случаях и разбогатевшие крепостные) — казна неуклонно пустела. К началу XIX столетия внутренний долг России достиг размера трех годовых бюджетов! Любой самовластный преемник Екатерины вынужден был бы

усилить тонкий ручеек государственных доходов, а значит — ослабить поток доходов дворянских. Кому это понравится? Страшила и перспектива новых опал, и плата за былые возвышения; хотелось стабильности. Конституция, ограничивающая монаршую власть (можно сказать иначе — расширяющая власть родовитого дворянства), могла продлить блаженство застоя.

Не этого искали племянники.

Кочубей мечтал о «либертэ, фратернитэ, эгалитэ» без границ. Для него конституционные установления были не столько двигателем прогресса, сколько напоминанием о парижских восторгах; в средствах достижения поставленных целей он — спустя годы ставший одним из самых блестящих практических деятелей русской политики — пока понимал мало; о последствиях задумывался и того меньше.

Кузены Новосильцев и Строганов стремились стать царевыми помощниками (точнее — негласными наставниками и незримыми соправителями; в 1801-м Строганов подготовит для друзей записку «О необходимости нам конституироваться», где прямо скажет: молодому императору «мешают только его неопытность и характер, мягкий и вялый... для того, чтобы иметь на него влияние, необходимо... поработить его»^[66]). Для них выбор был прост — либо Конституция и они как пророки ее, либо самовластье и торжество гораздо более опытных и умелых визирей предшествующего поколения.

Что же до Чарторыйского, то он намеревался идти по конституционной стезе в совсем иные дали; его утопия была конкретна и принципиально достижима. Позже, взяв в свои руки одно из ключевых направлений российской политики — внешнее, он жестче и

откровеннее сформулирует свой план, который «был громаден»:

«...Я твердо верил, что мне удастся примирить стремления, свойственные русским, с гуманными идеями, направив жажду русских к первенству и славе на служение общечеловеческому благу...

Я хотел, чтобы Александр сделался, в некотором роде, верховным судьей и посредником для всех цивилизованных народов мира, чтобы он был заступником слабых и угнетаемых, стражем справедливости среди народов; чтобы, наконец, его царствование послужило началом новой эры в европейской политике, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого».^[67]

Россия, соблазненная благородно-горделивой ролью всеобщей «защитницы слабых» и ведомая Александром, который наделяется правами «верховного судьи», никуда не смогла бы деться от защиты интересов Польши — ибо имелось ли на карте тогдашней Европы более беззащитное государственное образование? Именно (и едва ли не исключительно) ради того, чтобы завоевать положение «стража справедливости среди народов» (то есть чтобы облить разрубленное тело Польши сначала мертвой, а затем живой водой), России и предстояло догнать и перегнать европейское сообщество. Если не в экономическом, то в правовом и военном отношениях. Можно ли говорить о справедливости, торгуя людьми? Можно ли отстаивать чужие права, не имея собственных узаконений?

Иными словами, без конституции не обойтись.

Александр Павлович улыбался настороженной улыбкой глуховатого человека, вяло и ласково кивал головой, выслушивая и первых, и вторых, и третьих. Все верно, все правильно, он сам так думает. Когда же следовали ответные излияния, твердый смысл их

ускользал от собеседников. Каждый раз, записывая в дневник содержание бесед с великим князем, Строганов уточнял: «мне показалось».^[68] Оставалось лишь общее впечатление: республиканизм, свобода, прогресс...

Впечатление — обманчивое.

Умевший, когда было нужно, изъясняться ясно, красиво, четко, цесаревич прибегал к туманным речам, чтобы скрыть намерения, не подлежащие огласке. Пожилые дядюшки и молодые друзья, увлеченные своими конституционными прожектами, не учитывали, что особый прожект мог иметься и у Александра Павловича.

Напрасно. Наследник никогда не открывал своих окончательных целей, прежде чем осуществлялись промежуточные. Так, Адам Чарторыйский, убежденный в том, что Александр ведет дело восстановления Польши по начертанному им, Чарторыйским, плану, в миг высшего торжества своей жизни, в дни принятия Парижской конвенции, будет как громом поражен известием о полной отставке. Он полагал, что все эти годы направлял руку царя, внушал ему благородно-выгодные идеи; царь же продемонстрирует, что это он незаметно использовал Чарторыйского в качестве опытного проводника или как хорошо знающего местность картографа, а восстановленная Польша была ему нужна для решения задач, ничего общего с чаяниями князя Адама не имеющих.

Другой вопрос — что тогда он будет вкладывать в слова «реформы», «конституция», «либерализм»; под какую строительную площадку станет расчищать российские завалы. По крайней мере, сейчас он говорит конституция, а подразумевает отречение; произносит — свобода, а подразумевает уход.

И вновь — его логикой руководит не запутавшийся в определениях разум, а «шестое монархическое чувство». Как ни странно, но это именно оно — а не только естественная для человека его поколения «насыщенность» очищающе-грозовой атмосферой первых лет Французской революции! — радикализует наследника и заставляет толковать в письме Лагарпу о революции и республике, а не о конституционной монархии. Хотя все означенные общегосударственные проблемы были бы ею разрешены. Но в том-то и дело, что конституционно-представительное ограничение самодержавия, вторгшись в сферу практическую, не затронуло бы сферу сакральную. Венчание на царство осталось бы венчанием на царство, помазанничество — помазанничеством, последняя полнота ответственности за страну — последней полнотой ответственности. Поменять «узаконенный» трон на «какой-нибудь уголок» и частную жизнь в довольстве и счастье было бы так же трудно, как покинуть трон «самовластный». Если вообще возможно. По крайней мере, пока общенародная вера связывала с коронацией представление о предызбранности царя и видела в Государе олицетворенную Державу.

Александр Павлович не столько понимал, сколько чувал: пока русское общество в основе своей остается традиционным, единственный религиозно ответственный путь ведет из дворца — в монастырь. Ибо как монах умирает для мира в таинстве пострижения — и может вернуться в мир лишь в образе социально мертвого расстриги, так соборно помазуемый царь умирает для «фермерской» жизни, и — если только он не будет низложен — вправе скрыться из-под сводов дворца разве что под гробовые своды монашеской кельи. (Что, между прочим, доказывал исторический пример Карла V, который задолго до Александра Павловича пытался сомкнуть Европу в

огромное христианское государство, потерпел неудачу и после отречения поселился в монастыре.)

Естественно, чем далее будет разлагаться европейский монархизм, тем чаще будут встречаться отступления от древних установлений; но русские люди той поры — и, соответственно, русские цари — пренебречь ею пока не могли. Даже если уже и хотели. Даже если ум их отчаянно сопротивлялся традиционным постулатам.

И потому «замысливший побег» наследник русского престола попросту обречен был желать республики и никак не мог удовольствоваться конституционной монархией. Для осуществления задуманного ему отныне требовалась такая форма правления, при которой вопрос о «правомочности» или «неправомочности» исхода с трона в житейский покой вообще не встает.

За год, прошедший со времени «фермерской» идиллии, изложенной в письме Кочубею, идея видоизменилась до неузнаваемости, приобрела вид республиканской утопии.

Цель оставалась прежней.

Трон следовало занять, страну следовало обаять, магической силой народной любви следовало претворить страшную царскую власть над страной в сладкую власть над умами, над мнением народным; подвести под достигнутым результатом жирную конституционную черту; и лишь после того оставить ненужный трон, чтобы где-нибудь на берегу Рейна погрузиться в созерцание собственного прекрасного отражения.

«Кто, волны, вас остановил?..»

АВЕЛЬ И ПАЛЕН

Для брата Авеля его тетради были исполнением страшного и скорбного долга; для тех, в чьи руки они попадали, то были козырные карты.

По воцарении Павла графа Самойлова сменил князь Алексей Куракин, в год с небольшим получивший первый чин, первое звание и первый орден империи. Головокружительное возвышение требовало сильных крыльев. Услуживать императору приходилось неустанно. Книга мудрая и премудрая обнаружилась в кабинете Самойлова как нельзя кстати. (Не любимец ли Куракина, служивший в его канцелярии титулярный советник Михаила Сперанский обратил на нее внимание?) Смелого, мужественного, честного христианина, который не утратился всемогущей развратницы, мужеубийцы, похитительницы престола и накликать на нее смерть, немедля предъявили Павлу Петровичу. «Император же Павел принял отца Авеля во свою комнату, принял его со страхом и с радостью и рече к нему: «Владыко отче, благослови меня и весь дом мой: дабы ваше благословение было нам во благое»».

В благодарность за оказанные мистические услуги послушник был отведен в Александро-Невскую лавру и по именному указу царя митрополитом Гавриилом^[69] посвящен в сан инок. Спустя год брат Авель вернулся туда, где началась его иноческая жизнь, — на Валаам, к отцу игумену Назарию.

И тут случилось то, чего никто не ожидал.

Брат Авель ничему не научился из опыта девятимесячного пощения в Шлюшельбургской крепости. Он принялся за старое.

Спустя три года на Валааме была составлена другая книга, подобная первой, и еще важнее; отдал ее брат Авель отцу игумену; тот, показав отцу казначею и

некоторым из братии, отослал правящему архиерею, в Петербург.

«Митрополит же... видя в ней написано тайная и безвестная, и ничто же ему понятна; и скоро ту книгу послал в секретную палату, где совершаются важные секреты и государственная документы».

Как раз в это самое время генерал Пален завершал плетение паутины дворцового заговора; в нитях этой паутины уже начал запутываться наследник престола; ее серебряная вязь коснулась армии и полиции. Тучи над тронном сгустились — все это чувствовали. Опасному сочинению странного монаха вновь дали ход: генерал Макаров, сменивший на боевом посту павшего Куракина, доложил Павлу; Павел разгневался — Авеля снова отправили в крепость; и снова на 9 месяцев 10 дней.

«И был он (Авель. —А. А.) там, дондеже государь Павел скончался, а вместо его воцарился его сын Александр».

Все повторилось, потому что никому не нравится, когда ему предвещают близкую смерть.

ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ

В те самые дни, когда «нового страдальца» Авеля опять отправляли в темницу, великий князь поверял раздумья о своем будущем (и все приближавшемся) правлении дневнику, возвышенно названному «Мысли в разные времена на всевозможные предметы, до блага общего касающиеся». Именно тут, в записи, сделанной между 12 июня 1798 года и 1 ноября 1800-го, читаем:

«Ничего не может быть унижительнее и бесчеловечнее, как продажа людей, и для того неотменно нужен указ, который бы оную навсегда запретил.

К стыду России рабство в ней еще существует. Не нужно, я думаю, описывать, сколь желательно, чтобы оное прекратилось. Но, однако же, должно признаться, сие весьма трудно и опасно исполнить, особливо если не исподволь за оное приниматься. Часто я размышлял, какими бы способами можно до оного достигнуть, и иных способов я не нашел, как следующий.

Первое. Издание вышесказанного указа.

Второе. Издание указа, которым бы позволено было всякого рода людям покупать земли даже и с деревнями, но с таким установлением, чтобы мужики тех деревень были обязаны только платить повинность за землю, на которой они живут, и в случае их неудовольствия могли прийти куда хотят...

3-е, по прошествии времени... можно уже будет издать и третий указ, которым бы повелено было все покупки земель и деревень между дворянами не иметь иначе, как на вышереченном основании... от правительства же будет зависеть подать подражательный пример над казенными крестьянами, которых надобно поставить на ногу вольных мужиков...

Стыд, сие великое орудие, везде, где честь существует, поможет весьма для наклонения многих к тому же. И так мало-помалу Россия сбросит с себя сие постыдное рубище неволи, которым она до сего времени была прикрыта...

Все сие будет иметь двойную выгоду: во-первых, из рабов сделаемся вольными, а во-вторых, исподволь состояния сравняются и классы уничтожатся». [\[70\]](#)

Запись изумительная. В ней заманчиво и странно совмещены принципы Декларации прав человека и гражданина, схемы Платонова идеального государства, реалии русского крепостничества, мечты о всеобщем благоденствии на брэнной земле. Социальные преобразования — средство достижения вселенской

цели; незаметное уравнивание сословий — путь к общечеловеческой гармонии; существование классов — роковая помеха звучанию общественной музыки сфер... «Вы истинный член вашей фамилии: все Романовы революционеры и уравниатели», — скажет Пушкин в 1834 году младшему брату Александра Михаилу Павловичу.^[71] Тот будет не то польщен, не то полуобижен, не то и задет, и польщен одновременно. Это не важно. Важно, что Пушкин угадал скрытый утопический мотив «родового сознания» правящей династии. На меньшее Романовы — по крайней мере до Николая I — были не согласны, а большего и желать было невозможно.

Но на пути к осуществлению этой фамильной утопии стояло одно-единственное препятствие — Россия. Такая, какую Бог ее дал, а не такая, какую хотелось бы иметь в распоряжении. Любое сверхисторическое намерение — от кого бы оно ни исходило, от Петра ли Первого, от Павла ли, — наталкивалось на невероятное сопротивление исторического материала; а поступать подобно Екатерине и затягивать роскошными чехлами многострадальное, изуродованное своей повсеместной неустроенностью Отечество Александр не хотел. Да уже и не мог.

До 1793 года ему действительно могло казаться, что образцом разрешения подобных противоречий между желаемым и возможным, между человеколюбием и прагматизмом станет Франция; что любой тонуций монарх может теперь ухватиться за бычий пузырь конституции и начать уравнивание страны с себя самого; что правда и мир встретятся на дворцовой площади; что король и буржуа облобызаются; что, облобызавшись, они заключат в свои объятия крестьянина и пролетария...

Но в 1793 году выяснилось, что уличные объятия слишком тесны для короля.

И тут мысль наследника русского престола повторила траекторию мысли молодого Лагарпа: если социальный эксперимент неизбежен (иначе — взрыв), а Европа слишком традиционна для экспериментов, то ориентиром должна стать авангардная страна Америка. Не ограниченная притяжением тысячелетнего опыта. Открытая для самого смелого политического творчества. Сумевшая хотя бы в северной своей части освободиться от невольничества, сбросить его «постыдное рубище». И — может быть, это и было для Александра главным — даровавшая не только своим неграм, но и своим правителям права личной свободы, о которых европейские государи не смели и мечтать.

Если бы дядюшки и племянники не были так поглощены собой и внимательнее смотрели по сторонам, они с неизбежностью заметили бы, что пышный фон апрельских коронационных торжеств резко оттенил для Александра мартовское известие о скромном уходе Джорджа Вашингтона с поста президента Соединенных Штатов.

Вашингтону, который после праведных и до смерти надоевших ему трудов президентских уединился в вирджинском поместье, чтобы начать счастливую жизнь частного человека, невозможно было не завидовать. Судьба президента разительно отличалась от страшного финала «монаршей карьеры» Людовика, или Густава III Шведского, убитого в 1792 году, или Петра III; она так восхитительно совпадала с упованием Александра на обретение царственной свободы от царской ответственности, что не могла не вдохновлять. Не могла не подтолкнуть одну потаенную идею навстречу другой; не могла не сблизить перспективу ухода с республиканской — или по крайней мере конституционной — перспективой, некогда намеченной

Лагарпом. (Тем более что Америка вступила на «президентскую» стезю в том же самом году, в каком Франция вступила на стезю революционную, и сколь разными оказались там и тут результаты преобразований 1789 года!)

До сих пор эти идеи существовали порознь; Александр поочередно играл в «частного человека» и потенциального «республиканца на троне»; теперь прямые сошлись и обрели реальность. Президентство — форма личной власти, ограниченной не пространством, но временем; ее противопоставленность монархии тогда ощущалась еще очень остро. Президент не освящен церковно, не миропомазан, не богоизбран; ему достаточно произнести человеческую клятву на Божественной Библии. Зато он служит народу строго определенный срок и затем может уйти — на волне успеха и любви. Против него не строят заговоры с целью устранения — зачем, если через четыре года он сам избавит всех от своего присутствия? (До убийства Авраама Линкольна было еще очень далеко.)

Будущий русский царь не мог не оглядываться на бывшего американского президента. Умозрима Россия грядущих александровских времен не могла не уподобиться Америке. Алогична логика зигзагообразного хода Александровой мысли, лишь по видимости либеральной. Российской империи не только для того нужно перейти от монархии к президентской республике, ввести конституцию, отменить цензуру, чтобы страна была напоена воздухом свободы, но и воздух свободы следует допустить в ее пределы, конституцию — принять, а цензуру — ослабить, чтобы царь получил привилегии президента и освободился от пожизненного креста венчания на царство. От полной, последней, мистической ответственности за свои действия. И если всерьез принимать «брачную» метафору (а только всерьез и следует ее принимать),

обрел право развода с обручаемой ему страной. Из уст в уста передавалась фраза, брошенная великим князем: «Мы с женою спасемся в Америке, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат».

Эти завистливые оглядки на американского президента чередовались с тревожными взглядами в сторону Наполеона. Корсиканец рвался из диктаторов в императоры, стремился к тому, что Александру принадлежало по праву рождения: к бессрочной власти. Недаром, когда в 1802-м Наполеон объявит себя пожизненным консулом, это вызовет крайне болезненную реакцию русского царя. Он думал, что ответом на Французскую революцию должна стать «президентизация» Европы; Европа предпочитала отвечать абсолютизацией самозванца.

Но то будет в 1802-м. Пока же на дворе 1797-й.

ГОД 1797. Июнь. 6.

Учреждена Комиссия о снабжении резиденции припасами, распорядке квартир и прочих частей, до полиции относящихся.

Наследник — ее Президент.

ОТЕЦ И СЫН

Павел Петрович, подобно «дядюшкам», подобно «молодым друзьям», подобно сыну, мучительно искал точку опоры, способную вернуть перевернутое революциями бытие в исходное положение; но в отличие от них ясно сознавал, что на ближайшее окружение, на «Двор» надежды нет. Поэтому через голову дворянства он безмолвно апеллировал к простонародью, совершая поступки и делая политические жесты, с точки зрения аристократа —

безумные, с точки зрения обывателя — благие. Едва ли не впервые в новейшей русской истории он пытался разрушить незримую стену, отделявшую русских царей от их необозримого царства; пробовал достучаться до сердец «обычных» подданных, породить стихию гражданственности, вне которой немислимы серьезные реформы — крепостные ли, конституционные ли...

Он нещадно гнал проворовавшихся вельмож, ограничивал барщину; желал добра своему неведомому народу.

Он узаконил престолонаследие, вникал в тонкости конституционных проектов. Революционному хаосу безначалия императорская Россия, Россия павловская ответила гармонией легитимности.

Во многом ради этого царь намеревался высочайшим указом отменить тысячелетнее разделение церквей и ввести их единство в России под протекторатом папы Римского. В день своей безвременной кончины Павел Петрович должен был подписать указ «о соединении всех», подготовленный иезуитским патером Грубером, который прибыл в Россию в 1798 году. Главный организатор безвременной кончины государя, граф Пален патера Грубера с докладом к Павлу не допустил; вполне возможно, что сделал он это не из любви к ортодоксии, а из опасения доноса; тем не менее...^[72]

Но план «идеологического» переустройства России не имел — и не мог иметь — твердо очерченных границ, он имел лишь зыблущиеся очертания. Как если бы пылающий за историческим горизонтом грандиозный костер отбрасывал из будущности в настоящее величественные пляшущие тени.

Но на место старых воров тут же приходили новые и начинали воровать с утроенной энергией — чтобы успеть до очередной смены вех.

Но малороссийские холопы до указа о трехдневной барщине работали на пана два дня в неделю, и сердечный указ государя был по отношению к ним бессердечен.

Но от добра добра не ищут. Но царь слишком нервничал.

ГОД 1799. Февраля 18 дня.

Запрещается танцевать вальс.

Апреля 2.

Запрещается иметь тупей, на лоб опущенный.

Мая 6.

Запрещается дамам носить через плечо разноцветные ленты на подобие кавалерских.

Июня 17.

Запрещается всем носить низкие большие пукли.

Июля 28.

Чтоб малолетние дети на улицу из домов выпускаемы не были без присмотра.

Августа 12.

Чтоб те, кто желает иметь на окошках горшки с цветами, держали бы оные по внутреннюю сторону окон, но если по наружную, то не иначе, чтоб были решетки, и запрещается носить жабо. Чтоб никто не имел бакенбард.

Сентября 25.

Подтверждается, чтоб в театрах сохранен был должный порядок и тишина.

Сентября 28.

Подтверждается, чтоб кучера и фореитора ехавши не кричали.

Россия не попадала в подвижные контуры намеченного для нее царем нового образа, как в прыгающие рукава. Европа от ужасов революционного безначалия спастись не желала. Источник остро переживаемых неудач по усовершенствованию бытия Павел искал вне себя, вокруг себя. Он посещал сектаторов, с трепетом вслушивался в их пророчества. Он искал сердечного убежища; возводил Михайловский замок, призванный сакрально оградить его от родовой болезни Романовых — склонности к взаимоустранению; приказывал генералу Римскому-Корсакову доставить с фельдъегерем в Россию президента Швейцарской директории Лагарпа — для отправки в Сибирь...

ГОД 1799. Май. 26.

Вознесение Христово.
Москва.

В семье отставного майора Сергея Львовича Пушкина и жены его Надежды Осиповны, урожденной Ганнибал, рождается сын, названный Александром.

Июнь. 8.

Младенец Пушкин крещен в церкви Богоявления в Елохове.

В свою очередь, Александр отца не любил и боялся, его ретроспективную утопию отвергал, и впоследствии, в 1800–1801 годах, стал косвенным участником антипавловского заговора. Но именно — впоследствии. Поэтому переоценивать степень реальной оппозиционности великокняжеского кружка не следует: [73] даже фронда «кружковцев» была изысканно-вежливой, а переводы западноевропейских экономистов и философов, ими затеянные, или журнал «Санкт-Петербургский вестник», с конца 1797 года выпускавшийся отцом будущих декабристов А. Ф. Бестужевым на деньги наследника, могли быть (и, очевидно, были) воспринимаемы двояко.

Да, журнальный эпиграф «*Qu'est difficile d'être content de quelqu'un*» («как трудно быть кем-нибудь довольным») звучал смело.

Да, строки стихотворения «Время», значимо открывавшего первый номер, — «Все кончиться должно, всему придет чреда» — при желании могли быть расценены как вызов.

Да, фонвизинские «Письма из Парижа», переводы из Гольбаха и Верри («Рассуждение о государственном хозяйстве») могли быть истолкованы как заявка на идеологическую «инакость».

Но ведь могли быть и не истолкованы, могли быть восприняты и как вполне лояльное расширение теоретических горизонтов павловских реформ, как

выражение сочувствия непонятому страной царю-реформатору, как знаки надежд на завершение тяжких для России времен.

В любом случае официально допустимая мера легальной оппозиционности, опытным путем определенная еще Екатериной, отнюдь не была превышена. А предложение Строганова выставить в церкви чудотворную икону с надписями, порицающими действия правительства,^[74] не имело целью вызвать народную смуту. (Смут члены кружка справедливо опасались.) То был типовой этикетный жест, никакого отношения к сверхисторической перспективе он не имел и с идеей перенесения мощей убиенного царевича Димитрия из Углича в Москву сопоставлению не подлежал.

Когда, уже после убийства Павла Петровича, Александр замедлит с удалением убийцы, Палена, Мария Феодоровна тоже выставит в часовне Воспитательного дома икону, в надписях на которой можно будет усмотреть намеки на цареубийц. Выставит — не для того, чтобы призвать Божий гнев на Палена, не для возбуждения толков, но с единственной целью — напомнить сыну, что ему предстоит выбор между властной матерью и вождем заговора и что для начала не худо было бы явиться в Павловск на переговоры. Отраженный свет выставленной в часовне иконы через систему придворных зеркал мгновенно достигнет молодого царя; 13 июня 1801-го он явится в Павловск, утром следующего дня будет спокойно работать с Паленом в своем кабинете, чтобы вечером без объяснений передать через А. Д. Балашева повеление отправляться в остзейские губернии. (К слову, так впервые будет опробован коронный — коронованный! — прием Александра по внезапному удалению влиятельнейших придворных.)

Так что настоящая угроза павловскому правлению исходила не из сердцевины великокняжеского кружка, а из сердцевины самого великого князя. Заводя речь об этом, мы вступаем в опасную область ничем не подтверждаемой гипотетичности, поскольку помыслы такого рода (как вообще все самое интересное и важное в истории) не документируются и не поверяются даже конфидентам. Но ошибиться лучше, чем уклониться от обсуждения важной темы. Кроме того, мы догадываемся о смене вех, произошедшей в Александре от 1796 к 1797 году; кое-что знаем о его «практической деятельности» 1800–1801 годов и можем вычислить недостающее звено моральной и идеологической эволюции наследника. (Или деградации — кому как будет угодно.) То есть найти ответ на страшный вопрос: каким образом всего за четыре года из принца крови, готового ввести республику, лишь бы не царствовать, получается заговорщик, готовый к невольному пролитию крови, лишь бы поскорее воцариться?

Ответ будет краток: черная дыра властолюбия буквально всосала в себя Александра Павловича. И первый шаг в направлении к ней он сделал уже в 1796 году, когда, казалось, был предельно далек от желания властвовать.

Вернемся еще один — и последний — раз к цитированным письмам великого князя Кочубею и Лагарпу о перспективе ухода.

Естественно, их нельзя читать глазами людей XX века; великокняжеские послания нужно просеивать сквозь сито эпистолярных норм той эпохи — понимая, что и тема, и стиль, и образный ряд отражают внутренний мир адресата полнее и ярче, нежели замысел самого пишущего. С нежным юношей Кочубеем полагается играть в пастораль, беседовать об изучении природы в обществе друзей, делиться возвышенным

намерением отречься от неприглядного поприща. С наставником Лагарпом, мужем, преисполненным римских добродетелей и республиканских идей, следует беседовать о вещах более важных, изъясняться строго, не примешивая излишнюю чувствительность и как бы давая отчет в государственных планах, расчисленных по календарю. Одному уместнее поведать о рейнской ферме, другому — о парламентской демократии; обоим — о беспорядке в управлении, обиженном хлебопашце и униженном труженике. Открываться до конца и напрямую не полагается никому.

Но это не значит, что эпистолярный не содержит личных переживаний и выстраданных идей; они образуют сгусток смыслов, остающихся после вычитания общих мест и прециозных стилистических жестов. Так вот, в осадок «кочубеевского» письма выпадает мысль об отказе не от власти как таковой, но от власти как средоточия опасностей, властителю грозящих. От риска не справиться с единоличным управлением неупорядоченной империей; от страха не выдержать напряжение пожизненного труда по ее упорядочению. Именно цена самодержавности смущает потенциального самодержавца; именно непосильный груз личной ответственности останавливает его. Страх этот вполне естествен и оправдан; вряд ли мы найдем в истории хотя бы одного вменяемого наследника, которому он не был бы знаком. Но страх не может, не должен довлеть всему; одолевая его, престолонаследник проявляет доблесть самопожертвования и получает моральное право властвовать над своими подданными.

Ради пущего контраста нарушим хронологию, сопоставим «манифест об отречении» образца 1796 года с попыткой обменять трон на тихое счастье

домашней жизни, какую спустя семьдесят лет предпримет другой великий князь, другой Александр.

До 1865 года один из сыновей Александра II, Александр Александрович, и не предполагал, что ему предстоит войти в русскую историю под именем Александра III, — и наслаждался платоническим романом с юной фрейлиной, княжной Мещерской. Мимолетное увлечение постепенно перерастало в серьезное чувство; князь уже обдумывал семейственную перспективу, как вдруг 12 апреля 1865-го его старший брат, цесаревич Николай Александрович, скончался в Ницце от менингита. Роковое право занять трон, неотделимое от роковой обязанности принять на себя все матримониальные (то есть брачные) ограничения, обрушились на двадцатилетнего Александра. В дневнике своем он записал:

«Все сожалели и сожалеют Отца и Мать, но они лишились только сына, правда, любимого Матерью больше других, но обо мне никто не подумал, чего я лишился: брата, друга и что всего ужаснее — это его наследство, которое он мне передал... Может быть, я часто забывал в глазах других мое назначение, но в душе моей всегда было это чувство, что я не для себя должен жить, а для других; тяжелая и трудная обязанность. Но: «Да будет Воля Твоя, Боже»». ^[75]

А лишался он ни много ни мало надежды на личное счастье. Уже по весне 1865-го было затеяно сватовство Александра и датской принцессы Дагмар, необходимое для соблюдения правила о морганатических браках и внеположное сердечному влечению «брачующихся». Роман с Мещерской, разом обретший остроту безнадежности, разгорался, как чахоточный румянец. Влюбленные постоянно говорили о том, «как тяжело жить ей на свете» и как он «завидует... милому брату,

который больше не на этой неблагодарной земле». Но в апреле 1866-го слух о «неканоничной» влюбленности Александра просочился во французскую печать, а в мае великому князю назначено было ехать в Данию — к невесте. Тогда-то, смятенный, он поверил дневнику то же самое намерение, какое поверял Кочубею весной 1795-го его восемнадцатилетний двоюродный Дед.

«...Может быть, будет лучше, если я откажусь от престола. Я чувствую себя неспособным быть на этом месте, я слишком мало знаю людей, мне страшно надоедает все, что относится до моего положения... Это будет страшный переворот в моей жизни, но если Бог поможет, то все может сделаться, и может быть, я буду счастлив с Дусенькой и буду иметь детей».

Самая манера излагать мысли, сплестать слова словно передалась Александру Александровичу по наследству от Александра Павловича; но чем более близки «положения», тем разительнее несходство «лиц». Оба, предок и потомок, тоскуют о счастье «тихого и безмолвного жития», что неизбежно рухнет под тяжким царским бременем; оба мечтают избежать этого крушения, оба ищут «уважительную причину». Однако в письме Кочубею двоюродный дед толкует о силе обстоятельств, о внешних условиях, которые не позволят ему единолично управлять страной (подразумевается, что с этой задачей не справился бы и самый совершенный государь). Логика пассажа такова: я уклоняюсь от неприятного поприща потому, что оно меня недостойно. Внучатый племянник рассуждает принципиально иначе: я неспособен быть на этом месте; я не знаю людей; главный его посыл — собственное несовершенство. И пусть, как было уже сказано, за этим самообличением стоит неназванная причина: Мария Элимовна Мещерская; пускай очевидно, что князь выговаривает у своей совести право на отказ от державного служения ради романтической любви и

частного покоя; все равно: избранная им тактика самозащиты разительно отличается от той, что семьдесят лет назад выбрал Александр Павлович.

Разительно отличается и финал борения с самим собою.

19 мая 1866 года состоялось решительное объяснение наследника с отцом; разгневанный Александр II обронил тогда чрезвычайно важную фразу: «...что я по своей охоте на этом месте, разве так ты должен смотреть на свое призвание, ты, я вижу, не знаешь сам, что говоришь, ты с ума сошел».

Какими бы противоречивыми ни были Николай I и его ближайшие потомки, какие бы ошибки (и даже гадости) они ни совершали по своей человеческой немощи, — но они воспитывались в ином духе, в иных правилах, нежели Александр или Константин Павловичи. Они прошли суровое и очень важное для династии испытание декабрем 1825 года. Они предчувствовали надвигающуюся революцию, хотя и представляли ее себе весьма наивно (великие князья Константин и Сергей Александровичи в 1879 году будут всерьез обсуждать, можно ли будет им остаться в России, «если у нас будет революция»).[76] Они, в большинстве своем, тоже не разбирались в богословских аспектах проблемы монархии. Зато ясно понимали: царское дело — если относиться к нему честно — требует полного самопожертвования и предполагает если не христианское смирение, то по крайней мере римский стоицизм...

Трогательна сцена прощания Александра с Марией: «29 мая... В Лицее встретился с М. Э., которая шла к себе. Я ей сказал, что постараюсь после зайти к ней. Но она сказала, что это может быть не удастся и лучше теперь проститься. Я совершенно был согласен, и мы зашли в одну маленькую комнату. Решительно никого

не было во всем этаже, и он всегда пуст. Там она бросилась ко мне на шею, и долго целовались мы с нею прямо в губы и крепко обняв друг друга. Она мне сказала, что единственного человека, которого она любила в своей жизни, это меня... Я взял ее руку и поцеловал. Потом еще немного поговорили, и оба были в сильном волнении. Здесь я в первый раз увидел, что значит любовь женщины и как она может любить...»

Тяжкий выбор был сделан за них; но приняли этот выбор как крест, пережили этот удар — именно они. В начале июня яхта «Штандарт» отчалила от Петербургского причала, а 17 сентября Федор Тютчев написал стихи на проезд принцессы Дагмар в Россию:

Небо бледно-голубое
Дышит светом и теплом,
И приветствует Петрополь
Небывалым сентябрем...

Словно строгий чин природы
Уступил права свои
Духу жизни и свободы,
Вдохновениям любви...

Небывалое доселе
Принял вещий наш народ,
И Дагмарина неделя
Перейдет из рода в род. [\[77\]](#)

Царствование Александра III будет исполнено как вдохновляющих свершений (при нем экономика России вступит в период бурного подъема; строй ее государственной жизни наконец упорядочится, насколько это возможно), так и самых горьких ошибок. Произойдет окончательное взаимоотношение власти и

неправительственной интеллигенции; либеральные реформы, начавшиеся при убиенном Александре II, будут свернуты как раз тогда, когда они начнут приносить плоды; чиновничество «поставит» на квасной патриотизм охотнорядцев... Далеко не все испытания Александр III будет переносить с тем же мужеством, с каким перенес он первую любовную разлуку; слишком часто станет он прибегать к испытанному русскому лекарству — и ему даже припишут изобретение специальной плоской фляги, которую удобно прятать от жены за голенищем армейского сапога... Так что не о том речь, будто само по себе «неискаженное» монархическое сознание, сам по себе стоицизм гарантируют наследнику благое правление и праведную жизнь; речь только о том, что без этого править великой империей тяжело, а не оступить — почти невозможно. И о том, что будущий монарх, «приносящий жертву на алтарь Отечества», — прекрасен в своей высокой трагедии, как прекрасен любой человек, встающий над обстоятельствами.

Что же до Александра Павловича времен письма Кочубею, то он демонстративно отказывается вставать над обстоятельствами — и словно предлагает Истории избавить его от этих самых обстоятельств. В следующем, от сентября 1797-го, послании, адресованном Лагарпу, он уже прямо описывает приемлемую для себя модель власти: его монаршая роль ограничится приуготовлением условий для чужой деятельности; не он, а конституированные парламентарии займутся тяжким и рискованным устранением «непорядков» Империи; на таких условиях он согласен занять трон.

И этот шаг разом «удомашнивает» звериную стихию власти, лишает ее образ пугающих, грозных черт. Власти можно более не страшиться, и почему бы не поддаться ее обаянию, почему бы не поиграть в нее?

Почему бы не помечтать о далеком триумфе, когда «подготовительные работы» завершатся, нация изберет представителей и проводит своего коронованного благодетеля на заслуженный покой, заменив ему любовью и восхищением те чувства и переживания, какие царям давно прошедших времен давало сознание личной харизмы?

Мы-то понимаем почему. Потому же, почему нельзя пускать продрогшую лису погреться в заячий домик. Потому что и более сильные люди, чем Александр Павлович, не могли устоять перед властью власти. Тем более если ее сладость не уравновешена горечью самопожертвования, ее размах не ограничен личным смирением, а ее «богоподобие» не обеспечено глубиной личной веры.

БРУТ И АЛЕКСЕЙ

По дворцовой легенде, Павел как-то заметил на столе сына книжку о Бруте; в ответ он послал ему историческое сочинение о непослушном царевиче Алексее Петровиче.

Диалог...

В действительности же вплоть до середины 1799-го Павел Петрович спокойно поглядывал в сторону сына. Даже когда ниточка одного из заговоров 1798-го от фаворитического семейства Зубовых потянулась к великому князю и его кружку, ревнивый монарх не дал хода документам, легшим ему на стол. Он куда больше — и справедливо! — страшился тогда козней возлюбленной жены, Марии Феодоровны, и подконтрольного ей «нелидовского» кружка. [\[78\]](#)

И если бы не полубезумный донос полковника Батурина (которому великокняжеский кружок зачем-то доверил некоторые из своих проектов) о намерении

заговорщиков превратить Сибирь в новую Вандею; если бы не совпавшая с доносом по времени публикация свидетельств сговора отца бедной Елизаветы Алексеевны с вождями Французской республики — кружок не был бы разметан по четырем концам света; издевки над сыном не превзошли бы обычной меры. А главное — не возникла бы реальная угроза новым царственным упованиям Александра Павловича и при Павле Петровиче не появился бы юный принц Евгений Вюртембергский. Насколько были справедливы слухи о готовности Павла совершить то, что не удалось Екатерине, переназначить наследника по своему усмотрению, сломать принцип — им же закрепленный! — престолопреемства, превратить российский трон в частную собственность русского царя — неизвестно. И не столь важно. Даже если монарх дразнил сына, грозил ему: «Ужо тебе!» — все равно, сын не мог до конца быть уверен, что дерзкая затея не осуществится. Он и сам, благодаря Екатерине, чуть было не стал участником схожей интриги; он и сам не понимал, что самовластное распоряжение «царской вакансией» не дозволено даже царю; он и сам спустя годы и годы подпишет юридически двусмысленное распоряжение о передаче скипетра и державы младшему брату Николаю — через голову брата Константина, как бы прижизненно завещает империю...

ГОД 1799. Август. 12.

Адам Чарторыйский отправлен посланником к Сардинскому королю.

Август. 22.

Конфискованы имения Валериана Зубова.

Октябрь. 29 / Ноябрь. 9 / Брюмера. 18. Париж.

Генерал Бонапарт разгоняет депутатов, чтобы назавтра объявить себя консулом республики. Октябрь — декабрь. Санкт-Петербург.

Цесаревич назначен сенатором и к присутствию в Сенате.

А. А. Аракчеев — пожалован в генерал-квартирмейстеры.

Кочубей отправляется на жительство в свое имение Диканьку, чтобы в мае следующего года отбыть за границу.

К несчастью, именно тогда, в 1799-м, в год рождения Пушкина, окончательно созрел последний из череды дворцовых заговоров XVIII столетия. Н. Я. Эйдельман, гениально реконструировавший ход тогдашних событий, вычерчивает такой сюжет. [\[79\]](#)

Осенью 1799 года, после череды оглушительных итальянских побед Суворова, самовластное положение Павла в государстве окончательно укрепилось. Стало быть, долговременная тактическая борьба царя с дворянской олигархией близилась к счастливому для него завершению. Еще несколько лет — и шансов у противной стороны не осталось бы. Нужно было спешить. Нужно было решаться — пока оставалось шатким положение царя в его собственном доме.

В это самое время из Берлина вернулся тайный советник Никита Петрович Панин; вскоре он стал вице-президентом коллегии иностранных дел. Панин был сторонником русско-английского союза, подобно русскому послу в Лондоне Семену Романовичу Воронцову и вопреки своему непосредственному начальнику Федору Ростопчину (который вел, однако,

дружескую переписку с Воронцовым). Павел же — под влиянием Ростопчина — был убежден в противном. Шаг за шагом он шел на сближение с послереволюционной Францией, а значит — в направлении к войне с Англией. Русские англomаны были крайне недовольны. Так представления Панина об интересах России неожиданно совпали с интересами английского посла Витворта к этим представлениям. И, возможно, с лондонскими субсидиями. [\[80\]](#)

С другой стороны, Павел имел неосторожность покуситься не просто на придворную роль, но и на имущественные привилегии всесильного семейства Зубовых. В особняке Ольги Александровны Жеребцовой (урожденной Зубовой), который по случайности был расположен как раз на Английской набережной, вызревали мечты о реванше. Очевидно, именно Жеребцова сомкнула цепь заговорщиков: Панин — Витворт (дипломатическое звено) — Зубовы (аристократическое звено) — адмирал Иосиф де Рибас (клиент Зубова) — Иван Муравьев (человек Панина) — генерал Петр Пален (представитель клана екатерининских вельмож, веселых циников минувшей эпохи, жаждавших сословного благоденствия и политической предсказуемости).

9 мая 1800 года состоялись похороны великого полководца Суворова, незадолго до смерти отставленного Павлом, униженного и оскорбленного. Царь, который именно Суворову был обязан устойчивостью своего монаршего положения, не считал нужным лично воздать почести покойному. Между тем похороны генералиссимуса вызвали немислимое стечение народа; равнодушие царя оскорбило не только память старого воина, но и гражданские чувства собравшихся — казалось, весь город рыдал, погребая «мужа, в свете столь славна».

Благодаря павловской ревнивой бестактности заговорщики получили подпору снизу, в обществе; опору сбоку, в «жировом слое» нации, аристократии, они имели изначально.

Лишь один пункт вызывал разногласия товарищей по несчастью. Коренной русак Панин был европеец. Он был просвещен. Он хотел свергнуть царя гуманно. Пронырливый пруссак фон дер Пален был вполне россиянин. Он был жизнелюб. Он знал, что без крови не обойтись. Но панинская гуманность до поры до времени ему не мешала: очевидно, он с самого начала рассчитал, что ее можно будет использовать в интересах дела.

Так причина и повод роковым образом совпали; так угроза властолюбивым мечтаниям наследника срифмовалась с угрозой дворянской вольнице, а разгром великокняжеского кружка освободил вельможным искателям дорогу к одинокому царевичу. Выбрав минуту, в русской бане, где человек наг телом, а поэтому открыт душой, и где густые пары и малиновый жар создают подходящую inferнальную атмосферу, к Александру с осторожной речью обратился Никита Панин.

Из долгого путаного разговора о международном положении и страданиях России, о конституционной перспективе, неотделимой от нужд прогресса, наследник мог вывести для себя одно: жизненную схему придется усложнить. На пути к итогу — частному счастью всеобщего кумира — необходимо сделать еще один шаг: отстранить отца. Конечно, мирно, конечно, бескровно. Но — отстранить. Иначе отец сам может устранить сына. И уклончивый великий князь, сын человеческий, решился заплатить необходимую цену. Он, по словам графа Палена, о заговоре «знал — и не хотел знать»; он надеялся все сделать чужими руками; однако он не произнес ясное и недвусмысленное — нет.

ВЕК тот же. ГОД 1800. Октябрь — ноябрь.

Настроенный на бескровный вариант переворота Панин выслан из столицы.

Склонный к кровопусканию Пален приближен к особе императора. С конца октября он вновь становится петербургским генерал-губернатором. Реальная власть в столице империи принадлежит ему.

Под покровом особенно мерзкой, промозглой, гнилой осени 1800 года в столице Российской империи вовсю творилось темное дело.

Ползли распущенные недоброжелателями слухи: царь хочет отдать Грузию мальтийским кавалерам... Чуть позже пойдут разговоры об умопомрачении Павла, отправившего казаков в поход на Индию; о том же, что план разрабатывался совместно с Наполеоном, равно как и о давних планах Екатерины воевать берега Ганга и Персидском походе Петра, как-то забывалось.

Пален подкупал преданного Павлу бывшего брдобрея графа Кутайсова, чтобы тот помог вернуть в столицу братьев Зубовых.

Он же вымаливал у императора прощение отставленным от службы, чтобы толпа ищущих царской милости вынудила Павла нарушить данное им слово и стала питательной средой массового недовольства.

ГОД тот же. Декабрь. 2.

Внезапно умирает участник набирающего силу заговора бывший губернатор Одессы де Рибас; по столице ходят слухи, что он отравлен графом Паленом (из опасения, что проболтается?).

Привлекались новые сообщники — генералы Леонтий Беннигсен, Талызин (командир Главного

гвардейского полка), Леонтий Депрерадович (командир Семеновского полка); утрачивались старые.

С января пошла вербовка «среднего» офицерства.

ГОД 1801. Январь. 1. «Календарное» начало XIX столетия.

Территория России: 17,4 млн кв. км.

Армия: 413,5 тысячи человек.

Офицерство: 15–16 тысяч.

Население: 37,4 млн (данные Вревизии 1795 года).

Дворяне: 726 000 (1,94 %).

Духовенство: около 220 000.

Горожане: 1 500 000.

Крестьяне: 32 600 000. Из них помещичьих 19 600 000. Казенных — 13 000 000.

Общая сумма государственных доходов (по данным на 1796 год): 73,1 млн руб.

Общая сумма государственных расходов: 78,2 млн руб. Из них: 11,2 % на императорскую фамилию, 37,4 % на армию и флот, 47,9 % на внутреннее управление, 30,2 млн руб. на госаппарат.

Налоги. Подать и оброк — 24,7 млн руб. Косвенные налоги (на вино и соль) — 27,2 млн руб. Доходы от горно-заводской промышленности и внешней торговли — 12 %.

Дефицит бюджета: хронический. Государственный долг равен трем годовым бюджетам. [\[81\]](#)

Далее события принимают необратимый характер.

Единственный верный Павлу приближенный, Ростопчин, становится жертвой собственной интриги и сначала лишается доверенности императора, а 20 февраля и вовсе «по прошению уволен от всех дел»;

часть этих дел передана Палену;

отношения Павла с Марией Феодоровной ухудшаются до того, что повсеместно распространяется слух о готовящемся развенчании брака;

любезные агентки Павлова союзника Наполеона, мадам Шевалье и госпожа де Боннейль, аккуратно стравленные Паленом, вопреки их собственным намерениям и жестким инструкциям начальника французской тайной полиции Фуше, работают друг против друга и совместно — на заговорщиков (стало быть, и на Британскую корону);

Пален на несколько дней попадает в опалу, но при содействии Кутайсова из нее выбирается;

9 марта Павел интересуется у Палена, знает ли тот о готовящемся заговоре; от неожиданности столичный генерал-губернатор решается на единственно спасительную дерзость — он признается, что не только знает о заговоре, но и сам в нем участвует, чтобы выведать имена заговорщиков и пресечь зло в корне, — Павел верит;

в тот же день Пален имеет решительное объяснение с наследником;

Александр уговаривает отсрочить переворот до 11 марта, когда будет дежурить третий батальон Семеновского полка, преданный цесаревичу, предающему отца.

...Можно долго рассуждать о том, что стало главной причиной переворота: падение ли Зубовых и посягательство на права дворянства; «французский» ли вектор внешней политики Павла; катастрофическое ли неумение царя щадить самолюбие приближенных и создавать доверительную атмосферу в семье.

Можно размышлять над тем, какую роль сыграло раздражение высших церковных иерархов самочинным «плановым руководством» судьбами христианства на Руси (вмешательство в самый строй церковной жизни они снесли бы скорее, чем покушение на эсхатологию).

Можно — справедливо! — сетовать на то, что Павел, отказавшись в неприкосновенности сохранить пышный екатерининский застой, не увлек дворян новыми идеями, сулящими им выгоду; что, замыслив совместный с Наполеоном поход на Индию и непосредственно вторгшись в сферу государственных интересов Англии, он нарушил «закон расширения» границ Российской империи, которая не имела опыта и традиции колониальных войн, наращивала свой объем за счет экспансии; что тем самым подтолкнул Лондон к финансовому соучастию в заговоре...

Главное же — по крайней мере для нашего сюжета — состоит в том, что ничего бы не произошло, если бы воля к власти, воля к собственной государственной мечте не оказалась в уклончивом Александре сильнее воли к чести и долгу.

ГОД 1801. Март. 11. Санкт-Петербург. Вечер.

Стол на 16 кувертах. Отужинав и посмотрев в зеркало, Павел произносит: «Странное зеркало, я вижу в нем свою шею свернутой».

По слухам, в столицу вызван генерал Аракчеев, то ли задержанный при въезде в нее по распоряжению Палена (версия Аракчеева), то ли предусмотрительно задержавшийся без посторонней помощи.

Ночь с 11 на 12 марта. 1-й час пополуночи.

Пален извещает наследника о скоропостижной кончине Павла I и с трудом уговаривает его обратиться к войскам Преображенского и Семеновского полков.

Лейб-медик Яков Виллие многоразличными косметическими средствами устраняет на лице покойного государя следы скоропостижной кончины.

«Быть выше их [законов], если бы я мог, но конечно бы не захотел, ибо я не признаю на земле справедливой власти, которая не от закона бы истекала».

(Александр I Голицыной.)

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

*(Александр Пушкин. Вольность. Ода.
1817 год.)*

АВЕЛЬ, ГДЕ ПАВЕЛ?

Мы не знаем, дошел ли до Александра слух об Авелевом пророчестве до 11 марта, или тетрадочку ему поднесли, когда он уже стал русским царем. Не приходится сомневаться в одном: Александр I Павлович нашел в «премудрой книге» источник некоторого душевного облегчения. Подобно многим полурелигиозным людям, молодой царь был непоследователен: его вера прекращалась там, где приходилось делиться с Провидением священным правом поступать по своему усмотрению; его неверие заканчивалось там, где начиналась ответственность за роковые шаги. Зачем сопротивляться ходу вещей, если все и так предрешено свыше? О какой вине может идти речь, если Рок судил именно так, как произошло? Царю вряд ли пришелся бы по душе историософский пассаж его младшего — намного, намного младшего — современника Александра Пушкина: «Не говорите: Иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то

историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра».

Однако награждать «алгебраического» прорицателя новый государь не стал. Во-первых, Павловы награды все равно не защитили трон от неприятных пророчеств брата Авеля; во-вторых, к исполнению предначертанного Авелем Александр имел некоторое отношение.

Вскоре Авеля отправили на Соловки.

«И был он на свободе один год и два месяца, и составил еще третью книгу; в ней же написано, как будет Москва взята и в который год. И дошла та книга до самого императора Александра. И приказано монаха Авеля абие заключить в Соловецкую тюрьму, и быть ему там дотоле, когда сбудутся его пророчества самую вещь».

Здесь брат Авель провел 10 лет и 10 месяцев, «десять раз был под смертью, сто раз приходил во отчаяние; тысячу раз находился в непрестанных подвигах, а прочих искусов было отцу Авелю число многочисленное и бесчисленное».

Вставной сюжет. БЕДНЫЙ ЖАК (к истории романса)

Трогательный романс «Бедный Жак» поет вся Европа. Но повод к его сочинению еще более трогателен.

Сестра французского короля Елисавета получила от него маленький скромный подарок — прекрасный сельский дом в Мотреле (ныне — курорт Монтре в Швейцарии). В свою очередь Елисавета прикупила поблизости домик для своей любезной воспитательницы баронессы Мако и ее дочерей —

маркиз Бомбель и Соси. Как сердце добродетельной Принцессы наслаждалось в Монреле любезною натурою и дружбою, и как ничтожны казались ей все хитрости, все пустые разговоры Двора! Но разве может быть полным наслаждение Швейцариєю без мирных трудов поселенских? Елисавета изъявила желание иметь Швейцарских коров вместе со Швейцарскою пастушкою. Выбор пал на Марию. Потому что она была прекрасна и невинна, как большая часть горных пастушек. Елисавета не ведала, что на осьмнадцатом году Мария узнала любовь и с радостию отдала свое сердце Жаку, молодому пастуху. Что слезы умиления текли по розовым щекам ее, когда собирала она букеты для милого Жака. Что потом они сидели рядом и всякое слово их было вдохновением невинности.

Но печаль юной пастушки заметила многоопытная г-жа Бомбель. Она все выпросила, со всеми поделилась вестью, и г-жа Таване, соединяя с редкою любезностию редкие таланты, сочинила вышеупомянутый романс. Пастушка выучила прециозный напев и запела романс в присутствии Принцессы. История нежной любви не могла не тронуть чувствительное сердце Елисаветы. Жак был вызван в Монрель, через несколько дней пастушков обвенчали, и для них был построен маленький домик в саду с видом на долину, где они стали жить в мире с натурою, счастливые и довольные.

Источник: Вестник Европы. 1802. № 15.

Глава 2

УТРО ПОСЛЕ КАЗНИ

ГОД 1801. Март. 12. Утро.

Объявлен Манифест:

«Мы, приемля наследственно Императорский Всероссийский Престол, восприемлем купно и обязанностей управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей бабки нашей, Государыни Императрицы Екатерины Второй, коея память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна, да, по ея премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим...»[\[82\]](#)

«Его чувствительная душа навсегда останется растерзанною...»

(Елизавета Алексеевна — матери, 13-14 марта 1801 года.)

Спустя неделю помощником для составления докладов государю при тайном советнике Трощинском повелено быть статскому советнику Сперанскому.

Павел был мертв. Александр был жив. Он только дважды упал в обморок — первый раз ночью, получив известие о случившемся, и второй — наутро, когда желчно-остроумная матушка презрительно благословила его на царство: «Поздравляю Вас, теперь Вы — император».

Молодой царь не мог не видеть, не понимать, что более опытные режисиды рассматривают его как молодую игрушку в своих зрелых руках. Что поэтому ему предстоит стать русским царем в самом чуждом для него самого — опять же, поначалу — смысле: именно самовластительным, самодержавным, августейшим. Что полная и бескомпромиссная самодержавность оказывается парадоксальным условием осуществления «парламентской» утопии. Но столь же ясно он сознавал, что путь к сердцам подданных лежит через отказ от самовластья. И, значит, все предстояло запутать настолько, чтобы никто разобраться не смог.

С этой задачей он справился блестяще и прежде всего позаботился об одновременном успокоении и стариков, и молодых.

Ради умиротворения первых Манифест было поручено составлять екатерининскому вельможе Трощинскому^[83] и стране обещано править «по законам и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей бабки» Екатерины.

По той же причине Михайловскому замку был предпочтен Зимний дворец. Да, в Михайловском было сыровато и страшновато. Да, здесь все напоминало об убиенном отце. Но если бы язык политических жестов потребовал от молодого царя сохранить под резиденцию эту краснокирпичную пародию на средневековую крепость, отвергнув пышно-золотистые покои Зимнего, — Александр так и поступил бы. Однако в символическом пространстве эпохи переезд из дворца в дворец равнялся перемещению из «павловской» зоны в зону «екатерининскую». Потому и ненавистный Платон Зубов получил покои в Зимнем и право прогулки под руку с молодым царем. Причем на первом же после переворота вахтпараде 13 марта 1801 года.

Однако сталкиваться лбами никто старикам не мешал; известна печальная повесть о том, как в 1801-м разошлись во мнениях по важному политическому вопросу Александр Андреевич Беклешов с Дмитрием Прокопьевичем Трощинским; царь не скучал, наблюдая за развитием сюжета. Старики слабели — он становился сильнее; им было время тлеть — ему цвести.

Затем он утешил молодежь.

17 марта 1801-го в столицу был призван Чарторыйский, спустя несколько дней — Кочубей с Новосильцевым. (Чарторыйский счел необходимым сначала осмотреть Везувий, поскольку без этого было невозможно начинать реформы в России; Кочубей по дороге из Дрездена прослышал о новом возвышении Зубовых и был готов поворотить; Новосильцев сказался больным и проболел до тех самых пор, пока потенциальная угроза нового переворота не отпала.)

Когда же все собрались, то были польщены особой доверенностью монарха. 24 июня после общего застолья Строганова, Новосильцева, Чарторыйского втайне от ревнивых стариков провели в туалетную комнату, где за послеобеденным кофеом они обсудили будущее российской державы и учредили полуофициальный Негласный комитет (в шутку прозываемый Комитетом общественного спасения)...

ГОД 1801. Март. 15.

Из Петропавловской крепости освобождены заключенные Тайной экспедиции.

Помилованы Алексей Ермолов, Александр Радищев.

Генерал-прокурором назначен Беклешов, граф Панин возвращен к иностранным делам. Государственным казначеем вместо Гаврилы Державина назначен барон Васильев.

22.

Указ «О свободном пропуске едущих в Россию и отъезжающих из нее».

23.

Похороны Павла в Петропавловском соборе.

Того же дня.

Донские казаки возвращены из похода на Индию.

И старики, и молодые равно усердно рукоплескали первым указам Александра Павловича, ибо каждый мог вчитывать в эти указы себя.

Первые восприняли поток либеральных уновлений как некий отмыв России от павловской грязи до екатерининского блеска; вторые увидели в них возможность такой переделки России, при которой неизбежной окажется быстрая смена политических поколений.

Первые настаивали на ускорении, сжатии и усечении административных реформ. Чтобы как можно быстрее увенчать себя драгоценной короной российской конституции. И перераспределить отчужденный у царя избыток власти в пользу опытных, зрелых, искушенных сановников. А в их лице — в пользу сословия в целом. Вторые продолжили разговоры о конституировании, но в некой туманной перспективе, на вырост, и завели сладкую песнь о немедленном и повсеместном преобразовании государственного аппарата управления как цели ближайшей и долговременной. Ибо наложить на самодержавную волю царя конституционные вериги сейчас — значило усилить стариков, а преобразовать государственную машину — значило лишить стариков теплых

насиженных мест. И начать самим насиживать эти места.

Но царь поставил свою задачу; ради нее ослабил и тех и других. На первом же заседании Негласного комитета в ответ на предложение молодых друзей сначала заняться изучением состояния империи, затем преобразовать администрацию, а уж в конце концов как-нибудь приступить и к конституции, он тихо и ласково спросил: а нельзя ли сразу перейти к третьему пункту? (Смущенное молчание было ему ответом.)

И по той же самой причине он заморочил конституированные головы стариков бюрократическими пертурбациями. Они увидели в учреждении министерств (8 сентября 1802 года) знак распыления царской власти. И возрадовались. То же увидел в этом издатель «Вестника Европы» Карамзин. И огорчился. А то был всего лишь управленческий громоотвод, куда посыпались молнии народного гнева. Решения же по любому важному вопросу по-прежнему принимал царь.

Еще большую радость широких дворянских масс вызвало данное Сенату поручение самому определить границы своих полномочий; но не прошло и двух лет, как 21 марта 1803 года царь умелым маневром раз и навсегда отбил у зарвавшихся сенаторов охоту этими полномочиями пользоваться.

Каждый получил именно то, чем не хотел заниматься в данную минуту, и каждый сохранил иллюзию, что это временно, что скоро дойдет очередь до главного, и тогда...

Первыми прозреют подслеповатые старики, а первыми из первых старики московские, роскошно доживающие свой век в отставке, делом не занятые, а потому особенно наблюдательные. Одна из главных сподвижниц Екатерины Великой, академическая княгиня Дашкова, запишет:

«...я с грустью видела, что Александр был окружен только молодыми людьми, плохо относившимися к лицам пожилого возраста; по причине своей застенчивости (объясняемой, по-моему, его глухотой) их избегал и сам император. Четыре года царствования Павла, который делал из своих сыновей только капралов, были потеряны для их образования и умственного развития...

Я предвидела, что душевная доброта императора и прочно усвоенные принципы гуманности и справедливости не помешают окружению завладеть его доверием, а министрам и высшим сановникам — делать все, что они пожелают». [\[84\]](#)

Затем придет очередь молодежи. Один за другим наперсники царя вынуждены будут удалиться — кто в политическое небытие, кто в политическое инобытие; они возропщут, но будет поздно. Молодой царь успеет набрать силу, преодолеть зависимость от окружения, казавшуюся неизбежной.

Напрасно Лагарп, наученный горьким опытом своего бернского директорства и самовластия более не страшась, станет в 1802 году предостерегать воспитанника от увлечения демократией:

«Во имя Вашего народа, Государь, сохраните в неприкосновенности возложенную на Вас власть, которой Вы желаете воспользоваться только для его величайшего блага. Не дайте себя сбить с пути только из-за того отвращения, какое внушает Вам неограниченная власть. Имейте мужество сохранить ее всецело и до того момента, когда под Вашим руководством будут завершены необходимые работы, и Вы сможете оставить за собой ровно столько власти, сколько необходимо для энергичного правительства». [\[85\]](#)

Напрасно; за годы разлуки воспитанник успел неузнаваемо измениться. Лагарп осознает это чуть позже, когда в мае 1802-го, под благовидным предлогом Александр вынудит воспитателя (по-прежнему любимого, но лезущего не в свои дела и не желающего приноравливаться к новой роли осторожного советчика при самостоятельно действующем политике) покинуть Россию.

Взаимопогасив усилия «стариков» и «молодых», царь затеял придворную игру в ручеек. Постоянно меняющиеся пары обречены были скользить сквозь кольцо из чужих рук, запутываться, хохотать, интриговать. Распутавшись и отерев слезы от смеха, все в один прекрасный миг заметили, что царь давно и прочно сидит на троне, участники мартовского переворота удалены, очаги новых заговоров погашены. Не успели в конце 1801-го поползти по столице слухи о готовящемся перевороте в пользу Марии Феодоровны, как в ночь перед Рождеством Платон Зубов сам подал прошение об отставке. (А что ему оставалось?) Не успела вдовствующая императрица предпринять ответный шаг и в первый день нового 1802 года собрать у себя тайное совещание, как 17 января Зубов получил заграничный паспорт и отправился восвояси, а Гавриле Державину, который чересчур активно оппонировал царю, было срочно найдено длительное занятие в Калуге.

Вслед за тем пришла пора осуществить мечту Лагарпа о «регламентированной организации», создать министерства, усилить Сенат, перессорить министров, осадить сенаторов, чтобы народу было кого не любить и чтобы при этом некому было посягать на царские полномочия. Отчасти на те же роли были приглашены и «молодые друзья»; обладавшие малой властью, они в глазах света оказывались виновниками всех непопулярных решений.

Молодой, прекрасный собою царь как бы сиял звездой в окружении опасных астероидов.

В карамзинском «Вестнике Европы» была помещена стихотворная сказка «из Флориана»; намеки звучали вполне откровенно. В некоей стране живет некий царь, чье дело не идет на лад. «Нет хуже нашего, он думал, ремесла. / Желал бы делать то, а делаешь другое...» В грусти сердечной царь отправляется в поле; здесь тоже встречает его унылая картина:

...рассыпанных в долине Баранов, тощих до костей, Овечек без ягнят, ягнят без матерей; А псам и нужды нет...

Но вот государь видит нечто совершенно иное: красота, порядок, уют: «Шерсть на овцах, как шелк, / И тяжестью их клонит...». При этом пастушок «в свирель под липою играет»... Причина его благоденствия проста: «он выбрал верных псов».^[86]

В полном согласии с обычно враждебным ему Карамзиным мыслил тогда Державин: «Се образ ангельской души. / Ах, если б вокруг него все были хороши!» Правда, и Державину тоже посвящались стихи; после очередного «советского» инцидента Зубов пустил гулять эпиграмму: «Тебя в Совете нам не надо. / Паршивая овца все перепортит стадо».

БУЛЬДОГ ФЕМИДЫ

Правда, уже в сентябре 1802-го Державин, которого современники именовали не только «паршивой овцой», но и «бульдогом Фемиды»,^[87] цепным псом правосудия, займет место министра юстиции. Но спустя всего тринадцать месяцев будет отставлен. Для Александра (вообще несколько презиравшего людей, а екатерининских орлов — они же овцы, они же бульдоги — и подавно) старые вельможи были на одно лицо;

выделить Державина из их орденоносного ряда он не пожелал — а жаль.

Конечно, Державин не хуже других умел извлекать пользу из своего служебного положения, неустанно искал чинов, от монарших благодеяний не отказывался, не отказываясь при этом и от коллегиального противостояния монархам — в Совете и Сенате. Конечно, он неустанно дерзил коронованному начальству и всем остальным Псалмам предпочитал 81-й, жестоко обличающий царей:

Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?..
Ваш долг: спасти от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я...
Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!^[88]

Конечно, столь же неустанно он льстил обличаемым государям; так, нелюбимого им Александра Павловича в стихах «Глас Санкт-Петербургского общества» он позже

аттестует: «Небес зеркало, в коем ясный / Мы видим отблеск Божества, / О ангел наших дней прекрасный, / Благого образ Существа». [\[89\]](#)

Конечно, Державин мог практически одновременно, в 1797-м, бросить вслед царю: «Ждите, будет от этого... толк», — и сочинить оду, воспевающую «толкового»...

Конечно, он громко восхвалял Екатерину, Павла и Александра как полновластных земных богов — и потихоньку составлял проект Российской конституции, призванной ограничить их «божественное» полновластие.

Однако трудно ли понять, что двигало им не только честолюбие, не только сословная солидарность, не только трезвый расчет. И что была во всех его разнообразных жестах, от поэтического ласкательства до политической дерзости, своеобразная логика отчаянного державолюбия, столь созвучная говорящей фамилии. Когда, после отставки, у Державина появится свободное время и он сядет за мемуары, — то в строе первой же фразы запечатлит свое иерархически-стройное видение мира и представление о месте человека в этом мире.

«Бывший статс-секретарь при Императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при Императоре Павле член Верховного совета и государственный казначей, а при Императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля 3 числа». [\[90\]](#)

Говоря строго, июля 3-го числа появился на свет не статс-секретарь, не президент, не казначей, не кавалер и даже не Гаврила Романович, а крохотный младенец, безымянное счастье родителей и предмет акушерских

тревог. Но Державин не то чтобы равняет себя, казанского дворянина, с царем, не то чтобы толкует о своей предызбранности на государственное поприще; он просто не хочет поступаться главным. И начинает с итога, со списка должностей. Ибо как человек есть то, что из него в конце концов вышло, так должности суть поручения Российской Державы, Российская Держава — царство торжествующей справедливости и результат государственного творчества множества поколений русских людей, а награды — не что иное, как знаки государевой признательности за честно исполненный долг, с которым должность недаром состоит в корневом родстве.

Долг — перед кем? Перед Богом, перед Законом, перед Отечеством, перед царем. Именно в таком порядке, именно в такой соподчиненности, не иначе. В противном случае закон перестанет служить стержнем российского общества, сведется к набору необязательных для исполнения (ибо не укорененных в вечности) правил общежития, станет изменчивой прихотью общенародной демократической гордыни или падет жертвой монаршего произвола. Служба земному отечеству лишится статуса служения; личная преданность государю заставит подданных поступать вопреки интересам государства, а его благодеяния и милости превратятся в расплату за измену правде. И наоборот — непочитание государя, поставленного от Бога, будет равносильно предательству и грозит стране беззаконием и потрясениями. Но до тех пор, пока связь между четырьмя концами державного креста ненарушима — до тех пор нет и не может быть разлада в душе человеческой. И исполняя царскую волю, и «в сердечной простоте» давая советы царям, и в случае необходимости противодействуя им с помощью законосовещательных органов, чиновник оказывает важные услуги и Отечеству, и Закону, и Богу; он

чувствует себя скрепом имперской гармонии, полнозвучной рифмой в историческом славословии, без которой строй и ясность «изложения» будут непоправимо утрачены.

А значит, нет непроходимой границы между поэзией и службой, между званиями чиновника и стихотворца. Действительный член и несостоявшийся правитель Верховного совета, Державин был шестью годами старше веймарского министра Гёте. То есть принадлежал к последнему литературному поколению, для которого поэтическая деятельность ни в коей мере не противостояла государственной. Эти сферы были равно одушевлены высшей страстью, и политика, в полном согласии с Аристотелем, казалась одной из областей человеческого творчества. Больше того: лира, по их представлениям, могла служить столь же мощной поправкой к абсолютизму, какой в иных странах служил парламент. Она увещевала монарха, язвила его, когда он отступал от своего долга карать и миловать по справедливости, поддерживала все его добрые начинания и даже намерения, создавала вокруг него необходимый ореол величия и напоминала ему о бренности всего земного, в том числе — о бренности власти, понуждала вспомнить, что лишь праведный государь достоин церковного и гражданского почитания. И, самое главное, она не позволяла царям забыть о любезном отечестве, о его своеобразном характере, о его душе и его людях; она не давала свести представления о государстве к набору абстрактных схем и наполняла образ этого самого государства живыми и чувственно переживаемыми смыслами.

Может быть, Александр Павлович все это понял бы — и сохранил бы Державина при себе «для говорения всегда правды»^[91] и поддержания отечестволюбия,

если бы внимательно прочел его стихи. Но, к сожалению, Екатерина Великая не рекомендовала воспитателям великих князей слишком много внимания уделять музыке и словесности как занятиям бесполезным и размягчающим душу. Стихов государь по доброй воле (то есть когда не требовали обстоятельства) не читал; Державина не понимал и считал его вредным самолюбцем, исполненным вздорных и давно изжитых просвещенно-монархических идей; при себе не сохранил. И невстреча со славным вельможей-поэтом стала первой в трагической цепи его последующих невстреч с людьми, на которых он мог — и должен был — опереться в своем четвертьвековом правлении.

«ЦЕЛИ НЕТ ПЕРЕДО МНОЮ...»

Впрочем, Александру тогда было и впрямь не до Державина. Чтобы понять — почему, вернемся чуть-чуть назад, в самое начало царствования.

Чем успешнее шла реформа придворной жизни, тем острее, тем насущнее вставал давний, куда более сложный — пойдти туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что — вопрос. Для чего, во имя чего, ради чего все это?

Если бы трон был занят Александром «по очереди» или хотя бы бескровно, со сверхзадачей царства можно было бы и повременить или удовольствоваться туманно-далекой «президентской перспективой». Но все произошло так, как произошло. Куда было пойти, что принести, чтобы немедленно предъявленная стране и достигнутая в итоге цель задним числом оправдала бы жутковатое средство? Не только естественный человеческий ужас перед содеянным, но и жажда цели иссушала молодого царя; перед ее мукой меркло все —

даже сладкая мечта о блаженстве торжествующего ухода. С мечтой, кажется, он не разлучался; быть может, именно ради нее из проекта коронационной грамоты русскому народу была вычеркнута статья о принципе престолонаследия, из-за чего русский трон опять как бы завис в юридической невесомости. Но задуманный уход возможен был только на вершине успеха; всенародное восхищение еще предстояло вызвать. Чем?

ГОД 1801. Месяц тот же. 31.

Отмена запрета от 18 апреля 1800 года на ввоз в Россию книг и нот; дозволение частных типографий.

Апрель. 2.

Указы «О восстановлении Жалованной грамоты дворянству»; «Об уничтожении Тайной экспедиции».

Апрель. 8.

Указ «Об уничтожении публичных виселиц».

Апрель. 9.

Отменено обязательное ношение пуклей; обязательное ношение косы, однако же, сохранено.

Апрель. 26.

Мальтийский крест снят с русского государственного герба. Месяцем раньше царь сложил с себя звание великого магистра Мальтийского ордена; месяцем позже велит президенту Академии наук не включать более Мальту в число городов Российской империи.

Май. 22.

Священники и диаконы освобождены от телесных наказаний за совершенные ими уголовные преступления.

Май. 28.

Запрет на публикацию объявлений о продаже крестьян без земли.

Июнь. 5.

Утверждена Конвенция о взаимной дружбе с Англией.

Указом Сенату высочайше поручено самому определить, чем он должен стать в новых обстоятельствах русской истории.

Того же дня.

Указом предусмотрено создать Комиссию о составлении законов.

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман.
Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман...

(Александр Пушкин. «К Чаадаеву». 1818.)

Сентябрь. 26.

Подписан мирный договор с Францией. Сентябрь. 27.

Запрещены пытки.

Милости, сыпавшиеся на страну как из рога изобилия, возбуждали толки, восхищали молодежь, освежали атмосферу и доставляли радость самому царю, искренне желавшему блага своей стране и своему народу. Но все-таки освобождение заключенных из Петропавловки, открытие границ, уничтожение Тайной экспедиции и публичных виселиц — суть отмены, а не деяния, расчистка прошлого, а не строительство будущего. Жизнь без оправдывающей цели грозила превратиться в чавкающую трясику уныния. Царь имел несчастье познать всю ее богомерзкую силу, когда во время сентябрьских коронационных торжеств в Москве на него обрушивались приступы жестокой ипохондрии и охватывало полное оцепенение, так что разум оказывался на грани помешательства.

Причиной, ввергнувшей Александра в моральный паралич, в психологический ступор, вполне могли стать слова из речи выдающегося иерарха, митрополита Платона (Левшина), произнесенной 8 сентября, за неделю до коронации. В самое сердце могло ударить восклицание знаменитого проповедника, на удар вовсе не рассчитанное:

«...взяты уже врата и внешнего и внутреннего храма. Путь свободен. Вниди к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность Твою... Вниди и вкупе с Собою введи Августейших Особ, а с ними введи и всю священную Твою кровь».^[92]

Фон мартовской трагедии был способен проявить в риторических узорах непредусмотренные смыслы, родить в уме крайне мнительного Александра непредугаданные ассоциации. Путь действительно был свободен. Но цена свободы оказалась ценою священной крови, и покрыть ее не могла ни пышность торжеств, ни даже возможность сопроводить эти торжества благородными высокомонаршими жестами.

ГОД 1801. Сентябрь. 15.

Коронация в Успенском соборе Московского Кремля. Крестьян роздано не было.

«...счастье вверенного Нам народа должно быть единым предметом всех мыслей наших и желаний, Мы в основание его... положили утвердить все состояния в правах их и в непреложности их преимуществ».

(Из Коронационного Манифеста.)

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Понятно, что перед Россией начала XIX века стояли по крайней мере две глобальные проблемы (точнее, сама Россия недоуменно стояла перед ними). Крепостное бесправие и полный беспорядок в законах — пресловутая «неконституированность». Не в зубовском понимании и не в версии Чарторыйского, а в

самом что ни на есть болезненном и практическом смысле.

Решение любой из них — хотя бы предварительное, хотя бы вчерне — обессмертило бы имя царя.

Владеть людьми нехорошо во все времена; но России начала XIX века предстояло сделать неприятное открытие, что с некоторых пор это еще и невыгодно. Там, где при найме трудится несколько человек, в поместье трудилось (ленилось) несколько сотен. У генерала Измайлова дворня состояла из 800 человек. У графа Каменского — из 400. Причем у каждого из 17 его лакеев имелась своя обязанность: тот, кто подавал раскуренную трубку, за наличие воды в кувшине не отвечал; тот, кто докладывал о прибытии гостя, о камине уже не заботился. Результаты узкой специализации были плачевны — описания российских поместий и домовладений начала столетия полны комических подробностей. Постройки того же графа Каменского занимали в Орле целый квартал. Но в половине окон за неимением стекол торчали тряпки и подушки; перила валялись возле дома на земле. При этом три великолепные люстры, свисая в огромной зале, освещали поставленные в угол турецкие знамена и бунчуки (граф был славный воин) и при них часового из дворни, одетого испанцем и сменявшегося каждые три часа. Впрочем, графу Каменскому было далеко до некоего помещика Маркова, владельца 200 тысяч душ, который жил в доме настолько ветхом, что кое-где потолки подпирались неотделанными березовыми столбами; правда, Марков объяснял это суеверием, что, обновивши дом, скоро умрешь на новоселье.

Людей нужно было чем-то занимать, иначе от безделья они могли учудить что-нибудь небезопасное. Так появилась в России увеселительная прислуга — шуты, фокусники, механики-самоучки. Самые богатые помещики могли позволить себе арапа или арапку,

которые столь гармонировали с русским пейзажем. Наиболее утонченные натуры создавали из крепостных гаремы для услаждения души; знаменитый князь Юсупов организовал что-то вроде эротического театра. (Пушкин позже посвятит Юсупову стихотворение «К вельможе»: «Ты понял жизни цель: счастливый человек, / Для жизни ты живешь».) На подмосковной даче г-на Юшкова в течение трех недель кряду было дано 18 балов с фейерверками и музыкой в саду, «так что окрестные фабрики перестали работать, ибо фабричные все ночи проводили около его дома и в саду, а Новодевичья игуменья не могла справиться с своими монахинями, которые, вместо заутрени, стояли на стенах монастыря, глядя на фейерверк и слушая цыган и роговую музыку...»^[93]

Нет сомнений, что все это Александр понимал — и с юных лет принимал близко к сердцу; что до последних дней он сохранил верность идеалу вольного хлебопашества. Недаром он допустит — если не поощрит! — дискуссии Вольно-экономического общества о барщине и оброке, о двойной выгоде вольнонаемного труда в сравнении с трудом подневольным. Но еще в цитированной записи из «Мыслей... на всевозможные предметы, до блага общего касающихся» было отчетливо сформулировано «необходимое и достаточное» условие всех грядущих преобразований: исподволь. Варьируясь на разные лады, мотив этот эхом прокатится через все гулкое пространство громокипящей александровской эпохи; троекратно аукнется в послевоенном (3 мая 1816 года) разговоре царя с П. Д. Киселевым: «Всего сделать вдруг нельзя... на все надо время, всего вдруг сделать нельзя... Вдруг всего не сделаешь, помощников нет... Россия может много, но на все надо время»,^[94] — чтобы под конец горькой насмешкой отозваться в

восторженном обещании архимандрита Фотия уничтожить разгорающуюся общеевропейскую революцию «вдруг, тихо и счастливо», — об этом речь далеко впереди.

И никто, никто не мог, не хотел понять: именно потому невозможно «вдруг и тихо» остановить революционный поток, что пробуждают его перемены, проводящиеся исподволь. Что страшась трудностей и опасностей, за дело государственного преобразования лучше не браться. Что любая реформа раскалывает губительную цельность, монументальную неподвижность, окаменелость общества. Что только собой, своей добровольной мукой реформатор способен соединить неизбежно совершаемый им разрыв в цепи времен, что усчастливить бытие мыслимо (если вообще мыслимо) лишь ценой личного страдания и жертвы. Иначе разбуженный поток за неимением русла устремляется в трещину, расшатывает ее и губительными селем срывается вниз.

Интересно (и горько) замечать тот же мотив в сочинениях тогдашних оппонентов Александра Павловича.

В «Историческом похвальном слове Екатерине Второй», которое в конце 1801 года составил и передал монаршему адресату Карамзин (за что удостоился бриллиантовой табакерки), царь мог прочесть:

«Иностранные глубокомысленные политики, говоря о России, знают все, кроме России. Я рассуждал так же в городском кабинете своем, но в деревне переменил мысли. У нас много вольных крестьян, но лучше ли господских обрабатывают они землю? по большей части напротив... Если бы они (помещики. —А. А.), приняв совет иностранных филантропов, все сделали то же, что я прежде делал... то я уверен, что на другой год пришло бы гораздо менее хлебных барок как в Москву, так и в Петербург. Не знаю, что вышло бы через

пятьдесят или сто лет: время, конечно, имеет благотворное действие; но первые годы, без сомнения, поколебали бы систему мудрых английских, французских и немецких голов. Она хороша, если бы мы, приняв ее, могли заснуть с Эпименидом по крайней мере на целый век; но всякий из нас хочет жить хорошо, спокойно и счастливо ныне, завтра и так далее. Время подвигает вперед разум народов, но тихо и медленно: беда законодателю облететь его!»^[95]

Как политический мыслитель,^[96] толкующий о необходимом условии успеха государственных реформ — об их сообразности национальным привычкам, о невозможности пересадить чужие ростки на родную почву, — Карамзин был прав, — безусловно прав, — безоговорочно прав. Но молодой утопизм и зрелый скептицизм совпадают в ужасе перед необратимостью российских перемен. Царь надеется мало-помалу, исподволь, тихо и счастливо переменить земельные отношения; Карамзин желает тихо и медленно сохранить существующее, предоставляя со всеми проблемами разбираться грядущим поколениям. И ни тот ни другой не имеют мужества признать, что вопрос об освобождении крестьян так запущен, что ни вырвать зло с корнем без потрясения фундамента империи, ни предоставить ему спокойно разрастаться дальше одинаково невозможно.

Поэтому сами собою напрашивались иные, казавшиеся более легкими и менее опасными («... исподволь...») пути. Русский писатель настаивал на том, чтобы подморозить ход истории, законсервировать наличную реальность, ничего в ней не менять. А русский царь полагал возможным сначала переменить систему российских законов, а затем на их основе переменить систему самой российской жизни, подобно герою скандинавского мифа, сделать пением лодку.

Правда, начинающий царь и тут не задал себе несколько предварительных вопросов: можно ли затевать новое узаконение, не обзрев систему уже существующих норм, не кодифицировав право? и можно ли ее обзреть в обозримые сроки, если «...целые месяцы проходили безуспешно» в поиске нужного закона?^[97] Если в 1806-м в одной лишь уголовной палате Курской губернии было 609 нерешенных дел (часть из них — с 1799 года)? Если в Херсонской губернии в 1810-м обнаружались нерешенные дела, тянущиеся с самого ее основания? Если виленский губернатор Л. Л. Беннигсен, наблюдавший за нижнеземскими и уездными судами, месяцами не налагал резолюцию по готовым делам — затем, что «как иностранец не совсем знает русский язык и (очевидно, уже как российский гражданин. — А. А.) производство дел по гражданской части»? Если новгородский губернатор Жеребцов за восемь лет правления оставил 11 тысяч нерешенных дел? Если жена поставленного следить за порядком и законностью иркутского губернатора Трескина собрала по пуду ассигнаций на приданое каждому из восьми своих детей? Если харьковский губернатор Артаков посадил городского голову в сумасшедший дом (то есть в дом безголовых!) за отказ соучаствовать в поборах?..

Александр Павлович как раз знал о царящем «юридическом», бытовом, административном неблагополучии — и о нем думал. (В отличие от Карамзина, который предпочитал демонстративно закрыть глаза на «юридические ужасы», лишь бы не рисковать «порядком вещей», и указывал на суждения презируемой им Екатерины Великой как на истину в последней инстанции: «Самодержавство разрушается, когда Государи думают, что им надобно изъявлять власть свою не следованием порядку вещей, а

переменою оного».^[98]) Позже, во второй половине царствования, для государя станут прокладывать специальные дороги, огибающие уездные города с их полусгнившими соломенными крышами и немощеными улицами, с их роскошными лужами (через которые чиновники победнее перебирались в охотничьих болотных сапогах), с их навозом, вываленным на улицах, так что десятки босяков могли зарываться в нем на ночь... Но и тогда объездные пути станут прокладывать не для того, чтобы скрыть от царя непорядок, но для того, чтобы государь отдохнул от зрелища непорядка, чтобы не Думал ежеминутно о не обустроенной им России.

Тем более не прятался он от горьких сведений в начале царствования.

Прятался он от другого. Прежде всего от необходимости выбрать. Или сначала крестьянский вопрос, и тогда никаких узаконений; наоборот, самое жесткое сосредоточение власти в самодержавных руках. Или конституирование, и тогда никакого освобождения крестьян, ибо единственно возможная в тех условиях конституция передала бы все властные полномочия душевладельцам. Прятался он и от риска вынести сор из избы, всерьез пробудить к жизни силу общественного мнения; не хотел обратиться к обществу поверх стройно-сомкнутых рядов молодых друзей и старых врагов — и на него опереться. Это сможет себе позволить следующий Александр, Второй, в 1856 году столкнувшийся с теми же самыми — только безнадежно застарелыми — российскими болезнями: крепостничеством и беззаконием. Он поначалу тоже попытается решить проблему тихо и счастливо, исподволь, созвав Секретный комитет, но вскоре убедится, что никто, кроме членов царской семьи, в крестьянской реформе не заинтересован. И тогда царь

создаст общественные комитеты для обсуждения крепостного вопроса в провинциальной дворянской среде, склонит дворян на свою сторону^[99] и тем самым сломит сопротивление «верхов».

Но убитый народолюбцами Александр II отца не убивал, чего об умершем своей смертью Александре I не скажешь. Не то чтобы он вовсе не ценил «глас народа», просто отдаться на волю общественного мнения человеку с темным прошлым решительно невозможно. Да и не слишком ясно тогда понимали, что это такое — общественное мнение, чьи голоса его образуют и чьи уши должны к нему прислушиваться.

Придворный мемуарист А. И. Михайловский-Данилевский имел все основания полагать, что общественное мнение в России пробудил именно Александр I;

«Предшественники его были заключены, так сказать, в тесных пределах своих дворцов, подобно азиатским царям; народ видел их только в торжественные дни, окруженных пышностью и великолепием верховной власти... Александр, после Петра Великого, первый, который, отбросив этикет, как обветшалый обычай, явился посреди народа в виде частного человека. Он посещал с супругою своею неожиданно и без приглашения балы и вечеринки, бывавшие у некоторых знатных вельмож... ездил в самом простом экипаже, отличавшемся от других только необыкновенной) своею опрятностью и чистотою; гулял один по городу, делил с войсками все трудности походов. Подданные его впервые могли узнать и полюбить в нем человека».^[100]

Те же основания декабрист А. Якубович имел утверждать обратное:

«...мнение общественное есть первая сила государей, оно соединяет и движет государство,

служит охраной против пороков всем гражданам, но его в России нет, и власть старается как бы нарочно истребить зародыши общего мнения, следствием чего мы видим разделение в понятиях между государем и государством, что должно быть единым». [\[101\]](#)

В конце концов, и Московский английский клуб, деятельность которого Александр возобновил 12 июля 1802 года, можно считать органом, формирующим типовые оценки текущих событий, и салон, и ресторацию, и популярный бордель. А можно — и не считать.

Потому разумнее всего развести, разделить два понятия, две идеологические реалии: общее мнение и — мнение общественное. Первое формируется в замкнутом пространстве светской гостиной и в нем же умирает. Его жанры — острое словцо, остроумная реплика — предполагают мгновенную реакцию собеседника и последующую передачу «по цепочке». Оно скользит по горизонтали, и если влияет на власть, то косвенно, через организуемую салоном интригу. Второе обладает энергией вертикального, снизу вверх, влияния на правительство. (Хотя бы — потенциально.) И облекается оно в публичные формы, в социальные жесты.

Общее мнение существовало в России давно — едва ли не со времен петровских ассамблей. Но именно в конце XVIII века на его дрожжах стало всходить мнение общественное.

Начался поиск форм его выражения: через журнал, газету, книгу; через публичное собрание; даже через манифестацию.

Похороны отставленного Павлом великого полководца Суворова превратились в относительно массовую демонстрацию нелояльности; отсюда «начинается серия особых прощаний русского общества

с лучшими своими людьми (Пушкин, Добролюбов, Тургенев, Толстой...) — похороны, превращающиеся в... выражение чувств личного, национального, политического достоинства».^[102]

Менее ярок, но столь же характерен эпизод, относящийся к декабрю 1802 года, когда дворяне обеих столиц, недовольные запретом увольнять со службы дворян унтер-офицеров ранее 12 лет выслуги, устроили шумные публичные протесты и предали поруганию бюст генерал-прокурора: облили его дерьмом...

Общее мнение Александр I умело склонял в свою пользу, а мнения общественного он страшился. Страшился — и не постигал, что оно все равно пробуждается, провоцируется его деяниями и, не получив допуска в правительственные сферы, устремляется по вертикали вниз, в подполье, где от безысходности нагнетается и порождает взрыв.

ГОД 1802. Сентябрь. 8.

Статс-секретарю Сперанскому поведено быть при Министре внутренних дел.

Октябрь. 14.

Второй час пополудни.

В Москве — землетрясение. Александр Пушкин в Москве. Александр Первый в Петербурге.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ ПРОТИВ КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

И еще одно обстоятельство не могло устроить молодого царя. За какую бы из двух насущных проблем он ни принялся, все равно на первых порах пришлось бы свести ее к мелочной скучной работе, посторонним незаметной, самостоятельного исторического масштаба лишенной, возможности эффектных политических жестов не сулящей. Отдать отца на заклатие великой идее — еще полбеда. Но стать невольным режисидом ради юридического крючкотворства или вычисления оптимального размера земельных наделов, выкупаемых государством у помещиков под грядущее освобождение крестьян, — это как-то мелко, это как-то не по-русски, это как-то слишком последовательно. Александр Павлович «...замечательно умел вдохновить своих избранников, смело наметить... известную программу и цель, но как только машина приходила в полную силу своего напряжения, давался непредвиденно задний ход». [\[103\]](#)

И волшебное слово было найдено: слово, значимое не столько для подданных, сколько для самого государя; слово, заранее придавшее внутреннй смысл и цельность последующему правлению, заведомо превратившее любые политические действия царя в великие деяния, адресованные векам. В проекте так и не объявленной коронационной Грамоты русскому народу царь определял целью своего правления усчастливление России. Не реформирование как таковое, не поэтапное многолетнее раскрепощение крестьян, не баланс общественных интересов, не хранение церковной истины, а именно всеохватное, целокупное, неопределимое усчастливление. Такую цель нельзя осуществить, ее можно — явить; ее нельзя измерить общим аршином, в нее можно только верить.

Зримым знаменем веры в усчастливление России и должен был стать Закон. Не отсутствующий свод

законов Российской империи, не порядок в судопроизводстве, не гарантии прав и свобод граждан, не законы Божеские и человеческие, о верности которым не уставал твердить старик Державин, а Закон как таковой, Закон как некая идея Закона. (Лагарп! Лагарп!) Тот Закон, о котором — открывая свой пассаж именно словом счастье — писал в записке «О состоянии нашей конституции» Строганов: «Счастье людей состоит в обеспечении права собственности и свободы делать с ней все, что не может быть вредным для других».^[104] Недаром ко времени коронационных торжеств отлита была особая медаль: на лицевой ее стороне красовался лик государя, на оборотной изображен был обрезок колонны с надписью «Закон» и вилось пущенное по кайме изречение — «Залог блаженства всех и каждого».

ГОД 1803. Апрель. 26.

Призван из своего новгородского имения Грузино пребывавший до сих пор в бездействии Аракчеев.

Май. 14.

Аракчеев принят вновь на службу инспектором всей артиллерии.

«..Люди обмундированы все сполна, положенное по законам получили без изъятия и благословляют имя Вашего Императорского Величества за положенную десятикопеечную ежедневную порцию, которой они очень достойны, ибо, выключая ежедневной, тяжелой, опасной работы, и место, занимаемое заводом

чрезвычайно дурно и нездорово, окружено будучи со всех сторон болотами и уединено от всех посторонних селений. Люди принесли мне две жалобы... Осмелился бы просить у Вашего Императорского Величества сим бедным по рублю, ежели бы не боялся оным наскучить. Число 520 человек».

(Аракчеев — Александру I после посещения Шостенского порохового завода.)

Октябрь. 21.

Князь Александр Николаевич Голицын назначен обер-прокурором Священного синода.

Но этим дело, естественно, не ограничивалось.

Александр возрастал в годы взятия Бастилии, в громокипящую эпоху принятия Декларации прав человека (с какой из трех ее редакций познакомился юный цесаревич, неясно; главное, что он воодушевился ею). Он вырослел в пору преодоления сословных предрассудков: братья Романовы долго еще продолжали обращаться к французам, прибывавшим к русскому двору, — «гражданин». (Граждане смущались и указывали на свое дворянское достоинство.) Поэтому — по крайней мере в начале царствования — он не мог без содрогания наблюдать за процессом косвенной реставрации Европы, и прежде всего — Франции, которая шаг за шагом отступала от изначально светлых идеалов Революции, хотя бы и омраченных впоследствии террором. Еще меньше оставалось в ней места для свободы, равенства, братства. Еще увереннее чувствовал себя Наполеон — и еще отчетливее просматривалась траектория его дальнейшего полета.

Заклучив Люневильский (1801) и Амьенский (1802) мир с Австрией и Англией, он готовился к новым сражениям, призванным втягивать в имперскую орбиту республиканской Франции все новые и новые территории. С августа 1800 года во Франции шла подготовка нового законодательного уложения — и ясно было, что Наполеон, распылив в победоносных войнах избыток народного беспокойства, готовится окончательно погасить революционный пыл буржуазии, навеки закрепив идею равенства сословий и освятив права собственности. Зачем? Да затем, чтобы присвоить энергию восставших масс и единолично — имперски, императорски — вершить судьбами истории! То есть повернуть ее вспять, возвратить в точку, из которой она вышла в июле 1789 года.

Молодая мощь корсиканского варвара, не скованного многовековой династийной традицией и верой в священную природу «монархического звания», и впрямь позволяла ему делать то же, что мог бы делать Людовик XVI — но ярче, сильнее, резче; «неправильная» сила его — высвобожденного именно Революцией — яростного индивидуализма стремилась по «правильному» королевскому руслу. Нетрудно было догадаться, куда она вскоре вынесет гениально одаренного диктатора, предусмотрительно заключившего конкордат с Папой Римским, без сакральной санкции которого грядущая коронация лишалась смысла, ибо не ставила «самочинного» генерала в один ряд с «общепризнанными» государями.

И чем более самовластным становился Наполеон, 2 августа 1802 года провозглашенный «пожизненным консулом» Французской Республики, чтобы чуть позже, 18 апреля 1804-го, стать наследственным императором; чем более косной, инерционной оказывалась материя европейской истории; чем покорнее восстанавливала она предреволюционные очертания, — тем

таинственнее мерцал в глубине мирового пространства луноподобный образ Америки.

Уже не только и не столько «президентский опыт» как таковой, сколько самый тип государственного устройства, позволяющего усчастливить граждан без потрясения основ, манил русского царя. Северо-Американские Соединенные Штаты были для него землей неведомой; они — в отличие от стран Европы — не входили и не могли входить в сферу непосредственных интересов Российской империи, именно потому они казались осуществленным политическим идеалом. Тяга была бескорыстной; любовь была платонической.

Переписка молодого царя Александра I Павловича с опытным президентом Соединенных Штатов Джефферсоном (начало ей положил Лагарп) тем и важна, что абсолютно свободна от прагматических подтекстов. Православный государь построил эту переписку в духе философской почты XVIII века; он принял на себя роль величественного ученика, который вопрошает заочного учителя о смысле жизни. Ученик не просит конкретных ответов на злободневные вопросы, он всевластно исповедуется, державно внемлет. Джефферсон, в свою очередь, почтительно поучает.

«Разумные принципы, вводимые устойчиво, осуществляющие добро постепенно, в той мере, в какой народ Ваш подготовлен для его восприятия и удержания, неминуемо поведут и его, и Вас самих далеко по пути исправления его положения в течение Вашей жизни...»^[105]

Постепенно и в меру — это Александру Павловичу было близко; в это он вкладывал свой смысл. Постепенно — не значит шаг за шагом, неуклонно; постепенно — значит само собой, своим чередом, без усилия и жертвы. В меру — не значит сообразно опыту

народа, меняя этот опыт и меняясь вместе с ним; в меру — значит осторожно и с опаской, не рискуя.

В результате тихих, медленных и счастливых преобразований жизнь должна наступить именно новая, абсолютно новая, небывалая и неслыханная, ничего общего с прежде бывшим не имеющая, по-американски просторная. А после того глобальные перемены предстоит претерпеть всему европейскому миру.

Но грандиозное зрелище, рассчитанное на годы и годы, нуждалось в умном и выносливом зрителе, способном досидеть до конца представления. Поэтому — а не только ради «переворота в умах», в котором молодой Александр полагал главное средство «усчастливления» России, — такое значение царь придавал реформе просвещения, меняя систему управления им, создавая Казанский и Харьковский университеты, Педагогический институт в Петербурге, вникая в дела учебных округов. Учебные заведения призваны были не просто взрастить способных деятелей, но породить среду, которая впоследствии оценит все величие и всю красоту воплощенного в бытии Александрова замысла. Переводы экономических теорий Адама Смита, Иеремии Бентама, Беккариа; республиканской истории Тацита; английской Конституции Делольма (все это в 1803-1806 годах) должны были не только затмить эффект Наполеонова Кодекса — великого юридического уложения, подписанного в марте 1804-го, — но и породить своей интеллектуальной силой новую идеологическую реальность России. А та, в свою очередь, — пересоздать «реальность реальную».

Молодежи, возвращенной на этих книгах, предстояло проникнуться недоступной старикам мыслью о том, что руководимая молодым царем старая Россия отменила логику новоевропейской истории, великодушно даровала ей выход из революционного тупика.

Французы, писал Александр в инструкции Новосильцеву, отправленному в сентябре 1804-го в Лондон для переговоров об антифранцузской коалиции, «сумели распространить» общее мнение, что «их дело — дело свободы и благоденствия народов. Было бы постыдно для человечества, чтобы такое прекрасное дело пришлось рассматривать как задачу правительства, ни в каком отношении не заслуживающего быть его поборником. Благо человечества, истинная польза законных властей и успех предприятия, намеченного обеими державами (Англией и Россией. — А. А.), требуют, чтобы они вырвали у французов это столь опасное оружие и, усвоив его себе, воспользовались им против них же самих».^[106]

Эта формула служит ключом к внутренней и внешней политике «дней Александровых прекрасного начала».

Не только в том было дело, что Англия настаивала на движении вспять истории, на полной реставрации дореволюционного порядка в Европе, а русский царь считал такой путь бесперспективным. Не только. Не менее, если не более важными были основания идейные, идеологические. Франция, ради обретения социальной воли уничтожившая династию Людовиков, как бы в расплату за кровавые потрясения получила Наполеонову диктатуру; либеральная революция обернулась для нее наихудшей формой консерватизма. Россия, сумевшая учесть американский опыт и не изменившая при этом «программе» французских энциклопедистов, революционному аду самовластья противопоставляла идею истинной монархии как незамутненного источника свободы и русского царя как символ самоумаляющейся власти.

Именно тогда — в который раз! — юношеское сочувствие к страдающему польскому народу сгустилось у Александра в мистический туман и оформилось в проект восстановления Польши под протекторатом России. Проект, которому он отдал столько сил, за который готов был платить любую цену. Во-первых, потому что иначе Польшу восстановила бы Франция, получив надежный форпост у самых границ Российской империи и перехватив моральную инициативу, обретя славу искупительницы исторической неправды и защитницы угнетенных народов. Во-вторых, потому, что восстановление католической Польши было равнозначно защите погранных Наполеоном прав римского первосвященника. В-третьих и в-главных: на восстановленную Польшу можно было указать как на один из доводов защиты во время грозного суда Истории: вот ради чего принесли в жертву Павла Петровича...

Главный же фокус — превращение на глазах восхищенной публики царя в «президента», Империи — в Республику — был отложен до конца представления, перенесен в эпилог.

ПЕРВЫЙ КОНСУЛ И ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ

Осуществлению «польского проекта» русско-британский союз сам по себе способствовал мало. И Александр Павлович совершил шаг, со всех точек зрения (кроме эсхатологической) странный. Едва условившись с молодыми друзьями о том, что Россия впредь будет воздерживаться от политических союзов, Александр незамедлительно, в мае 1802-го, отправился в Мемель на встречу с прусским королем. Встречу политически проигрышную, мистически выигрышную.

Рига, Мемель — территория полунейтральная; встреча как бы почти случайная — два царственных странника, издали завидев друг друга, делают остановку в пути и, демонстрируя взаимное благородство, договариваются о совместном противостоянии Наполеону... Уже через год, 26 ноября 1803-го, отозван посол в Париже Морков, и русские дела при французском дворе в заданном направлении ведет «полупосол»^[107] авантюрист Убри...
^[108]

Чтобы постичь логику Александра Павловича, придется ненадолго отвлечься от человеколюбивых представлений XX века о мире во всем мире и недопустимости решать государственные проблемы военными средствами. В XIX веке рассуждали иначе: чуть холоднее, чуть равнодушнее, чуть мужественнее. Солдат на то и солдат, чтобы воевать; война на то и война, чтобы в ней гибли люди; отечество на то и отечество, чтобы расширять его пределы.

Так вот тогдашняя Пруссия реальным политическим весом не обладала. Ее невероятные военные амбиции и хаотичность государственного устройства, скрытая под покровом дисциплинированности, не были компенсированы державным могуществом. Но Пруссия, с одной стороны, была возбуждена идеей соединения разрозненных германских земель под своим высокомонаршим покровительством. С другой — она, подобно России, обширно граничила с бывшими польскими землями и вполне могла претендовать на восстановление Варшавского королевства в своих пределах. Больше того: могла сложиться такая расстановка сил, при которой европейским правителям выгоднее было бы вручить судьбу Польши в руки Пруссии, чем доверить ее России. Прагматичный Чарторыйский, для которого Польша была не символом, а землей предков, уговаривал Александра разрубить

прусский узел, в союзе с Наполеоном разбить пруссаков, а затем в счастливом одиночестве приступить к польскому делу. Но русский царь предпочел совершить взаимовыгодный обмен: мечты на мечту, утопии на утопию.

Петербург нужен был Берлину для политической игры в пазлы, когда из разрезанных кусочков цветного картона постепенно собирается подробная и цельная географическая карта.

Берлин был нужен Петербургу, чтобы внешние границы России пролегли от истоков Вислы до истоков Днестра, чтобы конфигурация Европы переменилась и достигнутое равновесие привело если и не к окончательному утверждению «вечного мира» в духе трактата Сен-Пьера, то по крайней мере к его историческому подобию...

Всеевропейская война, к которой сознательно вел дело Александр, в каком-то смысле должна была стать последней войной, как сам он должен был стать последним самовластным правителем Империи. В инструкции Новосильцеву о том говорится почти откровенно:

«Не об осуществлении мечты о вечном мире идет дело, однако можно приблизиться во многих отношениях к результатам, ею возвещаемым, если бы в трактате, который закончит общую войну, удалось установить положение международного права на ясных и точных основаниях» и, после повсеместного умиротворения, «учредить лигу, постановления которой создали бы, так сказать, новый кодекс международного права, который, по утверждению его большинством европейских держав, легко стал бы неизменным правилом поведения кабинетов, тем более что покусившиеся на его нарушение рисковали бы навлечь на себя силы новой лиги». [\[109\]](#)

Если бы эти слова принадлежали политическому философу, поэту, дипломату, завершившему карьеру, — можно было бы счесть их гениальным прорывом в общеевропейскую будущность. В самом начале XIX века немыслимо четко, потрясающе ясно формулируются принципы, которые лягут в основу мировой политики века XX, от Лиги Наций до ООН, от НАТО до Европейского союза. Но в том-то и дело, что слова эти принадлежат монарху, действующему в реальном пространстве и реальном времени; в том-то и беда, что это не трактат, а переговорная инструкция; в том-то и несчастье, что, прежде чем эти великие принципы возобладают в Европе, ей нужно пережить потрясение 1812 годом, пройти сквозь многочисленные балканские кризисы, выжить в двух мировых войнах и чудом удержаться на краю мировой революции. Однако Александр не хочет ждать, он жаждет встречи с будущим в настоящем — немедленной встречи. Насколько медлителен и робок он во внутренних преобразованиях, настолько дерзок и нетерпелив во внешних делах. И насколько склонен к «противочувствиям», женственно изменчив в «домашней» политике, настолько упрям и непреклонен в политике внешней, политике мировой. Здесь он строго следует сюжетной канве изначально задуманного им царствования.

Не только «польский» проект стал причиной заведомо проигрышного сближения России с Пруссией; не только ревнивое отношение монархической России к либеральным лаврам Франции, но и личная конкуренция Александра с Наполеоном, сознательно или бессознательно выбранным на роль героя-антагониста. Кульминацией сюжета должна была стать схватка двух царей, двух царств, а развязкой — примирение европейских народов на почве любви к

свободе и просвещению. (Или к церковному благу; в данном случае — все равно.)

Спустя три года после мемельской встречи состоялась потсдамская. Ровно в полночь у гроба Фридриха Великого прозвучала клятва во взаимной верности русского и прусского монархов. Трепет, тайна, атмосфера. Дворец Сан-Суси, в уменьшении повторяющий очертания Версаля... И — поначалу внятный только клянущимся — таинственный смысл клятвы над гробом того, кто олицетворял собою силу просвещенного абсолютизма, того, кто был стражем Европы XVIII столетия, того, чья смерть развязала руки французским революционерам, того, чья царственная тень должна была явиться корсиканскому самозванцу и развеять его мнимое величие.

...Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали...

Если бы классическая баллада Жуковского «Ночной смотр» не была переведена из Цедлица спустя четверть столетия, в 1836 году, в мемельско-потсдамских жестах русского и прусского монархов можно было бы заподозрить сознательную инсценировку балладного сюжета — с заменой Наполеона Фридрихом Великим:

...В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фронту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.

Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками... [\[110\]](#)

Но не только «Ночного смотра» — вообще никакой балладной традиции в тогдашней российской словесности еще не было. Царь как бы упреждал поиски жанра, сочинительствовал в истории, путая черновики с беловиками и надеясь позже выправить неудачные места, прояснить смысл туманных намеков.

Его словно бы и не очень волновали реальные исторические следствия «литературных» жестов.

ГОД 1804.

Начало формирования антифранцузской коалиции.

ГОД 1805.

Присоединение к ней Швеции.

Март.

Подключение Англии.

Июль.

Вступление Австрии.

Октябрь.

Потсдамская конвенция с весьма туманными перспективами участия Пруссии в коалиции в обмен на вхождение в ее состав Ганновера.

Ноябрь. 20 | Декабрь. 2.

Аустерлицкая битва; первое горькое поражение русско-австрийских сил.

ГОД 1806.

Отказ Франции от обещания признать Ганновер за Пруссией.

Сентябрь. 24.

Объявление Берлину войны.

Октябрь. 16.

В России обнародован Манифест о начале войны с Францией.

Декабрь. 14/26.

Бой под Пултуском, чудом выигранный Беннигсеном...

Только после страшного боя при Прейсиш-Эйлау (26-27 января / 7-8 февраля 1807-го; 26 000 убитых и раненых; отзыв Наполеона: резня), только после разгрома русской армии 2 июля 1807 года под

Фридрихом Александр решает вступить в мирные переговоры с Наполеоном — впервые не поставив Пруссию в известность и лишь в последнюю минуту успев занять вакантное место союзника Франции, на которое претендовала Австрия...

Пружина интриги приводилась в действие все тем же историческим парадоксом: дитя революции, Наполеон, оказался слугой регресса и самовластным злодеем, просвещенный абсолютный монарх Александр явится олицетворением прогресса и освободителем народов. Наполеон делал ставку на игру случая, на удачу, на попутный ветер; своим примером он разрушал незыблемые основания всех государственных концепций XVIII века; Александр, будучи государем планомерным, возвращал европейскому миру почву под ногами, делал историческую перспективу обозримой, будущность — просчитываемой. (Кажется, Талейран «прочел» тайнопись Александра Павловича; когда русский царь в апреле 1804 года, после расстрела герцога Энгиенского, послал Наполеону резкую ноту, Талейран в ответе прозрачно намекнул на способ устранения Павла; так монарх, желавший стать олицетворением законности и либерального порядка, «Антинаполеоном», был жестко уравнен в правах с революционным самозванцем, которому противостоял.) Недаром в 1806 году по праздничным и воскресным дням в церкви читается Объявление Священного синода Русской Православной Церкви о Наполеоне, замыслившем созвать «синагог еврейский», дабы объединить иудеев и направить их на низвержение церкви Христовой и утверждение Наполеона как нового Мессии, Лжехриста.

Александр не то чтобы верил в Антихриста; это было бы слишком. Но политическая игра, какую он вел на европейском театре, наконец-то получила словесное

оформление. Первая глава его царствования венчалась пышной виньеткой. Эсхатологическая перспектива задавала другой масштаб и «президентской», и «либеральной» утопиям; российский ответ французскому конвенту приобретал необходимую сюжетную остроту. Русский царь — враг и будущий победитель Антихриста! — наделялся (наделял себя) великими полномочиями, вступал в игру, стоившую церковных свеч.

В Истории было тесно. Дух рвался в высоты сверхисторические.

И в том не было ничего неожиданного. Приблизительно тогда же, в 1803-м, герцог Баденский назначил народного мистика и хилиаста Юнга-Штиллинга гофратом — дабы тот поставил на твердую государственную основу давно ведомую им мистическую борьбу с Французской революцией и начал духовное строительство Нового Иерусалима на берегах Рейна — в противовес Новому Вавилону на берегах Сены. [\[111\]](#) (Кстати, по пророчеству Юнга-Штиллинга тысячелетнее царство должно было наступить в 1836 году — именно в этом году Жуковский создаст свой «Ночной смотр».)

По-иному, но тоже пытались заговорить Историю, повернуть ее течение вспять тогдашние английские пиетисты. Сразу после Французской революции они начали организовывать общества по распространению Евангелия во всем мире. Не только ради возрождения идей, революцией отвергаемых. Но и ради приближения итога, финала человеческой истории: у них не было оснований сомневаться в словах Христа о том, что, когда Евангелие будет проповедано всей твари, тогда придет конец.

Даже в проекте знаменитых ланкастерских школ взаимного обучения несомненна сакральная подкладка:

с этими школами в Европе должна была наступить эра нового Просвещения, отменяющая неудачный опыт просвещения французского.

Различие заключалось лишь в том, что в руках Юнга-Штиллинга было лишь гусиное перо, а масштабы владений герцога Баденского были вполне курортными; что английские методисты для проповеди на островах Тихого океана могли снарядить экспедицию максимум из 35 человек; в руках же Александра находились рычаги управления могущественной империей, и по первому его приказу под ружье готовы были встать сотни тысяч солдат. При этом, повторимся, страшась бурных и быстрых перемен внутри отечества, Александр совершенно не опасался ввязываться в международные баталии, сулившие в лучшем случае — риск, в худшем — гарантию поражения. Не в том ли дело, что они совершенно не требовали систематической работы, давая возможность поставить на кон все и сразу выиграть или проиграть? Но куда в таком случае исчезало опасливое стремление осуществлять перемены «исподволь»?

Дай ответ! Не дает ответа.

И вот — череда поражений 1807 года. И вот — вынужденное признание в разговоре с князем А. Б. Куракиным: «...бывают обстоятельства, среди которых надобно думать преимущественно о самом себе и руководствоваться одним побуждением: благом государства».^[112] И вот — размен ратификационными грамотами в ночь с 11 на 12 июня. И вот — 13-го — тильзитская встреча.

Примиряющиеся государи съехались (точнее — сплылись) тогда на реке Неман. Их встретил плот с двумя павильонами, обтянутыми белым полотном; с русской стороны виден был зеленый вензель Наполеона, с французской — не менее зеленый вензель

Александра. Водное пространство символизировало зыбкость и текучесть европейской истории до подписания договора; срединное положение плота — равноправие императоров; твердость берегов напоминала о военной опоре, какую оба имели, и о той почве под ногами, какую сулил Тильзитский мир народам Франции и России... Осмысленным и «говорящим» был даже выбор русских участников для переговоров и подписания мирного трактата. Князь Александр Куракин и князь Димитрий Лобанов-Ростовский принадлежали кругу вельмож екатерининского века; их седовласие указывало Наполеону на то, что русский царь впредь не намерен подставляться, что горький опыт и холодная мудрость приходят на смену поспешливой молодости. (Прежде договоры доверялись «молокососам»^[113] вроде князя Петра Долгорукого или Убри, которых Наполеон обыгрывал с легкостью необыкновенной.)

И одновременно екатерининское окружение выполняло роль своеобразной «живой картины», «послания в лицах» русскому двору и обществу в целом. Читайте и разумейте: времена молодых дерзаний позади; не под влиянием негласных выскочек царь отныне принимает решения. Куракин и Лобанов-Ростовский от имени екатерининского века принимали на себя ответственность за Тильзит.

Ответственность — и вину.

Терпеть поражения никто не любит; потерпев же, ищут повинную голову. Получив известие о Тильзите, деятельный петербургский свет (московский, дряхлопатриархальный тем более) будет уязвлен в лучших патриотических чувствах. Пойдут даже слухи о том, что договор специально подписан 27 июня (хотя в действительности подписан он 25-го, а 27-го лишь ратификован), чтобы унижить национальное

достоинство русских.^[114] 27 июня день и впрямь «викториальный», победительный, славный — в церквах поминается Полтавская битва и совершается молитва о воинах, жизнь свою за Отечество на поле брани положивших. Только не следует преувеличивать осведомленность коварного Наполеона в русских церковных праздниках и церковное невежество Александра. (Хотя первый действительно был коварен, а второй в православии до поры до времени не слишком сведущ...)

«Подписантам» договора готовилась незавидная участь; их предлагали при въезде в столицу пересадить с лошадей на ослов. (По принципу тождества везомого и везущего.) Но Александра при том — ругая — пытались оправдать. Князь Вяземский сочувственно записал будто бы слышанный им разговор двух мужиков: как же мог православный царь встречаться с Антихристом? — Да на реке же! Чтобы сперва его окрестить, а затем допустить пред свои светлые очи.^[115] Потому и попытка Марии Феодоровны взрастить на Тильзитской почве мощную оппозицию сыну не удалась.

Если что и было упущено из виду, то другое. Главное. Устные договоренности не фиксировались на бумаге, и даже те немногочисленные выгоды, какие Россия сумела для себя отвоевать, могли быть (и впоследствии были) преданы забвению.

При этом в Тильзите царь отнюдь не был опьянен вселенским дурманом; едва ли не впервые он смотрел на вещи трезво и горько. Более того: именно после Тильзита он добровольно понес крест всеобщего недовольства — и, что бы ему ни писала активная матушка,^[116] что бы о нем ни говорили в гостиных, 2 сентября 1808 года отправился в Эрфурт и тут уж сумел обойти тактические ловушки, Наполеоном расставленные...

Но — вотще!

Прав был Кондратий Селиванов, с которым Александр счел нужным посоветоваться перед отъездом в армию: «Не пришла еще пора твоя... погоди да укрепляйся, час твой придет». [\[117\]](#)

Прав был и брат Авель, предрекавший грозу и победу 1812-го, — но не 1805-го, не 1807-го!

Александр был не прав.

Страшным для него было не поражение как таковое, даже не унижительность условий предстоящего мира; страшным был крах задуманного исторического сюжета, в жертву которому было принесено все: экономика России, жизни сотен тысяч русских солдат, карьера «молодых друзей», [\[118\]](#) здравый смысл. Вопреки осторожным советам окружения, царь в 1805-м сам встал во главе войск, ибо это ему принадлежала идея преобразования европейской истории на путях либеральной монархии; это он блистающим всадником должен был явиться на поле брани и повергнуть в прах антихристового посланника. Теперь же приходилось не только склонять голову перед сильным врагом, но и отречься от своего собственного метафизического призвания. По крайней мере — на время изменить ему.

Вставной сюжет. ПОИМКА БОНАПАРТА

Алексей Михайлович Пушкин, дальний родственник поэта, в ближайшем будущем — участник Отечественной войны, проезжая через одну из дальних губерний, заметил в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене.

— Зачем держишь ты у себя этого мерзавца? — спросил он смотрителя.

— А вот затем, ваше превосходительство, — отвечал смотритель, — что если Бонапартий под чужим именем

или с фальшивою подорожною приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству.

— А, это другое дело! — обрадованно сказал довольный таким ответом Пушкин.

Источник: Дубровин Н. Русская жизнь в начале XIX века II Русская Старина. 1898. № 12.

А вместе с призыванием приходилось отказываться от моральных авансов, полученных под залог грядущего успеха. А вместе с авансами — и от самооправдательных приговоров...

...Что было после — слишком хорошо известно.

Участие с 25 октября 1807-го в континентальной блокаде Англии, окончательно разорившее российскую экономику — и без того ослабленную войной.

Финансовый кризис, падение курса бумажных денег — ассигнаций.

Свидание с Наполеоном в Эрфурте.

Подписание 24 декабря 1809 года франко-русской конвенции о Польше: Польша как самостоятельное государство никогда не должно быть восстановлено, и самое это имя навеки исторгается из политического лексикона.

...И как раз в промежутке между Тильзитом и Эрфуртом на политическом небосклоне России одновременно взошли две новые звезды. К царю приближены были давно ожидавшие своего часа, шаг за шагом подымавшиеся по иерархической лестнице Михаила Сперанский и Алексей Аракчеев; чуть позже будет возвышен Барклай-де-Толли. Первому были поручены проектные работы по внутреннему усовершенствованию Империи, последнему будут поручены работы по возведению вокруг российских

границ надежного военного щита. На Аракчеева же просто можно было положиться. Или, еще жестче, еще точнее: Сперанский расширил круг всеобщей ответственности, Аракчеев расширил круг личной власти государя, Барклай встал в точке пересечения этих кругов и не просто обеспечил безопасность царя и его царства от внешней угрозы, но спас Россию от поражения в неизбежно грядущей войне.

Глава 3 ВЛАСТИТЕЛИ И СУДИЯ

«БУДЬ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ...»

ГОД 1807. Январь. 13.

Учрежден Комитет охранения общественной безопасности («Комитет 13 января»). Среди членов — сенатор Макаров, бывший в Тайной экспедиции преемником знаменитого палача Семена Шешковского.

ГОД 1808. Январь. 13.

Аракчеев назначен военным министром.
Введена новая форма, скроенная по французскому образцу; на плечах офицеров появились эполеты.

«Наполеон сидит на плечах у русских офицеров».

(Распространенная шутка.)

Февраль. 8.

Начало Финской кампании.

Март. 20.

Манифестом Финляндия навсегда присоединена к России.

Книга Модеста Корфа о графе Сперанском,^[119] вышедшая в 1861 году в Санкт-Петербурге, открывается тремя портретами героя.

Первый — гравюра, воспроизводящая работу живописца Иванова, — относится к 1806 году и представляет нам нежного юношу с орденом на груди и с книгой в руках.

Второй — литография, сделанная по уменьшенной копии^[120] с «коленного» портрета, исполненного славным художником Доу в 1822 году (или в 1823-м). В глаза нам смотрит умудренный государственный деятель, строгий, но вполне справедливый.

Третий портрет выполнен с акварели Реймерса; год 1838-й. Всевластный вельможа, пребывающий на вершине карьеры. Простоватая прическа «a la toujik» не должна вводить в заблуждение. Это не знак простоты, а свидетельство принадлежности к вельможному клану, своего рода парикмахерский указатель. Точно такую же прическу носил выдающийся политик предыдущего поколения, адмирал Николай Семенович Мордвинов, человек безупречной репутации, стоик, мудрец; его моральным наследником и хотел предстать портретируемый Сперанский.

Если проглядывать портреты, быстро листая страницы, возникает иллюзия движущейся картинки на тему «карьера»: начало, середина, конец. Между тем чистый юноша 1806 года куда ближе к пику своей головокружительной карьеры, чем пожилой сановник 1838-го.

ГОД 1808. Сентябрь. 2.

Верный слову, данному Наполеону, Александр отправляется из Петербурга в Эрфурт на свидание с французским императором. Во встрече принимает участие Сперанский. Наполеон настаивает на совместном требовании разоружения Австрии; Александр — на очищении территории Пруссии от французских войск. Ни о чем договориться не удается, но самый факт свидания отдалает войну с Францией на четыре года.

Декабрь. 16.

Сперанский назначен товарищем министра юстиции. Десять предыдущих комиссий по усовершенствованию законодательства были безрезультатны; Сперанский приступает к подготовке нового уложения.

Юный попович до поступления в семинарию не имел даже фамилии: его отец и дед в школах не обучались, вследствие чего родового прозвища не получили. Теперь же его имя было на устах у всех. Скоропостижное продвижение имело свою причину: Сперанский был не просто гениально одарен; он — что в России встречается куда реже — был холодно системен и обладал качеством, заменявшим ему родословную: мыслил не обстоятельствами, а поставленными задачами.

Русский вельможа способен принять мудрое решение, дать умный совет, просиять мгновенным озарением. Он готов трудиться изо дня в день, из года в год, — но не создавая и отлаживая самостоятельно движущийся общественный механизм, а лишь реагируя на течение событий, «ход вещей». Самые смелые его проекты — суть исправления, но не создания, конфигурации, а не конструкции.

Сперанский же умел цепко держаться целого, не жертвуя частью; он не подстраивался под «ход вещей», но сам создавал его и сам отслеживал сбои устройства, обеспечивающего этот ход.

Именно такой человек понадобился Александру I в краткий промежуток между наполеоновскими войнами, когда «утешительные» победы, с согласия Наполеона одержанные над финнами и шведами, подуспокоили общее мнение, а взбухавшее на горизонте новое сражение с «коронованной революцией» обещало перерасти в глобальную битву империй, из которой уже невозможно будет выйти с «ничейным» результатом. Это чувствовали, об этом писали тогда многие; но только русский царь связывал с предстоящей Битвой народов надежду на успех коренных реформ мирной жизни. Гораздо более масштабных, гораздо более смелых, чем предшествующие.

Александр сознавал, что будущий победитель по праву займет место в самом центре европейского мира, что победа спишет все его ошибки, примирит нацию со своим вождем. Все, что было до, будет восприниматься сквозь призму того, что утвердится после. И Россия, извечной косностью которой объяснял царь неудачи первых лет своего правления, просто не успеет отторгнуть вживленную в нее новую ткань; предвоенная монархическая революция, отделенная межою войны, покроется сияющей дымкой минувшего и будет казаться чем-то органичным, от века данным, отцами завещанным.

Если же России суждено потерпеть окончательное поражение... что ж. По крайней мере Александр I войдет в анналы истории как трагический герой, которому слепой рок не дал довершить великие замыслы; тогда вопрос об уновлении будет снят сам собою.

Но что было думать о плохом, если впервые появился шанс примирить два главных мотива его политической жизни: нетерпение и опасливость; мечту о том, чтобы все переменялось к лучшему вдруг, и надежду, что неотложные исправления произойдут тихо и счастливо, совершатся исподволь, сами собою? И на переломе от 1808-го к 1809-му Александр решился. Он не отказывался от прежней цели участия в Державе; он отказывался лишь от средств, не оправдавших себя. Вместо переворота в умах, надежда на который возлагалась в 1801-1804 годах, предстояло совершить переворот в структурах; создать самодостаточный механизм обновленных «институций», который постепенно переменит к лучшему всю российскую жизнь. Вот тут-то и был окончательно возвышен Сперанский. Человек, способный заземлять, обсчитывать и выстраивать государевы идеи. Человек, при всем том отнюдь не чуждый утопического энтузиазма и мистических порывов за пределы наличной истории (бывают порывы не только горячие, но и ледяные, как северный ветер). Человек, способный додумывать все до конца.

ГОД 1809. Март. 16.

Александр произносит речь на открытии Финского сейма. (Речь подготовлена Сперанским.) Финляндии сохранена конституция, не утратило государственных прав традиционное вероисповедание, соблюдены права и преимущества сословий.

«Финляндия есть Государство, а не Губерния».

(М. М. Сперанский.)

Апрель. 3.

Под влиянием М. М. Сперанского Александр подписывает Указ «О придворных званиях, по которому камергеры и камер-юнкеры обязываются поступить в службу».

Август. 6.

Принят Указ «О чинах гражданских», окончательно рассоривший Сперанского с общим мнением: отныне в коллежские асессоры запрещено производить лиц, не имеющих университетского диплома.

Но в том-то и дело, что Сперанский действительно додумывал все до конца. Будучи лично глубоко верующим и вполне православным, он, подобно большинству своих образованных современников (и в первую очередь подобно самому государю), не воспринимал монархическую государственность как некое «институциональное» отражение христианского космоса. Он видел в ней то, чем она, по существу, уже и стала; то, к чему она сама себя свела: не самую удобную и быстродействующую, не самую практичную форму правления, отягощенную неоправданно пышным гражданским культом императора. Но, в отличие от большинства, Сперанский обладал интеллектуальным мужеством и не желал сохранять отжившее только потому, что оно привычно. Он не меньше Державина любил русское государство (и себя в нем). Просто государство было для него не целостным организмом, жизнедеятельность которого обеспечивают социальные институты, но механизмом управления, регулирующим жизнь народонаселения. В устройстве этого механизма обнаружились сбои, следовало их устранить.

Представленный Сперанским царю в октябре 1809-го план преобразований был строен, четок, рассчитан по календарю.

Целью перемен полагался переход от абсолютной монархии к монархии неабсолютной; то есть — еще не конституционной, но уже ограниченной умеренным народным представительством в законодательстве, суде, управлении; причем не на основании родовых аристократических прав, а на основании прав имущественных. В основу положен был принцип землевладения. Мы знаем, что землей в России де-факто, через подставных лиц, уже владели купцы и даже разбогатевшие на откупках крестьяне. В том, что Сперанский молчаливо подразумевал оформление этих новых земельных отношений де-юре, а значит — готовил тихую буржуазно-бюрократическую революцию в России, сомнений никаких нет.

Иначе какой смысл было принимать указы от 3 апреля и 6 августа, разрушавшие два главных принципа продвижения по службе: старшинство и покровительство? указы, открывавшие путь наверх семинаристам и разночинцам? Зачем было отнимать у родовитого дворянства роль коллективного распределителя присутственных мест в Империи? зачем было рисковать и собою, и репутацией (пока только репутацией) царя? Не ради того, чтобы просто подразнить высокомерную среду и даже не ради того, чтобы повысить ее образовательный уровень. Нет. Сперанский хотел всех — и знатных, и не знатных — уравнивать перед неким безличным требованием; и аристократов, и демократов встроить в единый механизм.

В целом этот проект легко вписывался в александровскую утопию либеральной монархии, противостоящей послереволюционному консерватизму. Но Александр относился к проектам Сперанского так

же, как к военной перспективе: со страхом и влечением. С влечением — и со страхом. Возлагая на реформу огромные надежды, царь вполне справедливо опасался, что аристократия почует, чем грозит ей план преобразований. Последствия ему — по вполне понятным причинам! — нетрудно было вообразить.

Тем более что уже в 1804 году совсем еще робкие «буржуазные» поползновения Сперанского подвигли Гаврилу Романовича Державина на более чем серьезные обвинения по адресу «высочки». В цитированных уже «Записках» читаем:

«Сперанский совсем был предан жидам чрез известного Перетца, которого он открытым образом считал приятелем и жил в его доме... Сперанского гласно подозревали и в корыстолюбии (по одному еврейскому делу), а особливо по связи его с Перетцом».

[\[121\]](#)

Формальным поводом для подозрения в подкупленности «еврейским капиталом» стало подготовленное Сперанским решение Еврейского комитета (куда входили Державин, Кочубей, Валериан Зубов, Чарторыйский, сенатор Потоцкий) по винным откупам в Белой Руси. Вопреки державинскому настоянию, комитет не запретил евреям торговать вином, но принял утвержденное указом Александра I «Положение для евреев»: «... лучше и надежнее вести евреев к совершенству, отворяя только пути к собственной их пользе, надзирая издалека за движениями их и удаляя все, что с дороги сей совратить их может, не употребляя, впрочем, никакой власти, не назначая никаких особенных заведений, не действуя вместо их, но раскрывая только собственную их деятельность. Сколь можно менее запрещения, сколь можно более свободы».

[\[122\]](#)

Гаврила Романович евреев и поляков недолюбливал — это правда; но убежденным шовинистом не был. Он был невоздержанным отечестволюбом и упрямым законопослушником. За долгую чиновную карьеру ему не раз приходилось разбирать дела, связанные и с «сынами Сионовыми», и с шляхтой. Если нужно было решать «по справедливости», он всегда поддерживал «великодержавную» сторону конфликта; если же приходилось судить «по закону», Державин подчинял личные чувства гражданским и требовал соблюдать «права меньшинств». Даже, как было в случае с тем же самым промышленником Перетцем, когда законно заключенные с ним соляные контракты были невыгодны государству. Но в 1804 году речь шла не о верности российскому закону: речь шла о будущей политике Империи, о выгодах или невыгодах «коренного населения», составляющего естественную опору Державы. Гаврила Романович не мог взять в толк, на каких таких основаниях комиссия отказывается протезировать русским купцам. И подозревал, что попович подыгрывает минским откупщикам небескорыстно. (Тем паче, что наученные горьким опытом российской жизни и не верившие, что большой начальник может отказывать из принципиальных соображений, минчане через предпринимателя Нотку пытались передать двухсоттысячную взятку самому Державину.) Ему невдомек было, что Сперанский действительно подыгрывал — но не евреям, а новым буржуазным отношениям, не нуждающимся в государственном протекционизме и национальной окраске экономического законодательства: «Сколь можно менее запрещения, сколь можно более свободы». И если такова была «реакция реакции» в 1804-м — до начала реформ! — если так рассуждал просвещенный литератор, чего же следовало ждать теперь от диких русских помещиков?

Именно по этой причине царь — получивший невероятный шанс разом переменить положение дел в Империи — в конце концов потребовал изменить порядок введения новшеств. Не сразу, а «исподволь», шаг за шагом, всякий раз придумывая убедительные доводы для отвода глаз.

Сперанский понимал, к чему может привести постепенность,^[123] но волю монарха исполнил. Преобразования разделены были на несколько этапов и расписаны по числам на 500 дней вперед (считая от даты представления плана царю).

Все должно было начаться 1 января 1810 года с учреждения Государственного совета.

Затем, в течение года, предстояло изготовить и рассмотреть все требуемые законы; в январе открыть Министерство финансов и казначейство, в феврале учредить Министерство полиции и присоединить к Министерству внутренних Дел коммерцию; к маю подготовить Государственное Уложение и 1 мая Манифестом объявить выборы Собрания для его принятия; 15 августа преобразовать Собрание в Государственную думу и назначить ее канцлера; 1 сентября, в первый День русского Нового года по допетровскому календарю, Думу открыть и Уложение принять; далее кое-что еще усовершенствовать по мелочам и к славному юбилею 10-летия Царствования Александра Павловича реформу завершить.

ГОД 1809. Декабрь. 31. Вечер.

35-ти сановникам вручены повестки собраться 1 января в 8 часов 30 минут в одну из зал Шепелевского дворца.

ГОД 1810. Январь. 1. 9 часов утра.

Государь держит речь перед новособранным Государственным советом:

«...Каким образом в государстве, столь обширном, разные части управления могут идти с покойностью и с успехом, когда каждая движется по своему направлению, и направления сии нигде не приводятся к единству?

Одно личное действие власти... не может сохранить сего единства. Сверх сего, лица умирают; одни установления живут и в течение веков охраняют основания государств.

Уповая на благословение Всевышнего, мой долг будет разделять труды ваши и искать одной славы, для сердца моего чувствительной, чтоб некогда, в поздних временах, когда меня уже не будет, истинные сыны Отечества, ощутив пользу сего учреждения, вспомнили, что оно установлено было при мне и моим искренним желанием блага России». [\[124\]](#)

Отношения с сословием были делом важным. Но куда важнее было для царя другое. Что значит учредить орган предварительного рассмотрения законов, превратить Кабинет министров в верховный правительственный орган, разделить все отрасли власти на четыре соподчиненные ступени (волостная — окружная — губернская — Государственная дума; волостной — окружной — губернский — Верховный суд; то же и с исполнительной ветвью)? Это значило не просто полностью поменять структуру правления Империей; не просто задеть интересы аристократии, но разом переменить все социальные роли. В том числе роль монарха. Царь не мог этого не понимать. Понимая — не мог не тревожиться. Недаром столь тщательной и столь тесной была совместная (в ноябре — декабре

почти ежедневная) работа проектанта и прожектора, Сперанского и царя, над преобразовательными бумагами.

ГОД 1810. Январь. 23.

Наполеону отказано в испрашиваемой им руке Анны Павловны. Предлог. — молодость невесты («не ранее, чем через два года»).

Январь. 26.

Наполеон подписывает брачный договор с Марией-Луизой, избрав тем самым союз с Австрией, но не с Россией.

Конвенция о Польше им не ратификована.

Путь к предстоящей войне открыт.

Сперанский додумывал до конца все. Но не все до конца договаривал и не во всем признавался даже самому себе. Прежде всего в том, что предложенная им система, придя в движение, обесмыслит не только аристократию, не только самодержавие, но и в целом — Империю. Что при современном ему состоянии человечества есть только две возможности общественного устройства:

демократический баланс общественных интересов, взаимное равновесие политических полюсов;

центростремительность Империи, державная сосредоточенность Царства. I Америка — и Россия.

И если отказываться от второго, нужно решаться на первое. И если избирать первое, нужно готовиться к утрате второго.

Иначе или произойдет сметающая все на своем пути революция, в зазор между Америкой и Россией

вторгнется Франция «образца» 1789 (если не 1793-го!) года, или получится нечто третье — именно то, к чему клонили реформы Сперанского. (Точнее — александровские прожекты, Сперанским оформленные.) Не полноценная демократия, не полновесный монархический авторитаризм, не ограниченное конституцией самодержавие, а стройно запутанное царство бюрократии, подобное немецким водяным часам, где не поймешь, как вода перетекает по многочисленным стеклянным трубочкам, не уследишь за тем, откуда она вдруг вырывается, чтобы с шипением обрушиться вниз, и вновь булькая устремиться наверх, никуда не исчезая и ниоткуда не берясь. Вращение в пустоте, взаимопорождающий шелест входящих и исходящих бумаг, записок, докладов, поправок и уточнений.

Сперанский — не в пример государю — по своим личным пристрастиям не был республиканцем. Его «управленческим» идеалом, подобно Лагарпу, до конца жизни осталась конституционная монархия, в которой уравновешены единоличная воля царя и «коллективная» воля представительных органов. (Впоследствии он сумел внушить этот идеал наследнику русского престола Александру Николаевичу.) Тем более Михаила Михайлович не строил личных заговоров против Александра Павловича и отнюдь не метил в первые русские президенты. (В отличие от царя, которому если не формально, то по существу готовилась именно такая роль.) Да, царев помощник мог в раздражении заметить, что с управлением Россией не только он, Сперанский, но и любой природный русский справился бы лучше, чем немец-царь, который «все делает наполовину... слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым». Да, он был готов получать в свое распоряжение конфиденциальную информацию,

адресованную непосредственно государю. Но бесполезно искать в этих «проступках» признаки морального покушения на монаршие прерогативы. Тут дело в другом.

Просто последовательный ум реформатора бесконтрольно проникал дальше запретной черты и провоцировал сбои в речевом и социальном поведении. Сперанский сознавал, не признаваясь, что вселенная российской власти в случае успеха затеваемого дела станет вращаться не вокруг Романовых, а вокруг сперанских. А поскольку в его футуристической голове преобразования давно уже совершились, постольку и вел он себя соответственно. В какие бы формы ни облакался строй цивилизованных бюрократов, в незримом центре бюрократического круга всегда будет находиться Его Величество Письмоводитель, Его Святейшество Стряпчий, Его Высокопревосходительство Государственный Секретарь [\[125\]](#) — Секретарь Государства.

ГОД 1810. Февраль. 2.

Особым манифестом ассигнации признаны государственным долгом, выпуск их прекращен; государственные расходы сокращены, налоги — увеличены.

МУЖ ПРЕИЗЯЩНЕЙШИЙ

Царь был настороже, подозревая что-то неладное, но так и не мог разобрать, откуда, из какой именно политической щели сквозит угроза. Первым, кто все это отчетливо понял и щель заткнул, был тогдашний военный министр граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Его в царскую орбиту втянуло то самое «шестое монархическое чувство», тот самый обесмысленный самодержавный инстинкт, что некогда толкал Александра Павловича в объятия республиканского идеала, а теперь — аккурат у «конституционной» черты — толкнул в объятия визиря.

Умный царедворец, неспешно возраставший в полноту вельможной силы, оплетавший трон глубоко пущенными корнями, чем дальше, тем больше замыкавший царя на себя и превращавшийся в полномочного посредника между государем и государством, — он мгновенно распутал плетение словес, на которое Сперанский был мастер. Аракчеев нутром угадал действительную цель преобразований — механистичное обезличивание власти.

Сначала стирается грань между родовитым дворянином и талантливой выскочкой (для чего были осуществлены указы от 3 апреля и 6 августа 1809 года).

Потом выскочка вытесняет вельможу (не случайно Аракчеева не поставили в известность о готовящихся преобразованиях, а лишь сообщили об их результате, уравнив в правах с простым высокопоставленным чиновником).

Затем на место доверенного лица при государе поставляется коллегиальное мнение Государственного совета.

Наконец, придет время и самого государя?

Бюрократическому строю не нужен самодержец, ему нужен опытный дирижер. Кто? Да скорее Сперанский, чем Александр. Впрочем, загадывал ли Аракчеев так далеко, неизвестно; главное, что реформы размывали почву, на которой все тверже стоял он сам.

Вставной сюжет. ЖИЗНЬ ГРАФА АРАКЧЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ

(Автобиографические заметки на прокладных листах книги Св. Евангелия, принадлежавшей графу.)

Глава I. СЕНТЯБРЬ.

Сентября 27-го дня, 1787 года, пожалован Алексею Аракчееву первый обер-офицерский чин, от армии поручика.

20-го сентября, рождение Императора Павла 1-го, 1754 года; в оный же день 1806 г. освящена новая каменная церковь в селе Грузине, во имя Апостола Андрея, построенная графом Аракчеевым.

Сентября 6-го. В сей день, 1809 года, Государь Император Александр I изволил прислать к графу Аракчееву, по случаю мира со Швециею, с флигель-адъютантом, орден Св. Апостола Андрея Первозванного, тот самый, который изволил носить, при рескрипте Своем; оный орден упросил граф Аракчеев, того же числа ввечеру, взять обратно, что Государем Императором милостиво исполнено; а дабы сей рескрипт не утерялся, то с оного копия списана в сей книге на местах в Пасхалии, а другая копия написана на листах в Евангелии в селе Грузине. На оное останется в доказательство, в фамилии Аракчеевых, рескрипт Государя Императора, на сей случай собственною рукою исписанный.

Глава II. ОКТЯБРЬ.

[Октября не было. Чисел в октябре тоже не было.]

Глава III. НОЯБРЬ.

Ноября 8-го дня, 1796 года, пожалован Алексей Аракчеев генерал-майором и кавалером 1-й степени Св. Анны.

Ноября 20-го, 1805 года, онаго числа был граф Аракчеев на сражении, бывшем в Моравии под Аустерлицем с Французами, с Императором Александром 1-м.

Ноября 30-го, 1815 года, поставлены в Грузинском соборе памятники покойному Государю Павлу Петровичу и офицерам графского полка, и в оный день освящены.

Глава IV. ДЕКАБРЬ.

Декабря 12-го, 1796 года, пожалована Алексею Аракчееву грузинская вотчина, 2000 душ.

Декабря 6-го, 1812 года. В сей день ввечеру выехал граф Аракчеев из Петербурга в Вильну с Государем для заграничного похода в 1813 и 1814 годах.

Декабря 12-го, 1815 года, Государь Император Александр 1-й изволил давать графу Аракчееву звание статс-дамы для его матери, но граф оного не принял и упросил оное отменить.

Глава V. ЯНВАРЬ.

Января 5-го дня, 1799 года, пожалован Алексей Аракчеев орденом Иоанна Иерусалимского, с командорством по 1000 рублей в год.

Января 13-го, 1808 года. В сей день граф Аракчеев сделан военным министром и генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии.

Января 1-го, 1810 года. В сей день сдал звание военного министра. Советую всем, кто будет иметь сию

книгу после меня, помнить, что честному человеку всегда трудно занимать важные места государства.

Глава VI. ФЕВРАЛЬ.

Февраля 2-го, 1782 года. Аракчеев определен в службу, в артиллерийский кадетский корпус — кадетом.

Февраля 4-го, 1806 года, женился граф Аракчеев на Наталье Федоровне Хомутовой. Венчание было в Сергиевском артиллерийском соборе, в присутствии Государя Императора Александра 1-го.

Глава VII. МАРТ.

Марта 11-го числа, 1801 года, пополудни в 12-м часу кончина имп. Павла I.

Марта 31-го дня, 1814 года, в Париже, Государь Император Александр 1-й изволил произвести графа Аракчеева в фельдмаршалы, вместе с графом Барклаем, о чем и приказ собственноручно был написан, но граф Аракчеев оно не принял и упросил Государя отменить.

Глава VIII. АПРЕЛЬ.

Апреля 5-го, 1797 года, пожалован А. Аракчеев бароном Российской Империи и орденом Св. Александра Невского.

Апреля 27-го, 1803 года, получил именной указ от Императора Александра Павловича, чтобы быть графу Аракчееву в Петербурге из Грузина.

Апреля 14-го дня, 1812 года, выехал граф Аракчеев в армию в Вильну, что было Пятница страстной недели.

Апреля 28-го, 1812 года, приехал граф Аракчеев в армию в Вильну.

Апреля 24-го, 1816 года, прибыла в село Грузино пожалованная графу Аракчееву яхта государева... При приходе в Грузино она салютовала из пушек, на что ей отвечали с батареи Грузинской.

Глава IX. МАЙ.

Мая 5-го дня, 1799 года пожалован Алексей Аракчеев графом Российской Империи; оно же числа 1805 года заложена графом в Грузине церковь каменная Апостола Андрея.

Мая 14-го, 1803 года, принят граф Аракчеев в третий раз на службу, инспектором артиллерии.

Глава X. ИЮНЬ.

Июня с 7-го на 8-е число, 1810 года, что было с понедельника на вторник, Государь Император Александр 1-й, возвращаясь из Твери, нарочно изволил заезжать в Грузине, посетить графа Аракчеева; прибыв ночью во 2-м часу, изволил лечь почивать, а поутру 8-го числа, в 9 часов, одевшись, изволил посещать церковь и гулять по всему саду и селению до 11 — ти часов; потом, возвратясь в дом, изволил фрыштыкать, и потом с графом Аракчеевым ездить на дрожках по деревням, и возвратясь во 2-м часу, изволил иметь обеденный стол, и после обеда пробыл до 7-ми часов вечера, и потом изволил отправиться в С.-Петербург, и был чрезвычайно весел и доволен.

Июня 12-го дня, 1812 года. Французы перешли нашу границу через Неман; в то время я был с Государем в

Вильне, откуда выехал с Государем 14-го числа в Свенцяны.

Июня 17-го дня, 1812 года, в городе Свенцянах призвал меня Государь к себе и просил, чтобы я опять вступил в управление военных дел, и с оногo числа вся Французская война шла через мои руки, все тайные донесения и собственноручные повеления Государя Императора.

Глава XI. ИЮЛЬ.

Июля 8-го числа, 1816 года, что было суббота, Государь Император Александр 1-й изволил нарочно приехать из Царского Села в Грузино, посетить графа Аракчеева, прибыл 8-го числа в 10 1/2 часов пополудни с генерал-адъютантом Волконским, изволил лечь почивать, а поутру 9-го числа в 7 1/2 часов, одевшись, изволил гулять в саду, и, пройдя чрез большой мост в деревню до магазина, где изволил сесть в елбот, заехал в беседку, посвященную генералу Мелиссино, которая очень понравилась; оттуда переехал на большую пристань садовую и прошел в палату, где готов был фрыштык, и изволил кушать, а потом возвратился в дом, уже в 10 часов утра, в которое время начали благовестить к обедне.

Глава XII. АВГУСТ.

Августа 5-го дня, 1793 года, пожалован Алексей Аракчеев артиллерии майором, а от армии подполковником.

Августа 18-го дня, 1816 года. Государь Император Александр 1-й в Москве, посетил мать графа Аракчеева,

в ее квартире, в доме, нанимаемом генерал-майором Ильинским.

Источник: Русский Архив. 1866. Стр. 922-927.

В публикации «Русского Архива» записи Аракчеева разобраны «по бревнышку» и заново выстроены в хронологическую цепь, в соответствии с прямой последовательностью событий: февраля 2-го, 1782 года... ноября 8-го дня, 1796 года... декабря 12-го 1796 года... Лучше вернуться в исходное положение, воспроизвести композицию оригинала: не по годам, а по месяцам, начиная с сентября, как велит допетровский календарь (которому в своих преобразовательных расчетах следовал и Сперанский). Добавив для остроты деление на главы, мы увидим, в какой проекции сам граф мыслил свою судьбу, в какое временное измерение ее помещал. Собственные «труды и дни» Аракчеев не регистрировал в «порядке поступления», но расставлял по месяцам, словно по ящичкам, потому что ощущал их не как свершение и путь, а как разбегающуюся вширь данность. Факты его жизни не сцеплялись по закону взаимопорождения причин и следствий, а накапливались, нарастали, увеличивались в объеме. Жизнь графа была не побегом, а гроздью. Потому и рассказ о ней должен был уподобиться книге миниатюр, заведомо лишенной новеллистического сюжета. Потому и календарь следовало предпочесть не реальный, а символический. Потому и записи полагалось вести на прокладных листах Святого Евангелия, напрямую соотнося книгу своей судьбы с Книгой Жизни.

История Аракчеева, им самим рассказанная, не есть история неуклонного восхождения к вершинам карьеры (как то было у Сперанского), но есть миф о вечном приближении и удалении, вращении и раскачивании

вокруг единого, неустраняемого, неподвластного времени центра — монаршего престола. Государства, персонифицированного в Государе. Именно персонифицированного. Высшей наградой был для графа Указ от 14 декабря 1807 года, согласно которому объявляемые Аракчеевым высочайшие повеления приравнивались к именным указам императора.

Вопреки позднейшей репутации, Аракчеев не был бюрократом; бюрократ для него — самозванец, поставляющий себя на место царедворца; безличия Алексей Андреевич не любил. В мемориях архимандрита Фотия Аракчеев будет аттестован так: «Муж преизящнейший».^[126] Внешность мужиковатого графа «преизящнейшей» не была. (Скорее, по отзывам современников, обезьяноподобной.) Еще менее тонкими были его манеры. Но все-таки Фотий попал в точку. Само отношение к монархии (а значит, и к жизни) было у Аракчеева вполне прециозным; он был, если угодно, самодержавный персоналист.

Что же до «ценностных оснований» такого рода воззрений, то мы ровным счетом ничего не знаем о «духовных запросах» графа; знаем только, что формально-обрядовую традицию он соблюдал исправно и столь же исправно соблюдал традицию помещичьего отступления от нее, открыто проживая в двойном браке. Ни то ни другое ни о чем не говорит; в жизни бывает всяко. Но не подлежит сомнению, что аракчеевский монархизм был самодостаточным, в богословских обоснованиях он не нуждался и был связан не с верой и не с правдой, а с привычкой; Аракчеев столь же яростно оберегал от «демократических» посягновений пустую скорлупку монархии, сколь яростно устранял ее с пути прогресса прагматичный и предельно ответственно мысливший

Сперанский. Но, в отличие от Державина, Аракчеев не собирался наполнять ее личной верой.

Зато в преданности графа царю было, по словам Петра Андреевича Вяземского, «даже что-то рыцарское и поэтическое».^[127] После кончины любимого государя Аракчеев обустроил свой кабинет наподобие мемориального музея: бюст, сорочка царя, часы, ежедневно в час кончины Александра бившие «Со святыми упокой...». А при жизни императора он не имел никаких «мирских» пристрастий, кроме государственного делания. Самый быт его в имении Грузино был устроен по-монастырски (в том смысле, в каком бывает «уха по-монастырски»: рецепт иноческий, зал — ресторанный) и отлажен так, что полностью соответствовал возлюбленному государем идеалу «блаженного уголка». Если все это и было ролью, то сыгранной безупречно, с полным перевоплощением.

Точнее, почти безупречно, с почти полным. О том, почему — почти, поговорим в свое время. Пока же вернемся к ситуации декабря 1809 года; представим ужас, отчаяние и ревность Аракчеева, наравне со всеми извещенного об учреждении и открытии Государственного совета и наедине с собою обдумавшего дальнейшие следствия государева решения. Терять графу было нечего. Поражение могло лишь ускорить развязку, а внезапная удача способна была надолго (если не навсегда) упрочить положение. Его лично — и всей Империи в целом.

Аракчеев пошел ва-банк.

Государю отправлено было письмо, на фоне эпистолярной нормы почти вызывающее.

«Всемиловитый Государь!

Пятнадцать уже лет я пользуюсь Вашими милостями, и сегодняшние бумаги есть новый знак продолжения оных... Я, Государь, прежде отъезда

моего все прочитал и не осмелюсь никогда иначе понять, как только сообразить свои собственные познания и силы с разумом сих мудрых установлений.

Государь! Вам известна мера бывшего в моей молодости воспитания; оно, к несчастью моему, ограничено было в тесном самом круге данных мне пособий, а чрез то я в нынешних уже своих летах не более себя чувствую как добрым офицером, могущим только наблюдать в точности за исполнением военного нашего ремесла...

Ныне же к точному исполнению мудрых ваших постановлений потребен министр, получивший полное воспитание об общих сведениях. Таковой будет только полезен сему важному сословию и содержит сие первое в государстве звание военное....

Я к оному, Государь, неспособен....

Государь! Не гневайтесь на человека, без лести полвека прожившего, но увольте его из сего звания, как Вам угодно». [\[128\]](#)

Прочтя письмо, Александр должен был ощутить (ибо есть вещи, о которых ни при каких обстоятельствах не говорят прямо — табу!): любимец уходит не потому, что его разлюбили, а потому, что в воздухе пахнет грозой. Грозой, которая ничего хорошего не сулит и его императорскому величеству.

Особенно красив какой-то особой, двусмысленной, соблазнительной красотой придворной лести последний абзац письма «без лести преданного». Я ухожу — ибо остаюсь верен Престолу; я ухожу — ибо Престолу грозит опасность («не мне, не мне, а Имени Твоему!»); и пусть я буду последним, кто ушел не по решению Совета, а по священной воле Императора.

«Увольте... из сего звания, как ВАМ угодно».

Александр Павловичу было угодно уклониться от решения; он ответил формально жестко, но скорее в

недоуменно-увещевательном духе:

«Не могу скрыть от вас, Алексей Андреевич, что удивление мое было велико при чтении письма вашего.

Чему должен приписать я намерение ваше оставить место, вами занимаемое? Говорить обиняками было бы здесь не у места. Причины, вами изъясняемые, не могу я принять за настоящие. Если до сих пор вы были полезны в звании вашем, то при новом устройстве Совета, почему сия полезность может уменьшиться? Сие никому не будет понятно.

Все, читавшие новое устройство Совета, нашли его полезным для блага Империи. Вы же, на чье содействие я более надеялся, вы, твердивший мне столь часто, что, кроме привязанности вашей к Отечеству, личная любовь ко мне вам служит побуждением, вы, невзирая на оное, одни, забыв пользу Империи, спешите бросить управляемую вами часть, в такое время, где совесть ваша не может не чувствовать, сколь вы нужны оной, сколь невозможно будет вас заменить...

Но позвольте мне, отложив здесь звание, которое я на себе ношу, говорить с вами, как с человеком, к которому я лично привязан, которому во всех случаях я доказал сию привязанность. Какое влияние произведет в глазах публики ваше увольнение от должности в такую минуту, где преобразование, полезное и приятное для всех, введено будет в правительстве? Конечно, весьма дурное для вас самих...

В такую эпоху, где я право имел ожидать от всех благомыслящих и привязанных к своему Отечеству жаркого и ревностного содействия, вы одни от меня отходите и, предпочитая личное честолюбие, мнимо тронутые, пользе Империи, настоящим уже образом повредите своей репутации.

...При первом свидании вашем вы мне решительно объявите, могу ли я в вас видеть того же графа Аракчеева, на привязанность которого я думал, что

твердо смел надеяться, или необходимо мне будет заняться выбором нового Военного министра». [\[129\]](#)

Но не милости искал Аракчеев, а жертвы, сулящей стократную милость. И потому он повторил демарш, чтобы в конце концов уступить министерское кресло Барклаю-де-Толли и занять пост председателя Департамента дел военных в Государственном совете.

Должность по видимости менее значимая. Но только по видимости.

Жертвуя качеством, Аракчеев выигрывал позицию. Он по-прежнему ни от кого не зависел, кроме государя; по-прежнему оставался визирем; придворная Личность торжествовала над безликостью бюрократии...

ГОД 1810. Май. 9.

День св. чудотворца Николая.
Саров.

Вернувшийся в монастырь после многолетнего жительства в пустыни о. Серафим затворяется в келий. Через несколько лет затвор ослаблен, дверь отворена, но подвиг молчания продолжается.

«В течение недели он прочитывал весь Новый Завет по порядку: в понедельник — Евангелие от Матфея, во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг — от Иоанна, в остальные дни — Деяния и послания св. Апостолов. В сенях, сквозь дверь, иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя Евангелие и Деяния св. Апостолов». [\[130\]](#)

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ И СОВЕРШИТЕЛЬ

Сравнение вельможных дарований графа с административным гением его тогдашнего противника

рискует уподобиться гоголевскому сопоставлению поссорившихся Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича:

«...Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди».

И все-таки, как сказал тот же писатель о тех же героях, их «сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется». Кажется, Сперанский и Аракчеев были одновременно выдвинуты Александром не для того, чтобы уравнивать друг друга, как правое уравнивается левым, плюс — минусом. Что-то равноблизкое себе находил в них Александр Павлович; что-то взаимно необходимое для задуманного им и совершаемого ими государственного дела. Как находил он что-то общее в конституционной перспективе и в учреждении военных поселений. Не забудем: Запасной Елецкий мушкетерский полк был поселен в Могилевской губернии (Климовецкий повет Бобылевского староства), а коренные жители за ненадобностью переселены на новоосваиваемые Новороссийские земли тогда же, когда обдумывалась «структурная перестройка» России!

Конечно, в довоенных планах военных поселений заключен был иной смысл, нежели в послевоенных, — об этом еще будет сказано; но все-таки не абсолютно иной. И схождение в 1810-1811 годах сверхлиберального проекта всеобщих реформ с военизированным планом организации поселений, столь же невероятное, как схождение прямых, было столь же закономерным, сколь одновременное возвышение Сперанского и Аракчеева, и сколь естественной была последующая перемена их ролей, когда Аракчеев в 1818-м подготовил план освобождения крестьян, а Сперанский в 1823-м

переобосновал уже осуществленный замысел военных поселений. [\[131\]](#)

Общее в Сперанском и Аракчееве замечал отнюдь не только царь; будущий декабрист Гавриил Батеньков, служивший под началом и того и другого, все-таки рискнул дать их сопоставительную характеристику, указать на качества, их сближающие; [\[132\]](#) но сейчас нам важно понять именно точку зрения русского царя. Для него соединительным звеном между Сперанским и Аракчеевым, между реформой и поселением, между порывом и ограждением от порывов был его юношеский наставник Лагарп, зачинатель той грандиозной утопии пересоздания России на совершенно новых началах, продолжателем которой стал Сперанский, а завершителем будет — Аракчеев.

Сперанский, подобно Лагарпу, «не чувствовал или скрывал от себя, что он, по крайней мере частью своих замыслов, опережает и возраст своего народа, и степень его образованности и самодеятельности; не чувствовал, что, увлекаясь живым стремлением к добру, к правде, к возвышенному, он, как сказал некогда немецкий писатель Гейне, хочет ввести будущее в настоящее, или, как говорил Фридрих Великий про Иосифа II, делает второй шаг, не сделав первого». [\[133\]](#) (Так писал о Сперанском любивший его Модест Корф.) Другое дело, что, в отличие от Лагарпа и Аракчеева, он имел мужество меняться, отказываясь от первоначального в пользу последующего. Придет пора, воцарится Николай I, и Сперанский займется тем звеном, мимо которого он проскочил в утопическое царствование Александра: кодификацией уже действующего русского права; черновыми работами, без которых, однако, двигаться вперед было невозможно, было опасно, было бесполезно.

Но то будет в другую эпоху. Пока же Сперанский готов скользнуть в пустоте реформаторской схемы, не соотнесенной с грешной русской землею; он верит, что умный и хитро закрученный закон сам собою преобразит узакониваемую реальность, сделает небывшее — настоящим.

Аракчеев в это не верит. Аракчеев верит в другое. Однако стоит к Лагарпу (столь непохожему на занудливо жестокого и вполне ограниченного временщика!) гораздо ближе, чем Сперанский. И метафизически и биографически: Аракчеев не пришел на смену либеральному швейцарцу, но наряду с ним взращивал в юном Александре Павловиче утопическую мечту об идиллической России, похожей на рейнские уголки, женевские фермы, гатчинские плацы. Взращивал — а затем поддерживал ровное горение утопического огня.

Всякий читатель писем Александра I, воспоминаний о нем, записок современников улавливает два сквозных мотива, которые, переплетаясь, аукаясь, рифмуясь, оркестровали всю его жизнь. Первый мотив — размах, порыв за пределы наличной истории; второй — уклонение от масштабов чересчур величественного бытия, стремление удалиться в «обитель счастья», скрыться в маленьком уютном раю. Олицетворением александровского размаха был Зимний дворец; олицетворением обители счастья станет таганрогский «дворец», где прошла их последняя с Елисаветой совместная осень 1825 года: одноэтажный дом, минимум прислуги, еще меньше приближенных, рядом Крым, где можно «жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы». [\[134\]](#)

Еще легче будет угадать идиллический подтекст в покупке Ореанды у графа Кушелева-Безбородко тою же

последней осенью александровского царства. «Счастливым уголком» на самом берегу Черного моря; покой, неподвижность жизни, протяженность времени, скромность. Именно тогда будут произнесены знаменитые слова: «Я скоро поселюсь в Крым... я буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку». А князю Петру Волконскому сказано: «И ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем...»

Но те же самые мотивы звучат и в письмах Аракчеева, адресованных Александру; особенно в тех, где речь идет о военных поселениях, этом грандиозном замысле устройства в России великого множества счастливых дисциплинированных «уголков». Из письма в письмо повторяется один и тот же словесный жест — вовсе не «социально-политический», а какой-то особенно личный, душевный, выказывающий желание чуткого придворного задеть тайную струну в душе государя: «Во всех военных поселениях, слава Богу, батюшка, все благополучно, смирно, тихо».^[135] Аракчеев понимал, что почти маниакальный интерес Александра к делам военных поселений не был только лишь интересом государственного деятеля к определенной области государственной жизни (хотя бы и очень значимой); то было внимание садовода к любимому и единственно ухоженному уголку огромного запущенного сада.

Поселяне и поселянки военных поселений были счастливыми персонажами государственной пасторали, разве что переодетыми в казенную форму (впрочем, переодевания — вполне в традициях жанра; вспомним пушкинскую «Барышню-крестьянку»). Образцовая чистота поселенских улиц (их вылизывали после завершения трудового дня в поле), единообразие архитектурного облика, все это значимо противостояло

реальности, в которой господствует невероятный беспорядок, грабят со всех сторон; все части управляются дурно. Точно так же противостояли ей все излюбленные Александром уголки России, куда во время бесконечных путешествий он непременно заезжал и где жили немногочисленные носители «протестантской этики» — немцы, финны, сектанты-меннониты...

В задуманной до войны Александром и осуществленной после войны Аракчевым системе военных поселений без труда будет различима структура утопии. Когда младший брат Александра, будущий император Николай I попадет на фабрику Нью-Ленарк, устроенную социал-утопистом Оуэном, он пронизательно заметит, что нечто подобное в России затекает г-н Аракчев. Точнее было бы сказать — государь.

Но в том-то и дело, что русский Оуэн будет располагать не клочком земли, а простором Империи. В конце концов, по его воле, стараниями Аракчева, внутри страны возникнет еще одна страна, свободная от исторической инерции России, упорядоченная, подчиненная единой воле и организованная в целостную систему. В военных поселениях год от года станут разрастаться автономные производства и службы; питейные заведения, подконтрольные государству, в округе будут закрываться и откроются свои, доход от которых поступит в «поселенский» бюджет. (То есть держава поделится с поселениями монополией на продажу спиртных напитков — естественно, без всяких откупов; Державин до этих времен не дожил, иначе бы он огорчился.)

Общественный капитал станет расти как на дрожжах, поскольку за дневную работу поселянам будут платить 25 копеек ассигнациями в день (при обычной норме от 50 копеек до рубля). Это во-первых;

во-вторых же, в «расходную смету» не включают стоимость отведенных под поселения земель и лесов. Каждое поселение получит свой общественный магазин, своего кирпичного мастера, своих повивальных бабок; одна изба в селе обязательно будет выделена под школу; после 1818 года в каждом полку заведут свой конный завод; ежегодно двух кантонистов будут отправлять на обучение архитектурному искусству, чтобы не нуждаться в привлечении людей со стороны. (Тем более что в военных поселениях воцарится единообразие, ибо прежние дома уничтожат и построят новые, чем достигнут не только чистоты архитектурного облика, но и чистоты замысла.)

Продумают и организацию семейной жизни.

Ко всем «поселенным» солдатам будут вытребованы жены, где бы те ни находились и независимо от того, желают ли солдаты восстанавливать супружеские отношения. (За время службы многие семьи практически распадались, если не церковно, то граждански.) Добронравие предпишут указом; холостую жизнь не благословят, и потому в назначенный день в шапку будут бросать имена «женихов» и «невест», записочки вынимать, жребий оглашать, под венец вести.

Автономной будет сама система экономических отношений, а не только внутреннее устройство военных поселений. В пределах округов уничтожится чересполосность и частная собственность на землю; если же учесть крайнюю степень обобществленности строя поселенческой жизни, то непрямая аналогия с будущими колхозами напрашивается сама собою.

Естественным образом, у государства в государстве рано или поздно возникнет потребность в установлении некоего подобия самостоятельного законодательства и самостоятельных органов власти. В 1818 году будет утвержден Экономический комитет военного

поселения; в 1821-м — Штаб и Совет отдельного корпуса военных поселений. Увенчается все созданием администрации военных поселений с «президентом» Аракчеевым во главе...^[136] Не безличный канцелярский управляющий, но самовластный правитель, маленький поселенский монарх.

Как это будет красиво и стройно в отчете! Как страшно в реальности! Впервые в своей истории Россия столкнется с теми проблемами «социалистического» мироустройства, которые замучат ее в XX столетии.

Чтобы кормить солдат, поселянам придется выдавать огромные наделы, с которыми те не справятся.

Рост поголовья скота приведет к нехватке сена.

Начнется падеж — не будет хватать мяса.

Собственность упразднится — порядок придется держать на силе.

Хозяйство будет вестись планоно — появятся не только приписки, но и всевластные распорядители общественных богатств...

Это будет так же красиво в отчете, как красивы были либерально-утопические схемы Лагарпа, и так же страшно, как страшны были последствия этих схем.

Теперь опять вспомним приведенные цитаты из ранних и поздних писем Александра с их идеальным порывом к устроенным «уголкам» и страхом перед необустроиваемой Россией... сопоставим их со схемой Лагарпова курса... еще раз соотнесем юношескую идиллию великого князя с проектом «военных поселений»... И, в конце концов, зададимся вопросом: а мог ли Аракчеев не появиться на александровском горизонте? Мыслимо ли готовить либеральные реформы в непроницаемой тайне — и не иметь приближенного, который понимал бы все душевные движения государя, действительно был бы «предан без лести»? Визиря,

который не знал бы нравственных сомнений и с неизбежной жестокостью подгонял неоформленную стихию реального бытия под задуманный и высочайше утвержденный проект? Верного слугу, который, получив нити к сокрытым замыслам царя и будучи облечен немислимой властью, не попытался бы узурпировать эту власть? Мыслима ли либеральная утопия без жестокого временщика? Мыслим ли временщик без армейской утопии?

Лагарп, с молчаливого одобрения Екатерины Великой, формирует царскую мечту, Сперанский детально ее прорабатывает, Аракчеев ее осуществляет и в том полагает единственное оправдание своей жизни. Вот сквозная идея его: «...надо строить и строить, ибо строения после нашей смерти, некоторое хотя бы время, напоминают о нас; а без того со смертью нашею и самое имя наше пропадет». [\[137\]](#)

ГОД 1811. Январь. 11.

Опубликован Устав Царскосельского лицея.

Март. 1.

Сергей Львович Пушкин подает прошение на имя министра народного просвещения графа А. К. Разумовского о приеме в Лицей сына Александра.

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

Десятилетний юбилей александровского правления не увенчался завершением реформ. (Тогда еще наивно полагали, что реформы подлежат завершению.) Он

увенчался другим, по-своему не менее значимым для истории государства Российского, событием.

15 марта 1811 года Александр I прибыл в тихую Тверь. Здесь его ждали сердечные объятия сестры, великой княгини Екатерины Павловны, которая неустанно возвращала легальную оппозицию любимому (что делать, действительно любимому) брату. Здесь ждали его неспешные прогулки сквозь распахнутый, синий мартовский воздух. Здесь ждали его необязательные разговоры с семействами местной знати, ничем серьезным не грозящий флирт. Здесь ждал его Карамзин с подготовленной по просьбе Екатерины Павловны «Запиской о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении», в которой восхвалялись личные достоинства Александра Павловича и порицались итоги первой половины его царствования.

Все — буквально все — подверглось тут вежливому остракизму. И дипломатические авантюры, за которые страна заплатила резким удорожанием жизни, повальным разорением дворянских семейств и купечества. И безграмотные попытки выправить финансы с помощью «серебряных денег» в противовес бумажным ассигнациям. И «новости в управлении» — столь же многочисленные, сколь и бессмысленные. И легко угадываемое намерение царя освободить крестьян — с землей или без земли, не суть важно. И выдвижение канцеляриста Сперанского, этого возможного исхитителя царской власти^[138] (от которого Карамзин успел претерпеть^[139]). И приближение «угодников», которым царь передоверяет властные полномочия, лишь ему одному принадлежащие по праву рождения. (Тут разумелся Аракчеев; от него Карамзин претерпит впоследствии.) И умозрительность царских

представлений о «стране пребывания». И тотальное недоверие к людям...

У всех этих разнообразных числителей имелся один общий знаменатель; он же заменитель Александровых фантазий: идея уважения к порядку вещей, знакомая нам еще по «Историческому похвальному слову Екатерине». «Записка» не столько разворачивалась от начала к концу, сколько вращалась вокруг неподвижного смыслового центра этой идеи.

Говорил ли «брат Рамзей» о временах Ивана Калиты; повествовал ли о воеводах эпохи Лжедмитрия; приступал ли к правлению Михаила Романова; переносился ли мыслью в блаженное царствование развратной Екатерины^[140] — всюду причину успеха находил он в согласии политиков с «обстоятельствами времени и места» и в их готовности предпочесть свершениям — завершения, созданию — исправления. Напротив, худшее в деяниях Великого Петра — то, что «пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию — Голландиею». То есть не себя и свой замысел приспособил к реальности, а реальность подогнал под внешний — чуждый ей — образец. Вот и ревнующий к славе своего великого предка, но пока разделяющий лишь его недостатки^[141] Александр Павлович искал лучшего — и едва не потерял имевшееся; он желал большей свободы для граждан — и поставил страну перед угрозой нового рабства, иноземного.

Страшна параллель, возникающая на страницах «Записки»; слишком прямо метит она в нежное царское сердце. «Ужасная революция» во Франции, самоуничтожившись, «оставила сына, сходного с нею в главных чертах лица. Так называемая республика обратилась в монархию, движимую гением властолюбия и побед». Россия же, ведомая по либеральной пустыне

чуждым властолюбия и жаждущим перемен Александром, отнюдь не «переиграла» Францию; как раз наоборот — она утратила ясную монархическую перспективу и встала на грань революции.

Уютный фон провинциального российского городка призван был художественно усилить эффект карамзинских умозаключений. Мягкие, невысокие, желто-песочного, бело-голубого и бледно-зеленого цвета особнячки; неспешность провинциального течения жизни; простота, чуть грубоватая наивность и теплота отношений; соразмерность русского быта — все это как бы само собою встраивалось в текст заказанной Карамзину «Записки», предусматривалось сценарием великой княгини. Царь, оторвав глаза от последних строк документа, должен был оглянуться окрест себя и поразиться чуждости затеянных им реформ современному строю и всему историческому опыту России.

По той же причине непосредственно перед самой передачей, вечером 18 марта, было устроено чтение фрагментов «Истории государства Российского», работою над которой Карамзин был занят с 1803 года. Александр полагал, что его хотят развлечь картинами минувших веков; он заблуждался; его хотели увлечь великим примером.

Зачем? Да затем, чтобы республиканствующий монарх понял наконец: сам ход веков восстает против его попыток уклониться от единовластия. Составившаяся из разнородных племен Русь всегда дорожила сплоченностью, ибо главной угрозой для ее исторического бытия была «тяга прочь», удельность. Удельностью разорваны, растерзаны самые величественные из ее политических центров. И наоборот, центростремительная политика, воля к собиранию земель неизменно вознаграждалась чудесным превращением малого в великое. Так

маленький городок Москва преобразился в центр огромного государства; так утвердился на русском престоле род Романовых — до избрания Михаила отнюдь не самый древний и могущественный.

Княжество — царство — Империя: вот формула русской истории. С этим считались все отечественные вожди. Даже Петр, по чьей вине дворяне поистине стали «немцами» для мещан, купцов, землевладельцев, — даже он, внося удельный разлад в историческую «горизонталь», не нарушил исторической «вертикали». Наоборот, первый русский император окончательно сосредоточил власть в руках самодержавных — и в этом его истинное величие. Ибо хороша или плоха логика русской истории, она неизменна и не нарушима без тяжких последствий. Ослабить в России самодержавство, покоящееся на доверии дворянства царю и подчинении крестьян дворянству, невозможно; это приведет не к большей свободе, а к худшей зависимости. От чего? Или от «многоглавой гидры аристократии», или от жестокого самовластия, в котором к самодержавству примешано тиранство (тут с умыслом был приведен отрицательный пример Павла Петровича).

Итоговая же формула устройства «идеального реального» Государства Русского такова:

«Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми — Государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих».

ГОД 1811. Июнь. 2.

Высочайшим указом Сенату директором Лицея назначается Василий Федорович Малиновский.

Август. 3.

Прием в Тюильрийском дворце, во время которого Наполеон в течение двух часов выговаривает русскому послу А. Б. Куракину, чем подает России неприкрытый сигнал о предстоящей войне.

Если бы Александр Павлович был не государем всея Руси, а странствующим философом, то по прочтении «Записки» он непременно задал бы Карамзину несколько важных вопросов. А именно: течет ли историческое время вспять? Мыслимо ли теперь, после десятилетия перемен, вернуться в золотую екатерининскую эпоху? Это прежде всего, но также: формы правления, как любые формы на свете, должны обладать своим содержанием. Допустим, г-н сочинитель безусловно прав, и Россия выстрадала самодержавие, раз навсегда обретя в нем свою политическую физиономию. Но современный мир — не лавка древностей. Что же такое — русская монархия после французской «Энциклопедии»? Известно, на какой идее основаны были в Париже Генеральные штаты — на Декларации прав человека и гражданина. Всевластие современного монарха тоже должно покоиться на общепризнанном принципе; спрашивается: на каком? И, наконец, главное. В государстве, не имеющем ни парламента, ни собрания выборщиков президента, но уже ощутившем вкус к «общественному мнению», — кто и каким образом без корысти и страха донесет до царя «глас народа»?

Если бы Александр Павлович спросил обо всем этом, Карамзин нашелся бы, что ответить.

Он сказал бы, что не зовет вернуться назад, в блаженное царствование Екатерины. Но не потому, что время необратимо, а потому, что движение вспять ничуть не менее опасно, чем движение вперед. Возвращенное старое покажется новостью, новость же есть «зло, к коему надобно прибегать только в необходимости». У России нет пути ни вперед, ни назад; ее задача — охранять и выправлять существующее. Такое, какое есть: любое другое будет еще хуже.^[142] Как Пушкин именовал себя атеистом в вопросе счастья, так автор «Записки» мог бы аттестоваться атеистом в вопросах национального прогресса. Русская история предстала перед его умственным взором в виде некой пирамиды, складывающейся на протяжении веков от основания к вершине, а потом подлежащей лишь сохранению и подновлению — вплоть до очередной катастрофы, после которой строительство новой пирамиды начинается с нуля. Избежать катастрофы невозможно; оттянуть ее приближение — можно и нужно. А значит, конечная цель разумной политики, основанной на порядке вещей, есть предельное замедление времени, близкое к полной его остановке и обозначаемое торжественно-монументальным словом времена. Идеал (неосуществимый, но желанный) — конец истории до Страшного Суда, если не вместо него.

Что же до вопроса о «содержательности политических форм», то в «Записке» все мистические аспекты учения о священной природе царской власти подвергнуты холодному светскому умолчанию, а все моральные, напротив, горячо обсуждены и проблема современного, «послеэнциклопедического» самодержавия сведена к вопросу о Правде, очищенной от примесей «харизмы» и «благодати». Карамзин, как новый Агапит,^[143] формулирует гражданский догмат о почтении к правдолюбивому царю, утверждает идеал

самосодержательного самодержавия, идеал самовластия, ограниченного не Богом, не Патриаршеством (которое способно «конкурировать» с царем на ниве церковной, то есть ослаблять самодержавие, а потому не подлежит восстановлению), но лишь верностью государя Правде Истории и страхом перед Ее судом.

И тогда понятней становится роль, какую русский историк, русский писатель Карамзин отводит себе. Там, где нет и пока невозможны соединительные звенья между властью, олицетворенной в монархе, и «гласом народа — гласом Божиим», там рядом с тронном должны встать доверенные лица. Не имеющие официальных должностей, но зато имеющие уши, чтобы слышать, и незагражденные уста, чтобы говорить. Еще в торжественной оде на воцарение Александра Павловича Карамзин писал:

...И Долгорукие дерзали Петру от сердца
говорить;
Великий соглашался с ними,
И звал их братьями своими.
«Монарх! Ты будешь нас любить!»

Теперь он решил, что пришла пора осуществить собственные пожелания.

Но царь мог задать еще один вопрос: а почему именно «брат Рамзей»? Почему не кто-нибудь иной? Почему, например, не Аракчеев? На это у Карамзина имелся заранее заготовленный ответ.

«...буду говорить о настоящем, с моею совестью и с Государем, по лучшему своему уразумению. Какое имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности, некоторые знания, приобретенные мною в летописях мира и в

беседах с мужами великими, т. е. в их творениях. Чего хочю? С добрым намерением — испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история». [\[144\]](#)

Не от себя, не от своего имени обращается к царю «последний летописец». Отказавшись от обеспеченной судьбы успешливого издателя, он стал не просто историографом, но действительно ощутил себя русским аббатом, «светским старцем», представителем вечных интересов русской истории в быстротекущей современности. Самый быт Карамзина на всеобщем увеселительном фоне казался почти аскетическим (как быт «грузинского настоятеля» Аракчеева). Однообразный распорядок дня, всецело подчиненный титаническому труду, скромная пища, не мешающая здоровью; подчеркнутая мудрость и «неотмирность» суждений, как бы окутанных дымкой вечности...

ГОД 1811. Сентябрь. 15. Санкт-Петербург.

Освящен заложенный 27 августа 1801 года, в самом начале александровского царствования, Казанский собор.

Но Александр Павлович философом не был. Он не стал задавать лишних вопросов, потому что смертельно обиделся, да и без них вполне мог понять нечто отнюдь не философское. Во-первых, что все видят симптомы болезни, поразившей Россию, но никто не знает выхода из лабиринта российских проблем. Никто. Ни он сам, ни Сперанский, ни Екатерина Павловна, ни Карамзин, чья скептическая программа, будучи последовательно осуществленной, загнала бы болезнь вглубь и позволила бы ей исподволь набрать еще большую силу.

Во-вторых, что недовольство результатами минувшего десятилетия зашло слишком далеко, если

мирная оппозиция в лице сестры и матери решается выдвинуть из своих рядов «пророка» новых времен, новых веяний.

В-третьих, что веяниям придется покориться, а с пророком предстоит повести сложную игру, учитывая некоторые из его советов, ни в коем случае не удаляя его от себя, время от времени выслушивая, но и не давая никаких авансов. Иначе произойдет одно из двух: или идеи, которые он вынашивает, уйдут в подполье и тогда за ними не уследишь, или он обретет слишком большую власть над умами и в чем-то подменит собою того самого царя, чье всевластие отстаивает с таким жаром.

Впрочем, этим предстояло заняться после. Пока же царь холодно и подчеркнуто равнодушно (впрочем, и не гневно) попрощался с автором «Записки», давая понять, что прочел, но не затвердил; недоволен, но не потрясен; обижен, но не оскорблен. И отправился из Твери в столицу — замораживать неудачное строительство и устранять последние следы прекращаемых работ, готовиться к битве века и обдумывать послевоенную перспективу. Ибо, к счастью, он решительно не поверил Карамзину, будто близящуюся войну с Наполеоном можно еще предотвратить.

ГОД тот же. Октябрь. 19. Царское Село.

Открытие Императорского лицея. Присутствуют Александр I с семьей, члены Государственного совета, министры. Профессор Александр Кунцын произносит пламенную речь.

Михаил Илларионович Кутузов назначен главнокомандующим армией из четырех дивизий на Балканском фронте.

Часть третья

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

«Вот раз идем это мы, помнится, на самое Усекновение главы Предтечи, я с фонарем впереди, да вдруг вижу из-за церкви, горит огненный столп на небе. Я: «Ах!» и чуть не уронила фонарь. А матушка идет за мной, да: «Что ты? Что с тобой?» Как шагнула она три раза вперед, так и увидела звезду, и долго на нее смотрела. Я спрашиваю: «Матушка, что это за звезда?» Она говорит: «Это не звезда, это комета». А я опять спрашиваю: «Что такое за комета? Я, матушка, и слова такого не слыхивала». Матушка говорит: «Такие явления на небеси Бог посылает перед бедой».

Что ни вечер, горела на небе комета, и мы все рассуждали: какую же беду она с собой ведет?»

Рассказ матушки Антонины из Новодевичьего монастыря о 1811 годе [\[145\]](#)

ПРОТОКОЛЫ РУССКИХ МУДРЕЦОВ

ГОД 1812. Январь. 1. Санкт-Петербург.

Сперанский награжден орденом Св. Александра Невского.

Саров.

Пострижен в монашество будущий «следователь» по ложным наговорам на преп. Серафима, казначей и затем настоятель Саровской обители Исайя.

Около этого времени в Париже вторым изданием вышла книжечка, поведавшая миру о страшной тайне всемирного заговора России против Европы. Автор ее, публицист Лезюр, скрывшийся под псевдонимом L***, уверял читающую публику, что исчезновение дешевых английских товаров, отсутствие рынков сбыта для товаров французских, обогащение богатых и обнищание бедных не есть следствие железного занавеса континентальной блокады или чрезмерных расходов на оборону, но результат хорошо продуманной, четко организованной, умело законспирированной подрывной работы русских агентов в Европе. Самое огорчительное, что работа их велась не стихийно, а планомерно, началась не только что, а давным-давно — и вот-вот придет к победному завершению. В основание ее легло секретное завещание Петра Великого, передаваемое из рук в руки от одного поколения русских правителей к другому... [146] До великой войны оставалось несколько месяцев.

ГОД 1812. Февраль. 24. Берлин.

Пруссия вступает в военный союз с Францией. Вскоре король прусский Фридрих Вильгельм III пришлет Александру собственноручное письмо, полное отчаяния и уверенений в личной дружбе.

Март. 14.

Вена.

Формально Австрия следует примеру Пруссии. 16 мая Кутузов от имени России подпишет Бухарестский мирный договор с Оттоманской Портой; восточные тылы будут укреплены. Что же до мирного трактата с Англией, то его заключат лишь 6 июля.

ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ

Политическое летосчисление редко совпадает с календарным. Вплоть до 12 июня 1812 года в России, в плотных слоях ее государственной атмосферы, догорало прошлое столетие, эпоха придворной самодостаточности. В семейственном вакууме дворца, выродившегося в карликовое государство внутри беспредельной державы, как в затхлом воздухе, мутилось нравственное сознание и пробуждался нездоровый аппетит. Съесть ближнего считалось доблестью, занять чужое место — геройством, шаг в сторону приравнивался к побегу.

Именно по этим правилам пришел Александр Павлович к власти; именно по ним до сих пор царствовал. И сколько бы ни пытался преодолеть их — распространяя просвещение, снимая излишние запреты, воодушевляя россиян упованиями на обновление, затеявая реформы — всякий раз натыкался на невидимую преграду своего собственного «восемнадцативекового» сознания и поворачивал назад, в тепличную прохладу Зимнего дворца. Ненавистного, но единственно привычного и приемлемого. Есть нечто огорчительно-закономерное в том, что именно накануне народной войны, открывшей для России путь в будущее, на столичном политическом театре разыгралась беспримесно-традиционная трагедия самовластия. То есть авторитарности, утратившей религиозную перспективу, вырванной из общенародной стихии, предоставленной самой себе и саму себя поглотившей.

Речь о скоропостижном падении Михаила Сперанского. О падении, которому одинаково радовались и консервативный республиканец Карамзин,

и радикальный монархист Державин, и вороватые чиновники, смертельно обиженные указом 1809 года и славшие бесчисленные жалобы наверх. О падении, которым были возмущены лишь самые яростные — и самые совестливые — противники Сперанского, вельможи старшего призыва: адмиралы Мордвинов и Шишков. (Первый подал в отставку; второй демонстративно заперся дома, как бы посадив себя под домашний арест — и просидел бы там долго, если бы не был назначен составителем царских манифестов вместо «павшего».) О падении, которое и европеизированному щелкоперу, и патриотическому мещанину, и провинциальному помещику, и утонченному столичному трагику хотелось торжествовать как первую победу над Наполеоном:

Я нечестивца зрил во славе Бога сил,
Как гордый кедр, главу он дерзостно взносил,
Казалось, досягал и управлял громами
И подавлял врагов ногами.
Едва-едва минуты протекли —
И был он снят с лица земли. [\[147\]](#)

Речь об отставке, что слишком напоминала традиционную царскую опалу: с глаз долой, из сердца вон.

Интрига, направленная против всевластного «выскочки», подготавливалась давно; план кабинетного сражения со Сперанским разрабатывался не менее тщательно, чем план предстоящей войны с Наполеоном. Больше года на царя всячески воздействовали: председатель комиссии по делам Финляндии барон Густав-Мориц Армфельд, министр полиции Александр Дмитриевич Балашов — с одной стороны, и Федор Ростопчин через «посредничество» великой княгини

Екатерины Павловны — с другой. Армфельд и Балашов постоянно (причем как бы порознь, на людях демонстрируя взаимную неприязнь) доносили о покушениях Сперанского на монаршие прерогативы. Ростопчин столь же регулярно обращал внимание княгини на созревший масонский заговор с целью совершения революции, во главе которого стоит Великий Мастер государственных преобразований. Княгиня же, в свою очередь, поддерживала бескорыстные инвективы экс-масона Карамзина против Сперанского — и с помощью карамзинского бескорыстия расчетливо влияла на царя.

Для нашего сюжета совершенно не важно, кто из них действовал по идейным соображениям, ревниво оберегая любимое отечество от реформаторских посягательств; кто боролся за сферы дворцового влияния; кто попросту завидовал «беззаконной» карьере Сперанского. Важно лишь, как, по каким законам велась эта маленькая закулисная война с маленьким придворным Наполеоном. А велась она «по законам и по сердцу Августейшей бабки» правящего государя, Екатерины Великой, по фаворитическим регламентам XVIII века. В полном согласии с ними Армфельд и Балашов не побрезговали прямой провокацией. Через посредство статс-секретаря Государственного совета Магницкого они попросили Сперанского о встрече; во время конфиденциального приема предложили совместно учредить секретный комитет для управления всеми государственными делами; услышав ответ: «Упаси Боже, вы не знаете государя, он увидит тут прикосновение к своим правам, — и всем нам может быть худо», удалились; удалившись, донесли царю, что его любимец сделал им сомнительное предложение о создании секретного комитета. Сперанский же, несмотря на разумный совет Магницкого, доносить побрезговал — и вышел виноват.

Царь, под влиянием семьи, из полумасона давно уже превратился в панически подозрительного антимартиниста; 18 декабря 1811 года он с ужасом писал мирно борющейся с ним сестре: «Ради Бога, никогда по почте, если есть что-либо важное в ваших письмах, особенно ни одного слова о мартинистах». Но в искреннее масонство Сперанского он не верил, и правильно делал: несмотря на связь с известным профессором гебраистики Фесслером и его ложей, Сперанский, судя по сохранившимся записям нравственно-религиозного характера, был скорее скрытым пиетистом.

Вряд ли поверил Александр Павлович и намекам Карамзина и доносам Армфельда на то, что Сперанский «глядит в Наполеоны». Скорее всего, он «ограничился» личной обидой на приближенного, вторгшегося в сферу его властных полномочий и оскорбительно пренебрегшего этикетом. Это вполне могло стоить Сперанскому карьеры; не меньше, однако и не больше. Но вот прямота и откровенность, с какою действовали провокаторы, должна была насторожить царя сама по себе. Высокопоставленные чиновники — это не вольное племя сочинителей; они не посмеют интриговать против государевых любимцев, если не уверены в возможности успеха. Сам Александр знаков немилости к Сперанскому вплоть до марта не подавал — стало быть, причина бюрократической дерзости лежала в иной плоскости.

Царь должен был теряться в догадках. В чем дело? Не в том ли, что доносители почуяли запах крови? что поняли: страна, отторгнувшая политику усчастливления, требует принесения жертв? что уверены: царь предпочтет отдать подручного на растерзание толпе, чтобы та не накинулась на зачинщика — на него самого? И как быть, если они окажутся правы и ситуация на фронтах близящейся войны сложится поначалу неудачно? Смятение в душах,

сумятица в умах тогда будут неизбежны — не обострят ли они жажду мести, не удовлетворенную вовремя? Не используют ли эту обостренную жажду потенциальные придворные заговорщики — как сделали вожди мартовского переворота 1801 года? И не лучше ли, действительно, решиться на упреждающий маневр, заранее пойти навстречу интриганам, представив сделку с ними как трудный компромисс с державой?

И Александр — решился. Оставаясь верным себе, он неуклонно следовал своей уклончивости. Потому-то удаление Сперанского (само по себе, быть может, и впрямь неизбежное) и было превращено именно в падение; отставка чиновника — в «мистериальное» действие на тему «змея на груди».

ГОД 1812. Март. 17. Воскресенье. День.

Через фельдъегеря Сперанскому приказано явиться к императору.

Вечер.

В 8 часов пополудни Сперанский принят в императорском кабинете.

Вопрос: «Скажи мне по совести, Михайло Михайлович, не имеешь ли ты чего на совести против меня?»

И вновь: «Повторяю, скажи, если что имеешь».

Ответ: «Решительно ничего».

Обвинения по адресу Государственного секретаря:
1) финансовыми делами старался расстроить государство; 2) стремился налогами привести в ненависть правительство; 3) презрительно отзывался о правительстве.

Итог: «Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались. Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы исследовать истину полученных

мною против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы России, я обязан моим подданным удалить тебя от себя. Возвратись домой, там узнаешь остальное. Прощай!»

После двухчасовой аудиенции Сперанский выходит из царского кабинета; вместо бумаг пытается уложить в портфель шляпу; внезапно садится на стул в полном изнеможении.

Через несколько минут дверь отворяется, и появившийся на пороге Александр упавшим голосом говорит: «Еще раз прощайте, Михайло Михайлович», после чего вновь скрывается в кабинете.

Ближе к полуночи.

После разговора с царем Сперанский заезжает к своему confidentу Магницкому. Жена в слезах: мужа на казенный счет увезли в Вологду.

Дома Сперанского дожидаются Балашов и правитель канцелярии Министерства полиции де Санглен. Обыск.

Ближе к рассвету.

Запечатав в особый конверт бумаги, предназначенные для передачи лично государю, Сперанский оставляет письмо для любимой дочери и ненавистной тещи, садится в карету и отправляется туда, куда указан ему путь, — через Арзамас и Муром, мимо Болдина и Сарова, в Нижний Новгород.

«Бежи во Египет.

Бог всемогущ, и повелевает убежать. Он мог бы избавить; но мы не должны надеяться непосредственно на Бога, зная, что Бог чудес без причины не делает. Человек имеет разум.

Если бы Бог непосредственно промышлял о человеке, то чрез сие человек повергнулся бы в праздность, и будучи в праздности и удовольствии позабыл бы Бога».

(М. М. Сперанский. Запись в конце календаря. 1787 год.)

Страна, узнав о чрезвычайном происшествии в ночь с 17 на 18 марта, должна была на мгновение застыть в немой сцене, а придя в себя, заговорить быстрым шепотом. Обвальному распространению слухов способствовало все.

Прежде всего: формального обвинения Сперанскому не предъявили. Даже частному приставу, который сопровождал ссыльного в Нижний, не выдали на руки никаких бумаг. Затем, единственное официальное повеление — да и то сделанное лишь в конце 1812 года — будет гласить: Сперанского в список высшим гражданским чинам не включать, «поелику он ни при должностях не находится, ни при герольдии не состоит». А где находится, при чем состоит — не узнает никто. Наконец, немислимая спешка, брутальная лихорадка, сопровождавшие высылку Сперанского, как бы выдавали нервный трепет монарха, обнаружившего в своем доме нечто ужасное, нечто такое... что невозможно даже выговорить вслух. Намек на измену был прозрачен, но измена подразумевалась не конкретная (шпионаж, вредительство, покушение...), а всеобщая. Измена всему и во всем. Сперанский как воплощенное предательство, изверг рода человеческого. Кому бы пришло в голову после этого спрашивать о предвоенных неудачах, вспоминать о провалах? Все, что было плохого, — было по причине Сперанского; все, что будет хорошего, — будет по причине государя.

Такова дворцовая логика конца XVIII века, действующая в календарных пределах века XIX; так старое придворное сознание решает новую для себя проблему общественного мнения; на такие двусмысленные действия толкает она властителя, для

которого чужая честь и чужое достоинство суть разменные монеты в торговле со слепой и непонятной, но тем более грозной силой общенародия...

Но как в таком случае понимать фразу, уже в понедельник утром обращенную царем к князю Голицыну: «Если бы у тебя отсекли руку, ты, верно, кричал бы и жаловался, что тебе больно: у меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моею правою рукой»? И, отерев слезы, государь продолжил: «Ты разберешь... бумаги Михайла Михайловича... но в них ничего не найдется: он не изменник». [\[148\]](#)

Ясно, что жалоба эта адресована через голову эпохи — историкам грядущих поколений. Напротив, современникам, а не потомкам, предназначалось грозное обещание расстрелять изменника, ранее высказанное дерптскому профессору Парроту [\[149\]](#) — и милостивое согласие не делать этого в ответ на слезное письмо профессора. Тут нет противоречия, все очень логично. Сограждан следовало прежде всего заинтриговать, озадачить таинственностью; читателям же будущего царского жизнеописания следовало разъяснить, что он не просто предал Сперанского, но отправил в изгнание часть самого себя — прежнего; отторг от себя то, что было отторгнуто в нем российской действительностью... И эта раздвоенность государя, обреченного вести диалог сразу и с настоящим, и с будущим, свидетельствует о многом.

Любой политик, любой человек, совершая явную пакость, хочет представить ее скрытой доблестью. Но не высшей государственной необходимостью, не личным высокомонаршим гневом, тем более не расстановкой сил при дворе объясняет Александр Павлович россиянам будущих времен совершенное им человеческое жертвоприношение. А трагической обязанностью современного государя прислушиваться к

голосу нации, уважать ее обезличенную волю. Не я казнил, но: у меня отняли. Все еще поступая по старым правилам, властитель вынужден уже приписывать своим поступкам совершенно новый смысл. Не вполне понимая пока, что происходит, своим шестым монархическим чувством он предугадывает: война рассечет периоды новейшей русской истории, и то, что до нее казалось само собой разумеющимся, после предстанет сомнительным и чуждым. Без выборов и конституций, без хорошо срежиссированных либеральных восторгов, без чепчиков в воздухе, без павловских попыток стать неврастеническим народным царем — она разрушит социальные перегородки, соединит правящих и управляемых величием общего русского дела. А значит, отбросит в прошлое обветшалое кабинетное правление и откроет новое политическое столетие, эпоху принародной политики. Или не откроет. Но тогда последствия будут ужасны.

Чтобы уберечь страну от поражения в такой войне (читай: остаться на троне!), коронованный властитель должен настезь отворить окна, услышать голос нации, угадать равнодействующую ее разноречивых умонастроений, а если нужно, то и умело сместить, и заново сформировать ее. То есть, говоря торжественнее, — научиться править не Дворцом, а Державой, не придворными, а согражданами. Теми самыми русскими людьми, о недоверии и презрении к которым как главной причине всех неудач говорили и еще будут говорить царю Карамзин и Державин... Монаршую жизнь, вполне возможно, при этом придется как бы начать сначала, действительно смирившись с Россией, согласившись с ее правом не укладываться в пределы умозрительных схем. То есть из царства деятельной утопии вернуться на почву реальной жизни. Не так, как хотелось бы Карамзину; не так, как мечталось бы современникам и потомкам. Но так и

таким образом, как мог только он: русский царь переломной эпохи, наследник всех династийных нестроений и смысловых утрат.

Очень скоро ему предоставится такая возможность.

ГОД 1812. Июнь. 12. Вильно.

Во время бала под открытым небом (специально сооруженная накануне деревянная галерея при проверке прочности рухнула; строители ее скрылись) Александру сообщают, что Наполеон перешел Неман. Царь просит шута найти ему укромный уголок — и рыдает в детской; затем, не подавая виду, продолжает участвовать в веселье; ночью отдан приказ по армиям.

Первые поражения.

ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ

Еще до падения Сперанского, в самом начале 1812-го, между ним и государем состоялся примечательный разговор.

Царь, памятуя о неудачном опыте Аустерлица, спросил: стоит ли ему лично участвовать в грядущей войне. Сперанский холодно, последовательно и честно проанализировал все резоны, отдал должное гению Наполеона и подытожил: лучше воздержаться и предоставить вести войну Государственной думе, специально для того созванной. Александр спокойно выслушал, кивнул и более к разговору не возвращался. Однако спустя несколько дней (по свидетельству Я. де Санглена) поделился с приближенным своим возмущением: «Что же я такое? — Нуль! Из этого я вижу, что он подкапывается под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим».

[150]

Но прошло всего полгода, и ранним утром 6 июля нагрянувший было в войска Александр Павлович обнаружил на своем ночном столике незапечатанный конверт. Составитель царских манифестов Шишков, полицейский министр Балашов и неизбежный граф Аракчеев умоляли государя покинуть армию и вернуться в Первопрестольную.

Прислушаться к их доводам — для Александра значило не просто пожертвовать возможностью восстановить утраченное в 1805–1807 годах равновесие и лично вытеснить из пределов европейской истории того, кто вытеснил было из пределов мировой сверхистории его лично. На политическом языке той эпохи это значило публично признать, что идеи, воодушевлявшие первое одиннадцатилетие его

царствования, не выдержали испытания глобальной войной. Что не состоялась утопия либеральной монархии, начинающей там, где остановилась консервативная революция. Но можно сказать и больше: последовать совету приближенных, направиться из армии не в столицу Российской империи Санкт-Петербург, а в столицу Русского царства Москву — значило символически вернуться к государственной традиции «доимперской», допетровской Руси, вызвать к жизни опасную, непознанную силу русского национального духа. То есть перенести в область практической политики то, что на рубеже веков заново открылось европейской культуре, вступившей в эпоху предромантизма: идею неповторимости национального опыта, энергию народности — и превратить битву империй в Отечественную войну. [\[151\]](#)

Звучит это странно; на современном политическом языке «имперское» и есть самодовлеюще-русское. Идеология Империи и впрямь свободно оперирует понятиями Отечество, коренной народ, господствующая церковь. От имени этого самого Отечества, этого самого народа, этой самой Церкви Империя поглощает чужие пространства и ограничивает остальные народы в их этническом самовыражении. И все же — это именно она оперирует, она поглощает, она ограничивает. Великорусское во всех его проявлениях — в том числе военном — естественная основа российского. Но основа, незаметно подчиненная «общему делу» сотворения Империи. Равно как господство господствующей церкви в Империи Российской аккуратно ограничено нуждами последней. Даром ли патриаршество уничтожается в самом начале петербургского периода, восстанавливается в год падения Империи, в конце 1917-го, и вновь редуцируется в 1927 году, сразу после того, как сформируется «ложная империя» СССР? Даром

ли в 1941-м непрошенный кремлевский вождь, объявив мировую войну отечественной и преподнеся ее как «второе, исправленное и дополненное издание» 1812 года, тут же поменяет маску мудрого восточного деспота на облик православного русского монарха? И — не имея физической возможности помазаться на царство — для начала вызовет из исторического небытия Русскую Православную Церковь, чтобы золотые блики куполов заиграли на его челе, как некий отблеск царской благодати? А затем позволит избрать Патриарха, чтобы в полуязыческом массовом сознании возникла параллель «его святейшество» — «его величество», и политическое подобие харизмы как бы перешло с православного первоиерарха на коммунистического первоправителя?^[152]

Будущее многое объясняет и обнаруживает в прошлом, хотя бы и пародийно. Александр Семенович Шишков, совершенно не собираясь противопоставлять «имперское» — «русскому», не сознавая и не чувствуя противоречия между этими началами национальной жизни, тем не менее предлагал Александру I стать не просто самодержавным императором, правящим наднациональной (при всей ее русскости), надконфессиональной (при всей ее православности) Державой, но именно русским царем. Предлагал не только как политический практик, но и как сочинитель, при всей своей старомодности чуткий к веяниям времени.^[153] Ибо только человек, причастный опыту предвоенной словесности, мог стать идейным вдохновителем незапечатанного послания, а никак не Балашов, единственной целью которого была отправка небоеспособного государя в тыл. И тем более не Аракчеев, чьей главной заботой оставалась личная безопасность Александра Павловича. («Какое мне дело

до Отечества, — бросил он в раздражении; скажите лучше, не угрожает ли это Государю?»)

Шишков понимал движение исторического времени как вечное возвращение к истокам. Он был таким же упоенным поэтом богоустроенного Русского царства, как Державин — певцом богоугодной Российской империи; он славил непреходящее прошлое с таким же энтузиазмом, с каким Гаврила Романович восхвалял торжествующее настоящее. Что же до будущего, то к переменам и уновлениям в строе государственной жизни России Шишков относился с таким же ледяным скептицизмом, как его литературный супостат Карамзин. Взятая сама по себе, в отрыве от обстоятельств Отечественной войны, его политическая философия была не менее (если не более) утопична и чужда трезвения, чем программа участия России на путях свободы и прогресса. Но в истории бывают минуты, когда неуместное становится уместным, фантастическое — реальным.

В конце концов, концепция национального языка строилась на том же принципе; даже этимологию он предпочитал называть кругом знаменования. Последовательно осуществить его языковую программу было невозможно: ради этого пришлось бы совершить насилие над логикой саморазвития русской речи. Но грянул гром «грозы 12 года», Шишков начал составлять государевы манифесты — и неосуществимое осуществилось. Яростный фон надвигающейся национальной войны погасил излишнее напряжение традиционного велеречия, применил его к обстоятельствам места и времени. Завершится война — и все вернется на круги своя, на круги знаменования. Но пока, здесь и сейчас, сию минуту, в ее тесных пределах, — эта стилистика возможна и даже желанна:

«Соединитесь все со крестом в сердце и оружием в руках, и никакие силы человеческие вас не одолеют.

Тогда погибель, в которую мнит Наполеон низринуть нас, обратится на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»

То же и с ретроспективной утопией «Русского царства».

Фантазии на тему обратимости политического времени в лучшем случае невоплотимы, в худшем — опасны. Но принародное напоминание об ушедшем в небытие Московском царстве в дни Отечественной войны — это не возвращение к прошлому; это приближение к будущему. Ибо демонстративно «русифицировать» политику — и не переменить характер взаимоотношений властителя и народа, не сломать придворную перегородку — попросту невозможно. А сделав первый шаг навстречу общенародию, трудно, почти невозможно удержаться от новых шагов в том же направлении. Если бы Шишкову сказали, что ближайшим послевоенным следствием его консервативной программы может стать не реставрация допетровских порядков, а преодоление дворцового безгласия и непредсказуемое обновление российского общества, живой поиск современных форм политической жизни, он бы возмутился или пришел в неопишуемый ужас. Но дело обстояло именно так. И слава Богу, что так.

Угадал ли Александр I скрытые мотивы шишковского послания, принял ли их близко к сердцу? Судя по его дальнейшим действиям — да. Во всяком случае, послетильзитская пора отрезвления еще не завершилась; царь готов был считаться с реальной расстановкой сил (точнее — с расстановкой сил реальности); он склонил голову перед волею обстоятельств — и, покинув армию, решился «опробовать» новый, рискованный, быть может, совершенно чуждый ему лично поворот в политике.

Он был вознагражден за это.

ГОД 1812. Июль. 7. Смоленск.

Горожане поднимают из Успенского собора икону Божией Матери и переносят ее в здание Городской думы, где служат всю ночь.

Июль. 8.

Царь в Смоленске.

НА ПУТИ ИЗ ПЕРХУШКОВА В КРЕМЛЬ

Погруженный в тяжкие раздумья, русский царь в 9 часов пополудни 11 июля выехал с последней станции на пути к Москве — из Перхушкова. Выехал попозже, чтобы ни с кем в дороге не встречаться, ничего не видеть. Только смутное скольжение ночных теней по обочине.

Александр Павлович всегда избегал непредсказуемых встреч с подданными из простонародья, ожидая от них тайного подвоха. (Встречи с поселянами и поселянками во время загородных прогулок — дело другое; там он оставался неузнанным, там его приветствовали как простого русского барина, как частного человека, увенчанного не короной Российской империи, а широкополой шляпой; такие пасторальные маскарады были ему по вкусу.) Не покушения он страшился; нет: народ — не ближайшее окружение, к чему его бояться? Но кроме цареубийственного кинжала есть цареубийственное народное безмолвие. В нем, как в вате, глохнут порывы к общегосударственному творчеству и чуть слышно звучит напоминание о совершенном в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Потому Александр Павлович предпочитал, чтобы ему подавали подданных в минуты всеобщего ликования, когда патриотический подъем растворяет в себе личную волю граждан, сливает их в царе-любивую массу, которая на грассирующее приветствие «здог'ово, бг'атцы» отвечает тысячегрудым выдохом: «аа-ааааааасть!».

Летом 1812 года рассчитывать на патриотический подъем не приходилось — потому-то выезд из Перхушкова и был сознательно затянут допоздна.

Но за первым же поворотом в ясном июльском сумраке замерцали сотни и сотни церковных свечей. Прослышав о приближении государя, окрестные батюшки выводили своих прихожан к пути его следования; то затихая, то вспыхивая, перекатывалось из конца в конец пасхальное песнопение: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его... яко исчезает дым, да исчезнут...»

И так — несколько часов кряду, до глубокой ночи.

Это мирное пение под настезь открытым небом, это зыблющееся мерцание сопровождали царя до самой Москвы, и невозможно было не понять, что на сей раз его Россия, его Русь будет незыблема, немирна, закрыта для врага. Вышедшие к пути его следования русские люди видели в нем не похитителя престола и не грозного судию, не частного человека и не великого императора, но благословленного Церковью монарха, доброго отца общерусского семейства. И он не мог, не имел права обмануть это доверие и обязан был победить в войне. Не ради вселенского самоутверждения, не ради мести Наполеону, а ради блаженства быть принятым и понятым своей страной, своими соотечественниками, согражданами.

И откуда царю было знать, что спустя два месяца ему предстоит пережить зеркально перевернутое повторение июльской сцены. Сведав об оставлении Москвы, столичные жители встретят Александра у входа в Казанский собор абсолютным, загробным молчанием. И поседевший за одну ночь государь, набравшись мужества, нырнет в ледяную воду того самого безмолвия, которого избегал всю жизнь, пройдет сквозь строй, а после станет демонстративно прогуливаться по петербургским проспектам без всякой охраны, показывая, что не страшится несправедного гнева, верит в победу и призывает верить и не страшиться — всех.

ГОД 1812. Июль. 11. Поздний вечер.

Царь в Москве.

Июль. 12.

В 9 утра царь выходит на Красное крыльцо, кланяется столпившемуся народу и во главе шествия, под пение стихир «Да воскреснет Бог...» и колокольный звон, направляется к Успенскому собору.

Назначенный 24 мая московским губернатором Федор Ростопчин расцелован в обе щеки. Аракчеев уязвлен.

Конечно, и поведение Александра Павловича в Москве, и самый маршрут, избранный им для возвращения в Северную столицу, были столь же театрально продуманы, сознательно соотнесены с символическим кодексом эпохи, сколь и все его публичные жесты. Визит в Москву взывал к древней русской истории, ее тайне, ее силе, ее непрерывности. Утренний выход на Красное крыльцо и лобызание нелюбезного, но демонстративно-русского градоначальника Ростопчина указывали на то, что война идет народная, что вопрос стоит не просто о государственных интересах, но именно о судьбе нации. Шествие во главе молящегося народа свидетельствовало о благодатности, православности грядущей (и неизбежной!) победы, о «вовлеченности» небесных сил в противостояние двух царств, двух народов, двух государей. Даже исполненная энтузиазма встреча 15 июля с депутациями московского дворянства и купечества, буквально всколыхнувшая страну и гениально описанная в «Войне и мире», — даже она была очевидно сценарной...

Собственно, другим «социальное поведение» властителя и быть не может: не имеет он права молвить словечко в простоте, пренебречь арифметическим подсчетом следствий своих демаршей. Но, кажется, на сей раз в поступках царя, помимо расчетов и раскладов, помимо кунштюков и эффектов, было заключено еще что-то, для него важное, сокровенное, едва ли не впервые в жизни открывшееся ему на пути из Перхушкова в Кремль.

ГОД 1812. Июль. 22.

Приезд в Петербург. Август. 4-5.

Бои за Смоленск. Отступление русских армий, едва успевших соединиться.

Июль. 12.

В Або успешно проведены переговоры с наследным принцем шведским Бернадотом; это дает возможность перебросить русские войска в Ревель.

ВОЖДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И тут логика рассуждения, по счастью совпадающая с хронологией, подводит нас к очень важному (если не ключевому) эпизоду Отечественной войны, взятой в «царском» ее ракурсе. Эпизод этот сам собою напрашивается на сравнение с падением Сперанского и назначением Шишкова; неясно только, по смежности или по противоположности. Попробуем разобраться.

Известно, сколь отчаянно сопротивлялся Александр I утверждению графа Кутузова на пост главнокомандующего. У этого сопротивления были и личные причины, и вне-личные. Во время Аустерлицкого сражения 1805 года старый полководец вежливо прогнал молодого императора с поля боя, что, впрочем, не спасло русскую армию от поражения. Кроме того, граф был участником последней земной трапезы государя императора Павла Петровича — смотреть ему в глаза царю было неприятно. Кутузов, далее, слишком мало воевал на европейских фронтах; почти вся его военная биография связана с восточной политикой России: Крымом, Турцией, Бессарабией; грандиозных сражений он не выигрывал, а пик его карьеры вообще связан с умело осуществленной в Бухаресте во время переговоров с Оттоманской Портой дипломатической миссией. ^[154] То есть с хитростью, а не с героизмом, с тактической ловкостью придворного, а не с мужественной стратегией военачальника, полевого командира. Это во-первых.

Во-вторых, и в-главных, в армии имелся гораздо более молодой, но и гораздо более опытный (особой, «европейской» опытностью) военачальник, Михаил Барклай-де-Толли.

В «Войне и мире» Барклай назван немцем. Это двойное обвинение: в принадлежности к «сухой» нации, столь нелюбезной горячему русскому сердцу Л. Н. Толстого, и в чуждости России.

Это двойное обвинение — и тройная неправда.

Прежде всего, Барклай был шотландцем. Затем: он родился в пределах Российской империи, в Риге (1757) — здесь его предки поселились еще в середине XVII века.

По-русски он говорил с акцентом, но свободно — в отличие от одного из претендентов на пост главнокомандующего, природного немца и соубийцы русского царя Павла I Л. Л. Беннигсена, которого никто из «партии», составившейся в среде генералитета и получившей наименование «русской» (хотя лучше бы называть ее антибарклаевской), [\[155\]](#) в «немецкости» не обвинял. Наконец, «национальная принадлежность» и «верность Отечеству» тогда не были еще намертво связаны; даже служба по найму в иностранной армии была делом обыкновенным и предполагала, что, пока офицер несет ее, он рассматривает интересы государства-«работодателя» как свои собственные.

Больше того, важнее того: именно Барклай математически точно просчитал скифский, уклончивый, заманивающий характер неизбежной войны с Наполеоном. Еще в 1807-м, в Мемеле, Барклай сообщил царю свои идеи. [\[156\]](#) Наполеон выигрывает все «лобовые» сражения. Стало быть, нужно растянуть его армию на многие километры, использовать пространственные преимущества России, рассредоточить, распылить боевую энергию противника. А там, истощив силы и измотав его, дать генеральное сражение, которое и решит исход войны. Значит, последним рубежом русского отступления может стать Волга; соответственным образом следует

реорганизовать армию и систему укреплений на границах. Историк А. Г. Тартаковский слышит отголоски этой — столь важной для судеб России, но не зафиксированной ни в одном документе, а потому для нас как бы безмолвной, — беседы в лейтмотиве других речей Барклая и Александра той поры. Менее важных, а значит, гораздо лучше документированных.

Весна 1807-го: разговор в Мемеле между Барклаем-Толли, находящимся на излечении после ранения в битве при Прейсиш-Эйлау, и знаменитым историком Бартольдом Георгом Нибуром, советником главы прусского правительства.

«Если бы мне пришлось действовать против Наполеона... — я вел бы отступательную борьбу, увлек бы грозную французскую армию в сердце России, даже на Москву, истощил бы и расстроил ее и, наконец, воспользовавшись суровым климатом, заставил бы Наполеона на берегах Волги найти вторую Полтаву».
[\[157\]](#)

Начало 1812-го: Александр, разговаривая с посланником берлинского двора майором Кnezeбеком, как бы случайно бросает:

«Скажите королю, что я не заключу мира даже в том случае, если меня оттеснят до Казани».
[\[158\]](#)

22 июня 1812-го: ответ Александра шведскому наследному принцу Бернадоту:

«Однажды вынужденный начать эту войну, я твердо решил продолжать ее годы, хотя бы мне пришлось драться на берегах Волги».
[\[159\]](#)

Очевидно, именно этот дар предвидящего расчета заменил Барклаю (подобно Сперанскому) недостающие для продвижения регалии и восполнил недостаточную родовитость. В 1810-м он был назначен военным министром, спустя два месяца после вступления в должность подал записку «О защите западных

пределов России», где окончательно сформулировал цель и средства «скифского плана»: «...избрать... оборонительную линию, углубляясь внутрь края по западной Двине и Днепру», имея Москву «главным хранилищем, из которого истекают действительные к войне способы и силы». [\[160\]](#)

2 марта 1810 года записка была высочайше одобрена, и последовало распоряжение приступить к детальной разработке военно-стратегической стороны плана. О моральной стороне дела должен был позаботиться сам государь. Не знаем, позаботился ли. Во всяком случае, до шишковско-балашовского послания Александр Павлович воздерживался от окончательных идеологических формулировок, как бы по инерции довольствуясь политической эсхатологией Синодального объявления 1806 года. Но в том и дело, что «трясиноподобный» план Барклая, на первом этапе войны исключавший возможность славных реляций, сам собою обесмысливал и традиционную этику имперского милитаризма, и дотильзитскую мистику «современного Армагеддона». Лозунгу славы российского оружия он заведомо противопоставлял идеал жертвенности и самоотречения. Публицист Лезюр глубоко заблуждался: какой может быть всемирный заговор в проселочной пыли русских Дорог, в черноте родных пепелищ? Об Антихристовой сущности проклятого (и проклятого) Буонапарте хорошо размышлять до скифской трагедии — и сразу после нее. Во время затяжного отступления, с боем или без боя сдавая свои города, лучше думать о чем-то более теплом, домашнем — и в то же время высоком, ради чего не так страшно умирать. Так железная логика Барклая-де-Толли, холодно сцепляя причины и следствия, подводила план к тому же смысловому рубежу, на какой с пафосом указывал

русофильствующий Шишков: к идее войны — народной, национальной, Отечественной.^[161] То есть такой, во главе которой в августе 1812-го встал не генерал Барклай-де-Толли, а будущий фельдмаршал Кутузов.

И тут мысль наша начинает двоиться. С одной стороны, с другой стороны...

С одной стороны, Александр I поступил безобразно, когда, покидая 6 июля войска, оставил вакантным место единого главнокомандующего тремя русскими армиями. На Баркляя, который стоял во главе самой крупной из них, был военным министром и автором самой идеи единого главкома, все стали смотреть как на основного претендента. А значит — как на виновника отступления, в котором видели тогда не гениальный тактический маневр, но постыдный стратегический просчет. (Содержание записки 1810 года, естественно, не оглашалось.) Но никакой реальной власти государь Баркляю не предоставил; и чего стоили после этого слова из личного письма полководцу: — «Я передал в ваши руки, генерал, спасение России»? ^[162]

...Иди, спасай. Ты встал — и спас...

Вновь приближенному досталась роль громоотвода; карьерная пауза не только давала врагам Баркляя возможность начать плетение интриг; она провоцировала их на это.

Знал Александр Павлович об умонастроениях «русской партии» во главе с Петром Багратионом?

Несомненно.

Мог предвидеть, что Баркляю припишут в лучшем случае недостаток патриотизма, в худшем — подготовку измены?

Должен был!

Удивился бы, прочитав письма Багратиона Ростопчину:

«Барклай, яко иллюминатус, приведет к вам гостей... я повинуюсь к несчастью чухонцу»;

«...он подлец, мерзавец, тварь Барклай...»? [\[163\]](#)

Нимало — хотя в переписке с императором Багратион был предельно сдержан и личных выпадов против Барклая себе не позволял.

Понимал ли мотивы, Багратионом двигавшие? Распробовал ли причудливую смесь предельной амбициозности и предельной же самоотверженности? Угадал ли в Багратионе — готовом одновременно и клеветать на конкурента, и жизнь положить за други своя — желание быть если и не главнокомандующим, то хотя бы символом русской гениальности, новым Суворовым? (Желание это сказалось даже на стилистике писем Багратиона, по-суворовски скоропалительных, афористичных, рубленых: «Бойтесь Бога, стыдитесь, России жалко! Войска их шапками бы закидали!» [\[164\]](#))

Бесспорно.

Разделял ли взгляд Багратиона на способ ведения войны, изложенный тем в специальной записке, которая была представлена ранней весной 1812 года и в которой предлагалось сделать ставку на прямой встречный удар, на упреждающую атаку — в Восточной Пруссии и Герцогстве Варшавском? [\[165\]](#)

Ни в малейшей степени. До самой последней минуты он мыслил Барклаевыми схемами, лишь слегка уточненными. (Только в дни отъезда из действующей армии Александр Павлович перестал считать Волгу последним допустимым рубежом отступления и «назначил» на эту роль Смоленск. Что вполне понятно. Если идея Отечественной войны «надстраивается» политическим мифом русского царства с неформальной

столицей в Москве, то именно Смоленску суждена роль «ключей от Москвы», — по счастливому и проницательному замечанию Кутузова.)

Так почему же тогда Барклай не стал главнокомандующим? Почему Александр — по крайней мере в июле и начале августа сохраняя расположение и доверяя генералу — не распростер над его головой свою царственную сень, почему обрел на одиночество, непонимание, ропот? Почему предпочел Кутузова, которого не любил и которому ни на грош не верил? Причем предпочел до Смоленской трагедии, вину за которую «мнение народное» взвалило на Барклая?

Самое время перейти к тому, что «с другой стороны».

С другой стороны, политик, стоящий во главе огромной державы, к несчастью, иной раз просто вынужден уклоняться от моральной ответственности, перекладывать ее на других, чтобы сохранить за собою роль символа грядущей победы. Не ради самоублажения — ради целесообразности. Конечно, к этой государственной необходимости могут примешиваться (и почти всегда примешиваются) иные, личные, мелкие мотивы — честолюбие, страх перед судом истории, зависимость от мнения толпы холодной, зависть к чужой славе. Но вопрос о том, следовало или не следовало Царю в июле-августе скрываться за спиной Барклая, и вопрос о том, в какой мере при этом проявились самые дурные его свойства, — это два совершенно разных вопроса. Значит, и ответы нужно давать разные. На вопрос о мере: в полной. Особенно осенью, после отъезда Барклая из армии, когда он будет сознательно брошен на произвол общего мнения, и Александр не сделает ни одного этикетного жеста, дабы спасти личную и служебную репутацию великого стратега, как весной не позаботился он о чести Сперанского. На вопрос же об «игре в прятки»:

следовало. Увы. Сомневаться в символе — значит сомневаться в победе; человек может быть слаб, а символ должен быть безупречен.

Сдавая Баркляя на съедение «русской партии» и отступая в широкую спасительную тень Кутузова, Александр не отрекался от главного — от плана скифской войны. Именно этот план (а не результаты московского и питерского голосований), кажется, решил участь и Баркляя, с которым царь во всем соглашался, и нелюбезного царю Кутузова.

Новейшие исследования показывают, каким образом недовольство Барклаем провоцировалось и «спускалось» в солдатскую среду генералитетом.^[166] И все равно — сыграть на одном только нерусском звучании фамилии полководца было невозможно. (Фамилии других претендентов на роль главкома, Багратиона и Беннигсена, столь же экзотичны для русского слуха.) Хорошо это или плохо, но русский солдат, особенно участвующий в народной войне, больше нуждается в таком командире, по слову которого не страшно пойти в бой и отдать жизнь, чем в командире, способном детально продумать рекогносцировку. Даже если этот довод не в пользу русского человека, не считаться с данностью невозможно, нехорошо. На поле боя приходится командовать не идеалом, а реальным войском, состоящим из реальных людей. Из таких, какие есть. Барклай превосходил Кутузова как военный стратег, он был несопоставимо умнее и тем более образованнее Багратиона, но он действительно не годился в вожди народной войны, хотя и был истинным творцом одержанной в ней победы.

Главнокомандующим в «скифской» войне должен быть не суровый, гордый и честный викинг; главнокомандующим в «скифской» войне должен быть

— скиф. Не Барклай — Кутузов, который сам о себе говорил: «Наполеон может меня победить, но перехитрить — никогда». Связанный с мифологизированной фигурой Суворова,^[167] не лезущий на рожон, но и от смерти не бегающий, популярный в войсках, Кутузов олицетворял собою «идеального народного полководца». И уже не столь важно, был ли им на самом деле. (Впрочем, конечно же был!)

В конце концов царь утвердил Кутузова главнокомандующим; в соответствии со своей тактикой обходного маневра тот немедленно перенес план войны на Калужскую дорогу, 22 августа занял позиции под Бородиным, 24-го выдержал бой за Шевардинский редут, а 26-го в 5 с четвертью утра началось великое сражение, в котором военно-техническому, стратегическому, численному преимуществу Наполеона была противопоставлена национальная «манера» ведения боя. В тактике русской стороны основной упор был сделан не на атаку, не на оборону, а именно на противостояние; ту малоподвижную неприступность, которая некогда решила дело на реке Угре. (Многие историки убеждены в том, что с чисто военной точки зрения битва была русскими проиграна; но несомненно и то, что Кутузов сумел создать в войсках впечатление победы, как создал он его при отступлении к Ольмюцу в 1805 году. А значит — и впрямь морально победил.) Точно так же после ухода французов из Москвы ставка Кутузова была сделана именно на уклон от генерального сражения, игру с разными дорогами — старыми и новыми; то есть на ту привычную русскую пассивность, которая в иные эпохи оборачивается косностью, в иные — немислимым долготерпением, в иные — религиозной непреклонностью, в иные — предательской слабостью и равнодушием, но которая

непреодолима и без учета которой любое государственное делание обречено на неуспех.

ГОД 1812. Август. 30.

Александрю поступает сообщение о победе в Бородинском сражении.

Кутузов произведен в генерал-фельдмаршалы, ему пожаловано 100 000 рублей.

Смертельно раненному князю Багратиону — 50 000.

Барклаю-де-Толли — орден Св. Георгия 2-й степени.

Нижним чинам — по 5 рублей на человека.

Естественно, Кутузову «помогли» создать маску мудрого народного полководца, больше похожего на «плебея» Крылова, чем на самого себя — вальяжного вельможу позднеекатерининских времен, умело собиравшего дань монарших милостей;^[168] точно так же, как Денису Давыдову помогли создать маску поэта-партизана; не в том дело. Главное — было из чего эту маску создавать!

Кутузов словно специально был предназначен для того, чтобы сочинить о нем солдатскую песню:

Как заплакала Россиюшка от француза.
Ты не плачь, не плачь, не плачь, Россиюшка,
Бог тебе поможет.
Собирался сударь Платов да со полками,
С военными полками да с казаками...
На часах долго стояли, да приустиали.
Белые ручушки, резвы ножечки задрожали.
Тут спроговорил-спромолвил да князь Кутузов:
«Ай вы вставайте ж, мои деточки, утром пораняе,
Вы умывайтесь, мои деточки, побелеяе...
Вы своего же французика побеждайте!»

Не восточная звезда в поле воссияла
У Кутузова в руках сабля воссияла.

(«Кутузов ободряет солдат». [\[169\]](#))

В нем «узнавался» добрый фольклорный персонаж; его имя было удобноупотребимо в песне рядом с именем казачьего атамана Платова. И это обстоятельство в народной войне, особенно в роковой ее период, как ни странно, многое решало: логика истории заведомо неформальна. И то, что Александр, чей «острый ум» и впрямь постигал Баркляя и чье сердце отторгало Кутузова, все-таки решился на «замену», означало переворот в его отношениях с Россией. При всех мыслимых и немыслимых оговорках.

Едва ли не впервые в своей жизни царь предпочел суровую реальность идеальным схемам. И был вознагражден за это военной победой, одной из самых значительных в тысячелетней истории страны.

ГОД 1812. Сентябрь. 1.

Совет в Филях. Кутузов делает вид, что спит.
Решение: отступить за Москву.

СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

Сентябрь. 2.

Наполеон на Дорогомиловской заставе.

Да, Кутузов принадлежал к обрядоверующему екатерининскому поколению. Но что бы ни говорили скептики, он, по крайней мере, знал искупительную, объединяющую силу молитвы. И подобно куда более молодому партизанскому генералу Денису Давыдову, отрастившему бороду, сменившему мундир на кафтан, а дворянские ордена — на большую нагрудную икону святого Николая Чудотворца, догадывался, что чудотворные иконы существуют не только для того, чтобы оппозиционные кружки выставляли их с «надписями», демонстрируя свою оппозиционность. Одна из самых пронзительных, самых правдивых сцен «Войны и мира» воспроизводит эпизод моления перед иконою Смоленской Божией Матери:

«— Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!..

— Смоленскую матушку, — поправил другой...

В длинном сюртуке на охромном толщиной теле, с сутуловатую спиной, с открытою белою головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своею ныряющею, раскачивающеюся походкой в круг и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову...

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски-наивным вытягиванием губ приложился к

иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли». [\[170\]](#)

Что же до государя православной державы, вождя христоролюбивого воинства, «отца» патриархально настроенного народа, — то вплоть до 1812 года его не назовешь ни обрядовером, ни атеистом в строгом, ответственном смысле этого слова. Его религиозные переживания были скорее полубессознательными отголосками христианских чувствований, проявлениями некоего церковного инстинкта и эстетической предрасположенности ко всему выразительному, яркому, впечатляющему. Князь Александр Голицын позже рассказывал, как прекрасным весенним днем — задолго до великой войны — ехал в коляске с молодым царем.

«Тихое веяние ветерка, навевавшее прохладу, безоблачное небо, которое так редко в Петербурге, зелень деревьев, только что распустившихся... все наводило на нас некоторое упоение. Государь замолк и погрузился в тихое размышление... сладкая дума родилась в его царственном сердце, ибо черты лица показывали какое-то освещение и Успокоение... Послушай, князь... от чего это делается, что ясность небесная, тихое колебание вод, освежение, доставляемое нам зеленью дерев, располагают нас к каким-то сладостным чаяниям и влечениям. Вопреки моего разума... я невольно ощущаю в себе эго влечение поддаться и водворить в себе столь освежительные истины религии». [\[171\]](#)

Голицын (к 1812 году уже обратившийся и ставший яростным неофитом) во время той каменноостровской поездки выступил в роли змия-искусителя.

«Напрасно, Государь... вы некоторое спокойствие сердца, некоторую мирность духа принимаете за

проявление необходимости поддаваться чему-то. Это просто пришлое чувство...»

На том «богоискательский» разговор и закончился — ничего удивительного. Довоенный Александр Павлович мог сколько угодно стилизовать эсхатологию, но к настоящему религиозному самоопределению, как политика практического, его могла подтолкнуть или душевная драма, или государственная необходимость. Солнечного утра и тихого веяния ветерка тут было явно недостаточно. Однако потрясение от косвенной вины отцеубийства осталось недопережитым, — отвлекла жестокая борьба за упрочение власти; что же до необходимости... «Молчаливым большинством» своей православной державы, как было не раз уже сказано, царь правил в последнюю очередь; в первую — он правил вельможным сегментом русского общества, дворцом. А там о неформальной церковной прописке не спрашивали, цenia самодостаточную красоту православного богослужения, занимая досуг толкованием мистических текстов, волнуя кровь таинственностью Сведенборга, каббалистически обсчитывая звериное имя Наполеона, ни во что глубоко не веря, ни во что особенно не вникая.

При этом, как люди просвещенные, тогдашние правители «державы полумира» уважали человеческое достоинство своих долгополых сограждан. Если религиозно экзальтированный Павел I позволял забривать в солдаты нашкодивших семинаристов и даже провинившихся попов, то религиозно индифферентные сподвижники раннего Александра способствовали принятию указа — в числе первых! — освобождающего священство от телесных наказаний. И законодательство, и практика первого одиннадцатилетия обеспечивали относительную свободу вероисповедания (на безбожный «афеизм» это, разумеется, не распространялось). Веротерпимость

была нормой; [\[172\]](#) инославное влияние не пресекалось; иезуиты повсеместно открывали колледжи; от сборов в пользу остзейских пасторов не освобождались даже православные... Споры нет: вельможи раннеалександровского круга ценили западное христианство как силу, способную содействовать народному образованию; «господствующую» церковь — как духовный институт, поддерживающий гражданскую нравственность. Но мера личного отрыва большинства из них от религиозного обихода основной части нации описанию не поддается.

Легко объяснить недоумение принца Евгения Богарне, в ночь с 30 на 31 августа 1812 года заночевавшего с авангардным отрядом неподалеку от звенигородского монастыря Святого Саввы Сторожевского, когда во сне он увидел седобородого старца в черном монашеском одеянии, который тихим голосом произнес: «Не вели войску своему расхищать монастырь и особенно уносить что-либо из церкви. Если ты исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Особенно понятен мистический ужас, охвативший принца Евгения утром: зайдя в церковь, он узнал в иконе над ракой святого Саввы привидевшегося ему монаха. [\[173\]](#) Но и большинство предвоенных приближенных Александра I, особенно из молодых, оказавшись на месте Евгения Богарне, испытали бы такое же недоуменное и остро поражающее неуютное чувство нарушения привычного хода вещей.

И нельзя сказать, что это — проблема их личной совести, неприятная (или приятная — кому как) черта их жизненной философии. Будь они далеки от кормила православно-монархической власти — тогда дело другое; но «вера предков» — смысловая основа русской монархии; причастность правителей тогдашней России

общецерковной жизни — основа социальная. Как только эта связь нарушается и монархия утрачивает путь к небу, так сразу из-под монарха начинает уходить земля. Царская власть продолжает удерживаться силой народной привычки; так может продолжаться довольно долго; и все равно, рано или поздно, роковая проблема, описав круг, бумерангом вернется под своды дворца.

ГОД 1812. Сентябрь. 3. Москва.

Главная квартира Наполеона переведена в Кремль. Французский император делится с Коленкуром восхищением от теплого русского климата: осенью в Москве теплее и суше, чем в Фонтенбло. Коленкур пытается разочаровать Наполеона; напрасно.

И тут — самое время «достроить», довести до логического итога давно уже намечавшуюся параллель.

Александр Павловичу не было года, в ноябре 1778-го, когда в Саровский мужской монастырь поступил новый послушник — Прохор Мошнин, которому предстоит войти в историю русской святости под именем Серафима Саровского, «всея России чудотворца»; почитать его будут наравне с Николой Угодником и Сергием Радонежским. Александр Павловичу не исполнилось шести лет, когда (в 1783-м) тяжкоболящему Прохору явилась Пресвятая Богородица и исцелила его. Семнадцатилетний Александр Павлович переживал разлуку с Лагарпом, когда Мошнин (уже посвященный в сан инок с именем Серафим), после явления ему Господа Иисуса Христа, начал тысячадневный подвиг поста и столпничества, так не похожий на салонное искание тысячелетнего царства при дворцовых свечах... В сентябре 1804-го, когда Александр Павлович еще не до конца оправился от двух почти одновременно настигших его ударов —

оскорбительного письма Талейрана и вести о провозглашении его извечного конкурента Наполеона императором, отец Серафим претерпел поругание от разбойников; едва остался жив; лицезрел Пресвятую Богородицу; получил чудесное исцеление; навсегда остался согбенным. В мае же 1810-го, как раз когда Александру был подан рескрипт Барклая-де-Толли «О защите западных пределов России», а Михаила Сперанский заканчивал подготовку проекта организации Императорского Царскосельского лицея, отец Серафим ушел в пятилетний затвор, исчез из обозримого исторического пространства — и затем как бы пропустил все славное царствование Александра Павловича. Сначала в пустынножительстве, затем в полном, потом в частичном затворе, наконец, в молчаливости. А полностью вышел он из затвора и начал проповедовать спустя шесть дней после прекращения «царских полномочий» Александра и за два дня до получения в столице известия об этом печальном событии.

Есть некая провиденциальная ирония в том, что владельцем дивеевских мест, где под заочным присмотром святого Серафима предстояло учредиться одной из самых великих женских обителей России, был один из сотрудников царя, генерал-лейтенант Арсений Закревский.

А встреча все равно не состоялась.^[174] Да и могла ли она состояться?

Сохранились свидетельства паломников из простонародья или из мелкопоместных, давным-давно «окрестья-нившихся» дворян о посещениях Саровской обители в 1820 годы; в их записках, мемориях, письмах можно найти редкие упоминания о старце Серафиме.^[175] Прижизненный портрет преподобного выполнен крестьянином. Но чем выше поднимаемся мы по

социальной лестнице, тем ближе к нулю будет возможность обнаружить такие упоминания. Даже у клириков, причастных большой российской политике первой половины XIX столетия. (Из высшей иерархии едва ли не один только архиепископ — в будущем митрополит — Филарет «вовремя» узнал о подвигах святого Серафима и его поучениях; в календарных записях митрополита Филарета за 1834 год находим: «Старец Серафим учил не бранить за порок, а только раскрывать его срам и последствия». [\[176\]](#)) Что же до светских... О Закревском мы уже сказали; а вот выписка из позднейших воспоминаний красавицы, умницы фрейлины Александры Смирновой-Россет. В 50-е, прослышав о старце, просиявшем святостью аккурат во времена ее молодости, она пытается задним числом домыслить свое знание о церковной жизни начала века.

В лесу около Усмани жил рыжий мужик, к нему все окрестные семейства ездили за советом. «Один раз он мне сказал странную вещь. Была большая куча человеческого кала, а в середине зубчатая ромашка; он мне сказал: «Девочка, сорви, скушай и увидишь видение апостола Петра». Я сорвала и съела. Он мне сказал: «Ах вы, бедные детки, и учит-то вас немка... У тебя, девочка, пакостник отчим, ты не отдавайся ему... Я знаю Тамбовскую губернию и уйду... в Саровскую пустынь». Это, вероятно, был Серафим, русский Симеон Столпник. Его житие напечатано с его портретом». [\[177\]](#)

Перед нами — свидетельство непоправимого разрыва, трещины, прошедшей через дворцовую сердцевину России и окончательно отделившей ее современную политическую судьбу от ее вечного призвания. Имя святого Серафима Саровского, как было только что сказано, стоит рядом с именем святого Сергия Радонежского. Мыслимо ли, хотя бы на миг, представить себе, что князья, правившие во времена

преподобного Сергия, не знают о нем ничего? Что за Два года до Куликова поля он удаляется в непроницаемый затвор? Что не благословляет полководцев на сражения? иноков на самопожертвование?.. Это так же невозможно, как вообразить благословение, преподанное преподобным Серафимом Александру Павловичу на Отечественную войну. (В отличие от посещения скопческого «отца-искупителя» перед Аустерлицем.)

И удивляться нечему.

Какими бы ни были русские князья эпохи Сергия Радонежского, они, по крайней мере, в состоянии были понять, о чем он говорит и что делает, ибо находились с ним в одном культурном пространстве. Но что поняли бы в делах, словах да и в аскетическом быте святого Серафима его вельможные современники?^[178]

«Она (келия. — А. А.) состояла из одной хаты с печкою и имела крылечко с сенями. Вокруг пустынки о. Серафим устроил себе небольшой огород и обнес все занимаемое им пространство забором... Вся та обстановка немного напоминала собою Афонскую гору, состоящую из разных возвышений, усеянную лесом, монастырями и келиями пустынножителей; поэтому о. Серафим прозвал свой пустынный холм Афоном, а другие уединенные места в лесу он прозвал в духовном смысле именами разных святых мест, как Назарет, Иерусалим, Вифлеем, Фавор, Кедр[он]ский поток, река Иордан и т. д.».^[179]

Не ошибемся, предположив, что очертания этого «земного рая» напомнили бы Александру Павловичу идеал смиренной, частной сельской жизни — ту самую крохотную фермочку Марии-Антуанетты, о которой мечтал он всю жизнь и уютные очертания которой проступали во всех грандиозных проектах его эпохи. Переименование окрестностей «в духовном смысле»

само собою срифмовалось бы с аристократической привычкой нарекать гроты и аллеи, беседки и холмы именами нимф и богов, превращая игровое пространство садов и парков в замкнутый мир легкомысленной тайны и полумистического флирта. В тысячедневном вкушении сорной травы снитки царь, чего доброго, опознал бы огородную диету персонажей идиллии — в монастырском, несколько более суровом ее варианте. Рассказ о святом, ранней весной подарившем одной из сестер «зеленую веточку с фруктами» («вкуси, матушка, это райская пища!»^[180]), превратился бы в трогательную буколическую сценку, а заложенная Серафимом мельничка — в необходимую деталь пасторального пейзажа. Обещание же, какое дал он дивеевским сестрам: «У вас многое не умножится, а малое не умалится»,^[181] — аукнулось бы со словами Горация, что были предпосланы в качестве эпитафии к идиллии «Обитатель предместья» Михаила Никитича Муравьева (на ней, как помним, взрастал русский царь):

Хотелось мне иметь землицы уголок
И садик, и вблизи прозрачный ручеек,
Лесочик сверх того: и лучше мне и боле
Послали Небеса. Мне хорошо в сей доле,
И больше ни о чем не докучаю им,
Как только, чтоб сей дар оставили моим...^[182]

Что же до многочисленных пророчеств преподобного Серафима — о будущем дивеевской общинки, о судьбе России, о последних временах, — то, нет сомнений, Александр Павлович поверил бы им безоговорочно. Как верил Кондратию Селиванову. Как верил опасному монаху Авелю, которого — как только сбылось его очередное предсказание — 17 ноября 1812

года вытребовали с Соловков в столицу:^[183] «И нача отец Авель петь песнь победную и песнь спасительную, и прочая таковая».^[184] Как — в послевоенные уже времена — будет верить пророчице г-же Юлии Криднер и прорицательнице m-me Марии Ленорман.^[185]

Особенно чуткий ко всему таинственному, непознанному, он с замиранием сердца слушал бы рассказ о том, как в последние времена Антихрист не перескочит канавку, вырытую вокруг обители:

«На что, говорю, батюшка, нам ограда бы лучше! Глупая, глупая! говорит, на что канавка? Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет!»^[186]

Особое воодушевление, несомненно, вызвало бы известие о том, что при кончине века последний из дивеевских соборов подыметя на воздух, так что Антихрист не сможет взять его...

И в первом, и во втором случае царь отчасти был бы прав — потому что идилического и чувствительного, таинственного и чудесного в «улыбчивом православии» святого Серафима Саровского много. Но он привнес бы в услышанное и увиденное — себя, свой опыт, свое мирозерцание, сведя смысл аскетического быта — к чувствительности, а «тайну» — к таинственности. Да, монахи считают свою жизнь в обители маленьким подобием Эдема, небесным прибежищем на земле; да, живут они «в мире с натурою», — но эдемские саженьцы дороги необычайно. За них подчас приходится платить слишком страшную цену, — вплоть до той, которую преподобный запросил у Елены Васильевны

Мантуровой: добровольно, «за святое послушание», умереть вместо брата.

«Во, во, так, радость моя!» — воскликнул старец и продолжал: — «Вот, видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец-то твой, болен и пришло время ему умирать... умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то... Так вот и послушание тебе: умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка!» — «Благословите, батюшка!» — ответила Елена Васильевна смиренно и как будто покойно... но вдруг смутилась и произнесла: «Батюшка! я боюсь смерти!» — «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя... для нас с тобою будет лишь вечная радость!»^[187]

Церковный человек или нецерковный, верующий или неверующий — кто угодно похолодеет от такого пассажа. И хорошо, если удержится от мысли об изуверстве. Но зато ясно осознает, насколько зависима чувствительность монастырской эклоги от нечувствительного отношения к смерти, насколько серьезна земная «игра в Эдем».

ГОД 1812. Сентябрь. 4.

Пламя московских пожаров вплотную приближается к стенам Кремля.

Довоенному Александру Павловичу было бы трудно, почти невозможно, уловить эту связь. Прощарствовав одиннадцать лет, помазанник Божий вдруг обнаружил, что не имеет собственной Библии — ни славянской, ни французской.^[188] Причем обнаружил — случайно. 7 сентября, узнав, что Москва уже пять дней как сдана французам, что пожар вплотную подступил к стенам главной русской святыни — Московского Кремля, что путь на столицу Империи открыт и поражение как

никогда близко, он, по совету Голицына, решит обратиться к Священному Писанию. В личной библиотеке царя такового не окажется. К счастью, экземпляр французской Библии в переводе де Сасси (1666 год) найдется у императрицы Елизаветы Алексеевны; она и поделится им с венценосным супругом.

Вскорости «библейский» сюжет получит продолжение.

Вновь уезжая в действующую армию, Александр отстоит молебен в совсем недавно (1811) освященном Казанском соборе Санкт-Петербурга; услышит слова 90-го псалма: «Живый в помощи Вышняго...» Царь вздрогнет. Накануне именно на тексте этого псалма открылась Библия, случайно оброненная им с голицынского стола. Когда же спустя некоторое время, уже в армии, он попросит приближенного прочесть на выбор что-нибудь из Писания и тот (очевидно, зная и чтя церковный канон) снова выберет псалом 90-й, государь окончательно увидит в этом знак Провидения, услышит в тягучей музыке церковнославянизмов обращенный к нему лично глас Божий.

Вплоть до осени 1812-го церковная служба сливалась для русского царя в неразличимый напев; иначе каким образом он мог не знать, что 90-й, «защитительный» псалом читается при всякой угрозе, внешней или внутренней?^[189] (Вполне вероятно, что и Голицын в трагические дни сентября заложил текст псалма традиционно плотной закладкой — потому упавшая Библия на нем и открылась.)

На пути из Перхушкова в Кремль, на Красном крыльце, во время встречи с московскими депутациями — и, главное, в трагическую ночь с 7 на 8 сентября, проведенную над картой полуутраченного отечества, царю приоткроются двери той духовной традиции, в

предельном притяжении и в предельном же отталкивании от которой веками выработывалось причудливое, православно-языческое, язычески-православное мирозерцание россиян, формировался русский национальный характер со всей его красотой — и уродством, со всем его уродством — и красотой; созидалась русская культура, лепилась русская жизнь.

Все это произведет в Александре Павловиче полный переворот, и он утвердит доклад Голицына от 6 января 1812 года об учреждении Российского библейского общества, цель которого — всемерное распространение Библии и перевод Писания на языки «малых» народов Империи. [\[190\]](#)

По прошествии двух лет, поздней осенью 1814-го, захочется большего: создать в отечестве целостную систему христианского знания, по образцу европейскому. То есть — Духовно образовать клир, вернув полный славянский текст Священного Писания монашеству и священству. (Последний раз славянская Библия исправлялась при императрице Елизавете, в 1751 году; не переиздавалась с 1759-го, по-русски же не выходила никогда, хотя еще к 1663 году относится первая попытка перевода Псалтири на «наш простой, обыкный язык», — запрещенная патриархом Иоакимом). Тогда же комитет выпустит брошюру «О цели Российского библейского общества и средствах к достижению оной», где впервые обмолвится о переиздании славянской Библии и о подготовке стереотипного издания Нового Завета — тоже, разумеется, славянского.

Наконец — как только появится прецедент и Константинопольский патриарх Кирилл благословит чтение Евангелия на новогреческом языке — дойдет очередь и до всего народа русского, народа православного.

По заключении в 1815-м второго Парижского мира его императорскому величеству, вернувшемуся в отечество, благоугодно будет «изустно повелеть Президенту [Российского библейского общества]... дабы предложил Святейшему синоду искреннее и точное желание... доставить россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются». [\[191\]](#)

В 1818 году, в беседе с прусским епископом Эйлертом, Александр Павлович почти прямо свяжет две темы — послевоенную европейскую политику и дело евангелизации России:

«...[Священный] Союз вовсе не наше дело, а дело Божие... Нужно предоставить каждому христианину испытать на себе действие Слова Божия... Конечно, воздействие его на людей крайне разнообразно... но в этом разнообразии кроется единство, и вот главное условие преуспевания церквей и государств...» [\[192\]](#)

Да и как иначе, если Евангелие, проповеданное на живом языке и отвечающее на самые насущные вопросы современного человека, стало смысловым центром европейской цивилизации?

Отныне, с конца 1812 года, Россия соотносила себя с этим центром.

Отныне она тоже была — Европой.

ГОД 1812. Сентябрь. 7.

Известие об оставлении Москвы достигает Петербурга и доходит до Царского Села. Лицеисты плачут.

Дело евангельского перевода поручат Комиссии духовных училищ; та поставит во главе переводчиков

ректора Санкт-Петербургской Духовной академии Филарета (Дроздова), имя которого уже возникало — и не раз еще возникнет — по ходу нашего рассуждения. [\[193\]](#)

Сам того не желая, отец ректор сразу попадет в точку пересечения совершенно несовместимых государственных и церковных волей.

Слева на него будут смотреть английские создатели библейских обществ; они не скрывали, что надеются на библейскую «переработку» чуждого им Православия. И тут они были вполне политичны. Как весь их библейский проект направлен был против папства (предлагая народам Слово Божие на их родном языке и принципиально без комментариев, «библеисты» вырывали Библию из рук Первосвященника [\[194\]](#)), так русское Писание без примечаний должно было стать средством полновесной Реформации Православия. (Читай: по английскому образцу [\[195\]](#)).

Из правительственных высот на Филарета с надеждой станут взирать новообращенные (а подчас и вовсе неверующие) политики. Они ждали от перевода того же, чего и Александр Павлович, — религиозного фундамента общеевропейской безопасности; того же, чего и библеисты: «мирной», как бы даже и незаметной, церковной Реформации сверху. [\[196\]](#)

Справа на отца Филарета с самого начала работ опасно будут поглядывать его будущие гонители, екатерининские архаисты. Для них Православная Церковь была атрибутом нации, а пышное велеречие — атрибутом Церкви. Они твердо стояли на том, что Библию можно читать только по церковно-славянски. Мысль о том, что Христос проповедовал на простонародном языке, а не на «высоком» библейском; что большинство Евангелий написаны не на классическом греческом, а на полуразговорном

койне, — показалась бы им кощунственной. Спустя несколько лет адмирал Шишков составит рапорт о деятельности Библейских обществ. Здесь он прямо и честно выскажет все претензии и страхи, что обуревали многих ревнителей старины (предпочитавших, однако, помалкивать):

«Отколе сии общества водворились к нам? — от английских методистов!.. Разве мы какие-нибудь дикие народы, без их учений обойтись не могущие?.. Наши митрополиты и архиереи... с седою головою, в своих рясах и клобуках, сидят с мирянами всех наций, и им человек во фраке проповедует Слово Божие!.. Где же приличие, где важность священнослужения, где церковь?.. Они собираются в домах, где часто на стенах висят картины языческих богов, или сладострастные изображения любовников, и сии собрания свои, без всякого богослужения... сидя как бы в театре... равняют с церковного службою... Не похоже ли это на Содом и Гомор?..»[\[197\]](#)

Затем, когда Филарет по поручению Библейского общества приступит к переложению книг Ветхого Завета, они начнут отстаивать первородство греческого источника славянской Библии, Септуагинты, перед еврейским оригиналом. Не во всемирном еврейском заговоре будет дело, а в ужасе перед масонами, их тайным знанием, которое, как казалось, каббалистически зашифровано в еврейском алфавите. (То, что некогда покровительствуемый Сперанским иллюминат Фесслер оказался профессором именно гебраистики, наводило Шишкова со товарищи на особо тревожные размышления.)

Страшная морда апокалиптического зверя все откровеннее, все наглее будет выглядывать из темных углов адмиральского кабинета, куда не доставал колеблющийся свет свечей:

«...Деяния библейских обществ... состоят: 1. В намерении составить из всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну религию: мнение мечтательное...^[198] Оно сперва скрывалось под именем тайных обществ, масонских лож... а потом... укрылось под другие благовиднейшие имена либеральности, филантропии, мистики и тому подобные... поработает царство наше чужеземцам и угрожает теми же бедствиями, какие некогда на их землях свирепствовали».^[199]

Наконец, как бы с высокой колокольни, на действия Филарета будет смотреть Священный синод. На словах поддержавший начинание возлюбленного государя, он все же уклонился от мистической ответственности за неизбежные следствия его затеи: одобрил идею перевода, но издавать положил от имени Российского библейского общества. Это означало: церковное священноначалие не благословляет и не запрещает задуманное политиками дело. Оно попускает совершиться тому, чего не в силах остановить.

Окруженный со всех сторон опасностями, отец ректор проявит завидную, не по летам, мудрость. Где будет иметься возможность, он обогнет острые углы; где потребуются, пойдет на обострение; где будет неизбежно, поставит под удар себя самого. Ни одна из «партий» не получит оснований считать, будто архимандрит Филарет действует по ее указке; ни одна не сможет сказать по совести, что он полностью проигнорировал ее мнение.

Филарет даст инструкцию переводчикам, прямо повторяющую главный тезис Лютера (а может, и прямо восходящую к нему!): «Величие Священного Писания состоит в силе, а не в блеске слов». Он посоветует держаться греческого текста, преимущественно перед славянским — «как первоначального». Он согласится

издавать русский перевод Нового Завета по образцу протестантскому — без комментариев и пояснений. (Исключение будет сделано для сохраняемых в русском тексте греческих и еврейских слов.) Согласится — рискуя вызвать подозрение в тайном сочувствии лютеранам и в неуважении к Священному Преданию. Но все это не ради угождения «реформистам» и уязвления «патриархалов»; во всяком случае, не только ради мира с ними. Замысел архимандрита будет иным. Сначала нужно вернуть православному народу прямой доступ к сокровищнице Богопознания, некогда открытый святыми Кириллом и Мефодием, учителями словенскими, а уж потом, по прошествии недолгого времени, заново катехизировать его.

Непреодоленным оказалось лишь последнее препятствие. Начатое вне церковных врат, дело библейского перевода так и останется как бы частным опытом. И, как всякое частное строение на соборной почве, рухнет при первом дуновении противного ветра, осколками зацепив Филарета. Но рассказ об этом еще впереди; пока же вновь переместимся в параллельное пространство государственности, где тот же самый замысел неостановимо приобретал совершенно иные очертания.

ГОД 1812. Октябрь. 6.

Наполеон оставляет Москву. Октябрь. 12.

Бои за Тарутино. Село восемь раз переходит из рук в руки. К 18 часам оно занято французами. Кутузов в очередной раз отказывается от битвы: «развалится и без меня».

Октябрь. 14.

Армии отступают в противоположные стороны.

ПОДЖИГАТЕЛЬ

Но теперь, сложив «свободную хвалу» Александру I, русскому царю «образца 1812 года», самое время подойти к проблеме с противоположной стороны. Потому, во-первых, что шансы — это всего лишь счастливая возможность, которую так легко упустить. Потому, во-вторых, что политика «просвещенного патриотизма» несет в себе отнюдь не только благое начало. Горько вспоминать о массовой галлофобии и приступе квасной гордыни, охватившей «широкие народные массы» в 1812 году; за всеобщее поругание «нерусского» Баркляя до сих пор стыдно. Но дело не только в этом. Политика «возвращения к истокам» способна сблизить правителя с нацией, послужить его примирению с действительностью. Но она же способна возбудить в нем новый приступ утопической эйфории; лечь в основу нового проекта «усчастливления» страны и мира — хотя бы и на других началах.

Живым и ярким образом, одушевленной «иконой» всех ее оборотных сторон был московский градоначальник Федор Ростопчин, чье назначение, между прочим, тоже стало результатом «скифского плана». Ростопчинское сознание было устроено таким образом, что всякий реальный факт разрастался в нем до фантастических размеров, а затем прилагался к действительности, — но в совершенно особом смысле.

Знаменитые афишки Ростопчина, которые вывешивались для всеобщего ознакомления, вопреки мнению пламенного патриота Сергея Глинки (Ростопчин «поставил себя на череду старшины мирской сходки»), совершенно не годились для воздействия на мнение народное. Для крестьян слишком велеречивые, для дворян слишком грубые, они имели иную

«сверхзадачу». Афишки создавали заведомо сниженный, стилизованный под народность, не совпадающий ни с реальностью Отечественной войны, ни с официальным ее толкованием исторический миф о ней. Миф, в котором Москва не просто наделялась особым государственным статусом, как «народный» центр России в противовес «государственно-чиновному» центру, Петербургу, — но представала маленьким сказочным царством, градом Китежем, не ушедшим под воду, зато готовым ринуться в огонь. Соответственно и сам Ростопчин как московский генерал-губернатор и «главнокомандующий в Москве» приобретал в своих собственных глазах черты легендарного вождя нации, [\[200\]](#) священного толкователя событий, фольклорного царя.

**Вставной сюжет. АФИШКИ 1812
ГОДА, ИЛИ ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ
ОТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО В
МОСКВЕ К ЖИТЕЛЯМ ЕЕ
(Из сочинений графа Ростопчина)**

Афиша № 1.

Московский мещанин, бывший в ратниках, Карнюшка Чихирин, выпив лишний крючок на тычке, услышал, что будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился и, разругав скверными словами всех французов, вышед из питейного дома, заговорил орлом так: «Как! К нам?.. Полно тебе фиглярить: ведь солдаты-то твои карлики да щегольки; ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят... Да знаешь ли, что такое наша матушка Москва? Вить это не город, а царство... Ну, поминай как звали! По сему и прочее разумевай, не наступай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в род, каков русский народ!» Потом Чихирин пошел бодро и запел: «Во поле береза стояла», а народ, смотря на него, говорил: «Откуда берется?..»

№ 4.

Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб не дорожает, и мясо дешевет. Однако всем

хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, воинов снаряжать, да и в армию их отправлять... Когда дело делать, я с вами: на войну идти, перед вами; а отдыхать за вами. Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее отдуем; все перемелется, мука будет; а берегитесь одного: пьяниц да дураков; они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши расплох надувают... И для сего и прошу: «если кто из наших или из чужих станет... сулить и то и другое, то, какой бы он ни был, за хохол да и на съезжую!» Тот, кто возьмет, тому честь, слава и награда; а кого возьмут, с тем я разделаюсь, хоть пяти пядей будь во лбу; мне на то и власть дана... я верный слуга царский, русский барин и православный христианин...

№ 7.

...Здесь есть слух и есть люди, кои ему верют и повторяют, что я запретил выезд из города... А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах в будущее отправились без возврату... Я жизнь отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 000 войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно Государев избранный воевода русских сил и надо всеми начальник... Прочитайте! Понять можно все, а толковать нечего.

№ 15.

Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая Отечество, не пустить

злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело сделать... Москва наша мать. Она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дня хлеба; идите со крестом; возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на Страшном суде, кто отговариваться станет!

№ 16.

Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду, и примемся за дело: отделаем, доделаем и злодеев отделаем.

№ 17.

Крестьяне, жители Московской губернии! Враг рода человеческого, наказание Божие за грехи наши, дьявольское наваждение, злой француз вошел в Москву: предал ее мечу, пламени... Ужли вы, православные, верные слуги царя нашего, кормилицы матушки каменной Москвы, на его слова положитесь и дадитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному?... Истребим гадину заморскую и предадим тела их волкам, вороньям; а Москва опять украсится; покажутся золотые верхи, дома каменные; навалит народ со всех сторон... не робейте, братцы

удалые, дружина московская, и где удастся поблизости, истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину, и тогда к царю в Москву явитесь и делами похвалитесь. Он вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому...

Источник: Барсук Н. В. Ростопчинские афиши. СПб., 1912.

Только что мы были свидетелями религиозного порыва смолян, по древнему обычаю вынесших чудотворную икону из храма — и под ее мистическим покровом идущих на смерть за Отечество свое, за други своя. И вот — происходит мгновенное опошление сакрального образа: подымайтесь, православные, берите на три дня хлеба, со крестом, хоругвями и графом Ростопчиным одолеете неприятеля. Только что мы размышляли о трагедии выбора между Барклаем и Кутузовым; разбирали «эпический» образ народного полководца. И вот перед нами поясной портрет одноглазого жирного воеводы «и надо всеми начальника» в окружении 1800 пушек. Только что мы вслушивались в торжественные обертоны патриотических манифестов, составленных адмиралом Шишковым. И вот — их низкие тона срываются на фальцет пьяной чихиринской песни: «Во поле береза стояла...»

Афишки были изнанкой патриотической политики 1812 года, ее опасным продолжением; их стилизованная русскость, их феерическая энергия, сыплющаяся, как искры из глаз, готовы были в любую секунду прорвать типографическую бумагу, вторгнуться в живую жизнь, подпалить ее.

ГОД 1812. Октябрь. 16.

Наполеон выходит на Смоленскую дорогу. Внезапное раннее похолодание. Русская зима. (Russkaja zima.)

Ростопчин вошел в русскую историю в ореоле легенды о сожжении Москвы; не забыт и купеческий сын Верещагин, пойманный на переводе и распространении наполеоновских листовок, — его московский генерал-губернатор отдал на растерзание толпе. Но между поджогом, бессудной казнью и афишками есть очень жесткая при всей своей внешней неуловимости связь.

Связь — мифологическая.

Конечно, нельзя забывать, что Ростопчин был поставлен Кутузовым в невыносимое положение (фельдмаршал не счел нужным посвятить болтливому губернатору в свои планы относительно древней столицы, а 1 сентября на Поклонной горе, уже после совета в Филях и решения уйти без боя, заверил его, что сражение непременно состоится, и не раньше, чем на третий день). Естественно, «верный слуга царский» преследовал и чисто практические, военно-стратегические цели, предавая город огню и пеплу, — скорее, впрочем, прикрывая отход ополчения и беженцев, осложняя жизнь врагу, чем реально рассчитывая заставить Наполеона покинуть Москву перед самым наступлением холодов. Но то, как долго и самозабвенно готовился он к осуществлению замысла^[201] и с какой тактической сноровкой запутывал впоследствии следы и то брал на себя роль жертвенного Герострата, то отрекся от нее,^[202] — говорит об осознанно-мифотворческом подтексте его действий.

То же и с купеческим сыном Верещагиным, чья гибель буквально запланирована 4-й афишкой: «...за

хохол, да и на съезжую... с тем я разделаюсь... мне на то и власть дана...»

Войны не обходятся без самосуда; начальники не всегда в состоянии погасить озлобление подчиненных, как не всегда оккупанты в состоянии погасить пожар в завоеванном городе. Но предавая молодого купца (с отцом которого впоследствии пожелает встретиться Александр I; во время встречи Верещагину-старшему будет пожалован перстень) на самосуд, Ростопчин не выглядел растерянным и подавленным.

«...Граф приказал мне провести его к главному подъезду своего дома (на Лубянке), сошел с верхнего этажа на это крыльцо, объявил Верещагина стоявшей тут толпе изменником Отечества и приказал драгунам побить его насмерть палашами. Драгуны замялись, приказание повторилось. Удары тупыми, неотточенными палашами... не могли в скором времени достигнуть цели. Ростопчин велел толпе докончить заранее обдуманную им казнь за измену и тот же час удалился вместе со мною по той же парадной лестнице в верхний этаж дома». [\[203\]](#)

Кукольный царь, чей образ был задан афишками, и должен вести себя с театральным размахом: жечь город, достающийся врагу, приносить в жертву слушников. То, что не клюквенный сок, а настоящая кровь льется из жил «персонажей» мифа, мифотворцев от политики не волнует.

Не замечают они и того, насколько реальность истории по существу своему мифологичнее и невероятнее их «сочинений» на исторические темы. Так, ни одна более-менее правдоподобная романная схема не допустила бы одновременного присутствия в плененной Наполеоном Москве будущего автора «Красного и черного» Стендаля, пока именующего себя Анри Бейлем и носящего скромное звание интенданта

французской армии, — и отца Александра Герцена, дворянина Ивана Яковлева, которому 2 сентября Наполеон поручает передать в Петербург послание Александру I с предложением мира. Схема мифологическая этим попросту не заинтересовалась бы. Избыточным в вымышленном сочинении, даже самом патриотическом, показался бы и сюжет о пленении в подмосковных лесах негра, который служит поваром у легендарного казачьего генерала Матвея Платова (стало быть, сам в некотором роде является казаком), и о беседе его с императором Наполеоном... [\[204\]](#)

ГОД 1812. Ноябрь. 14.

Переправа через Березину.

ХРАМОВОЕ ДЕЙСТВО

«Случай Ростопчина» показателен; общенациональный подъем всегда чреват шовинистической истерикой; от идеологии державного патриотизма до кровавого скоморошества путь недалек; одна и та же политика ставит в центр русской истории Кутузова и Ростопчина.

Одна политика — и один политик. А значит, от Александра, от его воли и мудрости во многом зависело, чем обернутся «смысловые открытия» войны 1812 года для будущей, послевоенной России, начало каким государственным преобразованиям положат.

Именно — обернутся; именно — положат начало.

Сохранить то, что обретено на роковом изломе, в огне испытаний, — немыслимо. Можно или шаг за шагом продвигаться в заданном направлении — в направлении к непознанному Отечеству, рискуя и надеясь, меняясь самому и меняя все вокруг себя. Или под прикрытием новых декораций сползть назад, вновь погружаться в туман болотных наваждений, в область таинственных мерцаний и величественных грез.

ГОД 1812. Декабрь. 7.

Александр I выезжает в армию.

Кажется, не только о собственно военных, политических, экономических аспектах, но и об этих, метафизических, шел спор между царем и Кутузовым в декабре, после Березины и 29-го бюллетеня Наполеона (от 21 ноября) о поражении французской армии.

Кутузов, постаревший, не желавший расставаться с виленским покоем и привычной роскошью, быть может — предчувствующий близкую кончину, но также верный своей «домашней философии», полагал задачу русской армии выполненной, войну, по существу, законченной, победу до конца одержанной.

Царь, возвращаясь к привычному для него состоянию воодушевления великой задачей, настаивал на переходе через границы России и начале европейской кампании ради освобождения Европы от «наполеоновского ига». Не случайно в день Рождества, 25 декабря 1812 года государь подписал сразу два высочайших повеления — Манифест об окончании войны и Указ о возведении храма Христа Спасителя.

То, что великую победу ознаменовали строительством храма, — привычно, благородно, прекрасно. Что посвятили храм Победы — Христу Спасителю, — более чем естественно. Но при всем при том проект наделен был особым — поначалу лишь одному Александру Павловичу внятным — смыслом.

Решение о возведении принималось одновременно с решением о переносе театра войны за пределы России. Стало быть, храму предстояло сомкнуть собою одержанную «скифскую» победу с грядущей «европейской». С его помощью реальность выстраивалась в геометрическую параллель. Ведомый царем, Кутузов затащил врага в глубь России, чтобы выплюнуть его обратно в Европу; возвращенный царем Барклай (17 мая 1813-го он станет главнокомандующим союзными армиями) поведет войска в глубь Европы, чтобы стянуть европейский мир в тугой русский узел. Иную параллель попытается выстроить в 1813 году молодой, но уже известный петербургский проповедник архимандрит Филарет (Дроздов), будущий митрополит Московский:

«Не Бог ли, непостижимый в путях Своего промысла, даровал Александру сие чудесное предвидение, что вначале пришел вождь, который понес на главе своей неизбежные неприятности... новой для российских воинов войны оборонительной и отступательной и тяжесть народного мнения. Потом... явился другой, уготованный на спасение, прославленный многолетними подвигами, испрашиваемый желанием народа, явился муж, который на беспокойного и недремлющего врага навел долгую дремоту, доколе... не ополчилась с нами вся природа?»^[205]

К Филарету, естественно, не прислушаются: его притчеобразная метафора слишком резко разойдется с нуждами государственной мифологии. Кутузова с Барклаем впишут в пространство нового исторического круга, в центре которого должен был встать храм Христа Спасителя, как в центре новой Европы — русский царь, этот храм возведший.

Но и этого мало. Пространственная граница между Вильной и Польшей, между Россией и Европой совпала в декабре 1812 года с границей временной. Первая половина александровского царствования завершилась. Она была неудачна; расчистку политического пространства произвели, фундамент залили, и вдруг обнаружилось, что строить — нечего. Храм Христа Спасителя призван был не просто закрыть это зияние, но стать символической целью совершавшихся перемен, их «знаковым» оправданием. Объяснить «городу и миру», что они были нужны лишь для того, чтобы открыть дорогу для всеевропейского творчества царя, для приближения эпохи «тысячелетнего царства», возвещаемого миру «христианским государем» Александром Павловичем. Прежде только царь угадывал эту цель в исторической дали; теперь пришла пора явить ее народу. Между Храмом и Россией, готовой

возвестить миру эпоху благоденствия, ставился знак равенства; Храм, как некий архитектурный герб, должен был не просто воплотить в себе ее внутренний образ, но в каком-то смысле стать ею самой, ее инобытием, ее духовным сердцем — тем, чем стал для евреев Иерусалимский храм.

Те, кому пришлось заниматься осуществлением указа от 25 декабря, мыслили проще. И генерал П. А. Кикин (будущий покровитель живописцев Александра Иванова и братьев Брюлловых), которому принадлежала сама идея строительства храма-памятника, переданная государю через адмирала Шишкова. И авторы поданных в 1816-м на конкурс двадцати проектов. Сложно и возвышенно, подобно Александру Павловичу, мыслил только мистически восторженный масон Карл (в православном крещении Александр) Лаврентьевич Витберг.^[206] Он и стал победителем конкурса.

Проект его был велик и славен. И в переносном, и в прямом смысле. Высотой достигал он 240 метров; состоял из трех уровней: параллелограмма, круга и креста, поставленных друг на друга; пять куполов венчали его; сорока восьми колоколам предстояло звонить одновременно.

В нижнем храме сосредоточивалась идея «телесная»: здесь размещались катакомбы с прахом погибших и полным списком их имен.

Второй уровень олицетворял «душевность».

Третий — духовность. Здесь размещались барельефы с батальными сценами.

Место для храма будут выбирать долго — ему тоже предстояло стать знаком.

Прежде всего, чиновному Петербургу предпочтут старинную Москву, град святой. С востока на запад прольется свет спасения.

Затем заспорят, какой участок отвести под строительство.

Архиепископ Августин скажет: Кремль, святыня святынь. (И сроят храм Николы Гостунского.) Александр предложит: Швивая горка. (К счастью, горку оставят.) Аракчеев укажет: Симонов монастырь. (Где в пруду утопилась бедная Лиза.) Но выберут — Воробьевы горы, откуда простирается вид на Москву и где зачинались обе Калужские дороги — старая и новая. То, что песчаные горы восьмидесятиэтажной громады не выдержат, обсудят; но верить в такую возможность не захотят.

12 октября 1817 года торжественно заложат фундамент. 7 июля 1820-го состоится высочайший рескрипт на имя князя Голицына о создании комиссии по производству работ. Мрамор будут добывать из подземных штолен, обнаруженных Витбергом под Москвой; для доставки материалов пророят канал между Москвой-рекой и Волгой; английский механик Мурзай соорудит водоподъемную машину для выброса водного столба на 70 метров...

А спустя полтора года после известия о кончине Александра Павловича, 16 апреля 1827 года, Комиссия по сооружению храма будет расформирована; Витберг по результатам ревизии сослан; имущество его конфисковано; работы приостановлены.

Объяснять это извечной русской приязнью ко всему, что плохо лежит, — все равно, что объяснять это желанием Николая Павловича уничтожить последствия и отголоски братнего царствования. И воровство было — не могло не быть при системе подрядов. И Николай Павлович Александра не жаловал — было за что. Но воровали все и везде; но Александровской колонной, увенчанной фигурой ангела с крестом Николай память царственного брата почтил. Так что глубинная причина — в ином.

О метафизике умолчим; но что касается физики, то время воплощенных в камне государственных мистерий к 1827 году окончательно завершится. Придет время символов практической государственности. И потому Николай Павлович перенесет строительство с Воробьевых гор на менее заметную, но более устойчивую плоскость близ Кремля. Материал велит избрать недорогой, но долговечный и пористый, чтобы в громадном храме 10 тысяч человек могли молиться, не задыхаясь; в основу плана положат простой равноконечный крест, а не полумасонскую символику Витбергова проекта. Архитектору К. А. Тону будут даны указания очертания упростить, а внутреннее убранство перевести из мистического в сугубо исторический план. Вся история Отечественной войны должна будет предстать на фресках; все 74 сражения на территории России и 87 за границей... Храм из величественного станет просто большим. (И — сказать по чести — вполне тяжеловесным.)

Но даже и это жесткое «заземление» проекта, очищение его от малейших признаков экзальтации за счет утраты архитектурного смысла, не спасет храм от вполне символической судьбы. Строительство затянется; только в 1859 году, уже при Александре II, снимут леса и в 1860-м приступят к росписям. Когда закончат, недолго уже останется до апокалиптических времен. Задуманный как воплощение Святой Руси, как некое подобие Иерусалимского храма для России, он и будет взорван — как образ Святой Руси, как подобие Иерусалимского храма. Предсказание настоятельницы Алексеевского монастыря, снесенного ради постройки храма, о том, что ничему более на этом месте не стоять, — сбудется...

* * *

28 декабря 1812 года началась война за освобождение Германии. Видимо, необходимая с военной точки зрения; в любом случае — озаменованная великими событиями, без которых европейская история уже непредставима: неудачными для союзников Люценским (2 мая) и Бауценским (20–21 мая) сражениями; Плейсвицким перемирием (4 июня); Дрезденским сражением (26–27 августа), во время которого Александр чудом останется жив; Кульмским (29–30); наконец, ужасающе-грандиозной Битвой народов, начавшейся 16 октября под Лейпцигом и унесшей жизни почти 50 тысяч солдат союзных армий (из них 22 тысячи русских, 16 тысяч пруссаков, 12 тысяч австрийцев)...

Но «всемирно-отзывчивая» идеология этой войны таила в себе серьезную угрозу. От национального пафоса до национальной истерики — несколько градусов; от сверхнациональной широты до мистической эйфории — и того меньше. Чем ближе была победа, тем сильнее становился соблазн затеять новое усчастливление, сменив лишь философскую подкладку государственного замысла и его масштаб; на место свободы, Энциклопедии и Монтескье поставив веру, Евангелие, Крест и всю Европу объявив площадкой для возведения «храма счастья» — в розах, но без шипов. Противоположные полюса готовы были сомкнуться, чтобы Россия, сбросившая с себя путы престарелых либеральных утопий начала александровского царствования и вступившая было на путь духовного отрезвления, вновь отдала себя во власть эйфории...

Впрочем, была область, в которой «гроза двенадцатого года» успела произвести благой и ничем не устранимый переворот, — русская словесность. Перед самой войной, 19 октября 1811 года в Царском Селе открылся Императорский лицей, замышлявшийся с целью «тепличного» выращивания будущих

государственных деятелей, способных провести предстоящее реформирование России. Кроме князя Александра Горчакова и барона Модеста Корфа, выдающейся политической карьеры никто из лицеистов первого выпуска не сделал; но поэтов из его стен вышло много — и воодушевленное переживание событий Отечественной войны сыграло тут не последнюю роль.

В 1812 году наступило «некалендарное» XIX столетие.

К началу 1813 года относятся первые известные нам стихи лицеиста Александра Пушкина.

Часть четвертая

ГЛАВА ЦАРЕЙ

«Вина кометы брызнул сок...»

А. С. Пушкин

Глава 1

ДОКТОР ПРАВА

МИРУ – МИР

ГОД 1814. Январь. 10.

Александр прибывает в Лангр. Переговоры в Шатильоне при посредничестве с французской стороны графа Коленкура об условиях мира с Наполеоном.

Январь. Ночь с 16 на 17-е.

Наполеон неожиданно начинает военные действия.

Январь. 31.

После ряда мелких побед, одержанных над Блюхером, Наполеон издает воззвание к народу о поголовном ополчении.

Февраль. 17.

В Шомони заключен новый союзнический договор сроком на 20 лет.

Война близилась к победоносному завершению. История уступала место быту, военная хитрость сдавала позиции житейской мудрости и семейственному расчету. 2 марта 1814 года дочери князя Кутузова-Смоленского, княгини Кудашева,

Толстая, Анна и Елизавета Хитрово, Дарья Опочинина направили всеподданнейшее прошение Посланнику Господню, избранному Всевышним освободить Европу:

«Руководствуясь Твоими наставлениями, Отцу нашему Всевышний помог извлечь землю, Тебе, Государь, вверенную, от совершенной гибели, врагом нашим ей уготованной, и оставить благоденствовать под Твоею кроткою Державою. Посвятив жизнь свою на службу Отечества, не мог он заняться делами своими, смело оставляя их в расстройстве, награждаем быв Тобою отличием, почестями и неограниченною доверенностию. И, конечно, Государь! одни только непрерывные подвиги Твои помешали Тебе обратить взор Твой на детей Кутузова-Смоленского! Имение, доставшееся нам, обременено долгами, и тогда только можем надеяться иметь хоть малое состояние, ежели, Всемилостивейший Государь, прикажешь оное купить в казну...»^[207]

Однако на дочернем прошении рукою графа Аракчеева было начертано: «Оставить без ответа». До имений ли князя Кутузова, до финансовых ли проблем его потомства, когда близка к «полному и всецелому» разрешению великая задача похода 1814 года — возратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями, поставить как их всех, так и нас самих, под охрану общего союза? Когда надо готовиться к торжествам? Когда следует бить в колокола и закупать шампанское?

ГОД 1814. Март. 19.

3 часа пополудни.

Подписана капитуляция Парижа на условиях Александра I, составленная будущим декабристом М. Ф. Орловым.

Наполеон не успевает доскакать до столицы.

Март. 19.

День.

На серой лошади Эклипс, некогда подаренной Наполеоном, в сопровождении короля прусского и князя Шварценберга, в свите из 1000 генералов Александр въезжает в Париж.

Александр планирует остановиться в Елисейском дворце; Талейрану удастся убедить царя в готовящемся покушении и уговорить разместиться в его доме.

Совещание с участием Талейрана, короля прусского, Шварценберга, а также графа Нессельроде и других приближенных русского царя о будущем устройстве Франции.

Спустя месяц, апреля 23-го дня, в императорском Московском университете, «при всеобщем торжестве о взятии Парижа», была выставлена прозрачная аллегорическая картина, рисованная художником Плетневым.

Александр Павлович, Император Всероссийский, в образе Марса, вложившего меч свой в ножны свои, стоял на верху земного полушария. Испытания последнего года великой войны завершились; позади были сепаратные мартовские переговоры в Шоа с бароном Витролем о послевоенном устройстве Франции и яростное сопротивление русского царя идее возвращения Бурбонов на французский престол (бремя такой короны слишком тяжело для них); позади было сражение при Арси и промедление Шварценберга, давшее Наполеону возможность уйти от преследования... Позади было совещание в Сомепюи, зеркально перевернувшее Совет в Филях: там Кутузов принимал решение сдать Москву, здесь Барклай решал

бросить главные силы на Париж... Позади был кровопролитный бой 18 марта и взятие столицы; позади было пожалование Барклая в фельдмаршалы, как бы искупавшее моральную вину царя за ситуацию 1812 года...

Впереди была — слава.

По одну сторону от полупрозрачного Александра простиралась освобожденная им — и подсвеченная огнями — Европа; Европа устремляла на русского царя взор, исполненный любви и благодарности; с ее рук падали разорванные цепи, что означало совершенное избавление от наполеоновского ига... По другую же сторону от монарха располагалась муза Клио, писавшая его деяния. Над головой царя светилось всевидящее Око; под ногами орел метал молнии на убегающее чудовище, которое прежде терзало Европу, а ныне было низвергнуто.

ГОД 1814. Март. 25. Париж

Наполеон подписывает безусловное отречение в пользу сына.

Царское Село.

Похороны первого директора Лицея В. Ф. Малиновского. У свежесыпанной могилы на столичном кладбище Пушкин и Иван Малиновский дают клятву в вечной дружбе.

А в конце апреля в Москве состоялись народные гулянья. Как сообщал Сергию Вязмитинову Федор Ростопчин, «над градом сияло в лучах вензелевое имя Государя Императора, с надписью внизу оно: оружием и великодушием взял Париж 1814 г. Марта 19 дня... под горящим в лучах вензелевым именем Его Императорского Величества виден был колосс, упadaющий в бездны моря, с надписью в четырех

строках: Наполеон был и всяк его страшился, Александр явился и Наполеон не бе».

С другой стороны изображен был «шар земной, поддерживаемый двумя ратниками, над ним. [также] сияло в лучах вензелевое имя громкого в войне и в милосердии Государя, с краткою, сильною и справедливою надписью: миру — мир...». [\[208\]](#)

Россия ликовала по праву. По праву ее царь вскоре примет имя Благословенного — поставленного во благо. По праву «королем королей», подобно Агамемнону, назовет его старый роялист барон де Витроль. «...Мы очутились в Париже, / А русский царь главой царей» — спустя полтора десятилетия отзовется на эти слова Пушкин; «вождь вождей, царей диктатор!» — еще позже воскликнет Жуковский в «Бородинской годовщине»... Европа и впрямь освободилась, мир воцарился, ликование разливалось повсюду. Цель, некогда поставленная юным Александром Павловичем, была обретена, сюжет достиг кульминации, и особенно эффектной и мощной вышла его концовка.

ГОД 1814. Март. 30.

Подписан Фонтенблоский договор, по которому Наполеону предоставлен во владение и определен для безвыездного жительства остров Эльба.

«ИМЕНИ ТВОЕМУ...»

Праздник Пасхи, день Воскресения Христова пришелся в 1814 году на 29 марта / 10 апреля; причем — и в этом царь видел особый смысл — православные, католики и протестанты праздновали ее одновременно. Русские войска, взявшие Париж, пришли на площадь,

где был казнен несчастный Людовик XVI; выстроились в каре; склонили головы перед амвоном; все русские священники, каких только можно было найти во французской столице, возгласили гласом велиим; толпа парижан внимала; царь плакал.

«...Торжественная была эта минута для моего сердца, умилителен, но и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле Провидения, из холодной отчизны Севера привел я православное русское мое воинство для того, чтоб в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны Севера совершали как бы тризну по короле французском. Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место пораженной царственной жертвы... Французские маршалы, многочисленная фаланга генералов французских теснились возле русского креста и друг друга толкали, чтоб иметь возможность скорее к нему приложиться».

Нельзя не доверять трогательному рассказу Александра Павловича о его парижском говений и «жажде субботствования»; невозможно усомниться в искренности царя, посвятившего победу «не нам, не нам, а Имени Твоему», в глубине веры, открывшейся ему на тридцать пятом году жизни. И столь же очевидно, что пасхальные торжества в Париже не просто выражали религиозный порыв государя; чтобы воздать благодарение Богу, достаточно было отслужить молебен в походной церкви.

Тут нет противоречия, как не было его в московском шествии 1812 года от Красного крыльца к Успенскому собору. Царь одновременно совершал мистериальное

служение и адресовал миру религиозно-политический текст, простой и доступный, рассчитанный на однозначное прочтение. Вот образы Синодального объявления, представленные в лицах русских воинов. Вот — переключка со сверхисторическим сюжетом первой половины царствования, слышная в церковных распевах под открытым парижским небом... Все здесь кажется согласным с общепринятой эстетикой государственных празднеств имперской эпохи. Но стоит соединить воображаемой дугой московские и парижские торжества, состоявшиеся в апреле 1814 года, как старина первых сразу и резко оттенит принципиальную новизну вторых.

Москва не отступала от барочных правил XVIII века; чем возвышеннее были прозрачные аллегории, тем меньше претендовали они на серьезное, «жизненное» к себе отношение. Их политическая мистика была метафорой; их социальная эсхатология была гиперболой; с помощью метафор и гипербол изображалось величие момента — и только.

Наполеон был и всяк его страшился, Александр явился и Наполеон не бе...

Задумывая апрельское празднество в пасхальном Париже, Александр I как практический политик понимал, что борьба за послевоенную Европу только начинается и переговоры будут жарче битв. Смывая кровь последнего Людовика и возводя на трон его преемника, он хорошо помнил о своих же недавних попытках великодушным монархическим жестом вернуть Францию к республиканским истокам («разумно организованная республика более соответствовала бы французскому духу...»), или хотя бы сохранить во главе ее Наполеона-младшего, — за что Людовик XVIII очень скоро отомстит ему церемониальным хамством.^[209] Но в том-то и дело, что историческая условность более не

мешала символу быть мистически безусловным; на этот раз обедня стоила Парижа, а Париж обедни. Сцена на площади перерастала в наглядную притчу о прошедшей эпохе; финальная тишина звучала как вывод: четвертьвековой ход истории действительно перенаправлен; она вернулась в точку сбоя; сакральная причина новейших потрясений устранена. Время может снова течь в заданном направлении.

Заданном — куда? Заданном — кем?

На второй вопрос «пасхальное послание» Александра I отвечало твердо и прямо: Богом. Либеральная монархия победила консервативную революцию только после того, как перестала уповать на свои собственные силы и положила на Его волю. Первый вопрос был оставлен — пока — без ответа.

ГОД 1814. Май. 18/30.

Заклучен окончательный мир, по которому Франция практически возвращается в границы 1792 года.

«...Совершена война, для свободы народов и царств подъятая... Победа, сопровождавшая знамена ваши, водрузила их в стенах Парижа. При самых вратах его ударил гром ваш. Побежденный неприятель простер руку к примирению! Нет мщения! Нет вражды! Вы даровали ему мир, залог мира во Вселенной!»

(Приказ Александра I по армии. [\[210\]](#))

«Лагарп... наслаждался славою Александра как плодом трудов своих».

(Графиня Эрлинг.)

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И КАНАЛЬЯ ВЕКА

ГОД 1814. Август. 18.

Учрежден Комитет, в обязанности которого входит «принимать просьбы, пецись о доставлении возможного воспомоществования неимущим и изувеченным генералам, штаб- и обер-офицерам и представлять об них» государю «через генерала от артиллерии» Аракчеева.

«...Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа...»

(И. В. Гоголь. Мертвые души. Повесть о капитане Копейкине).

Спустя несколько месяцев, осенью, во время Венского конгресса, свой вариант возможной общей цели предложит Талейран. Он заговорит о легитимизме как фундаменте послевоенного порядка. Заговорит — «философски» подкрепляя права Бурбонов на возвращение в Версаль, небескорыстно отстаивая неапольский трон для Фердинанда IV и отсекая надежды Пруссии на расширение границ за счет французских территорий. Но в то же время — призывая государей послевоенной Европы всерьез задуматься о будущем и заключить монарший извод общественного договора. То есть взаимно признать незыблемость правящих династий и раз и навсегда обезопасить троны от колебаний «мнения народного» и возможных посягательств какого-нибудь очередного корсиканца.

На чем будет покоиться эта незыблемость? А на взаимном признании и будет; на чем же еще?

Изворотливый ум Талейрана, которого недаром назовут «наибольшей канальей столетия», призывал на службу роялизму идеи, некогда подточившие французскую монархию. Но в том-то и дело, что философия общественного договора сама по себе не противоречила династийному мироустройству в западном его понимании и корнями уходила в глубины исторического бытия Европы. С тех пор как прекратила свое существование Империя ромеев, европейские короли враждовали с папами за право принять ее наследство — единое для всего христианского мира; никакое отдельное королевство не могло считать — и не считало — себя священным, даже если именовалось таковым. Франция, Австрия, Англия были большими империями с маленькой буквы — по типу устройства, а не по теократическому самочувствию. Королевская власть церковно освящалась, но не воспринималась как политическое таинство; ее особый статус обеспечивался союзом трона и алтаря, держалась она неформальным договором с «имущественно полноценной» частью нации о готовности признать за королем и его потомками условное право на безусловность правления. Чуть обостряя, чуть осовременивая, скажем: ценностью была не монархия как таковая, не «малая» империя; ценностью было то, чем обеспечивалось бытие империй и монархий. Ценностью была договоренность, упорядочивающая мир.

Талейрана трудно (а Меттерниха еще труднее) заподозрить в связях с религиозно-политической традицией Запада; но уродливый наследник все равно остается наследником. Принцип легитимизма не вел, не мог, не должен был вести к появлению на политической карте новой Священной державы, хотя бы и надстроенной над суверенными границами; он просто переносил в область внешней политики «договорные»

правила, принятые прежде в политике внутренней, по-новому обеспечивал видимость христианской Европы, единой в своей пестроте.

Большого и желать невозможно.

Русский царь идею легитимности принял. Но понял принципиально иначе. И потому отказывался считать христианский мир уже существующим и требующим лишь поддержания и оформления. Нет, евангельское единство просвещенных народов еще предстоит достигнуть — на основе легитимизма и непременно под водительством России. Тот политический замысел, что вызревал в нем очень давно и казался личной импровизацией, вдруг обнаружил свои вековые истоки. Не думая и даже не зная об идеале Святой Руси как «свернутой» Вселенной христианства, ждущей своего часа, чтобы развернуться, уверовавший царь действовал в соответствии с этим идеалом; точнее — с его политическим преломлением. И стоял на своем твердо.

Окончательно новый план обустройства Европы оформится к середине следующего, 1815 года, но самый пафос нового проекта воодушевил царя еще виленской зимой 12-го года. Некоторые начатки его содержались в переписке с прусским «мистическим патриотом»^[211] бароном Штейном в 13-м; а все ориентиры были ясны уже в Вене. Задумывая колоссальный поворот европейской истории — не вспять, не вбок, а как бы вверх, к небу, — Александр I сознательно или бессознательно отвечал лидерам Французской революции, своей цинической бабке Екатерине, молодым друзьям, участникам антипавловского заговора, самому себе, наконец: да, господа, монархия после Энциклопедии, Империя после Революции не просто возможны, но и неизбежны. Просто они должны обручиться с утраченным духовным

смыслом, получить опору, обрести оправдание в общем деле устройства христианской государственности, великой мировой теократии.

Тут нет ни следа русской гордыни, ни черт охранительства (проступивших гораздо позднее). Наоборот; как в пафосе Отечественной войны с необходимостью звучал национальный, домашний мотив;^[212] как в симфонии Империи Российской его заглушали державные ритмы — так в венских замыслах Александра гремел сверхнациональный, всеевропейский хорал. Больше того: мессианический порыв призван был утолить жажду национального самоотвержения. Христианизирующейся и христианизирующей России предстояло не просто повести за собою европейцев, не просто встать во главе «соединительного» процесса, но в каком-то смысле — раствориться, распылиться в нем. Как «русское» обречено ослабевать в «российском», так «российское» погасло бы во «всехристианском», если бы замыслам Александра суждено было беспримесно воплотиться.

Напротив, неповторимый исторический опыт народов Европы не должен был пострадать; множественности государственных традиций ничто не грозило. Странам Центральной Европы предстояло оказаться сегментами сквозного пространства «евангельской государственности», не допускающей подгона под общий политический ранжир.

Легитимным в такой смысловой перспективе оказывался всякий правитель, причастный легитимности всехристианства; нелегитимным — всякий, кто с ней разрывал.

ГОД 1814. Октябрь. 20 (?). Царское Село.

Конференция Лицея постановляет: за изготовление напитка под названием гогель-могель с ромом Пушкину с двумя сообщниками две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, сместить их на последние места за общим столом и прописать об их проступке в Черной книге.

Даром ли так резко (хотя и молчаливо) столкнулись Александр с Талейраном по ритуальному вроде бы вопросу: к какой мифоисторической реальности возвращена посленаполеоновская Европа? Талейрановский легитимизм предполагал, что — к маю 1789-го, до созыва Генеральных штатов, до первого сдвига института монархии «по фазе», до утраты европейскими династиями неподвижного равенства себе.^[213] Пасхальное молебствие на месте королевской казни указывало на совсем другой рубеж: 92-й год. После революции, но до пролития королевской крови. Оно отрицало кровавые эксцессы, но признавало право монархий поворачиваться лицом к обществу и право общества приближаться к подножию трона. Проблему Республики оно обходило — ибо реставрация была уже делом решенным; однако ни одного жеста, против республиканизма направленного, русский царь не допустил. И зияние это было столь красноречивым, что Талейран-Перигор, князь Беневентский, епископ Отенский, некогда извергнутый из сана и отлученный от Церкви, счел нужным «перепанихидить» Александра. Годовщину казни Людовика, 21 января 1815 года, он отметит еще одной торжественной панихидой по императору Франции, куда пригласит всех участников венских событий и усладит слух собравшихся поминальной речью, в которой точно расставит именно «легитимные» акценты.

ЦАРЬ, ЦАРЕВИЧ, КОРОЛЬ, КОРОЛЕВИЧ...

Александр I, переживший во время войны полный переверот всех своих ценностных ориентации, не отрекался от юношеских порывов, но как бы мысленно возвращал их к утраченной церковной основе.

Отныне он полагал, что именно философия гражданских прав вернула западному миру утраченное человеколюбие; именно благодаря этому европейцы могут выйти из духовной летаргии Нового времени; именно их ожившая вера откроет путь к началу добровольной — просвещенной — братской — либеральной — всемирной теократии.

И потому согласие Александра принять 2 июня 1814 года диплом оксфордского доктора права невозможно объяснить одним лишь желанием растопить английскую холодность и привлечь британцев на сторону России, пока то же не сделала послевоенная Франция. Не менее важно было подчеркнуть: новая российская политика естественно и мирно совместит евангельский пафос, философию вечного мира аббата де Сен-Пьера и постулаты Декларации прав человека и гражданина, заявленные в 34–36-м ее пунктах:

«34. Жители всех стран являются братьями: различные народы должны помогать друг другу в зависимости от своих возможностей, как граждане одного и того же государства.

35. Всякий человек, угнетающий одну какую-нибудь нацию, является врагом всех народов.

36. Лица, ведущие войну против какого-нибудь народа с целью задержать прогресс свободы, должны преследоваться всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы, бунтовщики и разбойники».

Потому такое место заняла в его венских борениях Польша.

В юности он мечтал восстановить ее ради торжества человеколюбия; в первые годы царствования — ради конкуренции с Наполеоном; в «реалистический» период

после Эрфурта попеременно играл на патриотических чувствах князя Чарторыйского и графа Огиньского, пытаясь расположить поляков к себе и ослабить их наполеоманию (то есть вел психологическую подготовку к войне). Теперь же он хотел приобрести польские земли не только как западный аванпост русских войск, но и не только для совершения подвига бескорыстия. Полякам первым предстояло испытать благо христианской империи, прошедшей искус Революцией. Мечтавшие хотя бы о слиянии разделенных земель, они должны были получить конституцию; опасавшиеся мести победителя, они призваны были пасть в его радушные объятия — и стать соединительным звеном между Востоком и Западом, теократией и свободой, включенностью в общее дело — и достаточной степенью независимости. В Майском манифесте 1815 года поляки, а с ними весь мир, услышали прямые отголоски Декларации:

«...Мы имели справедливую надежду, что увидим независимость народов, утвержденную на основах справедливости и либеральности... для достижения столь благодетельного намерения необходимо, чтобы каждый народ подчинил свои интересы и права интересам всей Европы и готов был бы принести новые жертвы для общего блага... дело идет о допущении поляков в среду народов, в обозначении им свободного пользования благами нравственными и политическими, которые составляют драгоценное наследство и постоянное стремление цивилизованных народов...

...Поляки!., горячность ваших желаний часто отдаляла нас от предпринятого спасительного намерения и бросала на дорогу, не приводившую к нему.

Но минули ошибки и неизбежные от них бедствия. Нами всегда руководило великодушие даже для виновных, прощение, искреннее забвение прошлого и

желание уничтожить самые следы ваших страданий, даруя действительное счастье.

...Конституция и неизменный союз соединяют вас с судьбами монархии, которая слишком велика, чтобы желать увеличения, и не может держаться иных правил, кроме имеющих в основе справедливость и свободу...

Это новое Государство есть королевство Польское...»

Больше того; лучше того. Восточнохристианский царь, самодержавный в России, собирался стать конституционным королем Польши, по правилам христианского Запада. Традиции не нарушались; единообразие не воцарялось; единство могло быть достигнуто.

Как восклицала Екатерина: «Естественности, немножко естественности, а уж опытность доделает все остальное!» Стремясь к созданию условной сверхдержавы христианства, так сказать Общеввропейского Дома от Атлантики до Урала, в котором каждому народу выделен свой удел, — естественно было конституировать Польшу, жаждущую конституирования. И столь же естественно было бы приступить к «раскрепощению» России, мечтающей раскрепоститься. Ибо не нужно возлагать на себя бремена неудобноносимые. Кто готов к основному закону — да не уйдет без него с праздника жизни. Кто дорос до освобождения землепашца — да будет свободен. Кто не мыслит ни того ни другого — пусть все оставит, как есть. Дождитесь своего часа. Час этот обязательно придет...

Царь наконец-то делал единственно верный выбор между законодательными «вершками» и земельными «корешками», ибо понял: уважение к правам человека, отвержение рабства, помноженные на сыновнее доверие нации к царю и христианскую любовь царя к

подданным, — суть необходимые и достаточные условия успешных монархических реформ в России. А увенчаются они «президентством» или нет, какую конфигурацию примет в итоге структура русской власти — не так важно. Мономахова шапка, даже став многократно легче, не перестанет нуждаться в голове Мономаха.

Уже в парижском салоне мадам де Сталь, обращаясь к легендарному Лафайету, царь твердо обещал, что крепостное право падет в его царствование. Чуть позже, в 1815-м, он намекнет депутатам от западных губерний: «Господа! еще немного терпения, и вы все будете более довольны мною!»^[214] А 30 августа впервые рассорится с адмиралом Шишковым, который в проекте Манифеста о ежегодном чествовании дня избавления России от неприятельского нашествия не только упомянет землелюбивое дворянство прежде христолюбивого воинства, но и вставит рассуждение о счастливой доле крепостного сословия, русских мужичков:

«...забота наша о их благосостоянии предупредится попечением о них господ их. Существующая издавна между ними, на обоюдной пользе основанная, русским нравам и добродетелям свойственная связь... не оставляет в нас... сомнения, что, с одной стороны, помещики отеческою о них, яко о чадах своих, заботою, а с другой — они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновних обязанностей и долга приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравные и благополучные семейства».^[215]

То-то Шишков удивится, встретив отпор государя! Царь стал наконец-то русским по вере, по опыту жизни; он принял идею патриархального царства в самый опасный для судеб Отечества миг — и вдруг отвергает главное, на чем держится русский порядок, русский

покой: связь между помещиками и землепашцами, на обоюдной выгоде основанную! Но в том-то и дело, что царь собирался направить энергию великой победы по новому руслу; что вера — теократия — реформы выстроились для него в сквозной ряд; что он устремлялся вперед, а не вспять. И если увязывал решение земельного вопроса в России с предварительным участием европейцев, — то уж так он был устроен, что не мог приступить к вопросу о земле, не решив вопроса об исправлении Европы.

Так обстояло дело на уровне «идеологическом».

На уровне «практическом», естественно, все выглядело совершенно по-другому. Сияющий неземной красотой Александр прохаживался по венским залам с датским королем-альбиносом, осторожно раскланивался с королем Вюртембергским, чей знаменитый живот складками свисал до колен; флиртовал с гораздо более стройными венками; отворачивался при виде Меттерниха. А во время рабочих промежутков между балами, гуляньями, выездами — жестко и властно выдвигал территориальные требования. Польшу — России; Саксонию — Пруссии; но никаких польских земель пруссакам. Меттерних, в свою очередь, вступал в тайный сговор с Талейраном и Касльери, интриговал, вел дело к ослаблению русских позиций, сколачивал тройственную коалицию на случай войны с Петербургом. Атмосфера накалялась; через Константина, назначенного «курировать» Польшу, русский царь обращался к полякам с призывом защитить их Отечество... Шла борьба за передел победы; шел обычный дележ трофеев; каждый тянул одеяло на себя; «...язвительная улыбка равнодушия» явилась на устах Александра. «Любовь к уединению сделалась господствующею его чертою...

простонародное слово «надувать» сделалось при дворе общим». [\[216\]](#)

Но чтобы Талейран предпочел усиление Австрии усилению России, а не наоборот; чтобы Россия рисковала новой войной ради восстановления Польши и вознаграждения Германии, противясь, однако, ее усилению, — нужны были не только сиюминутные расчеты, но и глобальные причины, скрытые в «большом времени» европейской истории. Обзывая Александра «хитрым византийцем», Талейран, сам того не ведая, указывал глубинную основу разногласий, царивших на Венском конгрессе: «ход веков», влекший Россию и Европу в одном направлении, но разными путями.

Как всякий неофит, русский царь со всеми вокруг, с каждым встречным желал поделиться радостью обретенной веры, выплеснуть ее на улицы и площади, заполнить ею грады и веси. Как возможно не поверить, если я поверил? Как возможно унывать, если я знаю, что нет во Вселенной места унынию? Как можно избирать иные пути, если мне открыта прямая дорога к истине?

Но обычный неофит имеет в распоряжении только своих изумленных друзей и недоумевающих близких; Александр Павлович располагал тогда целым материком. И при этом оставался один на один со своим новоначальным порывом, «яростью новообращенного». Увы, не было в его окружении никого, кто мог бы с высоты многолетнего духовного опыта снизойти к его религиозному младенчеству, остудить жар, спеть умиротворяющую колыбельную, дать сосочку и поменять подгузник.

Были екатерининские обрядоверы. Был Аракчеев. Были такие же неофиты.

Руководителя не было.

ГОД 1815.

Саров.

О. Серафим частично выходит из затвора. После ранней обедни и до 8 вечера келья открыта для сторонних; для братии — всегда. После беседы возлагает епитрахиль и по примеру авв Востока разрешает от грехов. Потом целует и во всякое время говорит: Христос воскрес!

Свято место, впрочем, пусто не бывает. За претендентами на роль религиозного Лагарпа дело не стало.

ЖЕНКА КРИДНЕР [\[217\]](#)

В первой трети XIX века оккультным центром Европы была цветущая долина Рейна. Может быть, причина крылась в созерцательном пейзаже: сизые холмы, увитые туманом; мощные реки, то глинистые и тяжелые, то прозрачно-зеленые; мхи на огромных валунах; древние пробоины в крепостных стенах. Может, в виноградном пьянящем воздухе Пфальца и Мозеля. Может, в веяниях германского духа, скрывшего под панцирем рационализма тоску изначального хаоса. А может статья, и в атмосфере деятельного безделья, царящей на модных курортах. Или во всем сразу: в пейзаже, воздухе, духе, атмосфере. И еще — в печали по утраченному райскому блаженству непосредственного общения с Богом, по изначальному Эдему, очертания которого как бы проступали сквозь мозельский туман.

ГОД 1815. Май. 28.

Подписан Главный акт Венского конгресса.

Как бы то ни было, именно на пути из Гейльбронна в Гейдельберг, в тех самых местах и в тот самый год, куда и когда переселялись целые гессенские общины — распродавая имущество, лишаясь всего ради учреждения земного царства Христова, — именно здесь у русского царя случилась странная и необычайно важная встреча. По одной версии, вечером 4 июня 1815 года Александр открыл путевую Библию — прочесть главу на сон грядущий. Едва он дошел до слов Апокалипсиса — «И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце» — генерал-адъютант князь Волконский с досадою доложил, что к царю рвется некая посетительница. По другой — царь не смог читать: рассудок туманился; слова плыли; вновь, как перед коронацией, накатило уныние; государь вспомнил о том, о ком и не забывал: об отце. «Хорошо бы сейчас увидеть г-жу Криднер», — подумал он. И в этот момент та, чьи письма были так утешительны и духоподъемны, перед ним и предстала.

Какая из версий справедлива — сейчас не важно. Главное, что встреча произошла именно тогда, когда она могла произвести на Александра Павловича наибольшее впечатление. Только что русский царь, воскликнувший в сердце своем «Мир и Безопасность!», претерпел два чувствительных удара судьбы. Сначала, в конце февраля, поверженный враг бежал с Эльбы и скоростижно взял Париж, а затем, 27 марта, пришла Наполеонова депеша с текстом секретной антирусской конвенции, найденным на рабочем столе Людовика XVIII. Естественно, Александр поступил благородно (обстоятельства обязывали) и красиво (по-другому не умел). Предъявив улику Меттерниху и прусскому поверенному барону Штейну, он бросил предательский текст в камин. В ответ 21 апреля благодарные союзники уступили России Герцогство

Варшавское — за исключением Познани, Бомберга, Торна, а также объявленного вольным городом Кракова — и согласились на объявление Александра королем Польским. Простор для великого государственного эксперимента был открыт: спустя три дня в чрезвычайном прибавлении к «Варшавским ведомостям» обнародован монарший рескрипт о предстоящей конституции Польши... Но душа уже не ликовала, упоение прошло, наступило похмелье.

Почему? Догадаться нетрудно.

Обретенная вера не только подарила царю духовную радость, но и обострила нравственные муки, подтачивая совесть напоминанием о трагедии 1801 года. В замысле европейского благоустройства государь подсознательно изживал невольную вину перед отцом, — как до войны изживал он ее в либеральных проектах, в идее надысторической борьбы с Наполеоном. И вдруг обнаружилось, что замысел этот вполне может обернуться словесным прикрытием чужих, и более чем циничных, расчетов, а жажда всеобщего мира — всеобщей войной против России. Что же — все напрасно? И нет никаких надежд на искупление? Предельное торжество и столь же предельное отчаяние совместились.

Г-жа Криднер и вспыхнула перед государем, как электрический разряд между замкнувшимися полюсами.

Старшая современница российского императора, Варвара-Юлия Криднер (в современной транскрипции следовало бы писать — Крюденер), происходила из старинной остзейской фамилии Фитенгоф. Как многие люди ее поколения, она скользила по сияющему дворцовому паркету от гедонизма к аскетике, от экзальтации к скепсису, от роскоши к простоте, от знакомства с Д'Аламбером и Дидро — к общению с Бернарденом де Сен-Пьером. В ее сознании мечта о

жизни в простой сельской обстановке, где можно «трудиться, как поселянки, делать добро, с самоотвержением переносить тяготы жизни и всегда благословлять благодетельного Творца природы за то, что он им пошлет»^[218] (из письма подруге, г-же Арман, от 1792 года), — пуская корни, разрасталась в утопию вселенского благоустройства на совершенно новых началах... Все как у самого Александра Павловича! — опять же с той разницей, что она была модная сочинительница романов, а он русский царь. Пережив разрыв (а затем и воссоединение, а затем и новый разрыв, а затем и вечную разлуку) с мужем, российским посланником при берлинском дворе; роман на водах с графом Фрешвиллем; платонический роман с Шатобрианом, подарившим ей первый экземпляр «Гения Христианства»... — в 1804 году г-жа Криднер вернулась в родную Лифляндию, чтобы здесь пережить потрясение, сравнимое с тем, какое Александр I пережил сентябрьской ночью 1812 года, получив известие о сдаче Москвы. Молодая вдова игриво смотрела в окно, когда ее удачливый — и столь же молодой — поклонник раскланивался с нею. Вдруг он зашатался, упал и был поднят замертво. Жизнь, казавшаяся такой надежной, обнаружила свою безосновность. Смерть, казавшаяся такой далекой и неправдоподобной, смраднодохнула в лицо.

Спустя некоторое время погруженная в меланхолию г-жа Криднер повстречала башмачника и разговорилась с ним. Счастлив ли он? О, да! он совершенно счастливый человек, счастливейший из людей. Знакомо ли ему разочарование в жизни? О, нет! И жизнерадостный башмачник объяснил удрученной сочинительнице, что пока она мечтала о сельской тишине и земном покое, пока разыгрывала эту мечту на страницах пасторального романа «Валерия» (которого башмачник,

впрочем, не читал), он обретал действительный покой — равно доступный и в городской суете, и в загородном уединении, в бедняцкой хижине и в спальне у монарха... Башмачник оказался одним из моравских братьев, и г-жа Криднер вскоре стала их лифляндской сестрой. Она уверовала в скорую перемену всего земного мироустройства и установление священного порядка, основанного на евангельской любви и духовном творчестве. Но если башмачник и его друзья довольствовались домашней проповедью, то г-жа Криднер сочла своим долгом воздействовать на земных владык.

Ее дальнейшая участь была решена.

В 1806 году, посланная докторами в Висбаден, она возобновила знакомство с королевой прусской Луизой — и просветила ее. В 1808-м познакомилась с Юнгом-Штил-лингом, вошла в число его ближайших сотрудников и сразу включилась в порученное ему общее дело по возведению Нового Иерусалима в герцогстве Баденском. В письме подруге, г-же Арман, она делилась открывшимися перед ней перспективами:

«Милый друг, самый блаженный из опытов заставляет меня сказать, что я — счастливейшая из созданий. Я только на словах могу пересказать вам все, что я испытывала... Милый друг, подумайте, что я испытала в настоящем смысле слова чуда; что я была посвящена в глубочайшие тайны вечности и что я могла бы сказать вам многое о будущем блаженстве... Времена приходят, и величайшие бедствия будут тяготеть над землей, не бойтесь ничего, оставайтесь верны ему. Он соберет всех своих верных; после того настанет его царство. Он придет сам царствовать 1000 лет — на земле».^[219]

Поставив точку в своем возбужденном послании, г-жа Криднер отправится в Женеву, обращать еще одну

будущую собеседницу Александра, мадам де Сталь.

До 1836-го — начала эры Тысячелетнего царства — ждать оставалось Недолго. О поджигающих сроках г-жа Криднер сообщала не только подруге своей, мадам Арман, не только мадам де Сталь; не только многочисленным слушателям по пути из Лифляндии в Баден (1811 год); об этом она намеревалась говорить с самим Наполеоном. (И говорила бы, если бы он не счел бредом посланные ему Криднеровы сочинения.) О том же она поведала и баденской уроженке русской императрице Елизавете Алексеевне; о том писала и в послевоенных письмах любимой фрейлине императрицы, Роксане Стурдзе, явно рассчитывая, что письма будут показаны царю. Не ради монарших благодеяний, нет; причина куда глубже. Заключалась она, кажется, в том, что Юнг-Штиллинг, чьим адептом была Варвара-Юлия, готовил духовный фундамент грядущего Тысячелетнего царства, указывая на Кавказ, на гору Спасения Арарат как на место материального его воплощения. Россия становилась священным подножием Нового Иерусалима, его имперским предгорием.

Без русского царя было не обойтись.

Расчет полностью оправдался. Стурдза письма показала. Прочтя у Криднер: «...Я уже давно знаю, что Господь даст мне его <Государя> видеть. Если я буду жива, это будет одной из счастливых минут в моей жизни... Я имею множество вещей сказать ему, потому что я испытала многое по его поводу. Господь один может приготовить его сердце к приятию их; я не беспокоюсь об этом; мое дело быть без страха и упрека; его дело преклоняться пред Христом»^[220] (от 27 октября 1814) — потрясенный Александр согласился на встречу. Спустя семь месяцев встреча и произошла.

Говорила в основном г-жа Криднер. Она развернула перед Александром Павловичем бездну его греховного прошлого, напомнила о тщеславии и гордыне, о временном раскаянии и о постоянном забвении обетов; после утешила, указав на себя как на худшую грешницу, сумевшую, однако, раскаяться и найти «прощение всех своих грехов у подножия креста Христова»; и, наконец, воодушевила рыдающего государя тем, чем он и сам пытался воодушевиться — перспективой глобального переустройства бытия на вечно-справедливых началах. Побеседовав с Криднер, Александр Павлович вновь — и окончательно — удостоверился, что одержанная им победа над Наполеоном есть не более чем предварение нового, гораздо более опасного, хотя и мирного сражения на полях европейской политики.

Продолжение следовало. И, значит, отодвигалось подведение итогов. И, стало быть, рано было оплакивать свою монаршую участь. И, получалось, вновь настоящее было в будущем. Настоящее торжество. Настоящее благо. Настоящее искупление.

ГОД 1815. Июнь. 10.

Получено известие о победе союзных войск под Ватерлоо.

ЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО И СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ

ГОД 1815. Июнь. 13.

Наполеон вторично отрекается от престола в пользу сына.

Так и вышло, что первым из глобальных послевоенных проектов Александра Павловича стало создание Священного Союза Европейских Государей. [221] Акт «Братского Христианского Союза» подписан будет 14/26 сентября 1815 года, в день Воздвижения; огласят его 25 декабря — на Рождество; такой выбор не мог быть случайным; даты говорят за себя.

Чем больший разлад царит в душе человека (особенно если этот человек и сам — царит), тем сильнее его тяга к упорядоченности. Педанты и аккуратисты слишком часто оказываются тайными неврастениками, равно как натуры мистические нередко совмещают порывы за пределы эмпирического опыта с напряженным интересом к муштре и палочной дисциплине. Была прямая связь между обострением интереса послевоенного Александра I к фрунту, любовным обустройством военных поселений, экспериментальной реорганизацией Остзеи, Финляндии, Польши — и все нараставшим в его душе страхом перед непредсказуемостью истории. Государственная эстетика компенсировала сердечный разлад.

Не столь непосредственно, но и все же связан с этим разладом проект Священного Союза. Именно в те дни, когда царь обдумывал свой многозначительный тост «За мир Европы и благоденствие народов», провозглашенный во время прощального смотра русским войскам близ Вертю 29 августа 1815 года, он отдал приказ Ермолову арестовать и отправить на союзническую гауптвахту тех полковых командиров, чьи полки сбились с ноги при входе в Париж. А вечером того же дня, обнаружив пропажу депеши от посланника при Нидерландском дворе, долго кричал на князя Петра Волконского, после чего велел принести Библию и погрузился в деятельное созерцание.

ГОД 1815. Август. 30. Париж.

Устроен прощальный парад с участием полковых священноцерковнослужителей.

«Я покидаю Францию, но до своего отъезда хочу публичным актом воздать Богу Отцу и Сыну и Святому Духу хвалу, которой мы обязаны Ему... и призвать народы стать в повиновение Евангелию. Я принес Вам проект этого акта...»

(Александр I — г-же Криднер.)

Австрия, Россия и Пруссия обязываются

1) пребывать соединенными неразрывными узами братской дружбы... управлять подданными своими в том же духе братства для охранения правды и мира;

2) почитать себя членами единого христианского народа, поставленными Провидением для управления тремя отраслями одного и того же семейства;

3) пригласить все державы к признанию этих правил и вступлению в Священный Союз.

Все Государи руководствуются заповедями Св. Евангелия.

*(Из проекта акта о Священном Союзе.
Согласовано с г-жой Криднер.)*

И тут самое время еще раз вспомнить, что последним из крупных предвоенных проектов царя было учреждение Императорского Царскосельского лицея.^[222] События эти кажутся несоразмерными по масштабу; однако они — при некотором стечении обстоятельств — вполне могли сомкнуться в единую цепь.

Лицей задумывался не как рассадник поэтов, но как привилегированное учебное заведение. Он призван был вылепить из юных воспитанников новое поколение государственных мужей.

Именно ради этого лицеисты были вырваны из семейного лона, помещены вдали от столичной среды. Им предстояло в недалеком будущем решать столь неординарные проблемы, что перенятые домашним образом привычки, предрассудки, опыт предшественников жестоко бы им препятствовали.

По той же самой причине во главе Лицея поставлен был Василий Малиновский — блестящий теоретик дипломатии, как раз и выдвинувший идею единого европейского пространства, основанную на философии «вечного мира» (поклонником которой Малиновский был издавна),^[223] германофильстве и политических реалиях начала века:

«Стечение нынешних обстоятельств составляет эпоху... мы будем отвечать потомству, и сами пожалеем тщетно, если не воспользуемся оными... Общий мир не есть химера, утешающая уединенного добросердечного мудреца, Германия и почти вся Европа оного желают, и в надежде его не жалеют никаких пожертвований».^[224]

Потому и местом обитания лицеистов была выбрана летняя резиденция русского царя, и в Лицей первоначально предполагалось поместить младших братьев государя — Николая и Михаила Павловичей. Чем дальше лицеисты пребывали от косной семейственности, тем ближе они оказывались к единственному источнику и гаранту уновления России — одиноко противостоящему ей царю. Им как бы предлагалось ощутить и остро пережить свою изначальную — и пожизненную — помещенность в имперскую сферу.

Они — ощутили.

Когда Пушкин в 1830 году напишет псевдоантичную эпиграмму «Отрок»:

Невод рыбак расстилал по берегу студеного
моря;
Мальчик отцу помогал.
Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник
царям, —

прежде всего он будет думать, конечно, о Ломоносове и о том, насколько естественно сочетаются в его стихах античный метр, евангельская топка и русский сюжет. Но одновременно он будет думать и о себе самом как лицеисте первого призыва, первого призвания; о том, что государственное служение, не осуществившееся политически, может быть осуществлено поэтически. Недаром практически одновременно с «Отроком» напишет он «Царскосельскую статую»:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны
разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

Державное деяние архангелогородского отрока и вечная неподвижность скульптурного движения царскосельской статуи, [\[225\]](#) воля и покой, навеки соединяются в пространстве античного ритма, как соединялись они в лицейском проекте Александра Павловича, детально проработанном Сперанским.

ГОД 1815. Октябрь. 31.

Александр въезжает в Польшу верхом, в польском мундире с орденом Белого Орла.

Депутациям западных губерний передана просьба Государя не обращаться с прямыми прошениями о переделе территорий (Вильна, Витебск, Могилев...) в связи с восстановлением Польши в составе России.

Ноябрь. Между 1 и 15.

Пушкин пишет стихотворение «На возвращение Государя Императора из Парижа в 1815 году».

ГОД 1815. Ноябрь. 15.

Подписана Конституционная хартия Царства Польского. Адам Чарторыйский, рассчитывавший получить звание наместника, потрясен известием о том, что должность эту поручено исполнять безногому генералу Зайончеку.

И если бы все пошло по предписанному, лицеисты первого выпуска могли бы встроиться в следующий государев проект — замысел Священного Союза. Они успели бы поучаствовать в запуске его политических механизмов, а затем сыграли бы главную роль в его деятельном поддержании. Став помощниками царя, они составляли бы ноты, вели бы переговоры, внутрироссийскими преобразованиями медленно останавливали бы ход европейской революции, чтобы та «вечно печальна» б сидела, «празднй держа черепок». И в случае успеха вошли бы в историю русской бюрократии и дипломатии как создатели

Общеввропейского Молитвенного Дома. Не исключен, правда, и другой вариант: возвращенные в идеально [\[226\]](#) устроенном, законодательно расчисленном, дистиллированном лицейском мире, выведенные из зоны притяжения — действительно косных! — традиций и — действительно губительных! — привычек, они утратили бы и свою нечуждость стране, заскользили бы поверх нее, по существу не реформируя ее и не уновляя. (Трудновато исправлять абсолютно чужие, не познанные изнутри, ошибки). И возведенный в воздухе большой политики замок Общеввропейского Дома рухнул бы при первом дуновении российского ветра, погребя под собою и тех, кто строил, и тех, ради кого строили.

Но гадать бесполезно. В цепи произошел сбой; Лицей был создан в одну эпоху, Священный Союз образован в другую. А в промежутке между этими событиями стало окончательно ясно, что большинство лицеистов на государственном поприще не пригодятся.

Мир Лицея был лишен смыслового центра.

Стройная композиция разрушилась. Все, что находилось на периферии этого мира, сразу изменило масштаб. И в первую очередь — новый статус обрело повальное лицейское стихотворчество. Прежде, как в большинстве учебных заведений конца XVIII — начала XIX века, оно было разновидностью словесного музицирования, уместного в перерывах между более важными занятиями. Теперь же оно давало лицеистам возможность весело разыграть отсутствующий в их лицейском бытии смысл. Рукописные журналы имитировали серьезную общественную деятельность — отнюдь не гарантированную лицеистам в их послелицейском будущем. Мелкие лицейские происшествия (кому интересен сюжет о падении студиязуса Кюхельбекера в лужу?), занимая место в

рукописной хронике, обретали почти историческую значимость. Распитие гогеля-могеля с ромом, зарифмованное участниками попойки, становилось не просто подростковым хулиганством, но частью шуточной мифологии Лицея:

Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку:

Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем —
И тут же помиримся.

Были мифологизированы и сохранившиеся в неприкосновенности «царственные» атрибуты утраченной великой государственной цели.

Разбитый по проекту отца Андрея Сомборского, церковного наставника государя, «прекрасный Царскосельский сад», согласно первоначальному замыслу призван был служить аллегорическим напоминанием о торжестве монаршей государственности во времена Екатерины Великой и воспитующим указанием на имперский образец. Но стараниями лицеистов сад из аллегории торжествующей власти преобразался в «царскосельский Эдем»,^[227] в таинственное шумнолиственное обиталище Муз:

...И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;

Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени деревьев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
...Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

*(«В начале жизни школу помню я...»,
1830.)*

Имя Лицея утрачивало связь с просветительской идеей педагогической провинции и как бы возвращалось в античный лексикон. Оно аюкалось с именем афинских предместий. И по ассоциации с ликейским гимнасионом Аристотеля рифмовалось с Платоновой Академией. Даже название Царского — бывшего Сарского — Села, однажды уже прошедшее ложноэтимологическую обработку, этимологизировалось вторично. Теперь оно напоминало не столько о явной сельской обители русских царей, сколько о скрытом царстве русской Поэзии.

В этом особом царстве действовали свои законы; любовная игра занимала в нем то же место, какое в «настоящей» империи занимала политика; шалостям античных и славянских «культурных» божеств придавалось значение государственных таинств и ритуалов («Хариты, Лель / Тебя венчали»; «Адели», 1822). Позже, когда лицеисты завершат курс наук и разъедутся кто куда, они достроят свой поэтический миф метафорой Царского Села как единственно родного им Отечества и оттенят его образом всего сопредельного мира как вечной чужбины. Ностальгия по этому Отечеству многих из них соединит в незримый,

почти мистический и — действительно Священный — Союз.

ГОД 1815. Январь.

Обнародован Манифест о Священном Союзе и велено огласить его в церквах. Священный Синод повелевает пастырям заимствовать из Манифеста мысли для проповедей.

«Познав из опытов и бедственных для всего света последствий, что ход прежних политических в Европе между державами отношений не имел основанием тех истинных начал, на коих премудрость Божия в откровении своем утвердила покой и благоденствие народов, приступили мы... к поставлению... союза... в котором обязуемся мы взаимно, как между собою, так и в отношении к подданным нашим, принять единственным ведущим к оному средством правило, почерпнутое из словес и учения Спасителя Нашего Иисуса Христа, благовествующего людям жить аки братьям, не во вражде и злобе, но в мире и любви».

(Из Манифеста.)

Глава 2 КАНУНЫ

УЖЕЛИ Я НЕ ЦАРЬ?

Где имеется царство, там должен быть царь.

Естественно, что роль государя поэтического царскосельского государства выпала Пушкину — и он охотно включился в веселую, ни к чему не обязывающую игру. В знаках отмеченности, в крестах на груди и орлах на спине недостатка не было. Общеизвестный сюжет о предсмертном державинском благословении, — который сам же Пушкин и сгустил до состояния непререкаемой формулы, —

Старик Державин нас заметил,
И, в гроб сходя, благословил, —

яркий тому пример. Это же не что иное, как вариация на тему царского помазания.

Правда, в 1830-м Пушкин-мемуарист, вспоминая о лицейском экзамене 1815 года, словно бы нарочно подчеркнет, что никакой «передачи лиры» не было и быть не могло, ибо великий предшественник так и не смог обнять молодого поэта: «...Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал... Меня искали, но не нашли...»

Но действительность — одно, мемуарная проза — другое, а пространство поэтической метафоры — третье. Игра, затеянная лицеистами, предполагала роли дряхлого литературного венценосца и юного наследника поэтического престола, ибо нуждалась в «легитимации» поэтической власти Пушкина.

Соответственно, без символической лиры обойтись не могла, как не могла обойтись средневековая Русь без легенды о белом клобуке, перешедшем от Константина Великого через папу Римского Сильвестра к епископу Новгородскому, — и перенесшем византийскую «харизму» на Третий Рим. Реальные подробности теряли смысл, — равно как вопрос о «харизматических намерениях» самого Державина, который собирался передать лиру не Александру Пушкину, а Василию Жуковскому, о чем имелась соответствующая стихотворная запись: «Тебе в наследие, Жуковский, / Я ветху лиру отдаю; / А я над бездной гроба скользкой / Уж преклоня чело стою».^[228] Едва получив известие о кончине первоверховного поэта (8 июля 1816 года), лицеисты «самочинно» переадресуют его манифест о поэтическом престолонаследии: «Державин умер! чуть факел погасший дымится, о Пушкин! / О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают... Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто, Пушкин! / Кто, пламенный, избранный Зевсом еще в колыбели, счастливец / В порыве прекрасной души ее свежим венком увенчает? / Молися каменам! и я за друга молю вас, камены!» (А. А. Дельвиг. На смерть Державина, 1816).

Пройдет немного времени — и лицеистам начнут подыгрывать поэты старшего — чуть более старшего — поколения. Именно «монарший» подтекст и отчасти намек на пушкинское самозванство будет сокрыт в завистливой шутке Константина Батюшкова: «О, как стал писать этот мерзавец!» Сквозь батюшковское словцо цросвечивает общеизвестный отзыв Суворова о Наполеоне: «О, как шагает этот юный Бонапарт!»^[229] — и вряд ли это случайно.

ГОД 1816. Январь. 27.

Высочайшим указом Сенату директором Лицея назначен Егор Энгельгардт.

«Его высшая и конечная цель — блистать, и именно поэзией... Пушкину никогда не удастся дать своим стихам прочную основу, так как он боится всяких серьезных занятий, и его ум, не имея ни пронизательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце».

(Из черновых заметок Е. А. Энгельгардта «Нечто о воспитанниках старших отделений Лицея»; по-немецки.)

Шутка — не больше, чем шутка. Игра — не больше, чем игра. Но и не меньше. Рано или поздно она начинает сказываться на вещах вполне серьезных.

Уже в первые годы после Лицея Пушкин станет в неподцензурных стихах писать о монархе если не как равный о равном, то как свободный о свободном, — «Открытым сердцем говоря / Насчет глупца, вельможи злого, / Насчет холопа записного, / Насчет небесного царя, / А иногда насчет земного» («N.N.», 1819). При этом он будет обращаться к царю не на своем, литературном, а на его, государственном языке, на языке первых — либеральных — указов alexandrovского царствования. Ключевое слово оды «Вольность», равно как посланий к Чаадаеву, — «самовластье»; в общественный обиход оно было введено именно Александром, и теперь возвращалось царю как напоминание о невыполненных обещаниях.

Позже в пушкинском речевом обиходе появится горьковатое присловье — «Быть так», и в нем проступит формула монарших вердиктов: «Быть по сему». Царь запечатывал эту формулой вполне конкретные политические решения, а Поэт предпочтет как бы утверждать ею «положительное решение» по вопросу о человеческом бытии в целом. Человек рожден, чтобы страдать, мыслить, проливать слезы раскаяния, встречать радость за миг до разлуки с нею? Что ж. Пусть это и будет залогом тайного счастья, имя которому покой и воля; пусть это и будет неизъяснимой формулой смысла жизни; пусть это — будет. Быть так.

ГРАФ ИСТОРИИ

Быть по сему.

Именно ради этих слов в начале февраля 1816 года Николай Михайлович Карамзин, сопровождаемый шурином поэтом Петром Вяземским и литературным дядей лицеиста Пушкина веселым дилетантом Василием Львовичем, прибыл в Царское Село — и поселился в непосредственной близости от Лицея. Годы, прошедшие после подачи «Записки», были для придворного историографа трагичными. Он потерял в 1813 году сына; эвакуация из Москвы обернулась утратой части весьма важных источников, необходимых для затеянного им труда; но сам труд продвигался успешно. Было написано восемь томов — пришла пора думать о начале издания. (Не в последнюю очередь потому, что впереди, у порога 9-го тома, Карамзина поджидала эпоха Иоанна Грозного — заведомо спорная и «неподцензурная»; решение о печатании «Истории» следовало получить до.)

Где издавать? На чьи деньги издавать? И, главное, от чьего имени издавать? Ответ на последний вопрос

предопределял ответы на первые два:

от имени государства;

на деньги правительства;

в столичной типографии.

И вполне понятно, почему.

Афоризм, которым поначалу собирался он открыть Предисловие к первому тому — что Библия для христиан, то история для Народов, [\[230\]](#) — указывал на ту невероятно высокую, с религиозной точки зрения почти кощунственную, роль, какую историограф отводил себе и своему грандиозному труду. Это не только роль русского Тацита, но и роль русского Моисея; еще точнее — евангелиста от Истории, имеющего моральную власть остановить надвигающийся Апокалипсис и предложить некий выход из конца времен в бесконечность государственного блага. Эта роль куда значительнее роли светского старца, российского аббата, пророка, «предсказывающего назад»; в ней что-то есть от миссии мирского чудотворца.

Ранний Карамзин перенаправлял бурный и страшный поток исторического времени из реального пространства человеческой жизни в условное пространство языка, — как бы в надежде, что подвижная языковая стихия станет лингвистическим инобытием революции и, совершив оборот вокруг неизменного ядра русского ГОСУДАРСТВА, выведет на поверхность Истории новую преобразующую силу — русское ОБЩЕСТВО. [\[231\]](#) Теперешний, зрелый историк столько же познавал «историю Государства Российского», сколько и создавал ее, выигрывая у Времени время, необходимое для «самостийных» общественных перемен. Как Вергилий обосновал своей «Энеидой» историческое единство римской нации, дал Риму его прошлое и тем соединил его настоящее, так Карамзин готовился даровать Третьему Риму его

вечное. Ни на шаг не отступая от правды, очищая легенды от домыслов, критикуя источники, попутно и как бы мимоходом создавая новые отрасли исторической науки, он ни на минуту не забывал о сверхзадаче (конспективно осуществленной еще в «Записке»): каталогизировать русскую государственную традицию, вывести формулу русского покоя, раз навсегда зафиксировать сложившийся порядок вещей, чтобы затем политики стали этот порядок поддерживать...

И тут Карамзин попал в ситуацию, к которой не был внутренне готов. Ему не отказывали, но и не давали согласия; не отвергали, но и не допускали к священной особе государя; его душила в объятиях императорская семья, но сам император пребывал в необъяснимом удалении.

Вставной сюжет. ИЗ ПИСЕМ ИСТОРИОГРАФА К ЖЕНЕ (начало)

11 Февраля. От Государя ни слова... 10 Марта (если не прежде) возьму подорожную, чтобы ехать к вам назад и более не заглядывать в Петербург, хотя не могу довольно нахвалиться ласками здешних господ и приятелей...

14 Февраля. Я видел Императора, но только видел. Вчера поутру сказали именем Государя, что он после праздников придет за мною, и прибавили от себя, что всякое мое справедливое желание будет им выполнено. Более ничего не знаю... Не хочу угадывать...

18 Февраля. Государь, как ты знаешь, обещался позвать меня в кабинет, после праздников. Через два дни пост: и говенье опять может быть препятствием. Увидим. Добрые люди на всякий случай дают мне мысль

продать мою Историю тысяч за сто, то есть, если не увижу Государя еще недели три или казна не выдаст мне денег для ее печатания. Покупщик, может быть, найдется; но согласно ли это с достоинством Российской Империи и с честью Историографства?..

22 Февраля... Не сделаю ничего непристойного; знаю отношение подданного к Государю и долг нашего к нему благоговения. Государь и вся Императорская фамилия были заняты праздниками, теперь заняты говеньем и молитвою, на второй неделе будут заняты прощаньем с Великою Княгинею, а в половине третьей я уже займусь своим отъездом в Москву; мера терпения моего исполнится... Не могу похвастаться дружбою Великою Княгини: она мне только с ласкою кланялась во дворце; говорит, что занимается моим делом: хочет звать меня к себе и не зовет. Бог с нею и со всеми! ничего не требую и доволен...

Легко понять, что творилось в душе Карамзина. Он был больше, чем уязвлен, хуже, чем унижен. На глазах рушилось здание, возводимое много лет, — и рушилось в тот самый миг, когда пришла пора завершать строительство. Неужели все напрасно и царь отверг самую возможность уважительного, равноправного диалога, не понял и не принял противопоставленную принципу личной преданности позицию лояльной независимости (на которой держалась скептическая утопия Карамзина)? Но тогда «История» лишается сверхзадачи, разлучается с практической политикой, а русская самодержавность теряет едва ли не последний свой шанс на поддержание зыбкого исторического равновесия...

Увы, историограф не учел, что у монарха могли быть свои резоны. Нет никаких сомнений, что в жизнестроительных планах Александра 1816 год занимал исключительное место; что вопреки историкам и философам (гениальный пруссак Гегель,

воодушевленный послевоенным собиранием германских земель вокруг Пруссии, тогда же приветствовал итоговую правоту Мирового Духа формулой Великого Покоя: «Все действительно разумно, все разумное действительно») царь ощущал рубеж 16-го года не как финал европейской истории, а как начало новой — бурной — исторической эпохи. 1816-й должен был сыграть в истории российской государственности ту же роль, какую в истории русской нации сыграл год 1812-й. Синхронность множества тогдашних начинаний — символических и практических — бросается в глаза.

По весне будут «благословлены» работы по переводу русского Евангелия;

затем выбран Витбергов проект храма Христа Спасителя;

отменено личное крепостное право в Эстляндии (в 1817-м принципы «Учреждения для эстляндских крестьян» распространят и на курляндцев, в 1819-м и на лифляндцев, а также на жителей острова Эзель);

опубликован тот самый Манифест с благодарностью русскому воинству и народу, что так смутил адмирала Шишкова полунамеками на перспективу освобождения крестьян;

поручено подготовить проект учреждения наместничеств для «бдительнейшего надзора за исполнением в губерниях законов и предписаний высших властей», а также для наблюдения за тем, чтобы помещичьи крестьяне не подвергались «чрезмерным отягощениям» и для принятия жалоб от населения на действия губернских властей;

Сперанского внезапно известят о постигшем его прощении и отправят в Пензу губернаторствовать;^[232] будет решено приступить к развертыванию военных поселений;^[233] и параллельно с началом военных поселений — русским помещикам в лице депутации

Иллариона Васильчикова откажут в праве последовать остзейскому примеру, не позволят добровольно отречься от «рабовладельческих прав», да еще и одернут.

То, что русскому здорово,
То для немца карачун...

Нет никаких сомнений, что под внешнеполитическим покровом Священного Союза — под его полумистическим покровительством — закладывался фундамент внутренних реформ. И закладывался — одновременно — по всем возможным направлениям. От религиозного просвещения до новой государственной мифологии; от «многоукладности» земельного устройства — до подготовки к поэтапному раскрепощению крестьян. Последнее, как кажется, и станет центром, смыслом, сутью разнообразных «зачинов», их соединительным звеном; с великим намерением царя будет зримо связано все. И христианизация «масс», которая помимо всего прочего была призвана удержать раскрепощаемое сословие от соблазна непривычной воли. И постепенное возвращение Сперанского, без которого не обойтись, когда дело дойдет до самих реформ. И «пробный шар» с освобождением Остзеи параллельно с опытом конституирования Польши. И намерение учредить наместничества, упрощающие структуру управления Державой и еще более централизующие власть. И размах военных поселений. И даже — даже! — отказ депутации Васильчикова.

Впервые о военных поселениях, как помним, Александр заговорил на переломе в 1809-м. Тогда у этого замысла были свои военно-стратегические основания — равно как были они у генерала

Шарнгорста, автора прусского образца, ландверной системы.^[234] Предвоенному Александру ограничивать численность армии было незачем; однако сама прусская модель казалась весьма привлекательной, особенно в послевоенной перспективе, когда огромную армию-победительницу придется чем-то занимать. К 16-му году давний прожект срифмовался с новыми идеями государя, обрел иное смысловое измерение.

Чтобы сдвинуть с мертвой точки земельный вопрос, нужно было оборониться и от дворян, и от крестьян. То есть не только усилить личную власть царя в губерниях, не только вовлечь народ в гущу меняющейся церковной жизни, — но и подготовить «загон», в котором за одно-два поколения обезземеленные и вырванные из страшной, но привычной почвы рабства вчерашние крепостные без кровавых потрясений преобразовались бы в сословие «вольных хлебопашцев». Недаром именно военнопоселенскому командиру Аракчееву царь поручит в 1818 году разработать план освобождения крестьян, и расчетливый граф справится с поставленной перед ним задачей.^[235]

Логика его будет по-своему безупречна. После войны помещики начали все чаще закладывать свои поместья в казну: стало быть, деньги, расходуемые на это государством, добавив к ним пятипроцентный заем, можно обратить к обоюдной выгоде дворянства и монархии, к общественной пользе. То есть — ежегодно тратить по 5 миллионов рублей на выкуп в государственную казну крестьян, закладываемых в нее душевладельцами. Помещики будут рады освободиться от долгов; вполне революционная реформа получит видимость привычной купли-продажи и не потрясет умы; дворянское сословие сохранится — поскольку за помещиками останется до половины поместий. Поскольку же сохранится сословие, сохранится и

монархия; крестьянам, выкупаемым с уступкою двух десятин на каждую ревизскую душу, земли все равно не хватит, и они сохранят крепость земле как наемные хлебопашцы. Процесс освобождения растянется на четверть столетия, а за это время успеет вырасти новое поколение землепашцев, приспособленное к свободной жизни.

Начинать крестьянскую реформу в России, не развернув поселения в полную силу, не создав запасной плацдарм, было так же невозможно, как затевать ее, не дождавшись положительных результатов остзейского эксперимента. Великому предшествует малое; тише едешь — дальше будешь.

И по той же самой причине, по какой государь поддержал умеренно-либеральный эксперимент в Остзее, он резко и властно пресек «освободительный» порыв российского дворянства. Дело было не только в опасении, что помещики пытаются перехватить у царя пальму первенства, заодно добившись проведения реформы на своих условиях (хотя и в этом тоже). Но и в том, что преобразования должны были совершаться по-александровски, исподволь, без огласки, не мешая стране дозревать до глобальных перемен. В 1816 году, под непроницаемым покровом тайны, сразу на всех полях засеивались озимые. Взойти они тоже должны были одновременно, чтобы жатва началась в тот самый момент, когда завершится строительство внешней ограды Священного Союза.

Следственно, на переломе от зимы к весне 16-го царь нуждался не в том, кто даст «формулу русского покоя» и некую инструкцию по ее исполнению; не в том, кто стилистически довершит Петровские реформы, а в том, кто словом своим «пропишет» царские деяния в потоке общеевропейской истории. Царю был нужен неподкупный летописец, беспристрастный, — а значит, достоверный, но не претендующий на большее, —

свидетель великих свершений, в эпоху которых вступала победившая Россия. Недаром в цитированном Манифесте, которым начался 1816-й, первый год эры Священного Союза, говорилось: «События на лице земли, в начале века сего в немногие годы совершившиеся, суть толь важны и велики, что не могут никогда из бытописаний рода человеческого изгладиться. Сохранение их в памяти народов нужно и полезно для нынешних и будущих времен».^[236] Но кроме того государь не мог не помнить мартовскую встречу 1811 года; помня — должен был догадываться о претензиях Историографа на почтительное старшинство. А Его Императорское Величество никому и никогда не позволял покушаться на свою самодержавность.

Другое дело, что Карамзин во власть не ходил. Ему не грозил «синдром Сперанского». Его невозможно было наказать удалением от службы — в отличие от упрямого старика Державина (которого историограф в нынешний свой приезд навестил). Он был честным, частным, абсолютно свободным русским дворянином. Тем забавнее было затеять новую придворную игру — в кошки-мышки, чтобы в конце концов заманить независимую мышку в дворцовую мышеловку, откуда выхода нет и где поджидает ласковая, добрая, гостеприимная кошка. Вот там, в этой клетке, можно принять все условия мышки — сесть насупротив; милостиво и даже смиренно выслушать и поблагодарить: спасибо, мышка, что научила, как надобно жить.

Но для начала следовало проверить: готова ли к участию в веселой игре противная сторона? До какой степени незаинтересованный в постах Карамзин заинтересован в публикации своего труда на своих условиях? Полностью ли зависим независимый

историограф от своих жизнестроительных принципов? Заодно не мешало заставить гордеца несколько смириться, указать поборнику личной свободы на его социальное равенство: покорное равенство подданных перед подножием трона и перед лицом тех, кому государь определил быть чуть более равными, чем остальным.

ИЗ ПИСЕМ ИСТОРИОГРАФА К ЖЕНЕ (продолжение)

24 и 25 Февраля... Почти ежедневно слышу, и в особенности через Великую княгиню, что Государь благорасположен принять меня — и все только слышу... Скажу тебе несколько слов о вельможе (Графе Аракчееве): вчера входит ко мне ординарец его, с запискою от адъютанта, что Граф ждет меня в 6 часов вечера. Догадываюсь и отвечаю, что не я, а брат мой Федор, старинный сослуживец Графа, был у него накануне, не имел счастья видеть его. Адъютант извиняется весьма учтиво и пишет, что он действительно ошибся и что Граф ждет брата. Брат является, и Граф с низким поклоном говорит ему: «Радуюсь случаю познакомиться с таким ученым человеком, тем более, что я был некогда приятелем вашего братца». Феодор Михайлович отвечает: «Ваше Сиятельство! я не Историограф, а самый ваш старинный знакомец!» Следуют объятия, ласки. Открылось, что Граф ждал Историографа, узнав, что приезжал к нему Карамзин. Но мог ли я, имея известный тебе характер, ехать к незнакомому мне фавориту? Это было бы нахально и глупо с моей стороны. Однако ж этот случай ставит меня в неприятное положение: друг Государев уже объявил свое расположение принять меня учтиво и обязательно: если не буду у него, то не покажусь ли

ему грубияном? а если буду, то не заключат ли, что я пролаз и подлый искатель? Лучше, кажется, не ехать. Пусть вельможа несправедливо сочтет меня грубияном. Так ли думаешь, милая?..

2 Марта... Вчера, говоря с В. К. Екатериною Павловною, я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом...

7 Марта... Вот записка от Нелединского: мне приказано известить вас, что вы завтра (7 Марта) приглашены будете к Государю. Это хорошо; но теперь около 11 часов утра, а приглашения нет, вероятно, уже и не будет. По крайней мере будет то, что угодно Богу...

10 Марта... Когда же увижу Императора... Императрица за столом, взглянув на меня, сказала: «Московская дорога еще не испортилась!»

Выслушай другое происшествие. Фактотум Графа Аракчеева, об котором я писал к тебе, передал мне чрез Вельяшева, что Граф желает видеться со мною и говорит: «Карамзин, видно, не хочет моего знакомства; он приехал сюда и не забросил даже ко мне карточки!» Вот как судят люди: скромность считают за грубость! Фактотум (по крайней мере так здесь думают) прислал ко мне карточку и велел меня звать к себе в воскресенье на вечер для свидания с Графом. Вообрази мое положение! не хочу никого оскорбить; но могу ли дать себе вид пролаза? Я также отослал ему свою карточку, ответствуя Вельяшеву, что мне не ловко ехать к такому человеку, который у меня сам не был. Между тем надел мундир и отвез карточку к Графу. Что будет далее, не знаю. Помоги нам Бог выпутаться из всех придворных обстоятельств с невинностию и честью, которыми я обязан моему сердцу, милой жене, детям, России и человечеству!..

Срок, «назначенный» Карамзиным для отъезда — 10 марта, — минул; аудиенция — пока — не состоялась.

Участники «диалога» продолжали разыгрывать придворную драму в екатерининском стиле. Царь давал понять, что путь в его кабинет лежит через «каморку» Аракчеева, историограф своим стоическим поведением намекал, что хочет вести дела с царем напрямую; оба бились в силках стародавних проблем. Может ли дворянин возвыситься над интересами сословия? способен ли оценивать происходящее, с царями наравне? должен ли государь потворствовать такому «равноправию»?.. Но если посмотреть извне, издалека, — обнаружится иной, скрытый от «действующих лиц», глобальный смысл происходившего на переломе от зимы к весне 16-го года. И смысл — двойной, сугубый, «горизонтально-вертикальный».

Прежде всего, важнее всего: Карамзин, не слишком веря в особую, сакральную природу царской власти, гениальным историческим чутьем угадывал, быть может, главное противоречие самодержавия как религиозно-политического устройства. Правитель, наделенный невероятными, «сверхчеловеческими» полномочиями, не может, не должен оставаться один на один со своей «сверхчеловечностью». Единолично управляя Державой, он не в состоянии обойтись без духовного руководства — и тем не менее постоянно обходится. «Должность» мистического наставника, раз навсегда предусмотренная штатным расписанием русской монархии, — из поколения в поколение остается вакантной; нашествие лжепророков — Селивановых, Криднер — неизбежно. И независимо от собственных планов и намерений, Карамзин инстинктивно пытался закрыть собою «вертикальную» брешь российской государственности. Предлагая себя — на вакансию мудрого советчика «от имени и по поручению».

А что до «горизонталей», то через неосознанное посредство Карамзина в двери дворца стучалась та самая стихия русской общественности, что зародилась в 12-м году — и к 16-му начала набирать силу. Намеренный действовать от имени великого прошлого, историограф был невольным посланцем не менее великого настоящего; мечтающий притормозить историю, он был частью ее неостановимого движения.

Именно к 16-му году молодые свободолюбцы сделали первый шаг от «артелей» («идейно-бытовых» содружеств офицеров гвардии, куда допускались и сторонние лица, как некоторые из лицейцев) к тайным обществам. Ни Карамзин, ни государь не знают пока ничего об основателях Союза спасения, учрежденного как раз в эти февральские дни, — Якушкине, Муравьевых-Апостолах, «просто» Муравьевых; о будущих его членах — Пестеле, Лунине, Долгорукове... Но если бы и знали, — что с того? Будущее непознаваемо; его черты, проявленные в настоящем, всегда приходится объяснять по аналогии с прошлым, — а параллели не пересекаются. Потаенность новой организации (и последовавших за ней — Союза благоденствия, Общества соединенных славян, Северного и Южного обществ) сама собою могла бы вызвать у государя мысль о масонском влиянии. Желание решать «царские» вопросы об устройстве Державы соблазнительно было бы принять за очередное посягательство дворянской вольницы на монаршие прерогативы. А благородство помыслов и жертвенный пафос — отнести на счет молодости «заговорщиков». И трудно было бы постичь в одночасье, что молодость участников великих войн — лишь острая приправа их жизненной зрелости; что многие из «спасателей Отечества» прошли сквозь масонство — и не удовлетворились им; что военное поколение — как раз наоборот! — готово поступиться дворянскими

интересами ради «усчастливления» России; что едва ли не впервые во властвующем сословии не просто появились лично совестливые дворяне (такие были всегда), а возникло новое умонастроение, оплавилось гражданственное ядро нации...

Карамзин — позже — догадается; царь — позже — узнает и даже кое-что поймет. Но именно позже, когда тайные общества станут уже силой безнадежно-антиправительственной. А зимой 16-го года их оппозиционность еще вполне умеренна. Они, за малым исключением, еще готовы поддержать монарха, — если он решится начать долгожданные перемены или хотя бы вовлечет общество в активное обсуждение «несекретной» части реформенных планов. Да, их будущая «траектория» известна: все меньше компромиссности, все больше радикальности, вплоть до разговоров (если не планов) об устранении царя и его семьи. Но в том и беда, что сознание заговорщика, не обремененное ответственностью за сиюминутную реальность и свободно парящее в гипотетической будущности, — развивается совершенно иначе, нежели сознание оппонента власти, вольно или невольно, косвенно или непосредственно вовлеченного в державную жизнь. Через участие в управлении или через участие в открытом споре о дальнейшем пути Отечества — не суть важно. Нам не дано знать, как сложились бы — и сложились бы вообще — отношения Дворца и Артели, если бы послевоенный царь с самого начала предпочел готовить великие уновления не в глухой тишине безгласия, а в публичном сотрудничестве с бескорыстной частью сословия. Но ясно, что иной оказалась бы и судьба целого поколения российских дворян, и сумма выношенных им идей. Потому что столь же нехорошо, сколь и просто злоумышлять на цареубийство, оглядываясь не на русскую действительность, а на римский образец. Еще

проще требовать немедленного перехода России к республиканскому устройству и спорить о достоинствах временной военной диктатуры, — пока этот царь тебе ни сват ни брат, пока его царское дело отчуждено от твоего, гражданского, и пока ты не впрягся в ярмо управления. Или хотя бы не принял на себя интеллектуальную ответственность за грядущие перемены. Ибо есть не только вакуум дворца; есть — столь же опасный — вакуум подполья, где мысль о «благе народном» неостановимо скользит в точно такой же непроницаемой пустоте.

Дворцовые тайны; тайные общества; два роковых безгласия вместо одного диалога...

Есть жутковатая ирония в том, что именно в 16-м году, замыслив мирный поворот страны к будущему, царь возвращался к наихудшим обычаям прошлого. «Глас народный», озвученный Карамзиным, он пропускал через вельможные уши Аракчеева. Миловал Сперанского лишь после письма, переданного тем через «грузинского настоятеля».

Есть страшная ирония истории в том, что Карамзин, желавший говорить от имени непреходящего прошлого, невольно «протежировал» будущему и в своем лице предлагал Трону неформальный союз с Обществом.

Что, предлагая этот союз, он должен был или склонить голову перед «фаворитом», или отречься от многолетнего замысла.

Что именно лояльная «История Государства Российского», выйдя в свет, станет катализатором оппозиционных умонастроений, и споры о ней окончательно сформируют историософию декабристов, которые присвоят Карамзину обидную кличку «гасильник» — так в послевоенном Париже именовали «орден» замшелых роялистов.

Что худшими противниками царя окажутся именно те, кто был судьбою назначен стать лучшими его

помощниками...

Пространство маневра сужалось; задолго до генерала Ермолова граф Аракчеев, незримо направляемый царем, применял к историографу тактику «выжженной земли»; санный путь грозил стоять, — а уехать, не посетив «фаворита» после прозрачных намеков последнего, было уже невозможно.

ИЗ ПИСЕМ ИСТОРИОГРАФА К ЖЕНЕ (окончание)

13 Марта... Я отвез карточку к графу Аракчееву и на третий день получил от него зов; приехал в 7 часов вечера и пробыл с ним более часу. Он несколько раз меня удерживал. Говорили с некоторою искренноапию. Я рассказал ему мои обстоятельства и на вызов его замолвить за меня слово Государю отвечал: «Не прошу Ваше Сиятельство; но если вам угодно, и если будет кстати» и проч. Он сказал: «Государь без сомнения расположен принять вас, и не на две минуты, как некоторых, но для беседы приятнейшей, если не ошибаюсь...» Неужели все будет напрасно? По крайней мере надобно ждать, и не пристойно требовать, чтобы меня ни с чем отпустили в Москву.

16 Марта. Милая! Вчера в 5 часов вечера пришел я к Государю. Он не заставил меня ждать ни минуты; встретил ласково, обнял и провел со мною час сорок минут в разговоре искреннем, милостивом, прекрасном. Воображай, что хочешь: не вообразишь всей его любезности, приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию: два раза начинал и не кончил. Скажи: тем лучше! ибо он хотел говорить со мною. Я предложил наконец требования: все принято, дано как нельзя лучше: на печатание 60 тысяч, и чин, мне принадлежащий по закону. Печатать здесь в

Петербурге; весну и лето жить, если хочу, в Царском Селе; право быть искренним и проч.

Марта 17. Вчера я отвез карточку к Графу Аракчееву: он догадается, что это в знак благодарности учтивой. Вероятно, что он говорил обо мне с Императором...

21 Марта... Ты уже знаешь, друг бесценный, что Государь пожаловал мне еще Аннинскую ленту через плечо, и самым приятнейшим образом...

...Выеду, как надеюсь, в четверг. Теперь проси Бога, чтобы он соединил нас благополучно.

Источник: Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии. С примечаниями и объяснениями М. П. Погодина. В 2 ч. Ч. 2. М., 1866. С. 138-155.

На прощание историограф получил не только орденскую ленту, подтвердившую государственный статус его деятельности (за личные творческие услуги его наградили бы табакеркой или перстнем). Ему не только дали деньги на печатание «Истории» от имени — опять же — государства. Ему не только подарили надежду на то, что государь станет его личным цензором (для 9-го тома обстоятельство немаловажное). Но дано ему было и право летнего отдыха с семьей прямо в Царском Селе, в непосредственной близости от императора.

Обычный честолюбец воспринял бы это как знак особой монаршей доверенности — и только; не таков был Карамзин. Он рассудил иначе: пусть государь жестоко отомстил за обиду, некогда нанесенную «Запиской»; пусть предварил дорогу к монаршему раю чистилищем, где, по выражению историка Шильдера,

заседал суровый инквизитор грузинского монастыря; не важно: цари тоже люди. Главное, что сохранен и даже увеличен шанс лично сойтись с государем, повлиять на него не силой сословного представительства, не по праву должности, не от имени российской государственности, но силой интеллектуальных доводов, властью вековой мудрости, от имени российской истории.

ГОД 1816. Май. 24. Царское Село.

Начинается общение Карамзина с лицеистом Пушкиным. Во время одной из летних прогулок они повстречаются с Александром I.

«NB. В Симбирске на памятнике Карамзину один из барельефов изображает Карамзина, читающего Александру I свою «Историю», оба в древних костюмах, то есть голые, по крайней мере на 9110».

(Ф. М. Достоевский. Из набросков к «Дневнику писателя». 1876.)

ВАРШАВСКАЯ РЕЧЬ

Весна разрешилась в лето; лето прошло в заботах; на переломе к осени царем овладела охота к перемене мест. В предчувствии великих изменений, в тревоге перед ними, желая — и страшась — принять решение о начале реформ, которые или окончательно оправдают его в глазах потомства, или окончательно погубят, — он как бы менял скипетр на посох; приглядывался к стране, примеривался к ней: поймет или отвергнет?

поддержит или взбунтуется? готова к уновлениям или нет?

Москва. Тула. Калуга. Киев. Варшава. Гродно. Рига. В Царское Село государь возвратится лишь 13 октября, накануне празднования дня основания Лицея, когда хор лицеистов, присоединив к тексту Жуковского две строфы, сочиненные Пушкиным, дружно пропоет гимн «Боже, Царя храни!».

ГОД 1817. Май (?).

При встрече с лицеистами Александр I спрашивает, кто у них первый. Пушкин отвечает: «У нас нет, Ваше Величество, первых — все вторые».

Не пройдет и десяти месяцев, как 25 августа 1817 года император снова отправится в путь: Витебск, Могилев, Бобруйск, Чернигов, Киев, Харьков, Курск, Тарутино, Москва...

ГОД 1817. Июль. 9.

Первый выпуск Императорского лицея.

Краткий рабочий визит в столицу своего государства (в январе 1818-го Карамзин успеет поднести Александру свежееотпечатанные первые тома «Истории») — и опять в дорогу. Москва. Варшава. Пулавы. Бессарабия. Одесса. Вознесенск. Херсон. Таганрог. Земли донских казаков. Москва...

ГОД 1817. Сентябрь. 25 (?). Москва.

При получении членами Союза спасения письма князя Сергея Трубецкого с известием о намерении царя

присоединить литовские губернии к Польше И. Д. Якушкин вызывается убить Александра I. Товарищи отговаривают новоявленного Брута от исполнения намерения.

Москва — Москва — Москва. Сквозь древнюю столицу, в которой летом 12-го года государь пережил незабываемое единение со страной, как сквозь магический кристалл, прошли лучи всех трех его маршрутов; их юго-западные векторы сходятся в ее восточной точке. И с этим тоекратным посещением связаны символически значимые события, без которых не понять внутренний и внешний смысл александровского странничества 1816–1818 годов.

Во время первого приезда, в день своего тезоименитства, Александр I Павлович соблаговолил принять купца Верещагина-старшего, чей сын растерзан был толпой в 12-м году, — и пожаловал безутешному отцу перстень и 12 тысяч рублей в придачу. В тот же самый день он объявил о назначении опального Сперанского пензенским гражданским губернатором. Между несчастным купчиной и сиятельным поповичем пролежала пропасть; соответственно, разным был отклик на царские милости. «Искупительная» встреча с отцом Верещагина тронула сердца столичных дам — и только; известие же о Сперанском произвело «почти такое же волнение в умах, как и бегство Наполеона с острова Эльбы» (напишет генерал Сипягин великому князю Константину Павловичу). Тем не менее соседство «малого» и «великого» не было случайным; царь знал, что делал. Прежде всего он как бы готовил страну к новой версии падения Сперанского — той, что в 12-м году «опробовал» на Голицыне: не я его казнил, а его у меня отняли. Как Верещагин-младший пал жертвой разъяренной толпы патриотов, так государственный секретарь империи пал жертвой слепой стихии

народного гнева; стихии, с коей «царям не совладеть». И теперь, по прошествии лет, не важно, была ли их жертва безвинна; куда важнее, что малый и великий, почти одновременно пострадав от безличной воли истории, личной волей царя в один и тот же день примирились с Россией.

Что стояло, что таилось за этим великодушным — подчеркнуто великодушным! — жестом забвения (кто старое помянет...)? Жажда самооправдания? поиск алиби перед судом истории? Конечно — но не только. Царь снова сочетал холодную прагматику с непритворным сердечным порывом. Изысканно, щегольски обращая неприятную реальность 12-го года в легенду, выгодную для себя, он одновременно сам освобождался от вяжущей власти прошлого, искупал его в преддверии возможных перемен. Как мог, как умел. Недаром сразу после московского «примирения» он — впервые! — решится на многочасовую исповедь слепому старцу Киево-Печерской лавры Вассиану, очищая душу от коросты давних грехов.

Годом позже он зеркально повторит начало первого путешествия — в финале второго: после новой исповеди Вассиану (на сей раз анонимной) отправится из Киева в Москву, чтобы 12 октября принять участие в закладке храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, — как раз между Смоленской и Калужской дорогами. Вновь накануне будущего государь обратится в прошлое, напомним стране о сердцевине своего правления, о славном 12-м годе. Но место забвения горечи займет память о радости; царь увековечит победу не только и не столько ради нее самой, сколько ради грядущего. Пока неосуществленного, но сулящего России великие испытания — и великое торжество.

И наконец, вьюжным февралем 18-го года государь откроет памятник Минину и Пожарскому у храма Василия Блаженного. Откроет — в те самые дни, когда

в кабинетной тиши завершалась работа над знаменитой речью, предназначенной для открытия Первого Польского сейма; и внутренняя связь тут несомненна. Жест Александра должен был прочитываться так: во времена Минина и Пожарского Польша силилась погубить Россию; в его эпоху Россия Польшу — спасает, наделив ее «полугосударственным статусом», учредив Польский сейм и тем самым приведя в действие польскую конституцию 1815 года. В ответ Королевство Польское своей высокоразвитой гражданственностью должно будет увлечь спасшее его Царство Русское на путь мирных преобразований.

Реальным фоном новооткрытого памятника была Кремлевская стена; торжество сопровождал бой кремлевских курантов. Но в каком-то смысле памятник открывался на фоне невидимой ограды Священного Союза и под гул курантов Истории; никак не меньше. То, что некогда замышлялось в Вене, ныне осуществлялось в Москве; Россия «по манию царя» сознательно превращала себя в эклектичный символ будущего слияния Европы в Священный Союз. Не Государей только, но и Государств. Перестраивая страну по формуле «одно государство — три системы» (собственно Россия, не имеющая конституции и крепостническая; Финляндия и — особенно — Польша, увенчанные Законом; остзейские губернии — незаконные, но «раскрепощенные»), царь вновь и вновь демонстрировал Европе: смотрите, разумейте, в пределах единой власти, покорной заповедям христианским, каждый народ сохраняет свое лицо, свои привычки, свою меру свободы. Больше того, народ как бы поработанный способен подать благой пример народу как бы властвующему — и тем искупить давнюю историческую вину перед ним.

ГОД 1818.

Генерал Ермолов закладывает крепость Грозная на реке Сунже; начинается война за Чечню и Северный Кавказ.

«...Так же трудно поработить чеченцев и другие народы края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением...

...Сделают еще экспедицию, повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся восвояси, чтобы опять ожидать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России никаких... Но со всем тем в этой непрерывной войне есть что-то величественное, и храм Януса для России, как для древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну?»

*(Из письма М. Ф. Орлова —
А. А. Раевскому, от 13 октября 1820 г.
[\[237\]](#))*

Март. 15.

Варшава.

Торжественное открытие Первого Польского сейма. Александр произносит речь по-французски; письменный русский перевод поручен поэту Вяземскому. Для депутатов с утра до вечера накрыты столы с кушаньями, возле которых, по словам очевидца, можно

«встретить беспрестанно немалое число польских законодателей».

«...Ревнуя к славе моего отечества, я хотел, чтобы оно приобрело еще новую...

Образование, существовавшее в вашем крае, позволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно свободных учреждений... которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божией, распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные.

Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости.

Поляки!.. Существование ваше неразрывно соединено с жребием России...

Докажите вашим современникам, что законно свободные постановления, коих священные начала смешивают с разрушительным учением, угрожавшим в наше время бедственным падением общественному устройству, не суть мечта опасная, но... совершенно согласуются с порядком...

...Последствия ваших трудов... покажут мне, могу ли, не изменяя своим намерениям, распространить то, что уже мною для вас совершено!»

(Из Варшавской речи.)

«...С несказанным удовольствием видел я из письма твоего, что... сие (устройство военных

поселений. — А. А.) произошло с желаемым порядком, тишиною и устройством».

(Александр I — Аракчееву, от 27 марта 1818 года, из Варшавы.)

Март. 27.

Текст речи получен в Петербурге.

Фраза из Варшавской речи: «...докажите вашим современникам, что законно свободные постановления... не суть мечта опасная, но... совершенно согласуются с порядком...», оскорбила в России многих; слишком многих. Даже тех, кто — подобно членам тайных обществ — жаждал учреждения этих самых «законно свободных» учреждений; попросту говоря — парламента. В ней и впрямь заключено нечто унижительное для русского самосознания; правитель не должен говорить о «недоразвитости» своего народа. По крайней мере — вслух. И в форме похвалы другому народу. Но если посмотреть на все с точки зрения самого монарха, то «роковая» фраза всего лишь объясняла последовательность предстоящих действий. Сначала эксперименты на малых исторических площадках — законодательный в Польше, земельный в Балтии; затем, как только окрепнет Священный Союз, масштабные преобразования в России. Недаром в Аахене, во время осеннего Конгресса стран — членов Союза, он даст честное слово генералу Мезону, что сделанное в Польше распространится на все российские владения; что коренная российская проблема будет наконец решена и свобода будет дарована коренному российскому населению.

Но как же тогда объяснить, что полугодом ранее, через месяц после Варшавской речи, все попечители

учебных округов получили предписание о новом направлении; что в печати повелено было искоренять «мысли и дух... обнаруживающие или вольнодумство... или своеволие революционной необузданности, мечтательного философствования»?

Как совместить открытые намеки царя на то, что Россия подошла к черте, за которой — великие перемены, и — жестокий цензурный запрет обсуждать крестьянский вопрос в печати?

Почему знаменитая речь малороссийского губернатора Репнина при открытии дворянских выборов в Полтаве и Чернигове; речь, в которой подхвачены были именно царские идеи о постепенном устранении крепостничества; почему эта речь встревожила царя больше, чем гнев патриотов, смертельно оскорбленных после Варшавы тем, что Польшу ставят в пример России?^[238]

Почему царь лично запретил к распространению статью пушкинского лицейского наставника Куницына об иностранных крестьянах, напечатанную в 45-м номере журнала «Сын Отечества»?

Почему в 18-м году реакция государя на публичные выступления Репнина и Куницына в поддержку готовящихся втайне перемен была куда болезненнее, чем на дворцовую петицию Васильчикова в 16-м?

Да как раз по причине их публичности! Да как раз потому, что в 16-м году только предстояло посеять семена реформ, а к 18-му они готовы были дать одновременные всходы. Чем самовластительнее и консервативнее были намерения Александра I, тем либеральнее и эффектнее были его политические жесты; чем большим радикализмом отличались его замыслы, тем самодержавнее и жестче оказывались упреждающие их меры.

Царь отказывался от сотрудничества с обществом в тот самый момент, когда оно готово поддержать назревшие перемены и подает сигналы «наверх» об этой готовности. (Даром ли именно в 1818-м «Дух журналов» напечатал полный текст Баварской конституции?)

Так что нечего удивляться, замечая, как на всем протяжении 1818 года царь последовательно совмещал противоположные полюса либеральности и цензуры. Почему ограничивается свобода? Потому что пора свободы — пришла. Потому что дан ход подготовке проекта российской конституции — Новосильцеву при помощи его секретаря Дэшана и Вяземского поручено подготовить проект Государственной Уставной грамоты Российской империи; потому что самым близким людям в окружении царя поручено разработать окончательный план освобождения крестьян.

А почему пришла пора? А как раз потому, что наконец-то создан Священный Союз, Европа обведена магическим кругом, способным защитить Россию от огня революции, русский царь как никогда самовластен, военные поселения крепнут, цензура не дремлет.

Крепость есть условие раскрепощения. Сейчас — или никогда. Вчера было рано. Завтра будет поздно.

И тут-то грянул гром, которого никто не ждал — и после которого никто не перекрестился.

ГОД 1819. Апрель.

В «Северной почте» напечатано сообщение об убийстве в Маннгейме студентом Карлом Зандом писателя Августа Коцебу, имевшего репутацию шпиона русского престола.

ЦАРЬ, ПОЭТ, ГРАЖДАНИН

Убийство Коцебу взволновало всех, вызвало толки, встревожило Двор, — но мало кто понял, что значит кинжал мангеймского студента для «большого времени» русской истории. А это был кровавый знак финала: время, словно бы нарочно отпущенное Провидением для благих перемен в России — и потраченное частью на обустройство Европы, частью на подмораживание Отечества, дабы предстоящие реформы совершились тихо, исподволь, а не бурно и разом, — время это вышло. Решаться на уновления уже не придется; череда мировых потрясений сама собою снимет вопрос о крестьянской реформе, конституции, свободе и разом превратит Священный Союз из внешней ограды внутрироссийского покоя в боевой аванпост роялизма; линии задуманного царем сюжета, вот-вот готовые соединиться, вновь разойдутся.

И уже, увы, навсегда.

Царь поймет это скоро; поняв — ужаснется; а пока, словно по инерции, он продолжает двигаться в заданном им же направлении. Именно в 19-м Балашов назначен генерал-губернатором Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской, Тамбовской губерний; то есть начался «наместнический» эксперимент (естественно, не получивший продолжения). Именно в 19-м фельдъегерь доставит Михаилу Сперанскому указ о назначении его сибирским генерал-губернатором и личное письмо царя с полным прощением и обещанием положения, «сходного тому... в коем я с вами привык находиться». ^[239] Именно в 19-м у многих либералов вспыхнет вера в скорое решение крепостной проблемы. И как раз в 19-м доблестный воин и умеренный прогрессист Михаил Милорадович, только что назначенный петербургским военным губернатором,

предложит молодому экономисту Николаю Тургеневу подготовить записку «Нечто о крепостном состоянии».

Чуть раньше такие же записки государю подали и граф Аракчеев, и адмирал Мордвинов, и многие иные из сановников Империи. А это значит, что сомнений у них не осталось: далее терпеть создавшееся положение вещей нельзя, внешние обстоятельства благоприятны, царь идее обновления благоволит, и следует поспешать с инициативой, пока ее не перехватили другие. Не только (и не столько!) потому, что иначе награда окажется меньше, сколько потому, что слишком высока цена ошибки, и плох политик, не считающий свою «платформу» наилучшей.

Милорадович в выборе «эксперта» не ошибся. И потому, что семейный тургеневский клан вообще сыграл значительную роль в истории русской общественности. И потому, что Николай Иванович в 1808-1811 годах прошел надежную геттингенскую школу экономического либерализма. И потому, что во время европейской кампании 1813 года он служил под началом барона Штейна — и многому у него научился. (А Штейн не только внушал русскому царю идею мирового всеединства, но и всегда отстаивал идею освобождения крестьян...) И разумеется, потому, что в 1818-м — этом славном и трагическом году российских канунов! — вышло первое издание знаменитой тургеневской книги «Опыт теории налогов», переизданной в 1819-м.

То было, может статься, и не самое оригинальное сочинение; зато оно доходчиво излагало учение Адама Смита о доходах. А именно: не слушайте меркантилистов, считающих, что деньги сами по себе, промышленность сама по себе суть источники государственного благоденствия. Избегайте и физиократов — ибо не земля как таковая есть основание общественного богатства. Источник же и

основание — производительность свободного труда, а налог — что-то вроде ложки, которой удобно снимать обильные экономические сливки.

Но главное — главное все же не в этом. Никакое серьезное дело — дело раскрепощения тем более — не может, не должно обходиться без тех, кто обрел в нем смысл своей земной жизни. Важны, конечно, и прагматики, вроде Милорадовича или будущего тургеневского союзника генерала Михаила Воронцова, для которых все сводится к обсчету выгод и невыгод, к реальной расстановке сил и тактике социального действия. Их незаметный холодок способен вовремя остудить горячность любого замысла: но было бы что остужать! Так вот, при всей своей подчеркнутой рациональности Тургенев был именно энтузиастом крестьянской свободы, она стала для него тем же, чем всеобъемлющий пафос Российской империи стал для Державина, строгая благоустроенность Дворца — для Аракчеева, а мечта о всемирно-спасительной роли подвластной ему России — для царя Александра I...

Читатель «Опыта теории налогов» открывал изящно изданную книжечку — и сразу узнавал, что весь доход от издания поступит «в пользу содержащихся в тюрьме крестьян за недоимки в платеже налогов». Собственно, этим было сказано главное — если не все. Недаром в том же 1818 году автор «Опыта» отправился в Симбирскую губернию, чтобы опробовать свои идеи — в своем имении. И пусть эксперимент в Тургенево удался не вполне; пусть молодой демократизатор, попробовав довериться «выборным» крестьянам, обречен был возвратить всю полноту исполнительной (она же законодательная) власти управляющему; пусть пришлось начинать с нуля — с отмены барщины и перехода на оброк; пусть. Дело не в частностях, а в сути; в готовности меняться самому и менять окружающую жизнь; в позиции, предельно ярко и

жестко выраженной в тургеневском ответе на реплику Карамзина «мне хочется только, чтобы Россия подолее постояла»: «Да что прибыли в таком стоянии?»^[240] Дело — в доверии к возможностям России, в доверии, которого Тургенев не утратит до последних дней, несмотря на все изломы своей трагической судьбы.

Пройдет почти сорок лет — и старик Тургенев, потерявший родину, молодость, почти всех близких, но сохранивший верность однажды избранному ориентиру, будет молча плакать в парижской церкви русского посольства — во время благодарственного молебна за государя Александра Николаевича, объявившего февральский Манифест 1861 года...

Странное дело — заглядывать в прошлое, размышлять о делах и людях далеких эпох. Что будет — известно заранее; чего не будет — тоже известно. В 1819 году Милорадович и Тургенев полагают, что стоят у самых истоков грядущих событий и тайный замысел царя вот-вот станет явным делом множества исполнителей, так что запреты на публичное обсуждение важных тем сами собой обесмыслятся и главное препятствие — непроницаемая «дворцовость» — будет устранено... Естественно, у Тургенева есть глаза и уши; он трезво оценивает реальное положение вещей и не на шутку опасается, что царь в последнюю минуту даст задний ход; он сомневается в успехе «безнадежного дела» — и одновременно с подачей легальной записки вступает в тайное общество, Союз благоденствия. Отчасти — как в некий резервный полк, на всякий случай (здесь не выгорит — развернемся там), отчасти по причине масонского воспитания и уверенности в «пользе и необходимости тайных обществ для действий важных и полезных...».^[241] Но сомневаться в успехе — одно, а знать о неизбежном поражении — совсем другое...

...Безумно жалко крестьян, обреченных еще не одно поколение тянуть крепостное ярмо; больно за образованный слой россиян александровского поколения — так и не дождавшихся обещанной свободы мнений... Но за людей тургеневского типа — вдвойне, втройне обидно. Если человек рожден быть «хватом», нет ничего страшнее для него, чем оказаться гражданским чиновником, а не славным воином, «отцом солдатам». Если он рожден быть «помощником царям», рвется на общественное поприще, то самое печальное для него — превратиться в нелегала. А Тургенев был именно что реформатором в законе, никак не романтическим бунтовщиком. Заговорщические «партии в масках» (вроде той, что затеял Муравьев) были не для него, не про него. Уже в послевоенном Париже 1815 года он вывел для себя жизнестроительный принцип, перекликающийся с известным афоризмом Жозефа де Местра о революции как «двухчастной» проповеди Провидения (для правителей: злоупотребления порождают революцию; для народов: злоупотребления все же лучше революции). Да, революция есть глупость, но причина ее — глупые постановления; нужно бороться с первыми, чтобы избежать второй.

Перемены вместо революции — на этом смысловом каркасе держатся все рассуждения Тургенева о политике. Он без конца повторял: никакого ослабления самодержавной власти, пока не решен крестьянский вопрос; никакого распространения политических прав дворянства — при всей общечеловеческой важности их! — пока «Россия с горестью взирает на несколько миллионов сынов своих, которые не имеют даже и прав человеческих». Почему? потому что это «было бы сопряжено с пагубой для крестьян, в крепостном состоянии находящихся», а главное — «постепенные и мирные происшествия имеют действие более

благодетельное, нежели сильные мгновенные перевороты». [\[242\]](#) (Спустя годы эту тургеневскую мысль слово в слово повторит Пушкин.)

Но суть — не в разрозненных высказываниях; суть в том, что самое устройство тургеневского разума, его способ мыслить как бы предполагали законопослушность и деятельность «со всеми сообща и заодно с правопорядком». Его точка зрения — точка зрения практического политика. Случайная, но характерная деталь. План освобождения крестьян, составленный Тургеневым в 1815 году, содержал выражения, буквально совпадающие с формулировками юношеских «Мыслей» Александра Павловича («Все... надлежит делать постепенно и так, чтобы предприятие не казалось неотменно влекущим за собою другое».) А план 16-го года, предполагавший растянуть освобождение на 25 лет, кое в чем упреждал детали аракчеевского проекта крестьянской реформы...

Так что нетрудно угадать, какое разочарование ждет Тургенева впереди, и очень скоро, — когда он поймет, что никаких надежд на правительство больше нет, а лидеры тайного общества озабочены прежде всего гражданскими правами, которые Тургенев предлагал оставить на потом; о крестьянском вопросе они готовы спорить бесконечно, и бесконечность эта — дурного свойства...

Но пока он все еще надеется. И не только сочиняет записку для Милорадовича, но и вербует молодых сторонников, внушает правильные мысли выпускнику Лицея Александру Пушкину, довершая дело, начатое лицейскими наставниками, геттингенскими соучениками Тургенева, профессорами Куницыным и Галичем. Молодой Пушкин охотно внемлет — и как бы на полях тургеневской «теории налогов» пишет все в том же 1819 году восторженно-трагическое, «римское»

по стилю, русское по теме стихотворение «Деревня», где «барству дикому» по-тургеневски противопоставляет «рабство, падшее по манию царя»... Вскоре через посредство Чаадаева Илларион Васильчиков покажет стихи монарху; около 15 октября царь попросит передать автору признательность за добрые чувства, стихами внушаемые. А несколькими днями позже Карамзин представит государю последний из своих полемических манускриптов, направленный против намерения Александра (сообщенного в личной беседе) довести польское дело до логического итога, даровать Царству Польскому полновесное территориально-государственное бытие.

Все, что мог сказать историограф, мы знаем заранее; все нам знакомо. И готовность говорить с государем без обиняков, «как мы говорим с Богом и совестью». И скептический патриотизм, заставляющий раз навсегда предпочесть единство Империи энтузиастическим порывам (даже готовность покончить с крепостным правом и конституироваться не так теперь страшит его, как стремление вогосударствить Польшу!). И требование отделять идеальное от реального; не переносить «неизглаголанное, небесное чувство» христианской веры в область практической политики Священного Союза — «ибо Солнце течет и ныне по тем же законам, по которым текло до явления Христа-Спасителя; так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов; все осталось, как было на земле и как иначе быть не может».^[243] И трезвый обсчет возможных следствий неумеренной царевой либеральности — вплоть до того, что «сыновья наши обагрят своею кровию землю Польскую и снова возьмут штурмом Прагу!». Не пройдет и тринадцати лет, как все это сбудется слово в слово — и Пушкин в

«Бородинской годовщине» прославит генерала Паскевича:

...Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

Все знакомо; даже ирония истории та же: историк и монарх жестоко спорят о том, чего не будет по причинам, от них не зависящим. Карамзин, враждуя с прогрессом и оберегая цельность Империи от либеральных покушений, полностью совпадает в своих суждениях с большинством молодых потрясателей основ, членов тайных обществ, о существовании которых государь теперь уже (с 1818 года) знает...

Но было и кое-что новое. Предпринимая последнюю попытку повлиять на царя «практически», Карамзин почти незаметно (однако существенно) менял рисунок своей независимой роли. Как бы принимая условия царской игры, соглашаясь отныне быть бескорыстным свидетелем Александровых деяний — и только, — он грозил монарху судом истории; воздействовал на него не властью прошлого, но силой будущего и знанием настоящего. К императору обращался не «пророк, предсказывающий назад», не мирской чудотворец, а посланец грядущей, еще неродившейся русской гражданственности. Потому записка и была названа —

«Мнение русского гражданина», а в самой ее сердцевине царя ожидали слова:

«Россия, Государь, безмолвна перед Вами; но если бы восстановилась древняя Польша (чего Боже сохрани!) и произвела некогда Историка достойного, искреннего, беспристрастного, то он, Государь, осудил бы Ваше великодушие, как вредное для Вашего истинного Отечества, доброй, сильной России. Сей Историк сказал бы Вам совсем не то, что могут теперь говорить Вам Поляки... Государь, ныне славный, великий, любезный! отвечаю Вам головою, за сие неминуемое действие целого восстановления Польши. Я слышу Русских, и знаю их...»

Но, не умевший подчас просчитать общественные следствия своих государственных жестов, в дворцовой сфере Александр мгновенно различал все скрытые мотивы — и видел далеко вперед. Он прекрасно понял, что в марте 1816-го Карамзин не понял ничего; что если сейчас не поставить точки над *i*, рецидивы карамзинского «учительства» неизбежны. И поступил соответственно.

С глазу на глаз, пять часов кряду, царь будет обсуждать с Карамзиным его «Мнение»; затем даст ему повод решить, что «мы душою расстались... навеки»; в конце концов, вернет расположение, — но своего добьется, задаст «параметры» общения, столь же свободного для историографа, сколь и необязательного для царя.

Переупрямленный собеседник монарха вынужден будет смириться. В декабре 1825-го он запишет для потомства:

«...В течение шести лет... мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив... не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им, большею частию, не следовал, так, что ныне, вместе с Россиею,

оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого Венценосца: ибо эти милости и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества».

ГОД 1819. Апрель. 30 (?)

В Царском Селе, по рассказу Пушкина, сорвался с цепи медвежонок и побежал по саду, где мог встретиться с глазу на глаз с Александром I. Мораль: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!»

«Подходя к дальней пустынке, вдруг увидела, что отец Серафим сидит близ своей келий на колоде и подле него стоит ужасной величины медведь. Я так и обмерла от страха и закричала во весь голос: батюшка, смерть моя! — и упала. Отец Серафим, услышав мой голос, ударил медведя и махнул ему рукою. Тогда медведь, как разумный, тотчас пошел в ту сторону, куда махнул ему отец Серафим, в густоту леса... старец отвечал мне: «Нет, матушка, это не смерть; смерть от тебя далеко, а это радость». И затем он повел меня к той же самой колоде, на которой сидел прежде и на которую, помолившись, посадил меня и сам сел. Не успели мы сесть, как вдруг тот же самый медведь вышел из густоты леса и, подойдя к отцу Серафиму, лег у ног его... видя, что отец Серафим обращается с ним без всякого страха, как с кроткой овечкой, и даже кормит его из своих рук хлебом... я начала мало-помалу оживотворяться верою...

Видя меня спокойною, отец Серафим сказал мне: «...Вот и звери нас слушают, а ты, матушка, унываешь...»»

(Из рассказа Матроны Плещеевой.)

Карамзин потерпел победу; не он первый, не он последний. И до него, и после него русские писатели приближались к подножию трона, чтобы говорить с царями без оглядки на карьеру и чины; и до, и после переживали горечь поражения — и вновь принимались за старое. Естественно, каждый действовал по-своему, как мог, как хотел. Державин был суров с молодым царем «от имени и по поручению» золотого века Екатерины, последним полномочным представителем которого он себя ощущал. Крылов расширял пространство личной свободы до размеров своего громадного живота — и доступными ему «физиологическими» и «физиогномическими» способами отстаивал право русского писателя поступать вопреки ритуалу, — являясь по вызову ко двору в дырявом сапоге или чихая на руку вдовствующей императрице...^[244] Новсе исходили из одной невысказанной, зато очевидной посылки: русская словесность приобрела статус, налагающий на художника особые обязательства; будучи русским сочинителем, нельзя отрешиться от судеб Отечества, нельзя бездействовать, нельзя молчать. Хорошо это для словесности или плохо; не лучше ли было остаться в изящных пределах гостиной; возникло бы такое самочувствие, имей российское общество возможность выражать себя через парламент, спикера и независимую газету, — обсуждать бесполезно. И да, и нет; и было бы, и не было б. Главное, что все сложилось так, а не иначе, — и Пушкину, уверенно входившему в литературу, передалось по наследству.

Во дворец его пока не призывали; зато никто ему был не указ в сквозном пространстве русского стиха. И здесь, в этом пространстве, можно было всласть наговориться с государем, — не с Александром I лично, а с государем как таковым, с олицетворением властных полномочий, — вдосталь наиграться в равноправие Поэта и Царя. Не важно, чем это «равенство» обеспечено — совместной ли подвластностью Закону (как в юношеской оде «Вольность»), или обоюдной же ему неподвластностью (как будет в «Стансах» и в «Езерском»: «Гордись! таков и ты, поэт. / И для тебя условий нет»). От перемены мест слагаемых сумма не менялась. Как бы резвяся и играя, Пушкин превратит Цензора (в Первом и Втором посланиях к нему) в таможенника, бдительно охраняющего границы соседнего — «реального» — царства от ввоза контрабандных стихов, производимых в пушкинской поэтической «империи». Ерничая, царственно простит Александру I «неправое гоненье», снизойдет к человеческой слабости монарха, которым «властвует мгновенье». В «Птичке» иронически повторит монарший жест и дарует творенью — свободу. Пройдет время, воцарится Николай I-й веселый, игровой «царский» миф разлучится со смеховой стихией, сохранив при этом расставленные ею смысловые акценты...

Но то будет гораздо позже. А пока — литературная игра, развиваясь по своим законам, неуклонно ввергала Пушкина в «сугубый», двойной конфликт. Один — рискованный — с властью, никому не позволявшей учреждать «параллельные царства». Хотя бы и в шутку. Другой — по-своему гораздо более трагический, хотя и неопасный — с оппозицией, чьи республиканские воззрения распространялись не только на политику, но и на эстетику. Литература требует служения, а не царственного владения; она совместна, а не

монопольна. С такой «поэтикой» царский миф несовместим.

ГОД 1820. Март. 26.

Выслушав шестую песнь «Руслана и Людмилы», завершённую Пушкиным накануне ночью, Жуковский дарит ему свой портрет со знаменитою надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26 великая пятница».

Первый конфликт разрешится достаточно просто и явно: южной ссылкой 1820 года. Второй затянулся надолго и по вполне понятным причинам протекал скрыто.

Часть пятая

IGNIS TATUUS: БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЬ [\[245\]](#)

*«Сильное наводнение покрыло
Немецкие и Нидерландские берега
Северного моря, порвало все плотины,
затопило многие селения, истребило
великое число людей и животных, рушило
плоды долговременных трудов... — и
тучные дотолы пажити, место прелестных
садов, покрыло густым илом, в котором
никакая травинка прозябнуть не
может...»*

*«Сын Отечества» — о голландском
наводнении 12 февраля 1825
года [\[246\]](#)*

ДИКТАТУРА СЕРДЦА И МИНИСТЕРСТВО ЗАТМЕНИЯ

Так часто бывает: чем прекраснее и величественнее задачи, поставленные властителями, тем уродливее политики, вызванные к государственной жизни для осуществления этих задач. Кем был бы Меттерних, если бы не ажурные конструкции Священного Союза, по которым он умел перемещаться с паучьей ловкостью? Приобрел бы Аракчеев такую власть, если бы не раскинувшееся до горизонта пространство поселений? Вернул бы себе после ссылки влияние сподвижник Сперанского Михаил Магницкий — если бы не евангельский проект царя, сам по себе искренний и благочестивый? А ведь вернул, стал активным сторонником новой политики Александра I, участником библейских обществ — и свел к напыщенной пародии на московские торжества 1814 года тот пафос религиозного прочтения истории, что некогда одушевил государя в пасхальном Париже:

«Не одна война составляет борьбу царства тьмы с царством света. Князь мира сего и идолопоклонством, и развращением нравов, и философией на распространение своего владычества действует...

Князь тьмы не дремлет и ныне...

...великий ратоборец царства Света, вложив обвитый лаврами меч в ножны, воет мечом Слова Божия... примером благочестия и распространением благовестия книг священных...»[\[247\]](#)

(Речь Михаила Магницкого на открытии Симбирского отделения Библейского общества, 1 января 1818 года.)

Январский просверк Манифеста («плоды безбожия и безверия!») раздут здесь до масштабов всероссийского пожара, который Магницкий вскоре примется тушить, — в конце концов добравшись и до самих библейских обществ! Странная вещь, непонятная вещь: где капля блага, там на страже иль просвещение, иль тиран...

Конечно, Магницкий являет собою предельный случай политической ярости новообращенного, помноженной на чиновное самоуправство; конечно, другие «библейские» сподвижники послевоенного Александра были гораздо мягче, разумнее, тоньше. Особенно — добросердечный князь Голицын, который 14 октября 1817 года станет во главе двойного, как тогда говорили — сугубого, Министерства духовных дел и народного просвещения; его лично тираном никак не назовешь. Но деятельность возглавляемого им министерства, которое призвано было стать как бы внутренней отраслью Священного Союза, преобразователем внешней, «священной» политики во внутреннюю, «евангелическую», — деятельность эта окажется вполне тиранической.

С университетскими вольнодумцами, создателями той самой философии, что развращает умы и нравы, разговор будет вообще короткий: став попечителем округа, Магницкий в 1819 году возьмется за Казанский университет, ревизует его программы с «христианской» точки зрения, которой, как он думал, вполне овладел сам. Недолгое время спустя подручный Магницкого Рунич расправится с петербургскими профессорами; среди прочих пострадает и пушкинский наставник Куницын — ибо преподаваемое им естественное право вообще будет предложено извергнуть из программ...

Что же касается носителей патриархального (стало быть, ни в коем случае не философского!) сознания, то им противопоставится оплот весьма экзальтированных европейских проповедников и русских основателей мистических сект: таких, как пастор Линдль, как новокатолик Госнер, как госпожа Криднер, как религиозный конфидент Царя Родион Кошелев. Противопоставится не сам собою, но с «подачи» и при поддержке министерства. Причем патриархальным невеждам и домашним богословам вроде Шишкова спорить с духовидцами не позволят — ссылаясь на запрет всех творений, где «под предлогом... оправдания одной из церквей христианских порицается другая, яко нарушающая завет любви». И потому, как только шишковист Станевич выпустит в свет брошюру «Разговор о бессмертии над гробом младенца» — против масонских идей «Сионского вестника» Лабзина и «Победной повести» Юнга-Штиллинга, вольно толкующей Апокалипсис, — автора вышлют из столицы в 24 часа, а ректора Санкт-Петербургской семинарии архимандрита Иннокентия (Смирнова), разрешившего «Разговор» к печати, переведут на пензенскую кафедру...

Вождям библейских обществ легче было найти общий язык с шаманоподобными духовидцами вроде Екатерины Татариновой, чем, например, с отцом Иоанном Поповым-Благосветовым, будущим епископом Иннокентием, апостолом Аляски и преемником митрополита Филарета (Дроздова) на московской кафедре, а ныне простым русским попом.^[248] Таинственность была императивом послевоенной эпохи; в кружке Татариновой можно было не только читать и петь, но и радеть, вращаясь в некоем духовном вальсе, пока не «накатывал Св. Дух» и не открывались тайны Божественного космоса. Недаром к кружку

Татариновой, до тех самых пор, покуда ее «дама» не оказалась бита апокалиптическими козырями архимандрита Фотия, принадлежали генерал Милорадович, издатель «Сионского вестника» Лабзин, секретарь Библейского общества Попов; к ней заживал князь Голицын; Александр Павлович не заглядывал, но благоволил... Изгнанная из светских гостиных через дверь, вера возвращалась через окна; увы, по пути она успевала до неузнаваемости измениться и не столько подрасти, сколько раздуться, как мыльный пузырь — легкий, радеющий, радужный...

Отблески этих озарений новоначальные начальники России искали и в православном мире, в русском типе набожности. Все, в чем не находили — отвергали начисто; все, во что можно было привнести жар, сокровенность и тайну — принимали — и привносили. Послевоенный Александр Павлович сохранял равнодушие к приходской жизни, зато любил наезжать в обители — в Киево-Печерскую лавру, на Валаам. Его вдохновляла дикая и девственная природа, услаждало торжественное уединение молитвы; воодушевляли полуночные долгие службы; ночные анонимные исповеди вблизи святых мощей, при трепетном свете лампы... Но то, что неотделимо от мистически напряженной атмосферы — и прежде всего ледяную монастырскую трезвость, — он как бы выносил за скобки своего религиозного опыта.

А главное... главное, на поверхностный взгляд, сравнение и впрямь было не в пользу русского священства, по крайней мере — женатого. Что видел, что слышал царь в богатых столичных храмах? Пустое велеречие, медовую сладость, маслянистую пустоту холодноватых отцов-протоиереев. Что знал о нищих провинциальных «батюшках»? Что беспробудно пьют, подчас — непотребствуют. Что должен был думать о сословии в целом, получая такие вот донесения: на

праздник Благовещения 20-го года священник Сперансов «пришел пьяный в церковь к вечернему пению: сел на скамейку неподалеку от Св. Престола и... (обсерился? выbleвал? — А. А.)»;

«угличский соборный иерей Рыкунов на 1-й день Пасхи был за вечерним пением пьян, и когда протоиерей, по окончании вечерни, вошел в алтарь, то увидел священника Рыкунова лежащим и облевавшемся в алтаре»;

в Кинешемском уезде (того же дня!) весь причт пришел к вечерне пьяным; начали буяннить; староста их запер — без огня; утром прибыл благочинный: «на амвоне и на висящей у царских врат епитрахили было несколько капель крови, и самая епитрахиль по местам изорвана... Евангелие было на престоле опрокинуто, кресты в беспорядке, св. Ковчег — на лавке у левого клироса... а у дьякона Егорова руки искусаны и в крови». [\[249\]](#)

Цитируя соответственный указ Александра I (дошли до нас «позор и нареkanie влекущие поступки духовенства...»), автор «Левши» Николай Лесков проникновенно замечает: и царь, и Голицын «жаждали видеть и уважать в духовном его духовность... когда они видели священный для них сан в унижении, они страдали так сильно, что, может быть, теперь иному это даже и понять трудно». Они «и прочие благочестивые люди их века, которых позднейшая критика винила в недостатке т. н. «русского направления» и в поблажке мистической набожности на чужеземный лад, не были виноваты в том, что грубость отталкивала их от себя», а обратиться к «общецерковной помощи, т. е. к приходу», мешали им «их туманные вкусы». [\[250\]](#)

Но даже если бы вкусы царя и его министра были иными — все равно: в церковной сфере царь наталкивался на ту же преграду, какая вставала на его пути в сфере

политической; преграду, которую он почти преодолел в 12-м году, но которая вновь выросла перед ним в 15-м. Речь о безгласии власти; о вакууме дворца. На уровне духовном этот вакуум оборачивался религиозным салоном. И это было еще одной — быть может, главной — причиной того направления, какое неуклонно принимала евангельская политика царя, проводимая князем Голицыным и его «министерством затмения» (Карамзин), «министерством религиозно-утопической пропаганды» (о. Георгий Флоровский).

Подымаясь в область идеологическую, этот комплекс психологических причин, выведивших на авансцену русской религиозно-политической жизни г-жу Криднер, Татаринову, Госнера, выстраивался в целостную систему взглядов царя.

В «Записке о мистической словесности», составленной им для сестры, Екатерины Павловны, читаем:

«Начало так называемых мистических обществ скрывается в самой глубокой древности.

...Связь между древними и настоящими обществами положила Христианская Религия.

В начале своем она не что иное была, как таинственное общество. В Иерусалимскую церковь никто не был допускаем без испытаний и очищений.

Политика Государей превратила сие таинственное учение в общенародную религию. Но... не могла обнаружить таинства.

Следовательно, и ныне, как и всегда, есть церковь внешняя и церковь внутренняя; основание учения в обеих... есть одно и то же: Библия. Но в первой известна одна буква, а во второй преподается ее разум». [\[251\]](#)

В соответствии с этой программой царь и выстроил последовательность «библейской политики», осуществленную «псарями» и унижительную для

православных: для возрождения «внешней» церкви дадим пастырям и пастве перевод Писания; одновременно издадим сочинения, предназначенные для «внутренней» церкви (по списку, приложенному к «Записке о мистической словесности»); призовем тех, кто истолкует Беме и Сведенборга, Сент-Мартена и Юнга-Штиллинга; не по букве — по духу; противопоставим «их» внутренний опыт «нашему» внешнему; постепенно перевоспитаем отечественное священство, приобщим и его «тайне брачного дня»; перевоспитанное священство займется паствой — и тем завершит реформу «духовной жизни» как составную часть «священной политики».

Именно этого ждал государь от библейских обществ внутри России и от Священного Союза за ее пределами.

А чего ждала от библейских обществ и евангельского перевода сама Россия? Многого; может быть, большего, чем отцы-основатели и сам царь. Но все-таки — совершенно иного.

Если кратко, то патриархальный период российского бытия завершался; вместе с его завершением менялись все привычные пропорции общества. Древняя формула — клирик молится, дворянин служит, ремесленник производит, крестьянин пашет — утратила свою незыблемость.

Как пар отлетает от губ, так от служилого дворянства отлетело дворянство «вольноопределяющееся», занятое тонкими материями духа, законами прекрасного, проблемами человеческих отношений. А из недр народных, из гущи крестьянства выпрастывался городской рабочий люд: мануфактурные, фабричные, горно-заводские потихоньку слипались в снежный ком российского пролетариата. Два роя готовились оторваться от родимой матки: русские интеллигенты и русские рабочие. И одновременно с этим окончательно

распалось двуединство славянского и русского «наречий» как двух уровней национального языка, сакрального и мирского, церковного — и светского. Благочестивое купечество и глухое провинциальное дворянство продолжали учить своих детей по славянской Псалтири, но большая часть общества перестала понимать смысл библейских максим, церковной службы, евангельских истин.

По крестьянам это почти не било: во-первых, какая неграмотному разница — по-славянски или по-русски печатается Библия? Да и живое «книжное» наречие города селянину не ближе высокого библейского штиля. Кроме того, простолюдин ценил символическую густоту непонятого, таинственного. Нагромождение церковнославянизмов действовало на него магически, вызывая ужас и трепет, — что, собственно, и требовалось от религиозного переживания. Если же смысл произносимой сельским попом молитвы непоправимо ускользал от молящегося, тот прибегал или к услугам какого-нибудь местного толкователя, премудрого деревенского толмача, или к помощи ложной этимологии, вместо «хлеб наш насущный даждь нам днесь» смело требуя: «дай нам есть», а вместо «яко кадило» благоговейно бормоча «яко крокодила».

В каком-то смысле недалеко от неграмотных крестьян ушли выпускники привилегированных учебных заведений. Для них церковно-славянский язык был тайной за семью печатями. В отличие от французского. И не только для них — для многих особо утонченных столичных батюшек тоже. Шутка шуткой, но что-то важное кроется за сценкой 20-х годов, о которой поведал Петру Вяземскому поэт Иван Иванович Дмитриев. Приятель его, московский священник, проходя в церкви с кадилом, всякий раз говорил барыням: «Pardon, mesdames». Он же не любил ученую риторику московского архиепископа Филарета и на

доводы Дмитриева в пользу высокопреосвященного решительно возражал: «Да помилуйте, Ваше Превосходительство, таким ли языком писана Ваша «Модная жена»?»^[252]

Что же до церковно-славянского, для них это был не просто незнакомый язык (в конце концов, учиться никогда не поздно, было бы желание). Это был чужой язык, пока не мертвый, но уже оставшийся в прошлом. На нем невозможно, противоестественно было обсуждать современные проблемы, вести живые споры о Боге, человеке, вере. Сколько бы ни гневался сухопутный адмирал Шишков на своих непатриотичных оппонентов, сколько бы ни язвил насчет их галломании, сколько бы ни твердил о необходимости «наблюдать Православие в слог» и свято хранить память о нераздельном единстве славянского и русского наречий — непоправимое уже произошло, и сам Шишков мог запросто вернуть славянское слово «прелесть» в значении французского «charmant», не слыша родной этимологии, не чуя «прелести бесовской», «лести вражией». Причем в тех самых статьях, что метили в проклятых галломанов!

Как ни далеко отстояли от молодых образованных дворян молодые необразованные рабочие, их «религиозно-языковые» проблемы были схожи. На поверхности ничто не изменилось; фабричные и заводские как бы по инерции сохранили крестьянскую связь с родной церковью и ее жизнью, отправляли культ, крестились, венчались, молились перед сном и перед едою. Но втайне от самих себя находились с Православием в отношениях «отложенного конфликта» (говоря языком современной социологии). Сама жизнь приучала их задавать вопросы и получать ответы — об устройстве станка, о зароботке, о казенном жилье; они не могли довольствоваться дедовским преданием и

родовой памятью; в них постепенно выработывалась привычка к самостоятельности. Чем случайней, тем верней; чем непонятней, тем таинственней — это было не для них, это было не про них. Они внимали не жару проповедника, но смыслу его слов, ждали убедительных доводов и разговора по существу. Для них ссылка на святоотеческий авторитет сама по себе не служила доказательством, а напоминание о том, что предки наши так жили от века — вызывало сдержанный смешок.

Перевод Евангелия, а затем и Библии, на русский язык, грозно осуществляемый Филаретом (Дроздовым), нужен был образованной части России (и ее пролетариату!) как воздух, как первая пробоина в стене, выросшей между ними — и Богом, между их сообществом — и церковной общиной. Даже если они этого сами не сознавали, даже если скрывали это от самих себя. Только ли общекультурными причинами объясняется то нетерпение, та настырность, с какою скептический^[253] Вяземский вымогал у Александра Тургенева сначала переиздание славянской Библии, а затем и русский перевод Евангелия?

«Еще просьба: пришли мне две Библии французские и две русские, или славянские, как она там у вас называются, но лучшего издания...» (1816 год);

«...и начну, а может быть и кончу тем, что попрошу, то есть потребую прислать мне русскую Библию и перевод евангелистов, что ли, о коем ты мне однажды говорил... Здесь мы смотрим на комету. Не она ли показывает мне на Библию?» (1819);

«Сейчас пришли мне Библию русскую и перевод Евангелия! Смотри же, сейчас же!.. Пуще всего Библию и перевод Евангелия: брюхом алчу!» (1820);

«Пуще всего Библию и Евангелие!» (тогда же).

И вряд ли случайно огромные по тем временам тиражи Филаретова перевода исчезали с такой скоростью, что Тургенев вынужден был отвечать настойчивому адресату:

«Сейчас прислали мне сказать из Библейской лавки, что русского Евангелия уже нет. Все вышли, а Библию посылаю. Постараюсь, однако же, отыскать (!) и русское Евангелие к следующему курьеру».^[254]

Вряд ли случайно, что Голицын буквально завален был архиерейскими письмами с просьбой допечатать... дослать... доставить...

Но такое ощущение, что общезначимое дело евангелизации России волновало лишь узкий круг библейских обществ. Остальных волновало нечто другое. Министерство Духовных дел и народного просвещения год от года все больше было именно по духовным и просвещенным, отвращая их от библейского дела (тот же Вяземский, требуя прислать Библию, иронично добавляет: «при случае упомяни об этом перед Яценкою, Поповым, Магницким и одношерстными»)^[255] А большинству тогдашних батюшек проще, привычнее, уютнее было в крестьянской и купеческой среде, чем в рабочей или интеллигентской. Ничего менять было не нужно; все и так шло своим чередом. Крестины, венчание, поминки, слезная проповедь о повреждении нравов; яичко к Пасхе, курочка к Рождеству; морозная радость крещенской иордани; золото яблочного Спаса; тихое ржание освящаемых лошадок; поздравление молодым под медный звон монет и дробное сеяние проса... Правильная, размеренная жизнь, твердая опора общенародной нравственности, прямой путь к небесному торжеству Святой Руси...

И возникал неодолимый соблазн воспользоваться бестактностью «библейских политиков» как поводом

для охранения привычного религиозного быта; отвергнув их ересетворчество, заодно отвергнуть и вопрос о необходимости перемен в собственном «духовно-практическом» опыте; спрятаться в «темноту» церковно-славянской языковой стихии от потока живой — и день ото дня все более расцерковляющейся — жизни; воспринять русский перевод Писания (и уж во всяком случае Ветхого Завета) как знак причастности к ней и ее непонятным бедам — и осудить вместе с нею...

Понять батюшек можно. Крестьяне, купцы, сельские помещики действительно сумели сохранить то, что непоправимо (и в значительной мере по своей собственной вине, из некой «сословной» гордыни) утрачивали рабочие и интеллигенты: неколебимую верность Церкви. Они и пили, и ели скромное, и воровали, и топорами рубились, и в ереси соскальзывали, — но делали это как-то по-домашнему, привычно. Точно так же, как делали их отцы и деды. Чтобы потом (опять же, как деды и отцы) на коленях приползти к порогу отчего дома, раскаяться, исторгнуть поток слез из самого сердца, смириться и снова жить по-старому, до нового срыва в ужасный грех.

Интеллигенты и рабочие никуда не ползли. Они — уходили, рвали нити, что связывают душу с алтарем. Их ереси были совсем иного свойства. А главное, они были социальными подростками, сословиями переходного возраста. С ними было неприятно разговаривать — как неприятно миссионеру разговаривать с племенем людоедов, как неприятно было разговаривать апостолам с упрямыми греками, жестоковыми иудеями, самодовольными римлянами. Ради них нужно было покидать обжитое пространство, рисковать, пускаясь в тяжкие дискуссии — с первыми о свободе, со вторыми о равенстве. Нужно было постигать ученые премудрости одних и снисходить к невежеству других, становясь одновременно и намного сложнее, и намного

проще. (Конечно, имелся и другой способ — сразу и навсегда прожигать непокорные сердца обычными, но преисполненными небесной любви и божественной силы словами; но чудотворство — удел великих святых, а Церковь состоит в основном из людей грешных.) Скажем честно: мало кто тогда понимал это; российское священство, окруженное любящими добрыми чадами, предпочло не трогаться с места, бросив на произвол судьбы угрюмых, упрямых — и пока немногочисленных — пасынков.

Расплата последует не сразу, через поколения.

Сначала расцерковленная, но талантливая, умная, вдохновенная университетская среда переманит на свою сторону поповских сынков и дочек, как Крысолов, уведет их из домашней ограды, слепит из них костяк богоборческого разночинства. Затем промышленный подъем, совпавший с падением крепостничества, расшатает устои крестьянской вселенной и превратит пролетарскую лужицу в громокипящее море. А ближе к концу XIX столетия забытые — не Богом, но Его служителями! — полюса сомкнутся. Утратившие всякую связь с Церковью и возненавидевшие освященную ею монархию, интеллигенты встанут во главе рабочего движения — и произойдет то, что произошло.

...Вряд ли именно так представлял себе возможные следствия нынешних противоречий тот самый архимандрит — позже митрополит Московский — Филарет (Дроздов), чья риторика столь не нравилась галлолюбивому попу из рассказа Ивана Ивановича Дмитриева.

Наверняка — не так.

Филарет вообще мыслил иными категориями. Становиться миссионером дикого племени неправительственных интеллигентов он не собирался — и не стал. Многие из его отзывов, действий, решений ранили — и до сих пор способны ранить — либеральные

сердца; уничижительные отзывы о владыке, данные Герценом и Сергеем Михайловичем Соловьевым, забыть трудновато. И республиканизм, и принципы открытого общества, и свобода печати, и научный прогресс — все это было Филарету совершенно чуждо.

После выхода из печати 9-го тома карамзинской «Истории...», предельно правдиво живописующего ужасы эпохи Ивана Грозного, Филарет смущенно заметит: а хорошо ли было обнародовать сии неприглядные факты? не повредят ли они монархическому чувству народа? не лучше ли было сохранить темные стороны российского прошлого под покровом тайны? После декабрьского мятежа 1825 года он произнесет проповедь, где слова «злодеи» и «преступники» будут не самыми суровыми. А после суда над несчастными злоумышленниками отслужит тот самый благодарственный молебен под открытым небом, во время которого потрясенный подросток Александр Герцен даст в сердце своем клятву верности делу русской революции. После изобретения фотографии владыка объяснит искусство светописи колебательным действием злых духов — и раз навсегда откажется сниматься на дагеротип, — а после строительства магистрали Петербург — Москва ни разу не согласится ехать из столицы в столицу поездом; на лошадках пусть и дольше, но благонадежнее...

Но, познав на себе обманчивую силу духовных томлений александровской поры, — он предчувствовал, что на Россию (а значит, на весь сопредельный мир!) надвигается беда. Апокалиптическая тревога звучит и в горьком замечании Филарета (почти на век упреждающем Освальда Шпенглера): «Время, в которое мы живем, — это не тихое утро России, но бурный вечер Европы»; и в его суровом ответе на вопрос любопытствующего — каким образом соединятся христианские церкви? — «Придут времена, и они уже

наступают, когда мы вынуждены будем забыть о своих разделениях»...[\[256\]](#)

А главное — выше идей охранительства, покоя патриархальной традиции, даже выше возлюбленного им монархического устройства России, ставил он полноту Церкви, не знающей деления на более или менее православные сословия. И по той же причине, по какой, заняв архиерейскую кафедру, святитель Филарет будет скручивать московских батюшек в бараний рог, не давая им упиваться, соблазняться, мздоимствовать, — по той же причине он не прекратит борьбу за души непонятных ему интеллигентов и не до конца приятных рабочих. Всеми доступными средствами. И кнутом, и пряником. И потрясающей суровостью, и невероятным снисхождением. И церковной проповедью, и евангельским переводом.[\[257\]](#)

...Даром ли столь различен итог «библейского проекта» — как задумывался он царем — и как был воплощен Филаретом? Результатом царского замысла стали «апокалиптический бунт» патриархалов и еще большая изоляция прогрессистов от общецерковной жизни. Плодом Филаретова осуществления стало русское Евангелие, вышедшее в 1819 году и впервые за века прочтенное многими, очень многими россиянами. Да, Филарету суждено будет потерпеть на этом пути личное поражение — вместе со своим державным покровителем; да, ему придется дорого заплатить за евангелизацию Отечества. Но и награда будет велика: Бог даст ему ровно столько лет жизни, сколько понадобится для довершения библейского дела, фактически прерванного в 1824 году. В 1856-м, по воцарении Александра II, воля монарха, мнение Церкви и насущная необходимость наконец-то совпадут. 19 мая 1858 года выйдет постановление Синода, благословившего перевод, а к 1872 году, спустя пять

лет после кончины митрополита Филарета, три части русской Библии (включавшие в себя большую ее половину) выйдут в свет.

Но к тому времени Россия уже и впрямь, как некогда обмолвился Филарет, окажется «в предместьях Вавилона, если не в нем самом».

АРМИЯ ПОРЯДКА

ГОД 1820. Январь (?).

На заседании коренной думы Союза благоденствия Никита Муравьев настаивает на царевубийстве; против предложения восстает Илья Долгоруков.

Непосредственной причиной учреждения Священного Союза и создания великой Армии порядка, в которую русские и австрийские войска входили на правах «больших дивизий», было стремление Александра I к политическому братолюбию государей Европы; ближайшим следствием стала всеобщая враждебность народов к своим братолюбивым правительствам.

Волновалась Испания, национально-освободительное движение разворачивалось в Италии, беспокойно было в Бессарабии. Не успевало прийти сообщение об убийстве герцога Беррийского (1819), как становилось известно о восстании военнопоселенческих Чугуевского уланского и Таганрогского полков (лето 1819-го); только столичные салоны успевали обсудить новость о неапольской революции Рульельмо Пепе (июнь 1820-го), как варшавские сенаторы во время Второго сейма (сентябрь того же года) отвергали все проекты законов, представленные Александром I, словно демонстрируя готовность открыто противостоять русской власти. И сразу вслед за тем, в октябре, поступали сведения о беспорядках в петербургском Семеновском полку — любимом полку государя! Рапорт о волнениях царь получил в Троппау, во время очередного конгресса Священного Союза — как-никак и созванного ради предотвращения революции.

Александр Павлович тогда же обменялся мнениями с Аракчеевым и впервые высказал смутное предположение, которое пятью годами позже, после убийства аракчеевской сожительницы Настасьи Минкиной, отзовется чеканной медью формулы: попали в Минкину, но метили в Аракчеева, а через Аракчеева — в царя:

«...никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымыслено солдатами... тут кроются другие причины. Внушение, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье... было тут внушение чуждое, но не военное... признаюсь, что я его приписываю тайным обществам, которые по доказательствам, которые мы имеем, в сообщениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работы в Троппау».

(Александр Павлович — Аракчееву.)

«Я могу ошибиться, но думаю, что сия... работа есть пробная, и должно быть осторожным, дабы еще не случилось чего-либо подобного... В военных поселениях везде, слава Богу, смиренно и благополучно».

(Аракчеев — Александру Павловичу. [\[258\]](#))

Нижних чинов Семеновского полка раскассировали; офицеров из гвардии перевели в армию; виновных отдали под трибунал. Но спустя всего три месяца, в феврале 1821-го, генерал-майор русской службы Александр Ипсиланти поднимает греческое антитурецкое восстание и вступает в Яссы; практически

одновременно валахский боярин Федор Владимиреску занимает Бухарест. Меттерних ласково объясняет Александру Павловичу, что Ипсиланти — между прочим, пославший в Лайбах объяснительное письмо, — в некотором роде карбонари, а покрывающий его злодеяния Каподистрия в некотором роде грек, — и хорошо ли ему ведать делами Российской империи? Ипсиланти из русской армии отчисляются; Каподистрии дают почувствовать нерасположение; Оттоманской Порте объявляют о неподдержке греческого восстания; опасный очаг вроде бы погашен... Но проходит еще несколько дней — и вслед за подавлением неапольского восстания вспыхивает пьемонтское...

ГОД 1820. Май. 6 (?).

Пушкин выезжает из Петербурга в Южный край России, куда определен на службу к генералу Инзову без права возвращения в столицу. По дороге в ссылку 30 мая останавливается в Таганроге. Обедает и ночует в доме градоначальника, на углу Греческой улицы и Дворцового переулка (в советское время — Третьего Интернационала и Некрасовского). Спустя пять лет в этом доме завершится царствование Александра I.

Теснимые со всех сторон, Россия и Австрия крепче и крепче сжимали друг друга в объятиях; континентальная Европа, сдавленная между мощными торсами Александра и Франца, задыхалась. Она пыталась разжать мертвую хватку великих империй; чувствуя сопротивление, те усиливали жим. Говоря строго, императорам больше ничего не оставалось, кроме как закручивать грады и веси в железные тиски: окраинные народы, до войны сдерживаемые умной имперской политикой Наполеона, а после нее — не

дождавшиеся необходимых перемен из центра и сверху, начинали перемены на периферии и снизу.

Упущенные политиками возможности вдруг оборачивались безличием исторического фатума. Неразомкнутое кольцо проблем начинало вращаться со страшной скоростью. И вальяжно-красивые, подернутые благородной сединой государственные мужи недоуменно обнаруживали, что обречены безостановочно бежать на месте, чтобы колесо истории не разорвало их в клочья.

В этот самый исторический миг Провидение поставило русского царя перед страшным выбором. Или сохранить верность идее христианского союза земных властей и пожертвовать ради того христианами, или, наоборот, защитить избиваемых христиан, но рискнуть самой идеей христианской политики. И либо расплатиться за ее прекраснодушную ложь всеевропейскими потрясениями, либо — как это часто бывает — выйти из политического поражения моральным победителем и начать заново, с нуля, обустривать послевоенный мир.

ГОД 1821. Март.

Генерал Васильчиков через П. М. Волконского обращается к государю с настоятельной просьбой вернуться.

«Революция в умах уже существует, и единственный способ не потопить корабля, это не натягивать более парусов, чем ветер позволяет. Повторяю, присутствие Государя здесь необходимо...»

Проигнорировано.

Апрель. 9.

Кишинев.

Пушкин проводит утро с Пестелем: «умный человек во всем смысле этого слова».

ВЕЛИКИЙ ТУРКА

ГОД 1821. Май. 1.

Отъезд царя через Венгрию и Галицию. В пути получено сообщение об антихристианских казнях в Турции.

Подробности произошедшего в Константинополе ужасны.

Разъяренный султан Махмуд решил отомстить грекам, восставшим против благословенного турецкого правителя, — и вырезать их поголовно. Совет турецких министров, руководствуясь восточным здравомыслием, отсоветовал поступать так жестоко и, главное, неразумно. Ибо, если осуществится задуманное, то европейские правительства вынуждены будут объединиться и пойти войною на Порту. Лучше поступить скромнее, но сладострастнее: в самый день православной Пасхи предать позорной смерти Вселенского патриарха Григория. Причем хорошо будет втравить в это местных евреев, многократно оскорбленных греками. Так спутаются карты европейских политиков. Они возмутятся, но вряд ли начнут воевать из-за смерти нескольких схизматиков; если кто и всполошится, то лишь Россия, — но ей либо придется разорвать братские узы с Австрией, Пруссией и Францией, либо смолчать и затаиться.

Судьба патриарха была предрешена. Он это понял.

Накануне, в Великую субботу, святейший попрощался со всеми ближними; в самый день Пасхи, 10 апреля, не благословил священникам служить в храмах, — чтобы не подвергать прихожан опасности

погрома, — а сам в домашней своей церкви долгие обычного совершал проскомидию.

Сразу после обедни он был вызван в Порту и приговорен к смерти. Обождав, пока пробьет час торжественной пасхальной вечерни, турки повесили патриарха на воротах его константинопольского дома; в других же частях города, как бы по магической окружности, повешены были шестеро старейших митрополитов.

Город был взят в погребальное кольцо.

Спустя три дня тело патриарха Григория было вынута из петли и продано местной еврейской общине за 800 пиастров. Турки выставили предварительное условие сделки: труп должен быть разрублен на три части и разбросан по улицам на съедение псам. Однако они недооценили торговую смекалку партнеров по кровавому бизнесу; за 100 000 пиастров те уступили грекам обязательство не выполнять турецких обязательств — и бросили труп покойного страдальца в море, привязав ему камень на шею.

И тут начались чудеса.

Греческое судно под русским флагом, принадлежавшее некоему Николе Склаво и стоявшее на рейде против Ба-лукбазара, на рассвете 14 апреля обнаружило несомые волнами останки; дождавшись ночи, моряки подняли тело. Три человека (бывший слуга патриарха и еще двое греков) опознали его. Склаво немедля решил плыть в Одессу. Вскоре пелопоннесское судно причалило к российским берегам.

Случилось это 5 мая, в то самое время, когда русский царь изо всех сил отталкивался от берегов Пелопоннеса.

ГОД 1821. Май.

Русский посланник в Константинополе барон Строганов умоляет Александра I дать инструкцию.

Решено отложить до возвращения в Петербург.

«...если мы ответим туркам войною, парижский главный комитет восторжествует, и ни одно правительство не останется на ногах. Я не намерен предоставить свободу действий врагам порядка».

Но почему, почему был совершен именно такой — двусмысленный — выбор? Почему царь столь решительно уклонился от решения? Любого, какого-нибудь? Потому же, почему пускал на самотек внутренние дела; почему не прислушивался к призывам Васильчикова и не возвращался в Россию годами; почему опасался «своих» заговорщиков меньше, чем европейских.

Беседа с Шатобрианом во время Веронского конгресса, он так объяснит свое деятельное бездействие мая-июня 1821 года: «Уже не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской; теперь лишь одна политика общая... я должен первый пребыть верным тем началам, на коих я основал Союз. Ничего не может быть более выгодного для меня и моего народа, более согласного с общественным мнением в России, как религиозная война против турок; но я видел в волнениях Пелопонеза признаки революции — и удержался».^[259] Может показаться, что за этими красивыми словами скрыта дипломатическая увертка; что волнения молдавских греков — это одно, а казни оттоманских христиан — совсем другое; что защита единоверцев в самом сердце турецкой империи вовсе не означала бы поддержки освободительного движения на ее окраинах, — а, стало быть, у Александра Павловича имелись тайные резоны предпринять все, чтобы не предпринимать ничего.

Но в беседе с Шатобрианом русский монарх почти не лукавил.

Он и впрямь не просто страшился той безличной, болотно мерцающей силы антиимперского национализма, которую неточно называл революцией. Царь давно уже уверовал в ее целенаправленность. Будучи не в силах объяснить происходящее философски, не умея разделить сакральный и реальный уровни бытия, не имея действительной опоры в русском обществе, он впал в социальную прострацию, как бы перенес невидимую брань с духом тьмы в область практической политики, а судьбы народов уподобил дворцовой жизни. И вместо надмирной воли Провидения получил «хорошо темперированный» всемирный заговор злодеев. Подобный тому, что унес в могилу его покойного батюшку, но разросшийся как минимум до масштабов Европы. Чем дальше, тем убежденнее говорил он о революции как деле рук всеевропейской тайной организации с единым центром, единой целью; о подпольной «институции», как тень повторяющей солнцеподобные очертания Священного Союза. Не важно, какое имя она приняла: масонство, карбонарство, иезуитство. Важно лишь, что незримая сеть все плотнее оплетала пространство, очищенное им от Наполеона, — и предназначенное для возведения Храма Розы Без Шипов.

В «лайбахском» письме Александра к Голицыну и Кошелеву от февраля 1821 года, написанном после получения «рапорта» от Ипсиланти, читаем:

«...Наша политика основалась на началах Священного Союза со всеми кабинетами, а особенно между тремя, которые первые усвоили себе эту идею как ключ к хранилищу, которое не удалось побороть ни революционным либералам, ни радикалам, ни международным карбонариям. Прошу не сомневаться, что все эти люди соединились в один общий заговор,

разбившись на отдельные группы и общества, о действиях которых у меня все документы налицо, и мне известно, что они действуют солидарно. С тех пор, как они убедились, что новый курс политики кабинетов более не тот, чем прежде, что нет надежды нас разъединить и ловить в мутной воде, или что нет возможности рассорить правительства между собою, а главное, что принципом для руководства стали основы христианского учения, с этого момента все общества и все секты, основанные на антихристианстве и на философии Вольтера и ему подобных, поклялись отомстить правительствам. Такого рода попытки были сделаны во Франции, Англии, Пруссии, но неудачно, а удались только в Испании, Неаполе и Португалии, где правительства были низвергнуты. Но все революционеры еще более ожесточены против учения Христа, которое они особенно преследуют. Их девизом служит: убить... я даже не решаюсь воспроизвести богохульство, слишком известное из сочинений Вольтера, Мирабо, Кондорсе и им подобных». [\[260\]](#)

Зачем спешить домой в минуту опасности, зачем рисковать, преследуя членов российских тайных обществ, зачем тушить отблески пожара, если источник огня — здесь, на Западе? Не для того ли спровоцированы беспорядки в Петербурге, чтобы принудить русского царя забросить дела конгрессов, отвлечь от главного; не для того ли стянут греческо-турецкий узел, чтобы Александр рубанул по нему и рассек священное единство государей?..

Последнее правдоподобно — но в том только смысле, что многие противники царя не прочь были воспользоваться «греческим» сюжетом — и ослабить Союз. [\[261\]](#) В остальном государь заблуждался. Греческое тайное общество подняло христианское восстание против мусульманской деспотии (Ипсиланти прямо

указывал на это в своем письме). Польские масоны, составлявшие ядро шляхетского тайного общества, были воодушевлены идеей национального мессианизма — и враждовали с иноземным масонством. А главное, в отличие от самых скромных социальных революции, самые размахистые национально-освободительные движения отрицают идею всемирности; цель их — дробление мира, географическая мозаика; их условие — отрицание единого центра. Если они вспыхивают одновременно в разных местах, это значит только одно: время пришло.

Тем более не прав он был, считая, что всемирному руководству могут подчиниться отечественные Бруты. Не только потому, что руководства не было. Даже если бы и было — все равно: их патриотизм был осознанно имперским; они стремились освободиться не от чужеземного правления, но лишь от власти нынешних правителей. Через десять лет восставшие поляки отслужат заупокойную мессу по казненным декабристам — погибшим «за нашу и вашу свободу». Историческая мифология прекрасна, — но как же трудно было реальным российским вождям сторговаться с польским патриотическим обществом о единстве действий! Да и о чем могли они договориться, если в проекте Конституции Никиты Муравьева Польша не упоминалась ни в списке из 13 «держав», составляющих в совместности Россию как неделимое целое, ни даже в списке областей? Если в «Русской правде» Павла Пестеля праву народности противопоставлялось право благоудобства и большинству «племен» предлагалось слиться в один российский народ, а жестоковывные евреи вообще обречены были на выселение в особое государство-резервацию, специально для того созданное в Малой Азии? Куда там Гавриле Державину...

Так что восхищаться мужеством греков, пьемонтцев, португальцев, испанцев русские заговорщики могли сколь угодно; совместно с ними разрушать великодержавный принцип мироустройства — не согласились бы никогда...

Но вернемся в Одессу.

Генерал-губернатор Ланжерон, справедливо опасаясь религиозного подлога (а может, чтобы потянуть время и понять, как отнесутся к новости в столицах), произвел строгое следствие, опросил множество свидетелей; затем внес гроб в карантин, где духовенство могло совершать панихиды, — и лишь после того запросил инструкции у сугубого князя Голицына. При этом он не мог прямо спросить: погребать ли мученика торжественно и величаво, как положено по его патриаршему сану, как должно по его трагическому венцу; или же хоронить незаметно и бесшумно, как жертву политического компромисса? Зато это мог — пусть в уклончивой, полунамекающей форме — разрешить себе архимандрит Феофил, законоучитель Одесского лицея. Он пользовался особым расположением Голицына и 10 мая отнесся к нему непосредственно.

«Сиятельнейший князь

Милостивый государь и благодетель!

...По вскрытии гроба, который привезен был на берег гавани, все узнали в привезенных останках патриарха... Чудно, сиятельнейший князь, после всех мучений, которые делаемы были ругателями над телом убиенного, все члены оного и даже самые волосы на голове и бороде сохранились невредимыми, кроме левого глаза, который выколот был варварами...

...Я питаю себя утешительною надеждою, что ваше сиятельство благоволите исходатайствовать Всемилостивейшее соизволение Его Императорского Величества на совершение в Одессе останкам

венчавшегося мученической смертью патриарха константинопольского последнего долга христианского с церковным приличием и на предание оных земле в греческой церкви, в Одессе состоящей...»^[262]

Письмо Феофила попало к адресату лишь 19 мая, и только 25-го содержание его было доложено вернувшемуся домой государю, — на следующий день после доклада генерала Васильчикова.

ГОД 1821. Май. 24.

Государь в Царском Селе.

Немедленно по возвращении генерал Васильчиков является с докладом, после которого царю передан донос тайного агента Михаила Грибовского о политическом заговоре со списком участников. Александр выслушивает задумчиво, погружается в безмолвное размышление и произносит по-французски: «Не мне подобает карать».

Вскоре: поступает записка начальника штаба гвардейского корпуса А. Х. Бенкендорфа с предупреждением о грозящей опасности.

«...буйные головы обманулись бы в бессмысленной надежде на всеобщее содействие. Исключая столицу... внутри России и не мыслят о конституции. Дворянство, по одной уже привязанности к личным своим выгодам, никогда не станет поддерживать какой-либо переворот; о низших же сословиях и говорить нечего... Русские столько привыкли к образу настоящего правления, под которым живут спокойно и счастливо и который соответствует местному положению, обстоятельствам и духу народа, что и мыслить о переменах не допустят».

Царь, конечно же, распорядился послать из придворной ризницы погребальное облачение и выделить казенные суммы из одесской казны. Но

впечатление, произведенное на русскую публику демонстративным самоустранением от константинопольской трагедии, никакими почестями, алтабасным золотым саккосом с омофором, траурной митрой с тысячей восьмьюдесятью пятью жемчужинами (менее драгоценной просто не нашли, хотя и долго искали в ризнице Александро-Невской лавры) — загладить не удалось. Тем более что трагическое торжество погребения постарались локализовать, не придавая ему общецерковного значения; даже Священный синод был официально извещен обо всем лишь 10 августа!

Не помогло и сравнительно милостивое отношение к греческим этеристам под водительством разбойника Кирджали: когда они потерпели поражение в битве близ деревни Скуляны и переплыли на русскую сторону, то их не только не выдали туркам, но даже и не интернировали. (Как выразился по другому поводу гоголевский персонаж: «Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!»)

Не спасло и запоздалое решение от 17 июня, совпавшее с торжественным выносом тела патриарха Григория, отозвать русское посольство из Константинополя. Общество расценило царский жест как слабовольный политический демарш, а не как суровый вызов врагу; оно правильно расшифровало государеву тайнопись: лучше вовсе не иметь своего представителя при турецком дворе, чем иметь и давать ему какие бы то ни было инструкции. Это как с возвращенным из сибирского генерал-губернаторства Сперанским: проще было еженедельно принимать его с отчетами, назначить членом Государственного совета по департаменту законов, пожаловать ему 3486 десятин в Пензенской губернии, чем откровенно признать несостоятельность возведенных на него

весною 1812 года обвинений, оправдать и спасти репутацию.

ГОД 1821. Ноябрь.

Кишинев.

Пушкин читает аббата Сен-Пьера и мечтает о вечном и всеобщем мире, который постепенно водворят правительства; и тогда не будет проливаться иной крови, кроме крови людей с предприимчивым духом, сильными характерами и страстями; и будут они считаться не великими людьми, как ныне, но лишь нарушителями общественного спокойствия; и жить на земле будет скучно и хорошо.

Русская публика все поняла. Но ничего не поняла несчастная г-жа Криднер. За что и поплатилась весьма жестоко. И без того побитая жизнью (имение ее было секвестировано для уплаты долгов пастора Фонтэня; в феврале 1817-го несколько ее сотрудников были формально изгнаны из базельского кантона, а сама г-жа Криднер попала под надзор полиции), она в конце концов навлекла на себя и монарший гнев ученика и благодетеля.

В 1821 году странствующая пророчица прибыла в Россию, чтобы проповедовать свободу Греции и объявить Александра Павловича орудием Промысла. При этом она не страшилась публично намекать на конфиденциальные разговоры с царем касательно греческих дел. Орудие Промысла вынуждено было обратиться к ней с личным письмом на восьми страницах, вежливо предупреждая о последствиях и таких проповедей, и таких намеков. Адресат не внял адресанту, и вопреки Криднерову прорицанию — «горе государствам, которые не живут им (Тысячелетием Христовым. — А. А.). Скоро раздастся шум их

падения!»[\[263\]](#) — раздался шум другого падения; и падение это было великое.

СТРАНСТВОВАТЕЛЬ И ДОМОСЕДЫ

ГОД 1821. Декабрь.

С.-Петербург.

Г-жа Криднер отбывает под надзор полиции в Лифляндию, чтобы умереть там спустя два года.

Впрочем, о «падении» — позже.

Потому что как раз в 1821-1822 годах русские заговорщики, которым царь приписал соучастие во внешней революции, переживали самый серьезный кризис внутреннего единства. До сих пор они были сплочены как бы «от противного»; их патриотическое вольнолюбие не находило применения; большинство из них сбивались в оппозицию, как в некий резервный полк, как в своеобразное «военное поселение» делателей свободы — откуда власть в любую минуту может рекрутировать солдат обновления. Да, после Варшавской речи и константинопольского самоустранения царю было бы нелегко перетянуть их на свою сторону; да, чем яснее становилось, что «резервистов» вряд ли призовут в «великую Армию либерального порядка», тем чаще заговаривали они о необходимости кровопролития. Но достаточно было серьезного монаршего усилия, чтобы разговоры эти стихли, ибо невыговоренное желание перейти из тени в свет, пригодиться там, где родились, в душах большинства «артельщиков» не угасало. По своим жизненным установкам они были не революционерами, а несостоявшимися «державниками». И какими бы тактическими соображениями (необходимость избавиться от ненадежных членов, усилить конспирацию и проч.) ни диктовались решения

Московского съезда Союза благоденствия 1821 года, — за ними, в них, сквозь них просвечивала последняя надежда удержаться по сю сторону роковой черты, не отрезая путь к спасительному отступлению.

Не случайно на съезд, объявивший о формальном роспуске прежней тайной организации и создавший новую, еще более тайную, не был допущен руководитель Тульчинской управы Павел Пестель, с которым Николай Тургенев много и жестоко будет спорить по вопросу о крестьянской воле. Московские руководители (Никита Муравьев — прежде всего) могли склоняться к революции — на словах. На деле их программы, по крайней мере до конца 1824 года, куда больше нуждались в непрерывной эволюции существующего порядка. Недаром так точны и детальны были их планы реформ, особенно экономической и управленческой, и так туманны проекты политические. набросок монархической конституции Никиты Муравьева будет столь же силен в вопросах, принципиально разрешимых по манию царя и в пределах нынешнего мироустройства, — сколь и слаб во всем, что касается либеральной будущности. Тут Муравьев ограничится риторическими восклицаниями, возвышенными образами русской политической истории (Народное вече, Верховная дума); он даже не решится переименовать конституционную монархию в президентскую республику (хотя все, написанное им о «правах и обязанностях» царя, приложимо только к президенту). Пестель решался на все.

Он был не столько радикальнее, сколько рациональнее своих товарищей по несчастью. И потому не благодумствовал: действовать так действовать; замышлять переворот — так отдавая себе отчет во всем. И в том, что напрасно упование на «легализацию» заговора, на потенциальный союз с государем; и в том, что за пересоздание русской истории придется платить

самую страшную цену; и в том, что власть, однажды взяв, необходимо будет удержать, — стало быть, муравьевским прекраснодушием («гражданство есть право участвовать в общественном управлении... чины и классы уничтожаются... остаются лишь звания Русского и Гражданина...») не обойдешься. И одним лишь цареубийством — тоже не ограничишься.

Пестелев план переделки России оформится позже. Но и в 1821-м москвичам было ясно, чего от Пестеля ожидать. Оттирая Павла Ивановича от руководства организацией, они подсознательно защищали свои иллюзии, не менее тайные, чем сами общества, от его последовательности, помноженной на сердечный холод и умственную страсть.

ГОД 1822. Киев.

Спустя год после Московского съезда открывается Первый съезд Южного общества.

Южане теперь ежегодно будут съезжаться в Киев на контрактные ярмарки, чтобы в отличие от конституционно-монархических северян с самого начала вести дело к установлению Республики.

Директорами избраны Пестель, Юшневский, позже — скорее формально — Северный Правитель Никита Муравьев; еще позже — руководитель Васильковской управы Сергей Муравьев-Апостол.

А в то самое время, когда русский царь искал пружину всеевропейского заговора, ограничиваясь в России слежкой (в 20-м создана военная полиция при штабе Гвардейского корпуса), удалением опасных офицеров (Ермолова — проконсулом Кавказа), задержкой званий, в самом крайнем случае — арестом, при его собственном дворе вызревал заговор, построенный на идее заговора.

Две придворные партии, голицынская и аракчеевская, слишком долго совершавшие совместные пируэты в дворцовом вакууме, все более надоедали друг другу. Первые были, условно говоря, юго-западниками; барочное малороссийское влияние слишком заметно в их пристрастиях и ориентациях. Вторые — еще более условно — были суровыми северянами, считали голицынцев образованными гордецами — за то, что они знались с иностранщиной и заводили государя в такие дали, где неначитанным, но верным престолу вельможам делать было нечего.

Впрочем, в начале 22-го они готовы были действовать солидарно — и друг с другом, и с беспартийными служаками вроде генерала Васильчикова, который неоднократно на протяжении 20-х годов пытался убедить царя в серьезности происходящего именно в России и необходимости сосредоточиться на ее внутренних проблемах. Им во что бы то ни стало нужно было заманить странствующего монарха домой, и не с кратким рабочим визитом, а всерьез и надолго. Заманить — чтобы припугнуть. Припугнуть — чтобы разбудить. Разбудить — чтобы тот начал действовать, прочищать заросший лес, выкорчевывать отечественные заговоры, пока революция, ожидаемая в Вероне, не полыхнула под окнами Зимнего. (В процессе санации и дворец очистился бы от противной партии. Какой из двух? Жизнь показала бы.)

Царь не постигал разницы между общим мнением и мнением общественным; дворянские интеллигенты не хотели считаться с тем, что не выражают точку зрения всей русской нации; придворные постигали все и считались со всем. Они понимали, что должны действовать не от себя — ибо времена дворцового безгласия прошли. Еще во времена Отечественной войны можно было по старинке положить письмо на

ночной столик самодержца и с трепетом ждать утреннего решения: послушает совета и уедет из армии? промолчит? или прогневается и велит казнить? Теперь так поступить было уже невозможно. Невозможно было и сослаться на «мнение народное» (на худой конец, организовать его). Невозможно было действовать и через «духовного наставника» (подставника) — за неимением последнего.

Но зато после первого Балканского кризиса и падения Криднер на месте отсутствующего исторического лица образовалась прорезь, куда можно было вставить подходящую физиономию, чтобы та провещала от имени всего русского общества — то, что нужно было русскому двору.

ГОД 1822. Февраль. 6.

Кишинев.

Арестован Владимир Раевский, член разнообразных тайных обществ, либералист, кишиневский приятель Пушкина.

СТАРЫЙ РАТОБОРЕЦ

В старину, среди множества поведенческих ролей, имелись и роли старчика и юродца: побродяжки, не желавшие трудиться, как бы заимствовали чисто внешние атрибуты православных подвижников, несущих крест многомудрого старчества и священного юродства. Заимствовали — и морочили головы своим слушателям и кормильцам. Сразу оговорим: ни тем, ни другим тридцатилетний новгородский иеромонах Фотий не был. Не был он и сребролюбцем; тем более не был блудодеем: в известной своей эпиграмме Пушкин жестоко оболгал и отца Фотия, и его духовную дочь Анну Орлову-Чесменскую («...А всею грешной плотию / Архимандриту Фотию»^[264]).

Напротив того, Фотий был вдохновенный аскет, питался водою и хлебом, во весь Великий пост ничего (в прямом смысле ничего) не вкушал; носил вериги и власяницу; Анна Орлова, как могла, спасала свою душу и отмаливала грехи отца, амурного друга Екатерины Великой и убийцы Петра III. Искала духовного утешения отца Фотия и другая его «дщерь», безутешная вдова Гаврилы Державина Дарья Алексеевна. (С тою немалой разницей, что Дарья Алексеевна была весьма скупенька, а графиня Анна невероятно щедра и миллионами раздавала на церковные нужды несправедное отцовское богатство.) И если Фотий и Анна, при более чем косвенном участии Дарьи Алексеевны, стали «соавторами» мрачного, и даже рокового, действия, по существу и доконавшего александровское правление, — то это была столько же их личная вина, сколько общая российская беда.

ГОД 1821. Апрель. 23.

Остров Св. Елены.
Смерть Наполеона.

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

(Александр Пушкин. «Наполеон».)

Пустота, воцарившаяся в «месте святе», выталкивала из глубин дворцовой жизни все смиренное, спокойное, здоровое и трезвое, всасывая в образующуюся воронку все восторженное, возбужденное, фосфорисцирующее и громокипящее. Экзальтированные особы самых разных мистических толков сменяли друг друга при дворе с тою же неостановимостью, с какою сменяют друг друга цветные стеклышки в калейдоскопе. При этом во всех проступали черты одного и того же религиозного типа — нервно-утонченного, обостренного до предела и до предела же истощенного своей экзальтацией. Будь то «женка Криднер». Или Екатерина Татаринова. Или проклинавший их отец Фотий.

Подобно графу Аракчееву, Фотий (в миру Петр Никитич Спасский) был воспитан сельским дьячком и остро переживал свою ущербность в среде людей просвещенных. Даже если они были из духовного сословия и придерживались вполне ортодоксальных взглядов. Кажется, именно сдержанное уважение московского архиепископа Филарета к человеческому знанию и книжной премудрости погубило его в глазах Фотия. Филарету не помогло ни то обстоятельство, что был он предшественником отца Фотия по настоятельству в Юрьевском монастыре, ни даже то,

что именно он некогда постриг Петра Никитича в ангельский образ. Великий русский библиист, как сказано в позднейшей «Автобиографии» Фотия, был «славен образованием»;^[265] звучит строже судебного приговора. Вообще «ученость» — худшее ругательство в устах Фотия; и подчас самое устройство его фразы выдает истинную причину его недовольства оппонентом. Он хочет сказать: последователи масона Лабзина, издателя «Сионского Вестника», суть лжеучители, гностики, интеллектуальные соблазнительники, а говорит: «люди ученые, профессора, учителя, чада Волтеровы». Он желал бы произнести: никакие доводы ума не могли победить истины простой веры, а тем не менее молвит: «У них (то есть начитанных. — А. А.) не доставало ни слов, ни смысла говорить с ним» (то есть с необразованным). Он предполагает пожуричь стиль Филаретовых проповедей, — а клеймит начитанность проповедника: «Будучи многоучен, сказывал слова свои в поучение весьма редко (вот уж неправда! достаточно взять в руки многотомное собрание избранных проповедей Филарета! — А. А.) и неудачно». Он надеется указать на предосудительную силу Филаретова влияния на трон, а получается вот что: «по влиянию Филарета и всей партии ученой его».

И нетрудно догадаться, почему так происходило.

Образованность для Фотия была порождением городской жизни, а в ней отца игумена не просто все раздражало (что правильно — в шумном городе монаху и должно быть неуютно), но все, мнилось, таит незримую угрозу и направляется хорошо организованным и законспирированным злом.

Невероятно выразительно описывает Фотий Первопрестольную, куда он ездил окормлять духовную свою дочь, «боярыню Анну»:

«...Театры, какого бы рода ни были, как бы невинны и нужны ни казались представляемые от похотливцев христиан, все суть бесовские служения, работа мамоне, мудрование плоти, языческих мерзких служб идольских останки, капища сатаны, заведения злобы многопрелестные, виды прелести диавольские, училище нечестия, служба вражия, сеть князя тьмы — земный ад насмешливый; кратко сказать, многообразная мерзость запустения на месте святе... [Большой театр] мерзость вражия — храм сатане, после 1812 года воздвигнут был близ Кремля, святых соборов и обителей, где даже слышно бывает беснование театральное в вечер и нощию среди Кремля в самых святых церквах, когда в них совершается молитвословие всенощное Богу, Избавителю Москвы и всея России от пагубы.

...Усмотрел разные идола в саду, близ дома во дворе у дщери, сказал: «Чадо, какие это вещи у тебя?» Она сказала: «Статуи и болваны»... Иные были нагие мужеские и женские изображения, так что стыд был и смотреть на мерзости языческие в местах христианских; хотя были в саду и вне дома, но жизнь бывает человека не в одном доме, а и вне дома; соблазн, разврат можно от зренья воспоминания иметь в саду и везде... Все оные идола были извержены из дому, двора и сада навсегда».

До 1820 года Фотий законоучительствовал во втором кадетском корпусе; 14 сентября был он отправлен настоятелем в третьеклассный Деревяницкий монастырь; спустя полтора года переведен в третьеклассную же Сковородскую обитель. Удаление свое — не только без желанного архиерейства, но и вовсе без награды — отец Фотий объяснял происками масонов. Он несколько преувеличивал их коварное внимание к своей скромной персоне и недооценивал заботу ангела-хранителя. Ему,

по самому душевному строю несовместимому с мирской жизнью, не понимавшему, почему православные миряне не хотят и не могут жить по монастырскому уставу, как верный служака не понимает, почему штатские не ходят строем, был дан замечательный шанс полностью удалиться от «шума городского», сосредоточиться на себе и своей душе, изнуренной непосильным (по крайней мере вдали от пустыни) телесным постом, социальными страхами, служебными обидами, истомленной сонными видениями и предвещаниями великого государственного поприща. Но Фотий, ненавидевший театральные «игрища бесовские», рвался на подмостки политического театра — ибо средневековое мирозерцание было жестоко надломлено в нем яростным индивидуализмом раннебуржуазной эпохи. Сквозь канонический узор протернута была блестящая нить — и получалась ряса с искрой, как брусничная юбка гоголевского героя Павла Ивановича Чичикова.

Вот лишь один характерный пример его двойственного, архаически-футуристического стиля — письмо возлюбленному брату, отцу Евфимию; шрифтом выделены личные местоимения первого лица.

«Отец Евфимий! Возлюбленный по плоти и о Христе брат!

Радоватися тебе желаю и спастися. Почто ты, брат, гневаешися на меня напрасно? Я написал к тебе, но конечно письма не доходили. Ты гневаешься, что я тебя с женою неласково принял и мало наградил. Я с тобою поступил как монах. Когда я и мать свою по лету не принял, то жену твою принимать и впредь не буду. И игумений, и княгинь, и графинь, и генеральш я не принимаю, то как могу твою жену принять? Она токмо в прихожей кельи была, и то тяжко было мне. О! как ты мало духовен и худо знаешь монашество! Знаешь ли, что единый взгляд может монаху вредить... Когда ты

меня бранишь в письмах, то вспомни, что я постарше тебя. Я игумен: меня и злодеи не бранят; а ты, брат кровной, меня бранишь. Жаль, отец Евфимий, что ты напрасно гневаешься. Когда тебе я противен, я могу переехать в Москву от тебя подальше и тебе оттуда не буду докучать. Я хотел [крестным] отцем быть твоего детища, имеющего родиться, и писал уже о том, а ныне не хочется, ибо ты меня оскорбил. Твоя жена была бесплодна. Я дал ей благословение, кое ты сам слышал, и Бог тебе дает чадо. Довольно тебе сего подарка. Я по силам подарил.

Конечно, ты мало читаешь Божественные книги. Читай жития святых, вина не пей никакого, со всеми живи мирно. Я был нынешнее лето болен, и три раза разрезал мне грудь доктор; и слава Богу, здоров теперь; но уже четыре месяца, как моя рана на груди не вся зажила. Ах! брат Евфимий! Ты менее меня жалеешь, нежели я о тебе. Болезни раны меня тяготят. Я рад тебя видеть ныне. Хочешь — приезжай, а не хочешь — то сиди дома. Я всегда был и буду строг. Отца с зимы не видел. Кто родится, повести мне. Посылаю тебе мое целование и с старцем отцем Симеоном.

Игумен Фотий.

1821. Октября 15 дня». [\[266\]](#)

План содержания как будто нарочно противопоставлен плану выражения.

Смысл письма вполне каноничен — негоже монаху видеться с женским полом; нехорошо, когда младший брат гневается на старшего; славно, что Бог наградил бездетную чету младенцем — вполне возможно, что и по молитвам отца игумена.

Но вот стиль... Письмо буквально пестрит личными местоимениями, «я» набегает на «мне», а «меня» погоняет «мною». Внутренний образ автора, восклицающего: «игумений, и княгинь, и графинь, и

генеральш я не принимаю», — больше похож на самоупоенного героя реалистической картины «Свежий кавалер», чем на житийный образ православного подвижника. А «библейский» плеоназм отца Фотия — «Я дал ей благословение, кое ты сам слышал, и Бог тебе дает чадо» (как не вспомнить: «Жена, которую Ты дал мне, она дала мне есть») — слишком отдает самочинием. Итоговый же вывод и вовсе превращает волю Провидения как бы в служебную силу: «Довольно тебе сего подарка. Я по силам подарил».

...И будешь ты у меня на посылках...

Столь яростно «якающая» поэтика была свойственна лишь одному церковному автору: протопопу Аввакуму. Но болезненный аввакумовский персонализм преисполнен мужества и бесстрашия; Аввакум потому позволял себе неустанно «якать», что должен был принимать на себя личную ответственность перед Богом за сохранение веры истинной, обычая отческого.

Совсем не то у отца Фотия. Его сочинения, речи, письма, даже поведенческие жесты дышат совсем иными чувствами.

Это неосознанный ужас духовного одиночества — ибо при всей своей «средневековости» отец Фотий тоже не имел церковного наставника, действовал на свой страх и риск, сам от себя, сам из себя, сам за себя. Его никто не благословлял на подвиг политического юродства. Некому было исповедать бесчисленные видения, фейерверком вращавшиеся перед воспаленными мысленными очами отца архимандрита. Не у кого было научиться аскетической дисциплине. А ведь являлись ему не только ангелы и архангелы; его не только слепило «начертание славы Трисвятого

Бога»; дело не ограничивалось даже «явлением на облаках светлых, небесных Сына Человеческого, подобием аки человек»; но Фотию случалось видеть и Того, на Кого человеку «невозможно взирати»: «Бога Вседержителя, облеченного в Солнце и сидящего на престоле славы Своея».^[267] Будь Фотий хранителем допетровских начал русской религиозной жизни, он усомнился бы в истинности лицезримого; но был он тем, кем был — самопоставленным старцем расцерковленной эпохи. И его — при всей подчеркнутой нелицеприятности и воодушевленном отказе от человекоугодничества — сжигало^[268] желание душевной любви, отклика и понимания окружающих.

Будущий священник и автор вполне неприязненной «Истории католичества в России», а в описываемые времена обычный семинарист Михаил Морошкин посещал сурового архимандрита в Александро-Невской лавре. Тот нещадно наставлял юношу, но однажды не выдержал и порывисто (а Фотий все совершал скоропостижно, в припадке священного возбуждения) воскликнул: «Ты еще полюбишь меня!» То был поистине крик души; нечто подобное, вновь как бы помимо речевой воли Фотия, постоянно срывалось у него с языка.

И наконец, главное. Бесстрашный в поступках, отец Фотий пребывал в состоянии какого-то восторженного, почти вдохновенного страха души. Перед жизнью, перед историей. И щедро делился этим страхом с окружающими: «Да будут помнить, что идет последний день суда Господня»...^[269] И как было не страшиться, если России отовсюду угрожали тайные силы — паукообразные масоны, мстительные иезуиты, протестантские проповедники, методично губящие Россию методисты, только что не квакающие квакеры, гебраисты-сионолюбы, чересчур начитанные

православные иерархи. Они плотным кольцом окружили трон, внушили царю соблазнительную мысль о возможности всехристианского единства, усыпили его православную совесть. (Здесь Фотий был отчасти прав: русский царь оказывал иностранным миссионерам такие знаки внимания — и моральные, и вполне материальные, — о каких русское священство и мечтать не смело.)

В декабре 1821 года на отца архимандрита нашел сон «сладок и глубок», во время которого были ему видения, общим числом семь.

И «была ночь и тьма велия, пред лицом же его ясно и прозрачно от земли до небеси». И явилась на востоке луна. Но «что-то аки мгла, затмевало ее, и луна поколебалась». «Затем на месте луны явился круг прозрачный, в несколько крат более, а внутри имелась аки бы часть создания земного подобием языка», и еще одна, и еще, всего три. «И вкупе сии три языка, в небесном том кругу, то вращались, то двигались». «Страх и ужас от движения их был на вся»; отец архимандрит недоумевал: к чему знамения?

И «глас был [с]выше вопиющ: к брани!».

Также видел отец Фотий «птицу черную, яко орла», «другого зверя, аки лев» и «третье животное, яко рысь, бежавших от орла».

И дал отец Фотий такое толкование сну:

«...луна есть знамение царства турецкого, нечестия магометанского; языки — знамение трех великих держав, на месте луны действовать имущих». Что же до орла, то это «есть образ царства, на полуночи сущего». (То есть, в переводе со слишком выразительного языка отца архимандрита, России.) Насчет «животного, яко рысь» в толковании не сказано ничего; но мы знаем, как позже станет называть Фотий князя Голицына — «зверь рысь». Так что и тут все понятно.

Все это очень похоже на то, что мы читали в книгах «мудрых и премудрых» отца Авеля — за двумя существенными исключениями.

Во-первых, АVELЬ — о чем было сказано — никогда не действовал самочинно и, выполнив страшный долг мистического свидетельства, смиренно передавал свои записи отцу настоятелю, а потом в консисторию — и выше.

А во-вторых, АVELЬ вообще никак не действовал. Он слишком хорошо понимал, что невозможно сразу быть и свидетелем, и прокурором, и пророком, и совершителем пророчества.

Фотий этого понимать не хотел. Пробудить! пробудить государя от благодушия! прободеть душу его словом прямым и грозным! да ведает царь, что сроки пришли, времена исполнились! Увы: духовный пожарник собирался гасить блуждающий огонь революции не песком, а солью. Прибегнув к посредничеству графини Орловой, он послал министру Голицыну букет цветов — и приготовился к ответному посланию.

Ответ не замедлил. 22 мая 22-го года состоялась историческая встреча отца игумена и министра духовных дел и народного просвещения.

ЗВЕРЬ РЫСЬ

Как же могло выйти, что «старого ратоборца» на политическую арену вывел именно тот, кого спустя всего два года отец Фотий с этой арены устранил? Духовно-политическая программа Голицына полностью расходилась с представлениями новгородца об «идеальном государстве». И он был достаточно умен и опытен, чтобы с первого же слова понять: перед ним потенциальный оппонент всех задуманных и уже затеянных начинаний.

Причина первая — и не самая важная — лежит в сфере «духовной».

Наперсник царя, раскаявшийся соучастник его двусмысленных юношеских проказ, начальник «министерства затмения», при всех своих немыслимых недостатках князь Голицын не был беспримесным политиканствующим циником вроде Магницкого. После Отечественной войны он сменил не просто линию чиновного поведения; он сменил линию жизни. Знаменитый голицынский кабинет, во всю стену увешанный иконами и соединенный дверцей с домашней церковью, не служил идеологической декорацией, молитвенной ширмой; во всяком случае, был не только ею. Равно как осуществляемая им «религиозно-утопическая пропаганда» лишь отчасти обслуживала внутреннюю политику государства, обеспечивала внутренние тылы для внешних начинаний Александра. Судя по всему, «послевоенный» Голицын действительно одушевлялся христианским мироощущением, верил, что религиозное просвещение отменит следствия безбожного Просвещения, а может быть — кто знает? — поможет осуществить мечту аббата Сен-Пьера о вечном мире и снимет разделение

церквей христианских, соединит народы Европы в одно радостное священное царство. И потому он радовался любому новому проповеднику Слова Божия, как деревенский житель радуется любому свежему человеку и бывает счастлив поговорить с ним. Особенно проповеднику энергическому, обладающему наэлектризованной силой. Этим объясняется его первоначальный интерес к Фотию, лишь позже связавшийся с практическими интересами. (Сам отец архимандрит объяснил внимание вельможи к своей — с иерархической точки зрения более чем скромной — особе гораздо проще: а кем же еще Голицыну интересоваться?)

Но ведь князь не просто побеседовал с игуменом, не просто лично сошелся с ним; он сделал все, от него зависящее, чтобы сблизить отца Фотия с государем. А такой шаг «нравственным любопытством» уже не изъяснишь. Тут вступает в действие «причинность второго порядка», социальная.

Потому что жар в крови, вскипавший от вулканоподобных обличений и проповедей Фотия, [\[270\]](#) не мешал князю холодно обсчитывать выгоды и невыгоды возможного союза, как политические соображения, выгоды и расчеты не мешали Голицыну искренне переживать собственно религиозный смысл своей министерской деятельности.

Один из практических мотивов, какими руководствовался князь, лежит на поверхности. Фотию чем дальше, тем более заботливо покровительствовал первенствующий член Священного синода митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Серафим. А тот не жаловал Голицына, откровенно недолюбливал Филарета, угрюмо молчал на заседаниях Библейского общества, затею с переводом

Священного Писания не одобрял, засильем иностранных проповедников возмущался.

Оно бы и не беда — не всем же любить Голицына и библейские общества (тем более что и он был не ангел, и с теми далеко не все обстояло просто). Да и сам по себе робкий митрополит Серафим опасности не представлял. Но при дворе, как мы помним, почти как в декабристском движении, имелись южное и северное общества. Здесь дыхание политического Юга наталкивалось на ледовитые веяния северян. Циклон сходил с антициклоном; атмосфера была грозовой. Голицын имел все основания опасаться, что союз всевластного новгородского помещика Аракчеева с робким новгородским иерархом пополнится более чем активным новгородским игуменом. И тогда неприязнь митрополита Серафима к делу библейской пропаганды и неприязнь Аракчеева к давнему конкуренту в борьбе за особо укромный уголок в большом государевом сердце, помноженные на устрашающее бесстрашие Фотия, могут обернуться Дворцовым ураганом, сметающим все на своем пути.

Следовало если и не перехватить, то по крайней мере Упредить удар.

Кроме того, Голицын помнил — не мог не помнить, — какую тему избрал Фотий для своей скандально известной проповеди в Казанском соборе 27 апреля 1820 года: влияние лжеучителей и тайных обществ на народную нравственность. И вполне вероятно, что отец игумен понадобился князю для религиозного блицкрига, краткосрочного крестового похода на тайные общества.

Не то чтобы ему так уж претили масонские ложи сами по себе; не то чтобы он горел желанием разогнать мистические кружки. Все сложнее, все — если тут уместно это слово — интереснее.

Прежде всего: на роль «организатора и вдохновителя» воображаемого царем всемирного заговора революционеров, тянувшегося в Россию из некоего международного центра, могли претендовать лишь общества, имеющие разветвленную сеть организаций, разбросанных по свету, но жестко подчиняющихся «ядру». Конечно же первым на мысль приходил орден иезуитов. Но, во-первых, иезуитов из России в 1821 году (как раз накануне знакомства Голицына с Фотием) изгнали; во-вторых же, считалось, что одной из косвенных причин их изгнания стал переход в католичество голицынского племянника. Кто-нибудь из многочисленных врагов министра мог внушить государю мысль о том, что искра революционного пламени 20-х годов раздута иезуитами; что они ушли из России лишь формально, повсеместно расставив своих незримых агентов; что религиозное предательство одного из ближайших родственников Голицына может быть неслучайным и в лучшем случае указывает на потенциальную возможность измены сугубого министра, а в худшем — на то, что именно он и стал тайным католизатором России, катализатором католико-революционного процесса. Последствия легко было представить; о судьбе Сперанского тогда еще не успели забыть. А к масонам Александр Павлович если и не принадлежал явно, то несомненно им благоволил без всякого наущения Голицына. И если удар направить на их сомнительное племя, Голицын окажется чист.

Наконец — о чем речь уже шла — мысли царя следовало перенаправить из Европы в Россию, припугнуть его внутренней угрозой, понудить к резким шагам и превентивным мерам. Эту цель полностью разделяла противная партия; на том — пока — можно было и помириться с верными аракчеевцами. Вчера

было рано, завтра будет поздно; ей, гряди отче Фотие,
старый ратоборче!

И Фотий грянул.

ПОБОРНИК ЦАРЕЙ

Голицын роковым образом обманулся в своих расчетах.

Митрополит Серафим и впрямь был «муж прост». Но вполне сложен был граф Аракчеев, который до поры до времени предпочитал оставаться в тени. И Фотий, несмотря на всю свою некнижность, тоже оказался отнюдь не простецом. Очень скоро стало ясно, что быть голицынским тараном он не намерен. Напротив того, сам отводит «князю-наперснику» вполне «орудийную» роль. Если тот целил в международных масонов, чтобы рикошетом попасть во внутренних врагов священного порядка, то Фотий ограничиваться этим не собирался. Перед ним стояла глобальная задача, сопоставимая с той, что позже встала перед бактериологом Пастером: раз и навсегда привить человечество от сибирской язвы иллюминатства, отраслями которого он считал не только вольных каменщиков, но и лютеран, и католиков, и библеистов. С тайных обществ следовало лишь начать, потом предстояло приняться за инославных гастролеров, чтобы в итоге добраться до корня всех зол, до возлюбленных князем обществ — библейских.

Потому уже во время первой встречи он постарался полностью овладеть княжей волей: дабы Голицын «рад был делать все, что Фотий внушал». А затем попробовал отсечь от Голицына главного русского революционера и злоумышленника — архиепископа Московского Филарета, который, по мнению Фотия, «многолетно имея доверие у князя, не токмо не направлял его сердце в пользу святой церкви и благочестия, но при его влиянии на князя, содружестве, все секты, все нововведения и прочие соблазны князь делал, самого

Государя вовлекал время от времени в большие заблуждения, и Россия потоплялась от зловерия». Примечая, что Филарет, «когда где» с ним «сретался, то вид лица имел даже изменен», Фотий толковал это так: архиепископ Московский, «видев уклонение князя от себя к митрополиту более, имел зависть и неудовольствие к Фотию».

Так часто бывает: борец против заговора (настоящего ли, мнимого ли) сам начинает действовать как заговорщик; вычисляя изощренный ход мысли своего врага, сам попадает в трясину детективной логики; видит в людях не то, что они есть, а то, чем они могли бы быть — если бы и впрямь затевали нехорошее. Фотию и в голову не приходило, что противная сторона способна испытывать другие чувства, кроме зависти. Что московский владыка просто-напросто понял, куда клонится чаша государственных весов — и к чему приведет кометообразное вторжение новгородского игумена в пределы столичного небосвода. Что не покровительство Голицына он опасается потерять, а страшится погубить дело христианского просвещения послепетровской России, великое дело ее новой катехизации, значит, лишиться последней надежды покинуть «предместия Вавилона». Что же до Фотия лично, то архиепископ Филарет не мог не знать от Голицына о беспрестанных видениях отца игумена, во время одного из которых некто в образе святого Георгия Победоносца пропел ему прижизненный акафист: «...яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче». И уж почти наверняка ему было известно, что смиренный архимандрит не сразу согласился на встречу с русским царем, «скорбя в сердце на него за тяжкие заблуждения и соблазны, святой Церкви учиненные». Филарет же, при всей своей «учености», твердо держался древнего правила, о котором поборник

Святой Руси Фотий запомнил. А именно: особа государя, яко помазанника Божия, священна, и кто кроме великих святых может решать, достоин ли самодержец свидания? Фотий решал — стало быть, кем он себя делал? Было от чего меняться в лице.

ГОД 1822. Март. 26.

Пушкин заканчивает черновую редакцию стихотворной сказки «Царь Никита и сорок его дочерей».

27.

Пушкин говеет.

Дела по Коллегии иностранных дел поручено единолично исправлять графу Карлу-Роберту Васильевичу Нессельроде. Граф Каподистрия поселяется в окрестностях Женевы.

«...удалился бы в какой-нибудь уголок, и жил бы там счастливый и довольный, видя процветание своего Отечества и наслаждаясь им...»

Впрочем, в 1827 году он станет первым президентом освобожденной Греции, чтобы в 1831-м погибнуть за нее.

Но в конце концов поборник царей снизошел к монаршей немощи.

5 июня 1822 года, в день памяти святого князя Феодора, брата святого Александра Невского (могины Феодора, между прочим, первоначально были погребены в Новгородском Юрьевском монастыре), знаменательная встреча произошла.

До ее начала князь Голицын пригласил Фотия к себе, чтобы направить его гневные мысли в нужное

речевое русло; наивный! Фотий даже союзного ему митрополита Серафима слушать не стал, воскликнув: «Владыко святой! я не знаю, что царь будет говорить мне и как, а потому учиться не могу, что говорить и как заранее: даждь лучше мне образ в благословение для царя». Так что покуда Голицын наставлял, Фотий, опустив глаза, «слагал на сердце своем, какая вина, что князь старается наставлять его, помыслил, что верно князь опасается, дабы чего о делах церкви не сказал царю Фотий по своей ревности».

А что же Александр Павлович? Догадывался ли он о скрытых намерениях — и самого сугубого министра, и его коварного гонца? Вряд ли; скорее всего, он ожидал очередного прославившегося духовидца, рассчитывал на волнующее и ни к чему не обязывающее парение в светящемся молитвенном тумане, как было некогда с госпожой Криднер, или — в 1818 году — с квакерами. А может быть, он и впрямь надеялся найти бескорыстного праведника, что откроет ему сокровищницу богознания, развеет его полное духовное одиночество, наполнит его душевную пустоту. Именно о страшном религиозном одиночестве он будет говорить в 1823 году с невольным оппонентом Фотия, отцом Феодосией Левицким: «что он не видит и не знает таковых духовных и благодетельствованных свыше людей, посредством коих... великие дела Христовы в сем мире благонадежно совершаться бы могли; а только известны ему и под одеждою духовною почти все служители Христовы, плотские и земные, к оным весьма неспособные». [\[271\]](#)

И потому особенно сильно подействовало на него нервно-профетическое поведение Фотия. Войдя в царские покои, тот начал быстро-быстро крестить все вокруг, даже стул, царем предложенный, как бы прозревая повсюду толпища бесов, что окружают

монарха. Вместо ожидаемого молочно-зыбкого тумана в комнату ворвалась молниеносная гроза — и разговор пошел не об озарениях и созерцаниях, но об угрозах и опасностях. И без того растревоженный началом аудиенции, государь и вовсе пришел в трепет, услышав:

«Никаких нужд я не имел земных для обители и себя, и не имею; с нами Бог, а с Ним все у нас есть. Едино есть тебе нужно поведать, для тебя паче всего нужное: враги Церкви святой и царства весьма усиливаются; зловерие, соблазны явно и с дерзостью себя открывают, хотят сотворить тайные злые общества, вред велик святой вере Христовой и царству всему; но они не успеют; бояться и нечего, надобно дерзость врагов тайных и явных внутри самая столицы в успехах немедленно остановить. Как поток водный — всюду нечестие, зловерие разливается. Господь с тобою, о царю! Все можешь ты сотворить».

Александр не только пал на колени перед Фотием, прося его благословения; не только неоднократно просил поскорее перекрестить его; не только лобызал руки праведника (чего, как царь, совсем не был обязан делать); в конце концов, все это привычные жесты его религиозного поведения. Главное заключалось в другом. В вопросе, заданном Фотию: что же делать!

Ответ прозвучал громогласно.

«Противу тайных врагов тайно и нечаянно действуя, вдруг надобно открыто запретить и поступать».

ГОД 1822. Июнь.

Игумен Фотий готовится к отбытию в Сквородскую обитель; внезапно вызван в Павловск, для беседы со вдовствующей императрицей Марией Феодоровной.

Разговор. Фотий одобрительно отзываясь об Александре Павловиче и митрополите Серафиме;

непохвально — о князе Голицыне «и прочих... сынах беззакония». Вдовствующая императрица особенно интересуется подробностями «о тайных внутренних врагах»; радуется, когда Фотий указывает на ее давних недругов, Александра Тургенева и Родиона Кошелева, как на главных смутьянов; с тем, что Голицын «не вполне виновен», не согласна, но готова принять, что «он будет полезен». Пока полезен.

Отец игумен отпущен с великим благоволением; позже он будет удостоен рескрипта и золотых часов.

В жутковатую политическую игру, одновременно и как бы с разных концов затеянную князем Голицыным и митрополитом Серафимом, вовлекались все новые и новые участники. Мария Феодоровна не включилась в интригу напрямую, но как бы зафиксировала свое особое место в ней: на обочине; такое же место она раз и навсегда отвела себе в русской политике — обочину, которая в любой момент может обернуться центром. Аракчеев пока таился и выжидал, но нетрудно было понять: он внимательно следит за всем происходящим из укромного уголка и в любую минуту готов выйти на авансцену, чтобы повернуть ход сюжета — на себя.

А тем временем Александр I опять постарался обмануть всех. Меры против масонов он принял; 1 августа направил высочайший рескрипт на имя министра внутренних дел Кочубея о закрытии и недозволении впредь любых тайных обществ и о даче государственным служащими подписки в том, что они не состояли, не состоят и состоять в таковых не будут; пожаловал Фотию алмазный крест (возложен тогда же, 1 августа; и это не случайное совпадение, но политический жест); чуть позже утвердил определение митрополита Серафима о назначении Фотия архимандритом Юрьевского монастыря.

Но этим ограничился и опять надолго уехал за границу: проводить конгресс в Вероне, вести

переговоры о подавлении революции в Испании, уступить Англии свою роль на Востоке ради сохранения порядка на Западе. (Кстати, именно осенью 1822 года окончательно расходятся их пути с Лагарпом: наставник вежливо покритиковал политику воспитанника в личном письме; воспитанник переписку прекратил...)

Но лиха беда начало. По возвращении домой можно было вернуться к июньскому разговору, убедить царя в необходимости открыть второй — российский — фронт войны с революцией; по крайней мере — удержать его дома. Последнее им удалось, первое — нет.

ГОД 1823. Январь. 20.

Государь в открытых санях въезжает в Царское Село. Последнее заграничное путешествие завершено.

Февраль (?).

Киев.

На заседании Южного общества приняты основные положения проекта республиканской конституции Пестеля, позже названной «Русская правда»; определен и образ введения ее в России. Предложено оставить медленную систему и ускорить ход действия мерами насильственными.

Февраль. 21.

С.-Петербург.

Граф Нессельроде докладывает государю о просьбе Пушкина разрешить ему отпуск в Петербург.

Резолюция: «Отказать».

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны...

(Александр Пушкин. «Птичка». 1823.)

И это при том, что внутренне царь оставался верен прежним идеалам и намерениям; что желание освободить крестьян и «усчастливить» Россию свободой его не покидало ни на минуту. Даже Тургенев, чьи надежды на перемены «сверху» все слабели, тем не менее вынужден был признать, что Александр всегда утверждает решения Государственного совета в пользу крестьян, — пускай они и приняты меньшинством. Даром ли в «реакционные» 20-е годы на важные посты последовательно назначались разумные сторонники преобразований, вроде Михаила Воронцова, Арсения Закревского, Павла Киселева, Васильчикова? Больше того, многие члены тайных обществ, поименованные в доносе Грибовского, не были отставлены.^[272] (Как тот же Николай Тургенев.) Но люди назначались, а дело не двигалось с мертвой точки; если военные поселения, по едкому тургеневскому отзыву, оставались формами без содержания, то прогрессивным чиновникам «урожая 1820-х годов» суждена была участь содержания без форм.

Царь снова ждал очередного сигнала истории, обеспечивал тылы, не открывая внутреннего фронта; он снова готовился — к возможным обстоятельствам. Но обстоятельств сам не создавал и пресекал малейшие поползновения, имеющие целью их создание. Как поступил Он с депутацией Васильчикова в 16-м, как

действовал после выступления Репнина в 18-м, — так точно обошелся он и с «подписантами» очередного обращения в 1820-м, когда братья Тургеневы, граф Воронцов, князя Меншиков, Потоцкий и Вяземский попросили дозволить общество для содействия освобождению крестьян. Поговорив с Воронцовым предварительно, царь вроде бы одобрил затею; получив «подписной лист», в июне 20-го остановил порыв душевладельцев. Не нужно обществ, не нужно шума городского. Пусть будет на невских башнях тишина. Кто хочет действовать и предлагать — пусть обращается к министру внутренних дел. Лично. А там, глядишь, что-нибудь да выйдет...

Печально. Так и не укоренившаяся в реальном российском обществе, не включенная в систему сообщающихся сосудов, русская государственная жизнь вернулась в замкнутое пространство дворца, и ее пируэты в зеркальной пустоте дворцовых зал час от часу становились все головокружительнее.

А стихия русской общественности, оставшись не у дел, лишенная государственных скрепов и предоставленная сама себе, тоже закружилась смерчем по городам и весям, чтобы рано или поздно вернуться в столицы.

И когда ритмы вращения самодостаточной государственности и самопредоставленной общественности совпадут, когда две круговерти ринутся одна навстречу другой и под их обоюдным напором дворцовые стены треснут — тогда совершится то, что совершилось.

Ждать остается недолго.

НЕВЕСТА ФЕОДОСИИ

С точки зрения князя Голицына Фотий выполнил свое предназначение. С точки зрения Фотия Голицын своего предназначения не выполнил. Рано или поздно князь должен был понять (или ощутить), что партия северян падением масонства не удовлетворится и что Голицыным запущенный бумеранг, описав круг, несется напрямиком на сугубое министерство. Нужно было срочно найти замену Фотию, начавшему безудержное восхождение к вершинам власти, вытеснить подобное подобным, перенаправить вектор «духовной интриги» с севера на юг.

Во второй половине 1822 года в руки Голицыну попала рукопись мистического сочинения, возвышенно поименованного: «О необходимости и неотрицаемом долге Церкви заботиться о просвещении всех остальных языков и возвращении всех христиан ко святому единомыслию». Автором сочинения был священник из города Балты, что близ солнечно-теплого городка Каменец-Подольского, отец Феодосии Левицкий.

Все в этой рукописи напоминало Фотия: и тревожный восторг провинциального духовидца, и пропитанность недопонятым Апокалипсисом, и всемирный охват мысли, и рассуждения об опасностях, русскому трону грозящих. Но если Фотий запомнил из Откровения Иоанна Богослова про смерть и разрушения, про землетрясения и войны, то Феодосии — про блаженство Нового Иерусалима; один уверовал в Гогу и Магогу, другой — в Тысячелетнее Царство; один считал себя ангелом брани, другой именовался «невестой царствия Христова», намекая на то, что он и «жена, облеченная в солнце», — одно и то же лицо. Один хотел бы сузить Православие до предела, другой

— расширить до беспредельности. Один готовился пресечь «библейский соблазн», другой готов был насмерть стоять за дело мистического просвещения России. Один видел причину назревающей революции в распространении библейских обществ, другой — в насилии польских помещиков над русскими крестьянами и разорительности военных поселений.

И главное, один указывал царю на графа Аракчеева и митрополита Серафима как на путеводителей из тупика, другой готов был указать на князя Голицына и Родиона Кошелева.^[273] Очевидно, именно это обстоятельство и решило судьбу отца Феодосия.

Голицын выбрал удобную минуту. Скорее всего, произошло это в марте или в апреле 1823-го, когда Фотий отправился сначала в Москву, проведать дочь-девицу и лично убедиться в служебном несоответствии архиепископа Филарета, а затем в Новгород, — князь в выгодном свете представил государю социально-мистическое сочинение благочестивого батюшки. А уже 3 мая отец Феодосии получил вызов в столицу. Как сам он полагал — «собственно ради спасения человеческого рода»;^[274] в действительности же, ради куда более скромной надобности. А именно, для замещения и вытеснения из государственной орбиты чересчур активного «спутника».

Только так и можно объяснить невероятную плотность майских событий. В ночь с 20-го на 21-е пылкий южанин прибыл в Северную столицу, а 27-го он был уже представлен Александру I.^[275]

Как ровно год назад в случае с Фотием, государь троекратно подошел под «осязательно-совершительное рукоблагословение» — и потекла усладительная беседа, в направлении, противоположном тому, какое в прошлом июне предложил (и впоследствии еще не раз предложит, и предложение будет с благодарностью

принято) отец Фотий. Не о Тартаре, червии и змие, но об изобилии плодов земных, о временах мирных, о приближении сроков и о священной радости всемирного покоя, всех ожидающей вскоре. Причем, как позже будет вспоминать отец Феодосии, государь «сам де имел многие мысли, в моем слове к Его Величеству помещенные (особливо о воззвании разделенные христианские исповедания ко святому единству, и о принятии подобающих средств к просвещению неверных)». А потому отец Феодосии в труде его был утвержден и получил дозволение «свободно и без всякого опасения» обращаться к монарху напрямую — устно или письменно.

ГОД 1823. Лето.

Бестужев-Рюмин и Муравьев-Апостол планируют во время Бобруйского смотра арестовать Александра, выступить на Москву и поднять восстание в Санкт-Петербурге.

Директория план не поддерживает.

Александр I в Бобруйск не приезжает.

Казалось, Голицын мог вздохнуть с облегчением: часть территории, бездумно подаренной им аракчеевцам в мае-июне 22-го года, была возвращена. Но очень скоро обо всем (не от Аракчеева ли?) узнал митрополит Серафим; он встревожился; 23 июня пригласил отца Феодосия к себе и во время недолгой беседы попытался уговорить ограничиться обращением «к православной церкви великороссийских раскольников». Если бы за этим предложением не просматривались чисто политические мотивы, можно было бы сказать, что митрополит абсолютно прав. Конечно, он не был прозорливцем и не мог предугадать будущность отца Феодосия, который чем дальше, тем с

большим трудом станет удерживать свои мысли в рамках церковного приличия; начнет проповедовать новое, не нуждающееся в литургии, самопричащение «иерусалимским хлебом»; введет особо впечатлительного слушателя, рясофорного монаха Мисаила в экстатическое состояние, так что тот снимет со стены икону и потребует от перепуганного Феодосия клятвы, «что непременно-де ты будешь Папою». Но не нужно было обладать особым провидческим даром, чтобы понять: в митрополичьих покоях сидит и сверкает глазами добросердечный и полубезумный проектант, готовый лично обеспечить просвещение «всего остатка народов» и сближение их «в первое Святое Христово единомыслие и совершенное единство». Прямо сейчас, скоропостижно, в благословенное царствование императора Александра I...

Нетрудно догадаться, что совету митрополита отец Феодосии не внял.

Впрочем, серьезных «ответных действий» противная сторона предпринять пока не могла — ибо государь «по обычаю своему выехал посещать Империю»; на это Голицын и рассчитывал. У него было время подготовиться к бою и закрепить первоначальный успех.

Для начала князь подтянул к Дворцовой набережной передовые отряды южан.

В сентябре прибыл архиепископ Кишиневский и Хотинский Димитрий; вместе с ним приехал иеромонах Паисий, «муж ангельского, младенческого, незлобивого нрава». Затем появились издавна знакомые отцу Феодосию отцы архимандриты — Георгий из Каменец-Подольского (впоследствии епископ Полтавский) и кишиневец отец Ириней, «муж достохвальный и весьма благодвижный» (будущий епископ Пензенский и Саратовский). А 14 октября на помощь новому Юнгу-Штиллингу, отцу Феодосию, явился лично вызванный

Голицыным отец Феодор Лисевич, заштатный священник Свято-Троицкой церкви, что в местечке Томашполь Ямпольского уезда Подольской губернии.

Спустя два месяца, 18 декабря, Голицын предъявит отца Феодора государю — чтобы усилить впечатление, произведенное «старшим по званию» отцом Феодосием. (По принципу сугубый министр — сугубое действие.) Государь впечатлится; попросит усердно помогать Левицкому «молитвою о всеобщем спасении мира».

Об этом можно было бы и не просить: 19 октября, преисполненные «дивным строением Промысла Божия», убежденные, что «время суда Божия весьма приблизилось, что знамения пророческие и апокалипсические исполнились и ныне явственно исполняются», отцы Феодосии и Феодор уже совершили некий сакральный акт самопереименования, — вполне в духе народной малороссийской религиозности. На время предстоявшей им великой работы «о всеобщем спасении мира» они приняли тайные имена: Лисевич — Григория, в память святителя Григория, Омирийского чудотворца; Левицкий — Феодора. Сделано это было не только в знак, что «сия служба и дело не есть дело нас убогих и немощных... но собственно Божественная Десница», но и как бы ради соблюдения «судебных формальностей». Они сознавали себя «формальными свидетелями» приближающегося Божественного суда над миром. И, если угодно, готовили проект конституции будущего небесно-земного государства, той становящейся, но не ставшей Российской империи, что, сохранив свои нынешние границы, в то же время невидимо расширится до пределов всего мира, просвещенного светом Евангелия. Так и осуществится «дивное, праведное и пресвятое» Царствие Божие на земле. Как подданные русского царя и служители Русской Православной Церкви они прозывались Феодором и Феодосием; как прижизненные граждане

небесного Царства и служители Всемирной Церкви они именовались Григорием и Феодором; и только близлежащая эра христианского коммунизма подарила бы им — и каждому из людей — право на единственное, истинное и пока никому не известное имя...

«ХОТЬ ПЛЮНУТЬ ДА БЕЖАТЬ...»

Как раз в эти годы в моду вошли разговоры о гидростроительстве, о дамбах, об осушении морей — и о мести природы за покушение на ее властные полномочия. Чуть позже, в конце 1824-го и в начале 1825-го, случатся два страшных наводнения — в Петербурге и в Нидерландах. Оба наведут ужас на окрестных жителей, принесут смерть и разрушение; философы и сочинители срифмуют их с пророчествами о последних временах. Гёте сочинит одну из самых мрачных сцен второй части «Фауста». Ту, где в порыве преобразовательного безумия Доктор приказывает Мефистофелю осушить берег залива — и обрекает на гибель блаженно-счастливую чету стариков, Филемона и Бавкиду.^[276]

И тогда же ссыльный Пушкин напишет «Сцену из Фауста», где скучающий мыслитель будет прогуливаться с Мефистофелем вдоль кромки моря и просто так, ни за чем, от скуки, велит потопить флотилию...

Оглядываясь назад из нашей исторической дали, и мы видим пустынный песчаный берег и маленького коронованного человечка, на которого несется огромная волна. Остановиться, оглянуться — значит погибнуть; бежать — значит потерять пространство, отвоеванное у стихии мировой истории.

Он — бежал.

**Вставной сюжет. МАРШРУТЫ
ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
АЛЕКСАНДРА I ПАВЛОВИЧА ЗА
1819-1825 ГОДЫ
(Выписки из камер-фурьерского
журнала с некоторыми
пояснениями.)**

1819

26 июня отъезд в Марьино, имение гр. С. В. Строгановой, в 11 ч. утра, причем ночлег был на станции «Померанье» Новгородской губ., 27 приезд в Грузине. 29 возвращение из Грузина в 7 ч. 15 м. вечера, 23 июля отъезд в Архангельск и Финляндию (на 42 дня) в 7 ч. 20 м. утра.

Примечание. В то самое время, как царь вкушал картошку в простой финской избе и отказывался есть ананасы по причине их несообразности с окружающей обстановкой, граф Аракчеев обдумывал формулы личного письма к «батюшке» о расправе над бунтовщиками из Чугуевского военного поселения. Расправе — несообразной со степенью вины военнопоселенцев. 275 человек приговорены были к лишению живота; приговор смягчен: 52 человека пропущены сквозь строй из тысячи шпицрутенов 12 раз. 25 человек после наказания умерли.

В конце концов Аракчеев отправил два письма. В одном, официальном, говорилось: «С призыванием на помощь Всемогущего Бога, я видел с одной стороны,

что нужна решимость и скорое действие, а с другой — слыша их злобу единственно на меня, как христианин останавливался в собственном действии, полагая, что оно... признаться может мщением за покушение на мою жизнь». В другом, личном, обращенном «уже не к Государю, а к Александру Павловичу», скорбно извещал: «...Несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли, и я от всего оною начинаю уставать...»

Получив донесения, государь на словах одобрил действия любимца: «Благодарю тебя искренно от чистого сердца за все твои труды». На деле же — решил на обратном пути сделать крюк и лично посетить поселения: вдруг и впрямь в них не все благополучно?

2 сентября возвращение из Финляндии в начале 2 часа пополудни, 6 отъезд в Варшаву через Новгород, 13 октября возвращение из Варшавы в 2 ч. 5 м. дня.

1820

4 марта отъезд в Грузино, 5 возвращение из Грузина в 12 ч. ночи, 26 июня отъезд в Грузино в 10 ч. 55 м. утра, 29 возвращение из Грузина в 4 ч. 30 м. дня, 8 июля отъезд в 5 ч. 30 м. утра в следующие города:

- 1) местечко «Зализы» — 10 июля,
- 2) гор. Осташков — 11 и 12 июля,
- 3) гор. Тверь — 13-15 июля,
- 4) гор. Москва — 17-18 июля,
- 5) гор. Рязань — 19 июля,
- 6) гор. Козлов — 20-22 июля, обед,
- 7) гор. Липецк — 22 июля,
- 8) гор. Воронеж — 23-25 июля, обед,
- 9) гор. Нижнедевицк — 25 июля,
- 10) гор. Короча — 26-28 июля, обед,
- 11) гор. Обоянь — 28 июля,

- 12) гор. Чугуев — 29-31 июля, обед,
- 13) гор. Харьков — 31 июля,
- 14) гор. Полтава — 1 и 2 августа,
- 15) гор. Кременчуг — 3 августа,
- 16) гор. Новомиргород — 4 августа,
- 17) гор. Вознесенск — 5-8 августа, обед,
- 18) гор. Ошманка — 9 августа,
- 19) гор. Умань — 10 августа,
- 20) гор. Литин — 11 августа,
- 21) гор. Острог — 12 августа,
- 22) гор. Владимир — 13 августа,
- 23) гор. Пулава — 14 августа,
- 24) гор. Варшава — 15 августа.

Примечание. «Никто более его не придерживается слов Байрона: «Но только не к брегам печальным I Туманной родины моей». Рад всякими делами заниматься, только не своими».

(Петр Вяземский — А. И. Тургеневу, 31 декабря 1820 года, из Варшавы.)

1821

24 мая возвращение из Лайбаха в 11 ч. 15 м. дня, 17 июня отъезд в Грузино, 27 июня возвращение из Грузина, 12 сентября отъезд в Витебск в 7 ч. 30 м. утра, 25 сентября возвращение из Витебска в 9 ч. 30 м. утра.

1822

15 мая отъезд в Вильну в 6 ч. 30 м. утра, через Гатчину, Лугу, Псков, Динабург, Белосток, 31 мая возвращение из Вильны в 4 ч. 45 м. дня, 14 июня отъезд

в Грузино 20 июня возвращение из Грузина, 4 августа отъезд в Варшаву в 6 ч. 15 м. утра.

1823

20 января возвращение из Варшавы в 6 ч. 25 м. вечера, 15 марта отъезд в Грузино в 1 ч. 25 м. дня, 17 марта возвращение из Грузина в 6 ч. вечера, 3 июня отъезд в Грузино в 1 ч. 25 м. дня, причем проехал по Новгородской губ. и посетил город Старую Руссу, 11 июня возвращение из Грузина, 16 августа отъезд в «вояж по России» (на 2 1/2 месяца) в 5 ч. 30 м. утра.

1824

24 июня отъезд в Грузино в 1 ч. 50 м. дня, 2 июля возвращение из Грузина, причем обед был на станции «Долговка», 16 августа отъезд из Царского Села в «вояж по России» в 7 ч. утра, на Торопец — Боровск, Рязань — Тамбов, Пензу — Симбирск, Оренбург — Екатеринбург и обратно на Вятку — Пермь, Вологду — Тихвин в Царское Село, 23 октября возвращение из «вояжа по России» в 7 ч. 30 м. вечера.

1825

4 апреля отъезд в Варшаву в 7 ч. 55 м. утра, 13 июня возвращение из Варшавы в 7 ч. вечера, 26 июня отъезд в Грузино в 8 час. утра, 6 июля возвращение из Грузина, с обедом на станции «Спасская Полисть», 1 сентября отъезд в Грузино в 6 ч. утра.

Источник: Николай Михайлович, великий князь. Император Александр 1. Опыт исторического исследования. 2-е изд. СПб., 1914. С. 736-737.

ГУРЬЕВСКАЯ КАША

Пока Голицын услаждал государя духоподъемными собеседниками, опытный артиллерист Аракчеев укреплял тылы, производил рекогносцировку и обеспечивал фортификации. На протяжении 1823 года ближайшие сотрудники царя сменялись один за другим — и все не без его участия. Первым ушел в отставку военный министр, поскольку всесильный граф доказал государю возможность сокращения военных расходов на несколько миллионов рублей против 800 тысяч, изысканных министром.

Затем генерал-адъютант Дибич — до поры до времени умеренно-аракчеевский человек — стал исполнять обязанности начальника Главного штаба его императорского величества. Наконец, графа Гурьева, вошедшего в русскую историю благодаря своим изысканным кулинарным рецептам, прежде всего каше с изюмом, сменил на посту министра финансов Егор Францевич Канкрин. (Ему место в истории обеспечил Пушкин, обронив ехидный афоризм: «Деньги вещь важная, спроси о том Булгарина и Канкрин»...)

Огневые точки противника были нанесены на карту военных действий; пушечные жерла прочищены; оставалось дожидаться урочного часа и скомандовать «пли!». Очевидно, поняв это и не желая участвовать в предстоящей битве, архиепископ Московский Филарет на переломе от весны к лету 23-го года подал на высочайшее имя прошение уволить его из столицы в родную епархию на два года; проще говоря — удалить в тихую заводь.

Во-первых, не было в назревающем сражении стороны, на которую можно было бы встать без зазрения христианской совести. Беседа с отцом

Феодосием показала: выбирать между ним и отцом Фотием невозможно, оба хуже; балтский отец протоиерей — точно такая же жертва мистического одиночества, как и новгородский отец архимандрит. (Левицкий вспоминал об этом разговоре: «...рассуждение его (владыки Филарета. —А. А.) наипаче состояло в том: как я самозван на великое дело Христово решился...»)

Во-вторых, у архиепископа имелись дела поважнее, чем участие в дворцовых интригах: только что была завершена работа по составлению нового катехизиса, ширились переводческие труды, дело двигалось к изданию первых пяти книг Ветхого Завета.

В-третьих, архиепископ Филарет был достаточно опытным церковным политиком, чтобы понять: поддержать Голицына он на этот раз не сможет, а в случае победы Аракчеева падет жертвой митрополита Серафима Глаголевского «и всей партии неученой его». О том, как отзывался о нем митрополит, ^[277] Филарет если и не знал, то во всяком случае догадывался. Ну как тут не предпочесть Родной Москвы ретроградному Петрограду!

Но по странному стечению обстоятельств как раз ему, Добровольно выбывшему из политической игры, — и едва ли не по причине этого «выбытия» — выпало стать участником других, гораздо более сложных и серьезных событий.

ГОД 1823. Лето.

С.-Петербург.

Архиепископу Филарету министром духовных дел кн. Голицыным передано совершенно секретное повеление написать проект Манифеста о назначении наследником престола Великого Николая Павловича и

затем тайно положить пакет на хранение в Успенском соборе вместе с другими государственными актами.

«Как восшествию на престол естественно быть в Петербурге, то как оно может быть соображено с Манифестом, втайне хранящимся в Москве? Архиепископ не скрыл сего недоумения, представил, чтобы списки с составляемого акта хранились также в Петербурге, в Государственном Совете, в Синоде и в Сенате и, получив на сие также высочайшую волю, внес сие в самый проект Манифеста».

(Из воспоминаний митрополита Филарета.)

Что стояло за этим поручением?

А то, что, пока придворные совершали свои «ужимки и прыжки», пока просчитывали реакции государя на действия и противодействия, пока отрабатывали варианты его «удомашнивания», сам Александр Павлович, кажется, обдумывал совершенно иной вариант выхода из общеевропейского тупика. Вариант, который вряд ли устроил бы и генерала Васильчикова, и северян с южанами, но который куда больше соответствовал его змеевидному характеру и рифмовался с лейтмотивом всей его царской жизни. Мысли свои государь не поверял никому (разве что — и то отчасти — Марии Феодоровне); естественно поэтому, что ничего определенного мы утверждать не вправе. Но косвенные признаки монарших замыслов позволяют кое о чем догадываться.

Эпизоду, о котором идет речь, предшествовало несколько событий, чрезвычайно важных для династийной жизни.

В 1820-м великий князь Константин Павлович решил официально развестись с великой княгиней Анной Феодоровной (они разъехались практически сразу после свадьбы). И — жениться на польской красавице графине Иоанне Груздинской. Помимо брачных утех, решение это сулило потрясение формальных устоев российского престолонаследия. Не столько потому, что создавался прецедент развода, сколько потому, что избранница цесаревича не была особой королевской крови и брак предстоял мorganaticкий. Закону это не противоречило — по той простой причине, что закона такого не было. Но это противоречило традиции, которая важнее закона. Стерпеть императорство Наполеона было проще, чем смириться с «безродностью» супруги наследника российского престола. Однако, попытавшись отговорить Константина, Мария Феодоровна и Александр Павлович вынуждены были сдаться. Иоанна Груздинская получила титул «невеликой» княгини Лович; был принят законодательный акт, по которому «если какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом... не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии, и рождаемые от такового союза дети не имеют права на наследование престола»; сам Константин — пока — остался престолонаследником.

Но, выждав некоторое время, он стал обращаться «наверх» с просьбами и его тоже избавить от тяжкого бремени «прав, принадлежащих членам императорской фамилии». Просьбы эти решительно отвергались — до тех пор, пока вдруг, с тою же решительностью, не последовало согласие. Скорость, с какой Мария Феодоровна и Александр Павлович ответили цесаревичу на январское, 1822 года, «заявление об отставке» (14-го

послано из Варшавы — 2 февраля из Петербурга отправлен положительный вердикт), заставляла некоторых историков предполагать, что варшавский запрос был инспирирован из столицы. Так это или не так, несомненно одно: за несколько месяцев до «внедрения» Фотия в толщу российской государственной жизни Мария Феодоровна поняла, что пора готовиться к возможным потрясениям.

Ее ум, воспитанный предыдущей эпохой, эпохой дворцовых переворотов, опознавал в событиях 20-х годов родовые черты XVIII столетия. Словно время, описав круг, возвращалось к прежним безосновным основаниям российской власти. На своем собственном опыте познав, что значит неопределенность и недоговоренность в вопросе о престолонаследии, вдовствующая императрица начала энергично действовать в старинном духе. Она распорядилась правами русского престола, как какая-нибудь миргородская помещица распоряжается правами на шкаф с наливкой, на пруд с гусаками и рожицу за рекой. Ход ее государственной мысли реконструировать несложно. Положение старшего сына весьма и весьма ненадежно? Есть серьезные причины опасаться его внезапного устранения? А второй по старшинству, Константин, не слишком годится на «царскую роль» — и по неустойчивому складу характера, и по морганатичности брака, и по нежеланию нести монарший крест? Что же; есть еще мужественный, спокойный и — что не менее важно — женатый Николай, у которого в 1818-м родился сын Александр — потенциальный наследник престола. Нужно поскорее сделать так, чтобы в случае чего трон перешел именно к Николаю. Объявлять же о перемене очередности нельзя ни в коем случае; это может стать детонатором взрыва, поводом к возмущению темного народа.

Александр Павлович полностью разделял озабоченность матери, после всех поступивших доносов догадывался о повышенной вероятности своей внезапной кончины, в тайной рокировке наследников принимал самое активное участие. Тем более что это была его собственная, причем давняя, идея... Но ко всему у него примешивались — не могли не примешиваться — личные мотивы, скрытые ото всех. Даже от матери.

К 23-му году он начал наконец-то постигать — если не умом, то сердцем, — что упустил драгоценное время, дарованное ему сразу после великой победы, что смирению практических дел предпочел возвышенный соблазн г-жи Криднер («Ах, обмануть меня нетрудно, / Я сам обманываться рад!»). Вера никак не желала вменяться ему вместо дел; невыполненные перед страной обязательства все более тяготили душу и подпитывали бытииственную тоску отцеубийства. Меттерних был прав, когда во время веронского конгресса отмечал в русском царе полное утомление жизнью, — тем более что сам Александр тогда же пожаловался Францу на предчувствие близкой кончины. Царь — о чем говорилось — продолжал ждать счастливых обстоятельств: но сокрушительное поражение было окончательно одержано.

Хотелось раз и навсегда отвернуться от страшной реальности и погрузиться в блаженное созерцание изъятых из ее власти и прекрасно обустроенных уголков. Ровных, чистых, мирных, как военные поселения — этот град Китеж александровских времен. И чем более грозные вести поступали отовсюду, тем сильнее становилась эта «тяга прочь». Подчас она готова была заглушить любовь к власти и нелюбовь к решительным действиям. Подсылая к царю странствующих пророков, представляя ему доносы тайных агентов, умоляя вернуться в Россию душою и

телом, приближенные достигали результата, обратного желаемому. Возвращению в Россию царь предпочитал мысль о полном и окончательном освобождении от нее. Быть может, впервые не в шутку, не играя в словесную игру, а всерьез и практически он задумался о возможности отречения и передачи власти (а с нею — и ответственности) в другие руки. Почти наверняка можно утверждать, что конкретного плана самоустранения, которое обесмысливало бы все заговоры, внутренние и внешние, не было; но самая перспектива такого «ускользновения» из плотной сети неразрешимых проблем стала более чем реальной.

Иначе не объяснить некоторые странности в истории с Манифестом о престолонаследии.

В заключительном абзаце составленного архиепископом проекта ни слова не говорилось о кончине здравствующего государя императора; обстоятельства, при которых секретный Манифест вступит в силу, не указывались; только было сказано: «О нас же к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, по вере в Которого чаем непреемственного царства на небесах, все наши верноподданные вознесут искренние мольбы с тою любовью, по которой мы в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагаем высочайшее на земле благо». Запутанный «византийский» синтаксис можно было понимать как угодно. Но форма настоящего времени, примененная к словосочетанию «на земле», заставляла толковать ее как прижизненную просьбу удаляющегося с трона царя о всенародном поминовении его души во здравие, а не как «посмертное» прошение о поминовении за упокой. Когда «полагаем»? Здесь и сейчас, в миг оглашения Манифеста. Кто — «мы»? Ныне здравствующий, но покидающий свой «пост» государь.

Было ли это результатом недосмотра или тактичности Филарета, или же следствием секретных

инструкций самого царя, неизвестно. Известно только, что после передачи текста высокомонаршему заказчику наступила долгая, слишком долгая пауза, поставившая уже уволенного в епархию владыку в неловкое положение.

Можно лишь догадываться, какие дискуссии шли все это время. Из сумрака недокументируемой неизвестности доносятся до нас спорящие голоса Марии Феодоровны и Александра Павловича. С невероятным упорством и славной немецкой жесткостью отсекает она увертки сына; с неуклонной волей к безволию и неодолимой гибкостью отстаивает он свое право на неопределенность и шанс на прижизненную передачу власти...

В конце концов топор вроде бы совладал с тестом; Манифест стал документом, так сказать, мемориальным; после голицынских поправок финальный пассаж читался вполне определенно, и ясно было, что огласить его можно лишь после кончины государевой: «О нас же просим всех верноподданных наших, да они с тою любовью, по которой мы в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагали высочайшее на земле благо, принесли сердечные мольбы к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу о принятии души нашей, по неизреченному Его милосердию, в царствие Его вечное». Прошедшее время; молитва о принятии души...

Но тесто вздохнуло, чавкнуло, начало вспухать — и поглотило торжествующий топор. На конверте, куда вложены были и текст Манифеста, и собственноручное письмо Константина с просьбою об избавлении от страшной царской участи, появилась надпись, сделанная монаршею рукою: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-

губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия».

Что значит — «до востребования моего», если в конверте лежит не имущественное завещание частного лица, а запечатан закон Российской империи, вступающий в силу только после объявления — и по смерти «востребователя»? Это значит, что Александр оставил за собою возможность принять другой закон, отменяющий действие этого, и что от мысли переиграть судьбу и вовремя выйти из круга он не отказался.

ГОД 1823. Август. 16.

Манифест подписан.

25.

Император прибывает в Москву.

29.

Навечерие дня тезоименитства Александра I. Москва.

В Успенском соборе, когда в алтаре не было никого, кроме протопресвитера, сакеллария и прокурора синодальной конторы, архиепископ открывает ковчег государственных актов, показывает присутствующим принесенный конверт и печать, но не надпись, запирает, запечатывает и объявляет свидетелям монаршую волю о сохранении тайны.

Филарет уверен, что московский генерал-губернатор Д. В. Голицын извещен: увы. Вместо него извещен будет принц прусский Вильгельм.

Победа была за Александром — не за матерью. А то, что поражение оказывалось за Россией, что вопрос о передаче российского престола предельно запутывался, что заваривалась каша из топора, что отовсюду грозили непредсказуемые последствия, — кого это волновало?

Каждого волновало свое.

ЗЛЕЙШИЙ ПАРОЛЬ

ГОД 1824. Январь. 6.

День Богоявления.
Государь отбывает в Царское Село.

12.

Лихорадка, тошнота, горячка с рожистым воспалением на левой ноге.

26.

Воспаление все опаснее, лечение к успеху не приводит; внезапно гангренообразный струп отделяется сам собою. Всеобщее сочувствие.

«По крайней мере мне приятно верить этому, но, в сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня».

(Александр I — генералу Васильчикову.)

В январе отец Феодор с отцом Феодосием представили царю новую книгу «Свидетельство Иисуса Христово». Они были полны надежд; увлеченно обсуждали прочитанное в старых номерах «Сионского Вестника», «Толковании Апокалипсиса» и «Угрозе Световостокове» Генриха Штиллинга, всюду находя подтверждение своим упованиям на скорое избавление

народов от тьмы неведения и наступление времен благих. Но «вдруг, увы! неописанная перемена во всех делах последовала».

Поводом для последнего и решительного боя, который в апреле-мае 1824 года дал всем врагам Отечества «славный воин» Фотий, была не ссора с Голицыным, которого новгородец называл теперь не иначе как «овца... непотребная, или, лучше сказать, козлице». Нет; чашу Фотиева терпения переполнила очередная книга модного экстатического проповедника пастора Госнера.

К моменту, когда типография Греча приступила к печатанию тиража, старый ратоборец уже составил «Выписку зловредных и душепагубных учений, обретающихся в разных нечестивых книгах, изданных и распространяемых на русском языке от 1800 по 1824 год». Здесь он привел сомнительные места из продающейся в столице литературы духовного содержания и сопроводил их своими остроумными маргиналиями. Задача была важная: продемонстрировать царю неслучайность и взаимосвязь пропускаемых духовною цензурою богохульств, результатом коих может стать разрушение духовных устоев России, подготовка нации к политической измене Престолу. При этом, как писал сам Фотий, книжки давным-давно запрещенного «Сионского Вестника» за 1806 год весной 1824-го все еще продавались в лавках. Можно было бы задуматься о соотношении спроса и предложения, о том, реальна ли разоблачаемая угроза. Но Фотий ничего не видел и не слышал, кроме сполохов огненных озарений и гула своей пророческой мощи, — а потому считал пыльные экземпляры «Вестника» не признаком коммерческого неуспеха издания, но знаком непотопляемости коварных издателей.

Естественно поэтому, что когда из типографии был выкраден корректурный экземпляр переводного сочинения «Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете. Часть I: Отделение 1, содержащее Евангелие от Матфея, перевод с немецкого языка» и по служебной цепочке: обер-полицмейстер — Магницкий — Аракчеев^[278] — митрополит Серафим — попал к нему в руки, — отец Фотий затрепетал. Вот оно, доказательство давно предреченного им заговора иноплеменных!

Собственно, книгу Госнера ни в чем, кроме мистического анархизма и преизобилия светских благоглупостей на сакральные темы, упрекнуть было невозможно. Но Фотию и опекаемому им (роли теперь распределялись именно так) митрополиту Серафиму Госнерова проповедь всеобщего, русско-европейского возврата ко временам апостольским, к традициям первоначальной Церкви Христовой казалась «злейшим паролем» всемирной революции. «Дух жизни...», восклицал отец архимандрит, «есть повестка на явное возмущение всех уже приготовленных чрез другие книги во всех концах земли». Мнение это полностью разделял митрополит Серафим; он даже написал опровержение на Госнера — и с благословения отца Фотия отправил царю.

Но то был всего лишь упреждающий удар, огневая разведка. Потому что Госнером и запретом его опуса никто ограничиваться не собирался; даже падение Голицына (которого вскоре, в полном противоречии с церковным канонам, отец Фотий лично анафематствует) было промежуточной целью. Настоящим, полномасштабным итогом развернувшейся битвы должен был стать моральный переворот всей дворцовой жизни, перевод ее на совершенно иные идейные основания.

ГОД 1823.

Пестель ведет неустанные переговоры о соединении обществ; находит понимание дружеского кружка Кондратия Рылеева (который весной 1824-го станет фактическим руководителем северян); и все-таки решение о слиянии Севера с Югом отложено до 1826 года.

Апология, которую священно-архимандрит 12 апреля направил императору, называлась: «Пароль тайных обществ...» и составлена была в выражениях, напоминавших Манифест о начале войны:

«ПАРОЛЬ.

На основании христианской религии истребить христианскую религию, раскопать олтари и обрушить престолы!

Боже! Боже! Боже!

Векую оставил Ты еси проповедываться посреди нас акому отступлению от веры, нечестию и безверию? Это ерзость запустения на месте, реченная Даниилом пророком.

Сия тайна беззакония деется!

Она есть новая религия».

Недаром и пророк Даниил, возвещавший о последних временах, поминался тут рядом с карбонариями; недаром и восклицательные знаки выстраивались частоколом:

«С нами Бог!

Господь сил с нами!

О! Господи! спаси же! о! Господи! поспеши же! Не нам, не нам, Господи, славу даждь, а имени Твоему Святому во веки!»

Форма соответствовала содержанию; тот, кто обращается к людям как бы в последний раз, словно в ожидании мученической кончины и предсмертной

судороги, и должен говорить торжественно и громко, не смущаясь приличиями.

Царю предстояло понять, что времени для недомолвок не осталось. Что роковой час пробил. Быть может, именно ради этого отец Фотий настоял на том, чтобы митрополит Серафим испросил монаршую аудиенцию 17 апреля в неурочный час, ближе к семи пополудни: впечатление от того многократно усиливалось.

Серафим страшился; силы оставляли его; отец Фотий (опять поступаясь патриархальным требованием чтить иерарха) «укрепил» колеблющегося духоподъемным поучением, лично усадил в карету, велел слугам запереть ее и немедленно следовать во дворец, пока его высокопреосвященство не передумали и не поворотили назад.

Результат превзошел ожидания.

«Тако проходит час 8, 9 и 10-й; Фотий ждет — и нет митрополита обратно от царя. Наступает 11-й час, Фотий с его секретарем, сидя на окне, при ночном мраке смотрит, прислушиваясь к каждому стуку, желая узнать, не едет ли митрополит, и что Бог споспешил в слове и деле веры? Проходит сей час, и 12-й наступив приходит, — и нет митрополита. Полночь прошла... сие никогда не бывало ни с кем, чтобы в полночь митрополит когда-либо бывал у императора и по таким делам, каковы начались... Первый час пополуночи приходит, и при тихом сумраке ночном тихо митрополит Серафим едет; выбежали все его сретать».

Владыка был «весь от головы до ног мокор от льющего с него пота». Переодевшись, он рассказал о тяжком разговоре, во время которого императору было поведано и о действительных бедах, учиненных Голицыным Православию (бесконечное и мелочное вмешательство в дела Синода), и о мнимых, как, например, о переводе Псалтири не с греческого, а

непосредственно с еврейского языка ради оскорбления святоотеческой веры. Из этого рассказа мы знаем, что государь выслушал все внимательно и печально, обещал принять самые серьезные меры; но мы не знаем и не узнаем достоверно никогда, о чем Александр думал под аккомпанемент резкой речи обычно смиренного и даже боязливого старца.

ГОД 1824. Апрель. 18.

Николай Тургенев, так и не сошедшийся с властью, а с лидерами тайных обществ во многом разошедшийся, после ряда неприятностей по службе отбывает за границу.

Ранее так же поступил Петр Чаадаев.

Никогда нам не будет ведомо и то, какие мысли блуждали на высоком челе Александра Павловича вечером 20 апреля, когда к нему тайным ходом провели отца Фотия, решившего ковать железо, пока оно горячо. Как, в каких категориях осмыслял он горячечные рассуждения архимандрита об угрозе некой «всемирной монархии», основанной на принципах единоверия (имелся в виду отнюдь не Священный Союз!); о том, что уже «назначен год и самое время, когда вдруг оно (воззвание к возмущению. —А. А.) повсюду опубликовать, и знают токмо члены тайных обществ»; что английские методисты завершили подготовку к русской революции... Неизвестно нам, и что стояло за внезапным приездом графа Аракчеева к митрополиту Серафиму и отцу Фотию вечером 22 апреля с миссией мира: действительная ли надежда царя на примирение двух разных любимцев? испытание ли Аракчеева (а заодно и его ставленников) «на прочность»? извечное ли желание решить все, ничего не решая?

Но это, честно говоря, не только абсолютно не важно, но и совершенно неинтересно.

Потому что нам известен итог: то, чего не сумел достичь с помощью политических доносов Васильчиков, с помощью своих апологий осуществил Фотий. Царь приземлился на родную планиду. Царь поверил, что главная опасность угнездилась тут, а не там. Царь принял меры. Такие, какие умел принимать только он. Такие, какие и ожидал от него отец Фотий.

ГОД 1824. Май. 15. С.-Петербург.

Голицын сам просит об отставке. От должности отставлен; другом — оставлен.

Сугубое министерство раздвоено; во главе Министерства народного просвещения и Цензурного ведомства поставлен Александр Семенович Шишков.

29.

Ставший вместо Голицына президентом Библейского общества, митрополит Серафим проводит 79-е — и последнее — заседание.

«...Возрадуйся, о брате любезный... Православие торжествует. Знай, что ангел святой Божий есть Государь наш... праведник наш царь... армия дьявола паде, ересей и расколов язык онемел; общества все богопротивные, яко же ад, сокрушились...

Р. S. Молись о А. А. Аракчееве. Он явился раб Божий за св. Церковь и веру, яко Георгий Победоносец. Спаси его Господь. Все сие про себя знай...»

(Архимандрит Фотий — архимандриту Герасиму, в Москву.)

Успех неученого новгородского архимандрита и вышколенного дьячком временщика неудивителен; они разгадали загадку царевой психологии, над которой понапрасну бились лучшие умы Империи. В многократно цитированной «Автобиографии» отец Фотий обронил очень важные слова: «Царь Александр не хотел явно все произвести в дело, а тайно думал и тихо учинить». [279] Вывод этот он сделал 22 апреля; и вряд ли случайно очередное сочинение, поданное 29 апреля царю, было названо: «План разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо». После не до конца удачных опытов воздействия на царя с помощью угроз мистического свойства Фотий решил повлиять на него с помощью обещаний вдруг, сразу, исподволь, тихо и счастливо уничтожить революцию; это-то и сработало. Да и меры предлагались простые и удобопонятные: чтобы многолетний заговор всемирных злоумышленников против России удался, достаточно было всего лишь снять Голицына, закрыть его министерство и опекаемые им общества, восстановить права Синода и выслать Госнера и методистов. Что и было сделано — да только не помогло.

ГОД 1824. Ноябрь.

Решено остановить издание катехизиса архиепископа Филарета, по причине того, что Молитва Господня и Символ веры даны были здесь, как и в первом издании 1823 года, по-русски, а не по-славянски.

Ноябрь. 16.

А. С. Шишков представляет Александру соображения о немедленном закрытии всех библейских обществ, «под иным названием масонских лож», о прекращении переводов Священного Писания на русский язык и о чистке рядов Священного синода.

Ноябрь. 21.

Формальным отношением к митрополиту Серафиму Шишков требует синодального расследования о катехизисе: не умышленное ли преступление против Православия совершил архиепископ Филарет?

Впрочем, во всем этом граф Аракчеев уже не участвовал: он был занят устранением последствий страшного петербургского наводнения, случившегося 7 ноября 1824 года и замкнувшего жизнь Александра Павловича (который родился в год разрушительного наводнения) в страшное композиционное кольцо.

Вставной сюжет. ХРАМ ЛЮБВИ Анекдот из Жюи, пересказанный Орестом Сомовым

В минувшем столетии, в окруженной со всех сторон морскими песками деревне с говорящим именем Англете жили: дочь богатого пастуха Собада и молодой бедный рыбарь, сирота Лоране.

Однажды они убежали на берег моря. На правой стороне песчаные бугры, простираясь вдаль, не представляли никакого убежища, на левой остроконечная скала нагибалась дугою над волнами.

Потемнело синее море. Но велика сила любви: упоенные счастьем, молодые любовники не замечали ничего вокруг, не видели туч, сновавших над их головами; не слышали шума ветров, завывавших в волнах и гонящих оные за пределы, где оне обыкновенно останавливаются.

Напрасно. Ибо волны уже с яростию доплескивали до самой пещеры, служившей убежищем несчастной четы.

Очнувшись от любовного забытья и поняв, что путь к отступлению отрезан, они решили насладиться последним наслаждением — испытать радость совместной гибели.

Море, успокоившись, выбросило их тела близ скалы, сделавшейся в одно время и храмом, принявшим их обеты, и гробом их.

Источник: Благонамеренный. 1815. № 2.

Часть шестая

АБДИКАТОР

«...Сердце твое наполнится горестью при чтении сих строк, но вместе с этим оно оживится благоговением к Промыслу Всевышнего, смягчившего бедствия наши благостью Монарха, мудрыми мерами попечительного правительства и редкими примерами добродетели частных людей. Счастлив народ, который в несчастьи испытывает не огорчительное равнодушие, но отеческую и пламенную к себе любовь своего правительства и находит между согражданами великие примеры добродетели! Время изгладит следы бедствия, но добрые дела останутся нетленными в истории и перенесутся к престолу Всевышнего в мольбах благодарных сердец».

Ф. В. Булгарин. «Письмо к приятелю» об обстоятельствах петербургского наводнения 7 ноября 1824 года

Глава 1

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ

«ГЛАС БОЖИЙ»

ГОД 1825. Январь. 5 (?).

Кондратий Рылеев пишет к Пушкину, за дурное поведение переведенному из Одессы на жительство в Псковскую губернию: «Ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы... и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы».

Пушкин — в конце концов — оставит.

ГОД 1825. Февраль.

В свою очередь, в письме Николаю Гнедичу Пушкин побуждает его приняться за эпическую поэму о народном герое русской истории. Карамзин завершал посвящение своей «Истории Государства Российского» Александру I словами: «История народа принадлежит Царю». Пушкин: «История народа принадлежит поэту».

Шел последний год александровского царствования.

Ссылный Пушкин все болезненнее переживал свое — теперь уже Михайловское — узничество, набрасывал черновые прошения царю — о возвращении в Москву или в Петербург, о высылке за границу; выставял напоказ ножной аневризм, жаловался на ухудшающееся самочувствие и подозревал друзей в предательстве, когда они всерьез относились к этим жалобам и (словно не понимая, что цель одна: в столицу, в свет, на волю!)

предлагали принять государеву милость, перебравшись из Михайловского во Псков, поближе к докторам...

Но томила не только ссылка, не только «физическое» одиночество. До 22-го года Пушкин чувствовал себя «своим» среди оппозиционной южной молодежи; в 23-м наметился разлад; отчуждение постепенно нарастало. И совсем не по той причине, по какой расходились пути потенциальных революционеров и несостоявшихся «державников».

Как было уже сказано, начальной причиной несхождения Пушкина и будущих декабристов стала не политика, а эстетика; политические разногласия во многом оказались следствиями разногласий поэтических и лишь затем обрели самостоятельный статус. Пушкина в начале 20-х годов смущала не революционность как таковая (его позиции подчас были более радикальными и жестокими: «Кишкой последнего попа / Последнего царя удавим»). Его смущала перспектива культурного диктата друзей-республиканцев; диктата, который грозил оказаться не лучше, если не хуже царского.

ГОД 1825. Июнь. 13.

Александр в Царском Селе.

26.

Прибывает для отдохновения в Грузино, к Аракчееву. Гостит по 6 июля.

Но, продолжая плакаться на одиночество и несвободу, поэт сам, без понуканий, все более удалялся от современности в добровольное творческое изгнание.

Еще в декабре 1824-го была затеяна трагедия «Борис Годунов», в шекспировском духе, но из русской истории; с середины 1825-го Пушкин с головой ушел в сочинительство. И чем ближе продвигался к финалу, тем крепче надеялся, что Жуковский окажется прав: государь помилует святогорского «отшельника» за «Годунова»; путь к внешней свободе как раз и проляжет через внутреннее заточение; герои, которых он вывел на сцену и которым подарил находящееся в его власти условное бытие, в ответ подарят ему безусловное прощение власти и выведут его на сцену реальной жизни.

Как можно было впасть в такое самоослепление? как можно было рассчитывать, что царь упустит из виду параллель между ирродовой «предысторией» годуновского воцарения и своей собственной каиновой легитимностью? — вопрос особый. [\[280\]](#) Но благодаря самообману гения уходящая эпоха была подытожена гениальным сочинением, где ответы на поставленные ею (именно ею!) «шекспировские» вопросы обретались в глубинных пластах русской истории. В чем положен предел человеческой воле? Имеется ли у нации возможность — и право — самой влиять на свою судьбу; несет ли она ответственность за деяния своих властителей? Если нет, почему должна платить по их счетам?.. И где выход из железной взаимозависимости моральных причин и политических следствий? Где точка примирения интересов властей и волеизъявления народов? В какой момент и по каким причинам зарождается гражданственность, способная спасти мир от «молчания народного»?

ГОД 1825. Июль.

Михайловское.

Пушкин обдумывает планы побега за границу — в Америку или Грецию.

Июль. 2.

Тифлис.

Главноуправляющий Грузией Ермолов получает донесение о начале чеченского мятежа.

Июль. 13.

С.-Петербург.

Аракчеев извещает о желании 3-го украинского уланского полка унтер-офицера Ивана Шервуда, лондонского уроженца, с 1800 года пребывающего в России, доложить сведения о готовящемся заговоре против Государя императора.

Народ в «Борисе Годунове» безличен и безудержен одновременно; его равнодушное безличие, которым столь охотно пользуются властители, в свою очередь, лишает их возможности личного выбора, неумолимо навязывает им логику поступков. Можно сказать, что в «Борисе Годунове» власть и народ взаимно порабощены, взаимно обезличены, взаимно виновны — и в этом причина совершающейся катастрофы.

Так Пушкин находит для себя ответ на мучающий его вопрос. Мнение народное — это сумма суммарум личных мнений и воля. В эпоху Годунова его еще нет; в эпоху Годунова есть народная толпа, стихия, волнуемая, как океан, и есть власть, эту стихию направляющая, но ею же и управляемая. Только Смута дает шанс проявиться истинному мнению народному. И как раз тут Пушкин делает фигуру умолчания, предоставляя читателю догадаться, что зарождение

русской гражданственности непосредственно предшествует воцарению Дома Романовых, исторически связано с ним.

ГОД 1825. Конец июля.

Врачи Виллие и Стофреген приходят к выводу, что зиму императрица в Петербурге не переживет. Выбор: Италия, Южная Франция, Южная Россия. Решено: перезимовать в Таганроге. Первым поедет Александр; все устроит; чуть позже к нему присоединится Елизавета. Сопровождают: царя — барон Дибич, лейб-лекарь Виллие, врач Д. К. Тарасов, полковник А. Д. Соломка. Царицу — князь Петр Волконский.

Кажется, основные смысловые узлы трагедии развязаны; ее интеллектуальный конфликт разрешен; личная виновность властителя соотнесена с обезличенной виной нации; сила, потенциально способная вывести и российскую государственность, и стихию народной жизни из вечного тупика, вроде бы найдена. Но мы слишком хорошо помним пушкинские стихи 1823 года на сюжет евангельской притчи «Свободы сеятель пустынный...». Стихи, равно направленные и против властей предрержащих, и против революционных посягновений на основы монаршего устройства, и — главное — против мирных народов, так и не очнувшихся от равнодушия:

Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Нет сомнений, что их автор, каким бы либералом в душе он ни был, не верит, что гражданственность в России (послегодуновской, послепетровской,

послепавловской...) родилась. Она как была, так и осталась нереализованной возможностью, потенцией; с ней связаны будущие надежды, но на нее невозможно рассчитывать «здесь и сейчас», в эпоху «молчания ягнят». А на что же возможно? Или закольцованное безличие властной воли и народного безволия так и будет беспрепятственно удушать современную Россию?

И тут нужно обратить внимание на двух совершенно особых персонажей пушкинской трагедии: Летописца и Юродивого. Только эти двое освобождены от моральной ответственности за общероссийскую катастрофу, выведены за ее скобки, — хотя оба, подобно царю, своеобразно увенчаны. Только не тяжелой шапкой Мономаховой, а клобуком — один и железным колпаком — другой.^[281] Увенчаны не даром — их призвание по значимости сопоставимо с монаршим, ибо они являются носителями независимого и от власти, и от толпы личного мнения, без них будущность русской гражданственности невозможна.

Мудрый Пимен первым из современников Годунова решается вслух назвать причину Смуты — цареубийство, нарушение законов Божеских и человеческих; он своим монологом задает точку зрения вечности, без чего высокая трагедия вообще невозможна. Он раз и навсегда отверг соблазны земного жития и избрал для себя путь свидетельства о зле, царящем в мире; не перед современниками — перед потомками.

...Недаром многих лет Свидетелем Господь меня поставил... Когда-нибудь монах трудолюбивый Найдет мой труд усердный, безымянный, Засветит он, как я, свою лампаду — И, пыль веков от хартий отряхнув, Правдивые сказанья перепишет...

Его грядущий адресат — такой же Пимен, который точно так же удален от быстротекущего времени и, в

свою очередь, обращается не к современнику, а к потомку. «Внутреннее время» Пимена вневременно, внеположно Истории, очищено от страдательного залога; оно «безмолвно и покойно». Именно поэтому Пимен уходит в свой труд ночью, когда итог одному дню с его бурями подведен, а начало другому дню не положено; когда История как бы замирает; и недаром «последнее сказанье» должно быть завершено до наступления утра: «Но близок день, лампада догорает...»

Пимен — персонаж более чем значимый и поданный с серьезной торжественностью. Он действует не от себя, но исполняет «труд, завещанный от Бога». Ему дано знание греха и предвидение последствий общенародного прегрешения; он ведаёт, что не праведен и повинен не только Борис, убивший царевича, но и народ, равнодушно нарекший Бориса царем:

Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли...

Но — и тут Пушкин как бы испытывает своего героя — рядом с Пименом дремлет тот, кто как раз и явится расплатой; тот, с кем будет связан ход ближайшей русской истории, — Гришка Отрепьев. И мудрый летописец, проникший мыслью в тайный ход вещей, не только не провидит в Григории лицо историческое, но и невольно указывает новонаначальному иноку на открывшуюся «царскую вакансию»!

Случайно ли Пушкин вводит в монолог Пимена упоминание о «многострадальном Кирилле», который некогда жил в той же келье и говорил правду в лицо Иоанну Грозному? А в уста Бориса слова о том, что

...В прежни годы,
Когда бедой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли.

Знание Пимена — отмечено инаким, иноческим, высоким равнодушием; оно не ставится под сомнение, но и не до конца устраивает Пушкина.

Совсем не то — Юродивый, который появляется перед зрителем не в замкнутом пространстве кельи, но на открытом всем ветрам Истории пространстве площади перед собором, среди людской толпы. Он ведает и жалость, и гнев; он то поет слезную песенку:

Месяц светит,
Котенок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися! —

то сердится:

...Вели их зарезать, как зарезал ты маленького
царевича...

Так что «не ведая ни жалости, ни гнева» — это не про него, не для него. И недаром Юродивый почти прямо сравнивается с царем:

Третий

Чу! шум. Не царь ли?

Четвертый

Нет; это юродивый.

Ему тоже дана власть — только другая, по-своему гораздо большая, чем власть Летописца и даже власть Царя. Власть не только знать о преступлении и наказании, но и свободно, прилюдно говорить об этом:

Царь

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.
(Уходит.)

Юродивый (ему вслед)

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит.

Причем глас Николки это действительно и непосредственно глас Божий, ибо Юродивый действует не от себя, ему велит Богородица. А его бесстрашный разговор с властью земной от имени власти небесной — есть и прообраз будущего «мнения народного», и образец идеального поведения «властителя дум» перед «земным властителем», по-своему повторяющий жест Кудесника в «Песни о вещем Олеге».

Позже Пушкин многократно отождествит себя со своим Юродивым; отождествит в шутку, но вполне настойчиво: «Хоть она (трагедия. — А. А.) и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» Лишь с двумя персонажами трагедии Пушкин связывал надежды на счастливый исход русской истории, на рождение отечественной гражданственности, но его личный идеал — Юродивый, а не Летописец.

ГОД 1825. Август. 28.

Последняя беседа Александра с Карамзиным.

Между тем в карамзинской «Истории Государства Российского», на которую опирается Пушкин, все обстоит противоположным образом.

Личный идеал Карамзина, с которым он внутренне соотносит себя самого, — именно мудрый и тихий Летописец Палицын. Что же до «площадного» Юродивого, то о нем великий историк отзывается сдержанно; салонное недоверие к мистическому бесстрашию сквозит в карамзинском пассаже:

«Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость: с распущенными волосами ходя по улицам нагой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно злословил Бориса; а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека. Такие юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека, укорять в глаза беззаконною жизнью и брать все, им угодное, в лавках без платы; купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов, Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительною смелостию вопил на стогнах о жестоких делах его».

Знаки авторского отношения к летописному источнику расставлены весьма аккуратно: действительная или мнимая святость... веря святости сего человека... могли всякого, даже знатного человека, укорять... и брать... в лавках... Уверяют, что... Но внимательному читателю все сразу становится ясно.

...На протяжении всей второй половины александровского царствования Пушкин с любопытством и некоторой долей недоумения наблюдал за странным, каким-то ускользающим и неопределенным политическим диалогом между Карамзиным и государем. Диалогом русского

исторического писателя и деятеля русской истории. Сама по себе возможность такого диалога вдохновляла — не могла не вдохновлять. Впервые носитель высочайших властных полномочий смущенно выслушивал укоризны не от высокопоставленного чиновника, пишущего стихи (таковы были отношения Державина с Екатериной!), но от сочинителя, приобретшего государственный статус именно своей работой за письменным столом. Что-то существенно важное менялось в устройстве русской официальной жизни, если власть готова была сделать шаг навстречу обществу в лице его неформального, но полномочного представителя. Когда нет полновесной гражданственности, кто-то должен взять на себя ее полномочия, чтобы ее тень, отбрасываемая из будущего, его «усыновила», дала ему право быть исполнителем ее роли. Однако результаты этого социального эксперимента — повергали в неутолимую печаль. Историограф приходил к государю, наедине откровенно беседовал с ним, смело критиковал — и ничего не изменялось. Ничего. Ни в жизни придворного правдолюбца, ни в жизни монарха, ни в жизни России.

Не в том ли заключалась причина неуспеха, что сочинитель стал беседовать с властителем на боярском крыльце? Что он как бы ушел с площади и принял правила придворной игры? Не следует ли действовать иначе, прямо противоположным образом, — как действует Юродивый на площади перед собором? Не следует ли предпочесть третью шапку, его железный колпак, — светскому «клобуку» Карамзина?..

ГОД 1825. Август. 30.

День тезоименитства государя.

Царь последний раз присутствует на литургии в
Алекса́ндро-Невской лавре.

Август. 31.

Последний раз в Павловске у императрицы-матери
Марии Феодоровны. Осень.

Глава 2

БЕГСТВО В ОЖИДАНИИ УХОДА?

БЕЗУМЕЦ БЕДНЫЙ

ГОД 1825. Сентябрь. 1.

4 с четвертью пополудни.

Александр перед выездом в Таганрог посещает могилы дочерей, умерших во младенчестве. У ворот Лавры царя ожидают митрополит Серафим, монастырская братия.

Молебен у раки святого Александра Невского, небесного покровителя царя. Государь в слезах.

Митрополит проводит Александра в крохотную келью схимника.

Царь: «Где же он спит?»

Архипастырь: «Перед этим распятием, на полу».

Схимник: «Нет, Государь, и у меня есть постель, пойдем, я покажу тебе ее».

За перегородкой гроб, покойницкое облачение, погребальные свечи.

«Смотри... вот постель моя, и не моя только, а постель всех нас; в ней все мы, Государь, ляжем и будем спать долго».

У заставы коляска останавливается, и царь долго смотрит на спящий город.

22 сентября (или около этой даты) Пушкин набрасывал полупокаянное письмо к царю с просьбой разрешить ему переезд в одну из столиц или за границу и не знал, что в тот же день почта доставила в Таганрог письмо царева любимца графа Аракчеева, извещавшего о зверском убийстве его многолетней сожительницы

Настасьи Минкиной и ставившего царя в известность о намерении переехать из столицы неизвестно куда.

«Случившееся со мною несчастье потеряннем верного друга, жившего у меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю и ищу, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься. Прощай, батюшка, помни бывшего тебе слугу; друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую свою голову преклоню; но отсюда уеду».

[282]

Письмо не просто выдавало смятение писавшего, нарушало все эпистолярные каноны эпохи (включая своеобразную и заведомо неформальную норму, по обоюдному молчаливому согласию установившуюся в неофициальной части переписки Александра с Аракчеевым). Оно действительно дышало настоящим безумием.

«Настоятель грузинского монастыря» обращался к монарху так, как ни один — самый близкий! самый доверенный! — человек обращаться к нему не мог. Что бы ни стряслось, какие бы несчастья его ни постигли. Незыблемые, веками отточенные правила исключали для подданного возможность официального ли, частного ли извещения государя о сложении высочайше возложенных обязанностей. Окончательном или временном — все равно. Подданный мог лишь испрашивать дозволение. Даже если грозные обстоятельства — тяжкая болезнь, внезапная изоляция — вынуждали так поступить де-факто, слово не смело следовать за делом и должно было подчиняться ритуальным правилам словесного поведения.

И вот — случается домашняя катастрофа Аракчеева. И мы, вслед Александру I, становимся свидетелями

страдальческого безумства, столь искреннего, что не поверить ему невозможно.

А если невозможно не поверить, то невозможно и предать суду за самочинное сложение 11 сентября того же года всех обязанностей. (Генералу Эйлеру занемогший Аракчеев перепоручил военные поселения, статс-секретарю Муравьеву — ведение канцелярских дел. В то время при Аракчееве состоял и член тайных обществ Гавриил Батеньков; вот был бы сюжет, если бы голодные, злые и вооруженные военные поселения оказались у него в руках!)

Царь Аракчееву поверил; как свидетельствовал Дибич: «Сей непозволительный поступок, хотя и был неприятен Государю, однако же он сказал мне, что извиняет болезненным состоянием графа Аракчеева. Конечно, никому другому такой поступок противозаконный не прошел бы без замечания. Но этот человек делает исключение из общего правила». [\[283\]](#)

Но мы, прежде чем посочувствовать графу, должны, не подменяя объяснение переживанием, вдуматься в смысл словесного жеста, восстановить все возможные мотивы, способные толкнуть обычно хладнокровного вельможу на такой — более чем рискованный! — шаг. То есть мы должны сначала постигнуть действовавшие тогда правила нарушения правил, а после — решить, были эти правила нарушены или нет. И если да, то в какой мере.

И прежде всего: что значило тогда — поступать безумно и в каких случаях обычно уравновешенные люди готовы были идти на безумные поступки?..

«НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА...»

Как все артистичные люди на свете, люди конца XVIII — начала XIX века больше всего боялись выпасть

из роли, оказаться в положении, не предусмотренном общественным сценарием, в «нештатной ситуации». На поле боя они твердо смотрели смерти в лицо, терпеливо переживали царскую опалу, — кто в имении без права выезда, кто в сибирской ссылке, а кто и на Камчатке, среди алеутов. Они достаточно быстро справлялись с ударами судьбы и приспособлялись к новому положению — если неформальный этикет, бытовая традиция предлагали им «типовой проект» соответственной линии поведения. Но действительному (а не салонно-игровому) безумию слепой романтической страсти, или обыденности семейной утраты, или унижающему окрику, или нежданной неудаче на общественном поприще — всему, что общество не смогло или не пожелало формализовать — они часто, слишком часто не умели противостоять и тогда умирали при первом удобном случае.

Александр Радищев, по возвращении из многолетней ссылки включенный в Комиссию по составлению законов, подает государю либеральный проект. Не встретив сочувствия или хотя бы соответственным образом обставленного (милостивого, или пусть даже гневного, но четко обозначающего самую меру гнева) отказа, слышит от Завадовского: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?»^[284] — идет домой и кончает жизнь самоубийством.

Владислав Озеров, не вынеся провала очередной трагедии (после длительной полосы успеха), сходит с ума.

Антон Дельвиг, выслушав грубо унижающий выговор шефа жандармов Александра Бенкендорфа, впадает в простуду и сгорает в несколько дней.

Потому человек, столкнувшийся с неожиданным горем, порою как бы путал роли, инстинктивно

подбирая маску по аналогии. Так, нередко случаи, когда страдальцы впадали в ролевое безумие, чтобы удержаться от безумия настоящего. (В XX веке сказали бы: подсознательно изживали комплекс.)

А безумие действительно подстерегало на каждом шагу.

Еще недостаточно была поколеблена убежденность в торжестве «закона упругости», вера в то, что вещество истории неизбежно восстанавливает свои соразмерные очертания после кратковременных (хотя и частых) бурь житейских. И вот — горе непоправимое, и вот — крах малого домашнего счастья или надежд на него, и вот — слепота рока: «И от судеб защиты нет».

Лишь последнему предвоенному и первому послепожарному поколениям удалось выбраться из этого идеологического тупика. Отчасти — под впечатлением революционных потрясений во Франции, отчасти — под воздействием общей для всех военной трагедии 1812 года (и перед лицом личной трагедии Наполеона), отчасти — под влиянием не просто критически осмысленной, но именно глубоко пережитой «Истории Государства Российского» Карамзина. В конце концов они научились не страшиться непредсказуемой истории, не ускользать, не прятаться от нее. И ту мечту о частном счастье в скромном домике на берегу Рейна, которую лелеял юный Александр Павлович и которую пронес он через всю жизнь, они бы сочли бегством от истории.

И были бы правы по-своему; просто несколько лет, отделяющие одно поколение от другого, порою становятся непреодолимой преградой для взаимопонимания. Сверстники Александра тоже наблюдали события Великой французской революции; они тоже сражались — под Измаилом, в Альпах, на поле под Аустерлицем. Но домик на берегу Рейна и конный марш по ровным дорогам Вестфалии располагались для

них в разных плоскостях. Из того, что в Париже с плахи слетают окровавленные головы Марии-Антуанетты и последнего Людовика, никак не следует, что домашнее блаженство не защищено от грозной воли Провидения.

ГОД 1825. Сентябрь. 23.

Елизавета прибывает в Таганрог.

Одноэтажный каменный дом. На половине императрицы походная церковь. «Весь таганрогский двор по скромности и простоте своей представлял не более как благоустроенное хозяйство или усадьбу зажиточного провинциального помещика».

Перед закатом жизни у царственных супругов с новой силой вспыхивает угасшее было чувство. Прогулки, беседы. За городом Елизавете особенно понравилось одно из живописных мест; Александр тут же распоряжается разбить сад.

Государь внутренне напряжен. В сухаре попадается камешек: не отравил ли?

О простом, «маленьком», устойчивом швейцарском счастье в чистом, ухоженном и не слишком богатом доме помышлял не только русский царь.

Неудачливый сподвижник Александра попович Михайла Сперанский не был утончен; он был, напротив того, умен, холоден и тверд. Он не бежал из истории; он упорно ввинчивался, вживлялся в самую ее сердцевину. Но есть вещь рационально неопределимая и впоследствии бесследно исчезающая, испаряющаяся: воздух эпохи. Есть идеи и умонастроения, живущие в нем. И только в нем. Направивший вектор карьеры по крутой вертикали, сжигаемый честолюбием, в начале 1801 года писавший: «Больно, друг мой, если смешаете меня вы с обыкновенными людьми моего рода; я никогда не хотел быть в толпе и, конечно, не буду»,^[285]

— в жизни семейственной Сперанский уповал на неподвижную горизонталь.

3 ноября 1798 года он был обвенчан с Елизаветой Стивене. Отцом ее был английский священник; мать происходила из швейцарского семейства Плантов и, овдовев, по протекции протоиерея Андрея Сомборского (духовного воспитателя юного Александра Павловича) вместе с Елизаветой перебралась в Россию, в дом известной безобразницы графини Шуваловой; воспитывала дочь графини Александру и вместе с Шуваловой осенью 1792-го доставляла баден-дурлахских невест будущего царя в Россию.

После свадьбы молодые наняли маленькую квартиру на Большой Морской. И, по словам позднейшего биографа, лицейского сокурсника Пушкина барона Модеста Корфа, «обзавелись скромно, но прилично. Муж ревностно работал, чтобы доставить подруге своей некоторые приятности жизни, а жена, разумеется, сама вела все маленькое хозяйство». [\[286\]](#)

Они если и ждали испытаний, то лишь таких, после которых вновь воцарится тишина — и будет еще дороже, еще тише, еще блаженнее. По воскресеньям молодая хозяйка давала отдых дешевой кухарке и помогающим ей тринадцатилетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке, чтобы своими руками приготовить сладкий, сочный, жирный символ житейского уюта и семейного благоденствия — английский пудинг. Вокруг пудинга собирались друзья, подобранные не по ранжиру, а по сердечному влечению. Были игры, маски, фанты.

Но вот — все не так. И виною тому время.

В день помолвки радостный жених подарил невесте массивные (по тогдашней моде) нагрудные часы. Вскоре карета, где находилась бедная Елизавета, как это часто с каретами случается, упала, ударом о землю

часы вдавило в грудь так, что они остановились. Вслед за рождением дочери 5 сентября 1799 года у г-жи Стивенс открылась чахотка.

Чахотка не была редкостью; с ней жили, от нее страдали десятилетиями. И потому Сперанский приготовился к новому образу семейственного блага — элегическому; к новой маске семьянина — наслаждающегося своей печалью. Но часы — часы остановились!

Перепоручив жену сиделке и отправившись в Павловск (из быта — в историю, из точки покоя — в точку кипения), он никак не мог предполагать, что по возвращении найдет остывший труп любимого существа.

Жена, утратившая мужа, могла упасть в обморок, лишиться дара речи, забиться (и забыться) в рыданиях. Муж — если то был «правильный» муж екатерининских времен, должен был встретить испытание стоически и погрузиться в сдержанную скорбь. Но Сперанский только пятью годами был старше Александра I. И он не был «правильным» мужем. Он уже открыл свое сердце сентиментальной любви, срастил свою сердечную жизнь с сердечной жизнью возлюбленной подруги, однако еще не освоил роль женственно рыдающего мужчины. Он не знал, как себя вести, что делать.

И потому инстинктивно избрал условно подходившую к случаю «роль» — безумца. И применил ее — не к страсти, а к страданию.

У изголовья дочери была оставлена записка, в которой новорожденная нарекалась по бабке и матери Елизаветой и содержалась просьба не разыскивать его.

Сперанский исчез.

«На следующее утро он, с всклокоченными волосами, с страшно изменившимся лицом, явился в свое жилище, приложился к телу и опять исчез. Так повторялось во все время, пока тело лежало в доме... Даже последний долг покойной... был отдан без него, и

с этого времени он не возвращался более домой и не показывался ни на службе, ни у знакомых. Уже только через несколько недель его отыскиали в глуши, на одном из Невских островов, совершенно углубленным в свою печаль». [\[287\]](#)

Модест Корф, написавший это, волей или неволей перефразирует иные места из «Медного всадника»: «с страшно изменившимся лицом» — «страшно бледный»; «его отыскиали в глуши, на одном из Невских островов, совершенно углубленным в свою печаль» —

Остров малый
На взморье виден.
Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров.
Не взросло
Там ни былинки.
Наводнение
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий.
Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке.
Был он пуст
И весь разрушен.
У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога. [\[288\]](#)

Нельзя исключить, что Корф задним числом, по аналогии, переносил на Сперанского характеристики, запомнившиеся ему при чтении «Медного всадника»; но и Пушкин, нет сомнения, учитывал легендарную историю о страдальческом безумии «чиновника» Сперанского в построении судьбы своего Евгения, находившегося у кромки счастья и вместе с надеждой на счастье потерявшего разум.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Сперанский старше Александра на пять лет — и это не столь важно; Аракчеев старше Сперанского на три года — и это значит, что между ними прошел водораздел поколений. Мир Аракчеева гораздо более педагогичен; каждый жест его что-нибудь да говорит; каждая вещь, его окружающая, не безмолвствует.

Вот известный сюжет. В Грузии собираются гости — обойдя знатных, граф устремляется к безродному поляку Фаддею Булгарину: «А! очень рад любезному гостю!» Любезный гость сообразителен; сразу смекает, в чем дело:

«Я в первой паре с графом — перед всеми, иду с ним рука об руку, как будто старый приятель и товарищ! Но граф любил следовать евангельскому правилу, по которому возвышающий унижается. Не в темя я бит — и тотчас постигнул, что граф возвышает меня для примера другим, и чтоб показать, что милость его зависит не от степени или звания в обществе. Я чувствовал, что на этот раз буду заглавного буквою в его нравоучении...»^[289]

Естественно, Фаддей Венедиктович, писавший свои воспоминания в 1840 году, ловко расставляет выгодные для себя акценты; тем не менее самый механизм аракчеевского «приема» передан им точно. Если что

здесь и нуждается в прояснении, так это дополнительный смысл аракчеевского «жеста».

Весь день, пишет Булгарин, рядом с графом, неотлучно от него находился не столь давно возвращенный из опалы Сперанский. Вот — истинный объект аракчеевского назидания. Для публики этот демонстративный союз значит: Аракчееву мил всякий, кто дан ему государем в сотрудники. Для Сперанского — что он отныне, так сказать, птенец Аракчеева гнезда. Приглашение безродного и нечиновного литератора Булгарина в тесный круг государственных мужей, соединение и уравнивание Сперанского и Булгарина под крылом всесильного графа — всего лишь примечание в нравоучительном сочинении. Действительно, милость графа «зависит не от степени или звания в обществе» — она зависит единственно от его воли; читающий (Сперанский) да понимает.

Сперанский разумел, как мы помним.

Помним мы и о том, что само Грузино было «текстом в тексте», государством в государстве; что надпись на памятнике Павлу Петровичу — «С сердцем чистым и духом правым»^[290] — тоже имела двойной смысл, напоминая Александру о непричастности временщика к цареубийству. Помним мы и о том, что осенью 1825 года Аракчеев не впервые принародно отрекался от властных полномочий и что всякий раз то был маленький спектакль с безупречно расчисленной драматургией и режиссерским изыском.

1808 год, январь. Только что назначенный военным министром Аракчеев подает прошение об отставке. Он изумлен, он недоумевает: его предшественник, граф Сергей Кузьмич Вязмитинов лишен портфеля с оскорбительной формулировкой — «без права ношения мундира»; между тем ознакомительная инспекция убеждает: дела в министерстве сданы в полном

порядке; Вязмитинов заслуживает не порицания — благодарности; и если столь почтенный старец по прихоти государя может быть унижен, чего остается ждать его новоназначенному преемнику?

Ход Аракчеева сложен, рискован, остроумен. Во-первых, он (одновременно со Сперанским) возвысился сразу после непопулярного в обществе Тильзитского соглашения и резкий демарш снимал подозрения в его профранцузской, пронаполеоновской ориентации. Во-вторых, он предстал ходатаем по чужим делам, которому лично ничего не нужно. Но мундир, возвращенный Вязмитинову, и смена формулы его отставки (по собственному прошению) в той же мере восстанавливают честь Сергея Кузмича, в какой и дают самому Аракчееву охранную грамоту от возможного бесчестия. Царю преподан урок; учитель остался доволен учеником.

1809 год, декабрь. Аракчеев ознакомлен с проектами всеобщего преобразования государственного управления накануне их принятия. Он потрясен сознанием собственной «цареоставленности»: бумаги циркулировали между кабинетом государя и канцелярией Сперанского помимо «каморки» Аракчеева. Нитка нашла способ войти в иголку — минуя ушко. И царю было послано письмо, о котором шла речь выше. Здесь повторим лишь, что в итоге аракчеевского демарша 1810 года личность восторжествовала над бюрократической безликостью.

Столь же ясно продуманны, округлы и театрально эффектны были жесты показного уклонения Аракчеева от царской милости.

Так, 22 мая 1815 года освободитель Европы и победитель непобедимого Наполеона Александр I отправился в Англию в сопровождении короля прусского; быть в свите победителя во время первой после победы поездки — было почетно, было

усладительно. Аракчеев ехать отказался и испросил отпуск. Он лишил себя солнечных ванн Александровой славы; зато приобрел еще большее расположение государя, выраженное письменно.

«Я могу сказать, что ни к кому я не имел подобной [неограниченной доверенности] и ничье удаление мне столь не тягостно, как твое. На век тебе верный друг...»^[291]

«Позвольте, всемилостивый Государь, и мне сказать, с прямою откровенностию, что любовь и преданность моя к Вашему Величеству превышали в чувствах моих все на свете, что желания мои не имели другой цели, как только заслужить одну Вашу доверенность, не для того, чтоб употреблять ее к приобретению себе наград и доходов, а для доведения до Высочайшего сведения Вашего о несчастиях, тягостях и обидах в любезном отечестве».^[292]

И ни разу — ни разу! — граф не действовал неосмотрительно; ни разу — ни разу! — не отсекал возможность последующего маневра. В мастерстве перемены масок — облагодетельствованного слуги, оскорбленного гражданина, страждущего больного — он не имел равных. Хотя искусством политического маскарада в совершенстве владели тогда многие.

Так, Федор Ростопчин тоже был выдающимся актером дворцового театра. Но куда ему до Аракчеева! В сочельник 24 декабря 1823 года он, смещенный в результате более чем двадцати лет приуготовлявшейся Аракчеевым интриги, послал всесильному графу прощальное письмо. Злое, издевательски остроумное, но дающее противнику непобиваемый козырь и навсегда закрывающее возвратный путь:

«...Извещение о Всемилостивейшем увольнении меня от службы я имел честь получить. Теперь остается мне единственно избрать кладбище, где, соединясь с

прахом вельмож и нищих сего мира, пролежу до Страшного суда, на коем предстану с чистою совестью пред правосудие Божие.

Пожелав сего всякому христианину и Вам, имею честь пребыть, и проч.» [\[293\]](#)

Таких писем Аракчеев никогда не писал.

И вот — послание в Таганрог. Говорить о нем трудно. Каков бы ни был Аракчеев, его горе такое же, как горе любого из нас. Говорить о нем — необходимо. Слишком многое в этом послании настораживает.

ШУРА-МУРА

Прежде всего: принципиальное несовпадение «актера» с «ролью». Отношения с Минкиной не были чересчур сентиментальными. Аракчеев ценил Настасью за то же, за что Александр Павлович ценил Аракчеева: за преданность без лести, подчеркнутую простоту обращения, контрастно противопоставленную жестко иерархическому придворному мироустройству. Грузино держалось на ней. Минкина, в свою очередь, умно и мягко вела отведенную ей «партию», ненавязчиво обращая внимание «любезного отца графа» на то, что всегда вызывало в нем прилив нежности и умиления — на свою преданность и неустанное благоустройство их семейного гнездышка, их маленького государства, их Грузина.

Вставной сюжет. ИЗ ПИСЕМ НАСТАСЬИ МИНКИНОЙ ЛЮБЕЗНОМУ ОТЦУ ГРАФУ

17 августа 1816 года.

...У флигелей музыкантского и людского крыльца переделаны; в погребном флигеле пол опустили ниже и лестницу для входа в комнату перенесли к южной стене — к церкви; теперь делают крыльца у сего флигеля и у битного; дорожку у плиты между флигелей музыкантского и людского перестилают вновь и делают под плиту из щебня бут. В саду после отъезда вашего сиятельства дорога от оранжереи к домику, называемому моим именем, и до чугунных ворот, отделана. Клубника выполота и вновь посажена; деревья и все растения убраны в оранжерею 3-го числа; стрижка по дорогам кончена, а теперь продолжается обрезка по куртинам; по лесу верхи и прорезают липовые аллеи; из еловой рощи назначенные лишние елки вынуть — вынуты. На цветочном островке по берегу посажено флекусов красных диких 300 кустов. При сем посылаю обрачки парчи и бархату, и перевязь для вашего сиятельства...

Целую ручки ваши. Слуга ваша Настасья Федорова.

9 сентября 1816 года.

...Ковер для собора, присланный из Парижа, получен, коего мерой 22 арш. 15 вершков. Настасья Федорова, целую ручку вашу — верная слуга...

17 июля 1819 года.

...Не думайте, отец мой — я нарочно все так поставлю, чтобы вы увидели мою преданность к вам...

...У меня работают в саду, именно чистят пруды и косят луг, который к Волхову, нижние, а я занимаюсь своими вареньями. Вас прошу, чтобы Тимофея отдать поучиться мороженое делать: нам будет замена на

десерте, — также формочки приискать для мороженого. Прошу вас, отец, купить два маленьких окорока, они выгодны для стола нам, и лимоноватой воды, дрождей... Я получила конфекты, так и укладка их. Верьте, что ни одна конфекта не испортилась: вы увидите, также их везли как прежние. Вам было угодно купить сафьяну для стульев, которые из Высокого. Прошу вас — мой единственный друг — беречь свое здоровье; я прошу Всевышнего Отца о сохранении вашем. Будьте покойны по дому вашему — я сказала, что люблю больше своей жизни вас, — то и хочу всем доказать, что слуга верная своему графу...

3 сентября 1820 года.

Любезный мой отец граф!

Сей час получила ваше милое письмо — от 22-го Августа писано вами, и я, 3-го числа Сентября получила утром, нарочно посылала в Чудово — сколь оно обрадовало мое сердце, увидев милый ваш почерк и названия столь лестные вашему преданному слуге и другу. Я сказала единожды: един гроб заглушит чувства моей к вам благодарности, служить и беречь и любить — одна моя отрада есть. Что вы пишете, все исполню, — я посылала в Буречи смотреть вашу квартиру, но она в мезонине. Степан говорит, что дует. Я думала просить Петра Андреевича Клейнмихеля, но вы пишете, что в Высоком и Прусском поселении приготовить — все сделаю. Также у крестьянских домов посмотрю сама — все будет сделано хорошо; только приезжайте в свое милое Грузине, где ждет ваша слуга. Ах — как я рада, когда получила письмо ваше, — вижу, что любима еще. Что не придет в горестное мое сердце! Дай Бог Государю многие несчетные годы, что любит моего

отца, и вам — прошу Бога — о сохранении здоровья вашего. Он один спасет и подкрепит вас...

Настасья Минкина знала заклинательную формулу, произнося которую, Аракчеев и сам умирал и усчастливливал сердце государя: «...слава Богу, батюшка, все благополучно, смирно, тихо». Но знала она и другое: что формула эта была самозаклинанием Аракчеева и произнося ее, он себя умирал и усчастливливал.

И повторяла ее из письма в письмо.

17 августа 1816 года.

...нашла все в доме благополучно и в порядке — люди все здоровы, а также и скот благополучен...

9 сентября 1816 года.

...В доме, слава Богу, все благополучно, и люди все здоровы, — а также скот и птицы благополучны...

11 августа 1820 года.

...У нас в доме все, слава Богу, хорошо — люди здоровы, а также скот и птицы благополучны; лошадей проезжают, как при вас было.

23 августа 1820 года.

...Не говорю о себе, несчастная; скажу, что у нас все, слава Богу, хорошо и благополучно — как по дому, так и о вотчине. Погода становится хороша. Мужики

посеялись и косят в болотах сено, женщины жнут овес и прочие работы идут все хорошо; дворовые люди также хорошо ведут себя; в саду очень хорошо; деревья убраны на места.

Источник: Письма Настасьи Федоровны Минкиной к графу А. А. Аракчееву I Сообщ. Н. Богословский II Русский Архив. 1868. Стб. 1656-1673.

Лишенная образования домоправительница угадала то, что вычислили опытные царедворцы. Тот же магнетически воздействующий на адресата мотив, та же заклинательная формула встречаются в письмах самых разных, но так или иначе зависимых от Аракчеева и равно заинтересованных в добром расположении его духа, особ к сиятельному графу.

«В городе у нас очень тихо, все толки, мнения и рассуждения о министерии замолкли, да и город пуст...»^[294] — извещает С. Творогов из Санкт-Петербурга 25 июля 1813 года.

«Все у нас, благодаря деснице Всевышнего, хорошо и спокойно»,^[295] — делится с графом 4 октября того же года многим Аракчееву обязанный князь Вязмитинов.

«Здесь царствует большой во всем порядок; кронпринц наблюдает и любит его»,^[296] — пишет Н. Д. Мянкин из Нотербока 29 августа; год тот же.

«...в поселенном батальоне вашего сиятельства полка все благополучно»,^[297] — Федор Фрикен, 13 декабря 1817-го.

«В округе поселения имени вашего сиятельства полка все благополучно»,^[298] — П. Клейнмихель, 22 января 1820-го.

Но одно дело — мотив, другое — формула; одно дело — ублажение всесильного временщика, другое —

медленное опутывание любовника, привязывание его, приручение.

Этим искусством Минкина также владела в совершенстве; недаром у нее была репутация колдуньи и гадалки. «Говорили, что Настасья, кастелянша графа Аракчеева, была чернокнижница и знала все, что где делается. Гадала ль Настасья по черным книгам — сказать мудрено, а что знала почти все, что делается в графской вотчине — это точно».^[299] Впрочем, Аракчеев

в современных ему народных преданиях тоже наделен был колдовскими чарами; в той же легенде сообщается:

«Да>и сам-то Аракчеев был хитрый человек. В каждой деревне у него были старухи, которые доносили ему про всякие дела. А мужики и солдаты думали все на Настасью, боялись ее, звали колдуньей. И была такая вера, что от графа ничего не скроешь, концов не схоронишь.

Вот что раз было. Большое было ученье полку. Скомандовали: «ружья на руку!», а за этой командой должна быть другая: «пли!» Ружья были заряжены холостыми зарядами. Аракчеев перед командой «пли!» закричал: «остановись!», подошел к одному солдату и говорит ему: «Ну-ка, опусти шомпол в дуло!» Солдат опускает. «А что же какой большой конец торчит?» — «Виноват, ваше сиятельство!» — и солдат тут же признался, что хотел убить графа. Подумал малость Аракчеев, да и закричал: «Дать этому солдату чистую отставку и отправить на почтовых в его губернию, чтоб таких негодяев у нас не было!»^[300]

Секрет прозорливости Минкиной отчасти объясняется тем, что она содержала агентурную сеть хожалок и богомолков, поставлявшую ей столичную «информацию к размышлению» даже раньше, чем аракчеевский телеграф извещал о прибытии гостей на станцию...

Вот самый яркий, образцовый, можно сказать, пример Настасьиноного домо- и жизнестроительства; письмо любезному отцу графу от 20 июля 1819 года, с пометой: «Утро иду к обедни, мой отец».

«Любезный мой отец граф!

Сколь ваше письмо обрадовало — как вы ко мне милостивы! Ах душа, дай Бог, чтобы ваша любовь была такова, как я чувствую к вам — един Бог видит ее. Вам не надобно сомневаться в своей Н... которая каждую минуту посвящает вам. Скажу — друг мой добрый, — что часто в вас сомневаюсь, но все вам прощаю, — что делать, что молоденькие берут верх над дружбою, — но ваша слуга Н... все будет до конца своей жизни одинакова. Желая, чтоб наш сын общий был примером благодарности; я ему всегда говорила, что Бог нам дал отца и благодетеля вас — душа единственная — моему сердцу, прости моему открытию: любви много, и более не могу любить. У нас все, слава Богу, хорошо: люди и скот здоровы, я немножко своим желудком страдаю, — но все пройдет. Дай Бог вас видеть в вашем милом Грузине. Одно утешение вас успокоивать. О — друг! Сколь любовь мучительна, прости — три дня еще ожидать вас — прошу Мишу поцеловать, — если он заслуживает ваших милостей. Я занимаюсь домашним — при вас некогда будет! — как вареньем, так и сушкою зелени и бельем и постелями; все хочется до вас кончить — мой друг, чтобы видели, что Н... вас любит».

Как построено это письмо?

Первым заявлен мотив милости; задана иерархия.

Затем появляется мотив аракчеевской ревности, ловко погашаемый мотивом Настасьиноного заведомого прощения возможной измены со стороны «благодетеля». (Логик назвал бы это «подменой тезиса»; таких слов Настасья не знала, яблоки и варенье были ей ближе.)

Тут же следует ненавязчивое напоминание о «нашем сыне общем»: мотив отцовства.

Адресат завораживается, тайные струны его души приводятся в действие, и в этот миг успех закрепляется самым сладостным мотивом благоустроенности: «У нас все, слава Богу, хорошо: люди и скот здоровы».

И лишь после того, после упоминания о том, что «я немножко своим желудком страдаю», возможного лишь между самыми близкими людьми — мыслимо завести речь о любви и ее мучениях; причем любовная тема естественно перетекает в хозяйственный разговор о вареньях, зелени и белье.

Не отношения страстных любовников, не воркование нежных голубков, не платоническая любовная игра, не следы угасшего чувства в рутине домашних дел, но крепкая, хотя и не вполне законная семья, в которой, как в разумно организованном доме, всему отведено свое место — и нежности, и рачительности, и страсти, и охлажденности. По-придворному чуткий полководец Багратион нашел единственно возможное определение «социальной роли» Минкиной, когда послал графу платочек для подарка — кому? Не жене, не любовнице, не возлюбленной, не наложнице, а «шуре-муре» (очевидно, контаминация французских слов «шер» и «амур»).

«Ваше сиятельство! Азиятская мода; дамы носят на шее — оно и пахнет хорошо. Я не верю, чтобы у вашего сиятельства не было шуры муры, можете подарить; надеюсь, что понравится. Преданный вам Багратион».

[\[301\]](#)

Естественно, от людей той эпохи, принадлежавших к тому типу культуры, бесполезно было бы ждать письменных откровений, прямых признаний в огненном безумном желании: они были словесно стыдливыми. (В поведении стыдливости было меньше, но и она всегда

ритуализовывалась и тем как бы снималась, лишалась грубого натурализма. Потаенная беседка в Грузии, в стенах которой были искусно скрыты развратные гравюры огромного размера, которыми образцово-показательный граф любовался в часы отдохновения от трудов праведных, — одно из таких ритуальных «капищ». ^[302] Греху не дают выйти на волю — ему отводят дальний уголок сада, включают в общую иерархию: непорядочное — упорядочивают.) Но при этом они располагали тысячами способов намекнуть на иные чувства, если бы чувства эти существовали. При всей своей незначительности Настасья Минкина ведала и соблюдала стилевой кодекс эпохи. Ей не на что было намекать. Многолетние отношения с графом сложились раз навсегда; необходимо было лишь поддерживать ровный огонь этих отношений: «Любезный мой отец, посылаю вам двойную георгина. Вы не изволили ее видеть, а я боюсь, чтобы не отцвела без вас...»

И вот, узнав о грузинском смертоубийстве, граф принимает роль полубезумца, сраженного потерей возлюбленной. Рассуждать о том, мог ли он — пусть на время — утратить разум при виде растерзанной дворовыми Минкиной — бесполезно и нехорошо. Мог — как всякий человек. А мог — и не утратить. Мог потерять голову, а мог, наоборот, и попытаться ее сохранить.

«ОТ СУМАСШЕСТВИЯ СМОГУ Я ОСТЕРЕЧЬСЯ»

Что же именно могло так потрясти графа?

Зрелище обезображенного трупа? Вряд ли. Хладнокровный артиллерист, отдававший приказ расстреливать поселенский бунт из боевых орудий, жестокий судья, способный пять дней кряду прогонять через строй две сотни приговоренных, половина из

которых была забита насмерть, а другая половина являла собою кровавое гниющее живое месиво, — он к подобным картинам давно притерпелся.

Нечаянная разлука двух нежно любящих сердец, подобная внезапно поразившей Сперанского в 1799 году? Но то, что мы знаем о характере этой любви, снимает подобное предположение.

Разрушение стройного миропорядка, царившего в Грузии; угроза ровному регламентированному благоденствию, служившему для Аракчеева символом счастливо-стройной, однообразно-уравновешенной будущности всей России и державшемся на Минкиной? Это куда скорее; на поведение людей идеологической эпохи подсознание влияет через иные механизмы, нежели на поведение людей психологического склада. Недаром Аракчеев постарался, чтобы место Минкиной в грузинском миропорядке как можно скорее занял миф о ней; она была погребена не на кладбище, не в церковной ограде, а в ограде — грузинской; на памятнике ей высечена приличная надпись в прозе: «Здесь покоится прах Анастасии». Ни фамилии, ни полного имени, ни эпитафии. Но для людей аракчеевского склада в известном смысле миф важнее мифологизируемого лица.

Однако совершенно невозможно понять, почему в таком случае ни безумие, ни полубезумие, ни четверть-безумие не посетило графа в тот миг вторичного — и куда более страшного! — крушения грузинского блаженного царства, когда, разбирая бумаги покойной, он обнаружил свидетельства ее неверности и доказательства тому, что считавшийся незаконно драгоценным плодом их взаимно преданной любви Михаил Шумский — вовсе не его сын. Что все эти годы островок покоя в бурных водах истории, обитель утешения, символ преобразовательных упований графа, его грузинский монастырь держался на лжи и измене?

Почему не потрясло его сознание, когда он отдавал приказ убрать из сада памятник Анастасии, разрушить им же созданный миф?..

Нам ничего не остается, как задать иной, более прямой и более страшный вопрос: да был ли царев любимец за гранью разума, извещая «батюшку» о самочинном устранении от дел? Не воспользовался ли он своим — не подлежащим сомнению, тяжким, глубоким — горем, не сыграл ли на нем? В конце концов, потрясенный смертью жены, Сперанский оставил записку лишь с просьбой не искать его. Он не был столь предусмотрителен, чтобы передать просьбу в канцелярию об отпуске без сохранения содержания в связи с душевной болезнью. Он не думал о последствиях прогула, он страшился, бедный, не за себя... Аракчеев же не пускается опрометью «в темный лес», не поет «в пламенном бреде», не забывается «в чаду нестройных, чудных грез». Он сам ставит себе диагноз («рассудок мой... расстроило и ослабило... не имею... соображения») и шлет царю письмо, похожее на медицинскую справку, чтобы снять с себя вину за возможные последствия. С известной степенью осторожности предположим: одной рукой отирая немнимые слезы, Аракчеев другой демонстративно натягивал маску безумца. Зачем? Попробуем размыслить.

И прежде всего вспомним о нескольких вещах, нескольких обстоятельствах российской жизни последних лет александровского царствования.

«ЧЕМУ, ЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ МЫ БЫЛИ!..»

С того трагического апрельского дня 1819 года, когда «Сын Отечества» напечатал подробное сообщение о том, что маннгеймский студент Занд

вонзил свой отточенный кинжал в грудь русского агента сочинителя Августа Коцебу, и до того трагического дня 27 ноября 1825 года, когда в столице Российской империи было объявлено о кончине царя в Таганроге — прошло шесть с половиной лет. И все эти годы, то разгораясь, то вновь затухая, всеевропейская революция болотным огнем бродила вокруг России. (По крайней мере, так считал русский царь — и граф Аракчеев полностью разделял его мнение.)

ГОД 1825. Октябрь. 18.

Таганрог.

Прибывает начальник южных военных поселений граф Витт; Александр, вернувшийся из поездки в Землю Войска Донского, узнает новые подробности о заговоре. Тайное общество «значительно увеличилось», «18-я пехотная дивизия в особенности заражена сим духом»; «в оной играет главную роль» командир Вятского пехотного полка Пестель. [\[303\]](#)

Велено продолжать расследование.

Вероятно, в эти дни Александр работает над запиской о созревшем заговоре, в который вовлечены обе армии и «отдельные корпуса»; среди заговорщиков названы Ермолов, Раевский, М. Орлов, граф Гурьев «и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров; сверх того большая часть разных штаб- и обер-офицеров». [\[304\]](#) Записка будет найдена после смерти в кабинете императора.

Октябрь. 19.

Михайловское.

День открытия Царскосельского лицея.

Пушкин пишет послание лицеистам первого выпуска «19 октября»: «Ура, наш царь! так! выпьем за царя. I Он человек! им властвует мгновенье. I Он раб молвы, сомнений и страстей; I Простим ему неправоe гоненье: I Он взял Париж, он основал Лицей».

Можно сколько угодно — вослед А. Х. Бенкендорфу и В. И. Ленину — рассуждать о «страшной далекости» членов российских тайных обществ от народа. Царю от этой правоты не станет легче. Он убежден в противном, потому что видит повсюду не следы классовой борьбы, но грозные очертания Божьего гнева. И все отчаянней ищет пособия, как уничтожить революцию вдруг, тихо и счастливо, поскольку справедливо полагает себя ее прямым виновником.

Не только в том дело, что, бросив семена свободы, он не дал им взойти, а общественное мнение, глас народа, едва разбудив, тут же загнал в подполье, где в сырости и темноте оно переродилось, стало болезненным и опасным.

Все сложнее, все хуже.

Соучастие в отцеубийстве, участь невольного режиссида несовместимы с Богопомазанием, да и просто с человеческим званием; а надежда искупить вину перед Небом, Отечеством, совестью — усчастливив Державу, утвердив блаженство свободы, отменив рабство, возвратив ход обезбоженной европейской истории к евангельскому истоку, — не осуществилась. 1812 год одиноко возвышался в пустыне бесславного царствования.

Пустота не заполнилась. Пустота родила пустоту.

Но фраза, которую царь произнес в разговоре с генералом Васильчиковым, представившим майский донос 21-го года: «Не мне подобает карать», [\[305\]](#) — фраза эта заключала в себе не только моральный, но и прагматический смысл, соотносимый со всем объемом

послевоенных размышлений русского царя о судьбе власти в России. Смысл этот можно попробовать расшифровать так: ситуация складывается критическая; мирными средствами уже не поможешь; пришла пора жестких и даже жестоких мер; но при каких условиях возможна карательная политика? Только если держава стянута в единый полицейский узел, если она парализована страхом и превращена в тюрьму. Или если правительство обладает безупречным моральным авторитетом, олицетворяет собою законность и действует не от себя лично, а от имени Правовой Нормы. Каким бы вездесущим ни был граф Аракчеев, как бы ни был бдителен цензурный адмирал Шишков, — Россия конца александровского царствования не только не была полицейским государством, но и — на тогдашнем фоне — была государством относительно либеральным. С другой стороны, как бы ни пленял Александр своих современниц «почти неземной» красотой, как бы ни умел он привлекать сердца подданных, — все равно: кровавый след отцеубийства тянулся за ним, шлейф невыполненных обещаний не давал ему сделать необходимый шаг вперед, именно им возвращенное, именно им обманутое поколение потенциальных возмутителей покоя окружало его со всех сторон.

Мемуаристы и склонные к психологизму историки в один голос говорят о предотъездной меланхолии, в конце августа 1825 года томившей царя; о том, что он словно бы прощался с Петербургом — и в день тезоименитства, когда последний раз был на литургии в Лавре, и 31 августа в Павловске, разлучаясь с Марией Феодоровной, и в предрассветных сумерках 1 сентября, остановив коляску у заставы и вглядываясь в очертания спящей столицы. Объясняют это тяжкими предчувствиями близкой кончины.

Может быть. Но о смерти царь сам ни с кем не заговорил ни разу (заговаривали с ним — князь Голицын, лаврский схимонах отец Алексей). Об отречении же — говорил, и не раз. Причем, если перебрать в памяти многочисленные высказывания царя на эту волнительную тему, то обнаружится несколько интересных закономерностей.

1812 год, 7 сентября. Разговор с полковником Мишо: «...если Божественным Провидением predetermined, чтобы когда-либо моя династия перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моей власти, я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего Отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить». [\[306\]](#)

Декабрь того же года. Вильно. Слова, обращенные к фрейлине графине Шуазель-Гуффье:

«Нет, престол — не мое призвание, и если бы я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал». [\[307\]](#)

1812 год, 8 сентября. (За обедом, по-французски; разговор состоялся спустя два дня после анонимной, под видом П. Волконского, исповеди слепому старцу Киево-Печерской лавры Вассиану.)

Государь большого государства «должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут ему позволять это... Что касается меня, то в настоящее время я прекрасно чувствую себя, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят, тогда...». [\[308\]](#)

1819, лето; на обеде после учений в Красном Селе; слушатели — великий князь Николай Павлович и его жена Александра Федоровна.

Возможно, Николаю придется взять на себя бремя царской власти, «и... это случится гораздо ранее, нежели можно ожидать, так как это случится еще при его жизни»; «...я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира... считаю долгом удалиться вовремя... все это случится не тотчас, и... несколько лет пройдет, может быть, прежде, нежели он приведет в исполнение свой план; затем он оставит нас одних». [\[309\]](#)

1819, сентябрь. Варшава. Слушатель — цесаревич Константин.

«Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать; я устал и не в силах сносить тягость правительства, я тебя предупреждаю, для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет делать в этом случае... Когда придет пора абдикировать, то я тебе дам знать и ты мысли мои напиши к матушке». [\[310\]](#)

1824, январь. Генералу Васильчикову:

«...в сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня». [\[311\]](#)

1825, весна. Петербург, в разговоре с принцем Оранским: сообщено о желании удалиться в частную жизнь. [\[312\]](#)

Прежде всего: за исключением разговора с Мишо (но тут — особое время, особые обстоятельства) царь ни разу не подразумевает под «абдикированием» то, к чему мы привыкли сводить «тему ухода» Александра Павловича: тайное исчезновение. Речь неизменно идет о церемониально обставленном, «легитимном» событии. И год от года речь эта становится все определеннее.

Затем: царь прилюдно делится любимой мечтой о свободе от царского призвания или в моменты наибольшей опасности, или накануне задуманных им решительных шагов. Сердцевина 1812 года: наступление Наполеона. Конец 1812-го: канун торжеств

и начало войны за освобождение Европы. Сентябрь 1817-го: подготовка к глобальным — увы, неосуществившимся — реформам 1818-1820 годов, намерение присоединить к Польше ряд губерний и — как следствие — усиление внутренней оппозиции, женитьба потенциального престолонаследника Николая Павловича. Лето и осень 1819-го: недавнее рождение маленького Александра Николаевича, провал реформаторских планов, конец всеевропейского затишья, предчувствие революционных потрясений в России. (Именно тогда впервые в размышлениях Александра возникает мотив юридической «безупречности» обстоятельств, при которых предстоит взойти на трон Николаю Павловичу,^[313] что в «карательной» перспективе очень важно.) О том, что происходило в России в 1824 и 1825 годах, повторять излишне.

Наконец: адресаты устных «посланий». Это или те, кто может «передать информацию» по цепочке, организовать ее утечку, или те, кто непосредственно заинтересован в ней, — младшие братья царя.

Накладывая одно на другое, получаем результат: царь заговаривает об уходе именно тогда, когда больше всего страшится устранения, и заговаривает с теми, на кого устранители могут сделать ставку. Он как бы упреждает возможный удар, как бы уговаривает всех: не волнуйтесь, не спешите, я уйду сам, меня не придется принуждать силой, нужно только выбрать удобное время, чтобы «обстоятельства жизни» были переменены с честью...

ГОД 1825. Октябрь. 20.

Александр в Крыму. Сопровождают: Дибич, Виллие, Тарасов, Соломко.

Проезжая через меннонитские поселения на реке Молочной, был счастлив созерцанием порядка и благоустроенности.

Осматривал только что купленное у графа Кушелева-Безбородко имение Ореанда. Решено строить дворец.

«...я буду жить частным человеком...»

«...он [Николай II] наивно думал, что может отказаться от престола и остаться простым обывателем в России: «Неужели вы думаете, что я буду интриговать. Я буду жить около Алексея и его воспитывать...»

8 марта бывший император выехал из Ставки и был заключен в Царскосельском Александровском дворце».

(Александр Блок. «Последние дни императорской власти». 1918.)

Нет, не ему подобало карать. Не ему — и не Константину. Карать подобает — Николаю, по малолетству абсолютно непричастному к устранению Павла и потому обладающему внутренним правом действовать от имени закона без оглядки на собственное беззаконие.

Случайно ли, что именно в 1822 году, через полгода после рокового доклада Васильчикова и аналитической записки Бенкендорфа о созревшем заговоре Александр Павлович и Мария Феодоровна завершают политическую игру по устранению Константина с монаршего горизонта, а спустя еще восемь месяцев составляется Манифест о назначении Николая Павловича наследником престола?

Случайно ли именно с зимы 1822-го внезапно ухудшается здоровье Аракчеева?

Случайно ли в первой половине 1824-го — до повторного явления Фотия, — когда европейская революция временно утихает и терпит поражение за поражением, утихают и разговоры об уходе русского царя в частную жизнь?

Даром ли сейсмографически чуткое здоровье графа Аракчеева ненадолго выправляется?

Оставим эти вопросы без ответа. С нас хватит и того, что к осени 1824 года тучи над российским тронном сгустились предельно. Что нервы русского царя были натянуты. Что во всем он видел знак приближающейся расплаты, отзвук гнева Божия, предвестье конца. Во внезапной смерти любимца, генерала Федора Уварова. В кончине единственной — любимой! — дочери (от Марии Нарышкиной) Софи, последовавшей 6 июня 1824 года, на 18-м году жизни (смерть эта напомнила о неслучайной бездетности, о младенческой смерти дочерей, прижитых с императрицей Елизаветой). В безнадежности положения самой Елизаветы.

Тем более грозное впечатление произвело на него петербургское наводнение 7 ноября 1824 года, начавшееся в 8 утра, завершившееся в 2 с четвертью пополудни, унесшее жизни 500 человек и разрушившее 324 дома. Естественно, мистически настроенный, нервно изломанный русский царь не мог не вспомнить о сентябрьском наводнении 1777 года, предварившем его рождение, и не соотнести 1777-й с 1824-м как начало — с итогом, как ожидание — с исполнением. Не мог он не подумать и о комете 1811 года, предвосхитившей Отечественную войну, и о пожаре в Царском Селе, случившемся 12 мая 1820-го, в самый день свадьбы Константина Павловича с Иоанной Груздинской, и навеявшем грустные предчувствия. И вновь, и вновь — об отцеубийстве.

«За наши грехи Бог карает. — Нет, за мои!»

В этих словах царя, брошенных в ответ на реплику Карамзина, слышится отзвук их давней предвоенной полемики. В своей «Записке» придворный историограф писал о временах «истинного» русского самодержавия, когда подданные не только были радостно покорны «доброй» царской власти, но не пытались свергнуть даже тиранов, видя в них проявление Божьего гнева и в себе, в своих прегрешениях отыскивая его причину: «Бояре и народ во глубине души своей, не дерзая что-либо замыслить против венценосца, только смиренно молили Господа, да смягчит ярость цареву — сию казнь за грехи их!»^[314] Слова Александра в контексте карамзинских раздумий о благе истинного самодержавия звучат как самообвинение в разрушении строя русской монархической жизни.

2 июня 1825-го, на возвратном пути из Польши, царь ищет холм, с которого Наполеон смотрел на победоносную армию в миг начала войны 12-го года. Наполеон ждал тогда торжества и потерял все; Александр ждал трагедии — и вышел победителем, не предполагая, что когда-то пробьет и его час утраты. Жест, говорящий о многом.

И понятно, какой смысл должен был привнести царь в известие о желании Шервуда лично доложить сведения о заговоре против священной особы Государя Императора.

Шервуд заведомо не мог сообщить ничего особенно нового. (Единственное, что удивило Александра в шервудовом сообщении во время аудиенции 17 июля, так это сообщение о том, что в военных поселениях людям оружие дают, а есть не дают. Все остальное он и так знал.) Но царь тем не менее дал Шервуду поручение собрать более подробные сведения и отправил его в

странствие по «темным местам» России. Почему? Потому что Шервуд был не источником информации, а роковым вестником брани. И посылали его только для того, чтобы он кожей ощутил: уже началось или еще нет. [\[315\]](#) Потому что антракт кончился, в Третьем Риме прозвенел третий звонок.

ГОД 1825. Октябрь. 27.

Поездка в Георгиевский монастырь. На возвратном пути внезапный северо-восточный ветер, похолодание. Шинель не взяли. Вернувшись, немедленно требует чаю в кабинет.

Октябрь. 29.

Доктору Тарасову велено приготовить отвар из рису — которым отпаивали во время рожистого воспаления.

Ноябрь. 3.

На пути в селение Орехово встречают фельдъегеря Маскова с депешей из Петербурга. Велено следовать за каретой на запятках. На резком ухабистом повороте Маскова высоко подбрасывает вверх, он падает на дорогу тычком головою.

Полночь.

Александрю доложено о кончине Маскова.

«...Я не мог не заметить в Государе необыкновенного выражения в чертах его лица, хорошо изученного мною в продолжение многих лет; оно представляло что-то тревожное и

вместе болезненное, выражающее чувство лихорадочного озноба».

(Доктор Тарасов.)

И это поняли многие в царском окружении. Аракчеев — прежде всего. Кажется, его любовная драма и оказалась встроеной в рамку сюжета исторической трагедии; в отличие от семейного потрясения Сперанского, в ней начисто отсутствовал сентиментальный смысл.

ТРИ НЕДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКА

Поездка в Таганрог была спланирована заранее. О ней знали не только при дворе, но и в свете; естественно — обсуждали. Среди прочих слухов о причинах путешествия был и такой (впоследствии сообщенный декабристом Евгением Оболенским):

«...Говорили, что он (русский царь. — Д. А.) готовил себе место успокоения от царственных трудов в Таганроге, где ему приготавливали дворец и где он думал с добродетельной супругой Елизаветой Алексеевной после отречения от престола поселиться в глубоком уединении и посвятить остаток дней покою и тишине. Много признаков утомления от царственных трудов и глубокого потрясения лучших сил души давно уже видимо было не только тем, которые были близки его особе, но и нам, занимавшим места низшие в правительственной иерархии». [\[316\]](#)

Слух как слух — не более и не менее достоверный, чем любой другой.

Как, например, этот. В так называемом Алфавите Боровкова, опыте биографического словаря участников декабрьского восстания и движения в целом, в статье «Лешевич-Бородулич Алексей Яковлев» читаем:

«...В письме к покойному государю от 12 августа 1825 года он писал, что в предосторожность от беды, монахом Авелем предсказанной, отправил он при отъезде его величества в Варшаву письмо на имя ее величества. Теперь внезапное истребление огнем пяти глав Преображенской церкви и, по словам Авеля, изображающих его императорское величество с тремя братьями и племянником, снова побуждает его, Бородулича, просить его величество отправиться в предназначенный путь не позже половины того же августа, а возвратиться не ранее половины ноября. Однако это путешествие, пишет он, по словам Авеля, может быть, избавит еще на 35 лет его величество и Россию от предстоящей беды. Письмо сие оставлено без внимания».^[317]

Оригиналов писем Лешевича-Бородулича у нас нет; в «Житии и страданиях отца и монаха Авеля», этого «нового страдальца»,^[318] ничего о прорицании 1825 года не сказано. Однако, во-первых, А. Боровков, который был правителем дел Следственного комитета (то есть лицом достаточно осведомленным), приводит показание декабриста без всяких оговорок, как несомненное; во-вторых, нам сейчас не так уж и важно, было прорицание или не было. Главное, что был слух об этом прорицании и до царя он дошел. Вот еще одна версия слуха; ее донесла до нас А. О. Смирнова-Россет, которая, в свою очередь, сослалась на «источник» своей информации — поэта Ф. И. Тютчева.

Он «рассказывал, что в последние годы своей жизни Александр впал в горькую ипохондрию, сблизился с женой и жил более в Царском Селе. Перед отъездом из Петербурга] он посетил в Невской Лавре монаха Авеля, известного своей отшельнической жизнью и духом прозрения. Он беседовал с ним целый час, и Авель ему сказал, что он не увидит более своей столицы. То же

самое предсказала ему в 1815 г. m-me Le Normant. Она ему сказала...»^[319] — и далее следует то, что уже было процитировано (в черновой редакции) в главе «Год великого перелома».

Несообразности бросаются в глаза: перед последним выездом из столицы Александр I беседовал не с отцом Авелем (который не был схимником и не был связан с митрополитом Серафимом Глаголевским), а с отцом Алексием. Именно отец Алексей иносказательно дал понять государю, что тот в Петербург не вернется.

В приведенной записи — по принципу смежности — наложены друг на друга два различных эпизода; к реальности явно ближе версия Боровкова, но и там дана не прямая цитата из отсутствующего документа, а его пересказ сравнительно «близко к тексту». Любое же изложение документа пропускает правдивую информацию сквозь систему вольно или невольно искажающих зеркал. Из помещенного в Алфавите Боровкова пересказа письма, в свою очередь пересказывавшего очередное пророчество Авеля, ясно лишь несколько вещей. Во-первых, что Авель, вернувшись из паломничества «к югу и к востоку, и в прочие страны и области» (то есть в Цареград, Иерусалим, Афон),^[320] нашел «такое место, где вся своя исправил и все совершил». То есть что незадолго до 4 апреля 1825 года он предсказал (или же считалось, что предсказал) мужской ветви Романовых скорую гибель, если Александр не удалится из Петербурга немедленно. Во-вторых, что пророчество это (или, по крайней мере, слух о нем) до сведения царя было доведено. В-третьих, что летом предсказание (или легенда о нем) было подтверждено и как бы прояснено пламенем пожара Преображенской церкви.

Зная, с каким доверием (и вполне понятным ужасом) относился Александр I и к Авелевым прорицаниям, и к

«знамениям», можно предположить, что письмо Бородулича было оставлено без ответа вовсе не потому, что царь не поверил Авелю и не сделал своих выводов из «прочитанного». (Между прочим, и донос Шервуда на фоне пророчества Авеля выглядел иначе, нежели на обычном историческом фоне!) Косвенным образом предположение это подтверждается фактом незамедлительного ареста Авеля и его ссылки в Спасо-Евфимиевский монастырь со строжайшим запретом пророчествовать впредь — сразу по воцарении Николая Павловича.^[321] Спешка и суровость указывают: за монастырскую ограду прятали «мистического свидетеля» неких александровских тайн.

В какой-то смутной связи со всем этим находится и рассказ, напечатанный в польском католическом журнале «Корреспондент» в 1860 году.

Автор сообщает, что, по свидетельству папы Льва XII, папы Григория XVI, а также записавшего их показания Марони, в 1825 году русский царь Александр I просил направить в Россию священника от Римского престола, чтобы «принять отречение императора». Лев XII хотел поручить это аббату Капеллари (будущему Григорию XVI); тот ехать отказался; после некоторых раздумий папа перепоручил миссию францисканцу отцу Ориоли — и тут пришло скорбное известие о кончине Александра Павловича.

Рассказ по крайней мере полулегендарный (особенно если вспомнить пропагандистское название статьи, в которой он приведен: «О стремлении к католицизму русского общества»). Известие получено не из вторых и даже не из третьих рук — бумаги Марони были переданы генералом Мишо (знакомцем Александра Павловича) пьемонтскому епископу Корнео; по смерти последнего пересланы Николаю I. Точно ли

они были перенаправлены монаршему адресату, неустановимо; даже если были — мы знаем, как поступал Николай Павлович с бумагами, касавшимися тайных сторон александровского царствования. Д. Н. Свербеев, познакомивший русскую публику с этой статьей,^[322] был склонен не очень доверять вышеизложенному. И был прав.

Однако не вполне достоверный, и даже вполне недостоверный источник — тоже источник. Просто в нем нарушена естественная пропорция зерен и плевел. А само смешение неизбежно даже в самом достоверном источнике.

Вот информация, по видимости, несомненная, с петербургским слухом и католической полулегендой очевидно связанная, — разговор, состоявшийся между русским царем и отставным министром-другом Голицыным перед самым отъездом в Таганрог. Голицыну поручено разбирать бумаги в монаршем кабинете, привести их в порядок перед государевой отлучкой. Он разобрал — и разобрался. Сам завел разговор о необходимости обнародовать документы, изменяющие порядок престолонаследия: иначе державе грозит опасность в случае «внезапного несчастья» с царем. Александр не удивлен, не взволнован; он спокойно-торжественен. Выдержав паузу, указывает на небо: «Положимся в этом на Бога; Он устроит все лучше нас, слабых смертных»...^[323]

Не слух — не легенда — свидетельство из первых уст. Но вопросов вызывает не меньше, если не больше, чем версия Оболенского, сведения Боровкова, разговоры Смирновой-Россет и католическое предание.

Князь Голицын разбирал бумаги — это сомнению не подлежит. Однако почему их было велено разобрать накануне «таганрогской» поездки, отнюдь не самой

продолжительной в практике «незримого путешественника»?

Далее.

То, что Голицын призывал государя обнародовать секретный Манифест и акт об отречении Константина от прав престолонаследия, — скорее всего, не вымысел. Почему, однако, князь, посвященный в дело изначально, доселе уверенный в счастливой будущности России, вдруг летом 1825-го прозрел, обеспокоился судьбами государства и решил, в свою очередь, обеспокоить ими царя? Почему сам царь при этом отнюдь не обеспокоен — и готов именно к такому разговору именно в такую минуту? Зачем мемуарист незаметно встраивает воспоминание о разговоре в меморий о разборе царских бумаг? — ведь Манифест не хранился в царевом кабинете, и одна тема к другой не имеет ни малейшего касательства! Не затем ли, чтобы, указав на следствие, скрыть причину? Чтобы поведать единичный факт, стереть фон — и факт обесмыслить?

Что в таком случае было (или, по крайней мере, могло быть) фоном?

Не то ли самое намерение Александра не возвращаться из Таганрога, о котором, основываясь на слухах, сообщает Оболенский и на которое государь полупрозрачно намекнет верному Петру Волконскому 20 октября 1825 года: «...Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку... И ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем...»? [\[324\]](#) Не размышления ли царя о возможности отречения во время или сразу после Таганрога, которое могло быть известно лишь самому узкому и самому молчаливому кругу приближенных и отголосок которой доносится до нас в «папской версии»?

Ибо если перспектива упреждающего отречения (пока гром не грянул) действительно обдумывалась, то

и впрямь имело смысл привести в порядок бумаги, подумать о вскрытии ковчежца в Успенском соборе Кремля и публикации Манифеста, который велено было хранить «вплоть до Моего востребования».^[325] Нужно было вступать в осторожные и ни к чему не обязывающие переговоры с будущими участниками торжественного акта отречения. Заочными восприемниками, крестными царя были император римский Иосиф и король прусский Фридрих Великий. Точно так (тем более так!) свидетелями сошествия с трона государя — основателя Священного Союза — должны были бы стать представители всех христианских церквей и стран — участниц Союза. Не с этим ли связано шокирующее, как бы непатриотичное обстоятельство: весной 1825 года о намерении в ближайшем будущем сойти с престола и удалиться в частную жизнь царь сообщает не Сенату, не Совету, а принцу Оранскому? (Хотя ни Совету, ни Сенату сообщать о намерении не следовало бы ни при каких обстоятельствах: такой поворот событий был не в интересах высшего дворянства, которое настороженно относилось и к Константину, и к Николаю; Сенат мог быть десятилетиями глух и нем, — но если бы дело зашло о выгодах слоя и группы, он сумел бы показать царю, кто в стране смеется последним. Не дай Бог увидеть дворянский бунт, осмысленный и беспощадный. Александр I знал это как никто другой. В лучшем случае ему не дали бы осуществить задуманное, в худшем... Что обсуждать худшее?)

Потому можно — с изрядной долей осторожности — предположить, что с начала 1825 года царь лелеял мысль об акте небывалом, неслыханном в русской истории, вполне притерпевшейся к самозванцам, но не обученной президентству: о добровольном сошествии с

трона. О церемониально обставленном «легитимном» событии.

ГОД 1825. Ноябрь. 4.

Мариуполь.

Виллие констатирует у Александра полное развитие лихорадочного сильного пароксизма. Тем не менее поспешили в Таганрог: Елизавета ждет.

Разговор с камердинером Анисимовым, незадолго до того убравшим горевшие днем свечи из кабинета государя (примета: смерть).

«Свечи... у меня из головы не выходят: это значит мне умереть, и оне-то и будут стоять передо мною».

Ноябрь. 6.

Вечер.

Таганрог.

Просит прийти Елизавету; разговор наедине до 10 вечера.

И если так, если возможность отречения осенью — зимой 1825/26 года допускалась, — то таганрогский вояж приобретал особую осмысленность. Объявить невероятную, взрывоопасную новость в столице было бы куда рискованнее, чем объявлять о свободе крестьянству. Между тем для дарования воли в 1818 году царь намеревался отбыть в Варшаву и не возвращаться в Петербург, доколе дворянство не смирится с царским решением. Но ни о какой Варшаве теперь не могло идти и речи. И в 1818-м готовность русского царя спрятаться за вечновраждебные польские стены была оскорбительна; передавать же корону, скипетр и державу Российской империи в

наполовину чужеземной Польше — значило бы толкнуть страну в бездны смуты. По той же причине отпадали южноевропейские города, куда врачи настойчиво советовали Александру Павловичу отправиться вместе с тяжкоболящей Елизаветой Алексеевной ради продления ее жизни хотя бы до зимы. Не годился и Крым, слишком «маркированный» в российской государственной символике, чересчур связанный с блаженным царством августейшей бабки Александра Павловича, эпохой екатерининских завоеваний. Обещавший в Манифесте по воцарении править «по ее духу», Александр не мог отречься от царства в Крыму. На политическом языке того времени это значило бы расписаться в невыполнении обещания, в поражении, в унижении. Для столь грандиозного шага подходил бы лишь небольшой, свободный от исторических ассоциаций, равноудаленный от столиц, центров дворянской оппозиционности и войсковых соединений город.

Город, надежно прикрытый верными верному Аракчееву военными поселениями^[326] и преданными царю — царю лично — казаками Войска Донского; тем более что они независимы как от крестьянства, так и от дворянства.

Город, расположенный в теплом морском климате, подходящем для зимнего времяпрепровождения Елизаветы Алексеевны.

Нет такого города? Есть такой город! Это город Таганрог.

«Город занимает пространство земли 600 десятин 590 сажень. Жителей считалось в нем, в 1825 году, более 8000 мужского и женского пола. Главные занятия их состоят в торговле, особенно хлебом...

Многие здания в Таганроге очень хорошей архитектуры; есть несколько и огромных домов, принадлежащих частным людям; главная улица

красотою строений, также как шириною и правильностию своею, могла бы служить украшением столицы. Она убита довольно крепким камнем и оттого никогда не бывает грязною, между тем как другие непроходимы во время дождей осенью и весною...»^[327]

Единственное — климат подходил не вполне.

«Таганрог не может похвалиться климатом. Хотя жары здесь нередко прохлаждаются морскими ветрами, дующими большею частью с юго-востока или северо-запада, но при сих последних море, уходя далеко, оставляет тиноватое ложе свое, что и производит зловерные испарения. С другой стороны, осень дождлива и обильна густыми туманами».^[328]

Особенно неприятным было то, что «раннее наступление осени и зимы, в сентябре бури, а в октябре покрытие, нередко, льдом рейда, гонят корабли из сего опасного моря и заставляют пользоваться только тремя летними месяцами».^[329]

Но, во-первых, многие оспаривают это мнение Павла Свиньина; во-вторых, таганрогская осень 1825 года и впрямь оказалась очень теплой, очень сухой и для здоровья Елизаветы Алексеевны благотворной. В-третьих, достойной замены ему все равно не было.

Теперь можно вернуться и к вопросу о времени, от которого мы умышленно «абдикировали».

Мотив усталости царя, утомления немислимым бременем бессрочной власти постоянно присутствует в воспоминаниях о 1824-1825 годах, особенно после петербургского наводнения. Отвергать этот мотив нет причины. Но помимо усталости было еще нечто — куда более важное, куда более трагическое: ожидание близкой социальной катастрофы. Не была ли таганрогская поездка для Александра Павловича последним шансом сойти с креста, перед самой бурей уступить корабль более надежному капитану? Не

рассчитывал ли он воспользоваться теперь уже практически неизбежной кончиной Елизаветы Алексеевны в далеком Таганроге, чтобы за дымовой завесой личного горя удалиться не столь неестественно, как в любом ином случае? Напомним: церемониал погребения императрицы Екатерины II находился в походных бумагах Александра Павловича и был им взят по секрету от самых близких сотрудников. Не забудем также, что в таганрогской поездке царя сопровождали офицеры-картографы; один из них, Шениг, оставил записки;^[330] да и в дневнике доктора Виллие по прибытии в Таганрог 13 сентября была сделана запись: «Здесь кончается первая часть путешествия»,^[331] прямо указывающая на перспективу его продолжения. Такие планы были возможны только в одном случае: если на исцеление Елизаветы уже не надеялись, если думали о том, что делать после ее близящейся кончины. Подобное странствие «во глубину России» напоминает скорее игру в прятки, чем символическое освоение новых пространств, включение их в сферу государственного делания. Если Александр и впрямь замыслил отречение в преддверии революции, то спрятаться после этого за «хребты Кавказа», или затеряться на сибирских просторах, или просто — умчаться в никуда по проселочным дорогам России, ускользая от собственной тени, было бы (в его ценностной системе!) не менее логично, чем в 1818 году удалиться в Варшаву и оттуда, под прикрытием польских штыков, даровать свободу русским крестьянам.

ГОД 1825. Ноябрь. 7.

Михайловское.

Пушкин завершает свою трагедию, «...перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

И тут самое время обратить внимание на одно обстоятельство — давным-давно известное, но так и не подвергшееся осмыслению. Печатание книжечки «Собственноручные рескрипты покойного Государя Императора, Отца и благодетеля Александра I к Его подданному графу Аракчееву с 1796 до кончины Его Величества, последовавшей в 1825 году», по сверхосторожному замечанию великого князя Николая Михайловича, «очевидно... начато при жизни Александра I и закончено после его кончины». [\[332\]](#)

ГОД 1825. Ноябрь. 9. Таганрог.

Александр I разрешает написать о болезни вдовствующей императрице.

Ноябрь. 10.

Отдан приказ провести аресты среди членов тайной организации.

«Не мне подобает карать...»

Ноябрь. 13.

Виллие записывает: «Уже с 8 ноября я замечаю, что его занимает и смущает его ум что-то другое, чем мысль о выздоровлении».

Николай Михайлович, допущенный в секретную часть императорского архива, не всегда и не все договаривал до конца — в данном случае он не

указывает на источник информации и никак не комментирует ее. Но если очевидно, что обложка аракчеевской книжки была отпечатана (или перепечатана и «приплетена» заново) после получения известия о таганрогской трагедии, то все остальное — отнюдь не очевидно.

Как можно было начинать типографические работы, запускать в производство заведомо мемориальное издание при жизни царя? И зачем было это делать? Ибо, пока Александр царствовал, у такой брошюры могло быть только два читателя, и так знакомых с ее содержанием: тот, кто рескрипты делал, и тот, кто рескрипты получал. Предание гласит, что оригиналы и печатные экземпляры книжицы были заложены Аракчеевым в колонны колокольни Грузинского собора и что таким образом она имела чисто магическое значение. Допустим. Однако вопросы все равно остаются. Как предполагалось поступать с новыми, будущими рескриптами, которые поступят Аракчееву от Александра после завершения печатных работ? Передавать их тиснению на отдельных листах и каждый раз подкладывать в колонну колокольни? Нерационально. Может быть, Аракчеев предвидел, что рескриптов впредь не будет?

Подобная книжица могла стать личным (предельно личным, от посторонних глаз сокрытым) подарком удаляющемуся на покой господину от преданного слуги. И одновременно — на случай неудачи предприятия, на случай бунта или опалы со стороны следующего правителя — извлеченная из тайника брошюра могла послужить оправдательным документом. [\[333\]](#) Тем более что не весь тираж был принесен в жертву памяти и упрятан в колонну; редкие экземпляры «Собственноручных рескриптов...», по

свидетельству того же Николая Михайловича, в начале столетия еще встречались.

Выстроенные в хронологическую цепочку, рескрипты эти превращались в летопись взаимоотношений царя и псаря.

То, что первые записочки относились еще ко временам Екатерины, доказывало: Аракчеев отнюдь не временщик, ибо его близость с русским царем — вневременна.

То, что последний рескрипт Александра до восшествия на престол относился к 12 декабря 1799-го, а первый после воцарения — к 10 мая 1802-го, намекало на непричастность графа к убийству Павла, на его тогдашнее удаление из столиц и указывало, к чему могло привести — и привело — податливого Александра отсутствие при нем верного и твердого Аракчеева.

То, что, начиная с записки от 26 апреля 1803 года, сердечное ты надолго сменяется холодным вы и большая часть рескриптов вплоть до назначения графа военным министром (то есть до того, как он стал личным агентом монаршей власти) имеет вполне официальный характер, говорит о государственной подоплеке взаимоотношений.

И главное: в рескриптах Аракчеев предстает лишь помощником и советчиком царя, никак не всесильным правителем Империи. Опять же вопреки репутации. Потому, быть может, самый существенный для издателя раздел — «Рескрипты о военных поселениях, писанные с 1810 года».

Тут все важно. И дата, вынесенная в заглавие раздела (1810): военные поселения начинались, когда ушедший с поста военного министра Аракчеев не был в силе, а не в послевоенные времена (как считали все), когда он имел огромную власть. И прямое, из первых рук, свидетельство о том, что государь был автором проекта, стало быть, с Аракчеева, непреклонного

исполнителя царской воли, должны быть сняты обвинения в жестокости и роковой фантастичности плана.

Младший кивает на старшего, а со старшего и спроса нет...

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

Предполагал ли Александр Павлович в случае крайней необходимости «абдикировать» под моральным прикрытием неуклонно близящейся кончины Елизаветы или не рассчитывал, велась сколь-нибудь реальная подготовка к таганрогскому отречению или не велась, знал о ней Аракчеев или не знал (хотя, повторим еще раз: если велась — знал), но граф не мог не понимать, что по существу александровское правление к осени 1825 года завершилось, внутренне исчерпав себя. И он не мог не страшиться следствий, опасных и для России в целом, и для нелюбимого ею государева любимца — лично. Июльский донос Шервуда и особенно его последующие донесения были для Аракчеева, равно как для самого Александра, отнюдь не холостым выстрелом. То был настоящий залп, возвестивший о начале революции в России. И с переменой декораций, с передачей власти в незапятнанные руки царь опоздал.

ГОД 1825. Ноябрь. 14.

Бритье. Порез. Обморок. Более царь не встает.

Отказ принять лекарство: «у меня свои причины так действовать».

Ноябрь. 15.

5 с половиной утра.

Соборный протоиерей Феодот Орлов, вызванный лейб-медиком Виллие для совершения таинства, а также для внушения царю мысли о необходимости пиявок, исповедовал и причастил Александра.

Ноябрь. 17.

Прекрасное утро. Улучшение. К вечеру резкое ухудшение.

Ноябрь. 19.

Пасмурно.

Ехать Аракчееву в Таганрог было незачем (как незачем ему было ехать в Петербург по вызову Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года — в ночь переворота). Ехать в Таганрог было опасно. И напрасно Александр (столько же ради того, чтобы утешить друга, сколько и в расчете на его надежность в грозных обстоятельствах) взывал из Таганрога:

«...Ты мне пишешь, что хочешь удалиться из Грузина, но не знаешь, куда ехать. Приезжай ко мне: у тебя нет друга, который тебя бы искреннее любил. Место здесь уединенное... но заклинаю тебя всем, что есть святого, вспомни отечество, сколь служба твоя ему полезна и, могу сказать, необходима, а с отечеством и я неразлучен...»^[334]

Напрасно обращался к Фотию: огради разум любимца душеполезным наставлением, уврачуй. Напрасно Фотий врачевал. Напрасно (очевидно, через митрополита Серафима) передавался приказ близлежащим духовным особам — займитесь увещеванием; напрасно стекались в Грузинскую

обитель письма, словно писанные под диктовку, с выражением сочувствия и пастырскими наставлениями о недопустимости отчаяния. Напрасно в это самое время мозолил глаза обывателям крошечного городка Карачева Орловской губернии недоумевающий Шервуд. (В один из дней городничий, которого уже не раз предупредили: к вам приехал ревизор! — является в станционную гостиницу и делает заезжему офицеру прямой вопрос: а вы, собственно, с чем пожаловали, милостивый государь мой? Насмерть перепуганный Шервуд показывает отпускной билет. Это не ответ. Многие военные находятся в годовом отпуске; весьма редкие из них запираются в станционной гостинице Карачева и десять дней ждут, ждут, ждут — неизвестно чего. Но внизу стоит подпись Аракчеева, и потому это — ответ.)

Все напрасно. Потому что дело шло уже не о карьере, — о жизни и смерти. Нужен был повод, чтобы сойти со сцены, пока царя не «сошли» с трона, спрятаться за кулисы, переждать развязку; и повод более чем серьезный. Не стало ли грузинское смертоубийство для Аракчеева именно таким поводом — уйти под моральным прикрытием чужой смерти?..

ГОД 1825. Все тот же месяц: ноябрь. Все то же число: 19.

Около 10 часов 45 минут утра: констатирована смерть.

20.

Вскрытие. Акт подписан 9 докторами в присутствии генерала Чернышева.

Бальзамирование. Д. К. Тарасов: забальзамировали замечательно, довели в сохранности. Шениг: забальзамировали ужасно, кожа отстает, чернота, приходится прикладывать лед.

Открыт конверт с бумагами, который Александр последнее время всюду носил с собою: «какие-то молитвы». [\[335\]](#) За ненадобностью вложили конверт в карман мундира.

Часть седьмая ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ (Роман испытания)

*«...Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Злотый венец тяжел им становился; Они
его меняли на клубок...»*

Пимен — Гришке Отрепьеву

ГИШТОРИЯ О ВАРЛААМЕ И ИАСАФЕ [\[336\]](#)

19 ноября, в день неожиданной, труднообъяснимой кончины богатырски здорового сорокавосьмилетнего государя императора вдали от столиц и буквально накануне потрясений, которых он предотвратить уже не мог, — в этот самый день Православная Церковь празднует день святых Варлаама и Иасафа. Старца, пришедшего в царский дворец, и царя, ушедшего из дворца в пустыню.

...Аще и диадиму царскую кто на себе имея, в нечестии же бывшему, вся ни во что преимея.

Иасаф, сын индийского царя Авенира, «воспитан бе аки в некоем затворе»: отец не выпускал сына за пределы чудно устроенного дворца, чтобы тот не знал, не ведал о страданиях, скорбях, муках земной жизни. Но однажды Иасаф повстречал двух старых «мужей», «изморсканым лицом и горбата суца», бессильных, жалких. Зрелище так поразило юного Иасафа, что он задумался о неизбежной старости и смерти и погрузился в неизлечимую печаль. Никто не мог его развеселить, никто не был в состоянии утешить. И вот, к воспитателю Иасафа Зардану приходит преподобный Варлаам. Сказавшись чужеземным купцом, пустынный и молитвенник обещает исцелить царевича.

А сам открывает царевичу «истины евангельския», крестит и разъясняет монашеские правила постного, а потому радостного жития.

Заметив происшедшую в сыне перемену и узнав о ее причине, языческий царь Авенир по совету придворных мудрецов пробует извлечь сына из христианского пленения: сначала «избранных девиц красотою

повелевает ко Иасафу ввести»; когда и это сильнодействующее средство не помогает, Авениру ничего не остается, как отделить сыну некоторую часть своего царства и повелеть отойти в нее, да не соблазняет своим примером доброверных подданных. Вскоре царство Авенира, некогда процветавшее, приходит в упадок. Иасафово же царство благоденствует. Авенир признает правоту сына и тоже принимает крещение.

Вскоре Авенир умирает. Сотворив отцу «чудно погребение», сын на сороковой день «созва старейшины вся и люди градские», раздает свое богатство и просит избрать нового царя, ибо отныне его единственное желание: един ко единому усердно тещи оного бытия, безмятежною душевною тишиною работати Владыце моему истинною...

Новоизбранного царя Арахия народ принять не хочет; Иасаф обещает остаться, а сам в последнюю ночь своего царствования пишет «епистолию» к народу, «како жити христианом правостию премногою», и на утро, «всех утаивая, из полаты изыде».

Плач и рыдание раздаются в царстве; ужас безначалия поражает всех. Пятидесятилетний Иасаф возвращается и, окончательно утвердив Арахия на царстве, окончательно же уходит в пустыню, спасти душу.

СТАРЧЕСТВА ЧЕСТНЫЕ ЗЕРЦАЛЫ

ГОД 1825. Ноябрь. 27.

С.-Петербург.

Во время молебна о здравии Государя Императора Александра Павловича в церкви Зимнего дворца получено сообщение о смерти.

Николай Павлович приносит присягу на верность Императору Константину.

Ноябрь. 30. Новгород.

Скоропостижно выздоравливает граф Аракчеев, о чем незамедлительно извещен новый Государь Константин Павлович:

«...Получа облегчение от болезни, я вступил в командование отдельным корпусом военных поселений».

В 1836-м (год исполнения пророчества Юнга-Штиллин-га о Тысячелетнем Царстве на земле!) в окрестностях уральского города Красноуфимска Пермской губернии был задержан беспаспортный старик — высокого роста, седобородый, голубоглазый. Старик ехал верхом; остановившись у кузницы подковать лошадь, на расспросы кузнеца отвечал уклончиво, чем ввел того в подозрение. Кузнец вызвал наряд; старика взяли, били. На допросе он назвался Феодором Козьмичом, фамилию не указал, паспорта не предъявил, куда направляется, не выдал.

Если б знали сибирские следователи, в завязке какого сюжета участвуют!

В марте 1837-го Феодор Козьмич был отправлен в Боготольскую волость, где его приписали к деревне Зерцалы, но определили на поселение в Краснореченский казенный винокуренный завод. Здешний смотритель «отнесся к нему очень внимательно; не отягчая старца работою, он доставлял ему все необходимое». [\[337\]](#)

После пяти лет «винокуренной» жизни старик переведен был в Белоярскую станицу и поселился в избе, что выстроил для него казак Семен Николаевич Сидоров. Сибирь была тогда краем глухим, но прислушивающимся: при появлении свежего человека станица обращалась в огромное коллективное ухо; к новопоселенцу гуськом стекались посетители. Поводы были внешние (соль, спички), цель была одна — наговориться всласть. Тем более что Феодор Козьмич был явно из образованных, умел лечить, иногда наставлял советом — и никому ни при каких обстоятельствах не сообщал, кто он и откуда. А спрашивали многие: ибо, хотя старец Феодор Козьмич и не был монашествующим, стало быть, имени своего не менял, но мало кто сомневался, что настоящее свое прозвание он скрывает.

Откуда он родом?

«Я родился в древах. Если бы эти древа на меня посмотрели, то без ветру вершинами бы покачали». [\[338\]](#)

Какому ангелу молиться о нем?

«Это только Бог знает».

Как имена благочестивых родителей?

«Святая церковь за них молится». [\[339\]](#)

Сибиряки терялись в догадках; тайна имени хранилась строго. Даже рискуя быть заподозренным в сектантстве или ереси, Феодор Козьмич крайне редко и по возможности скрытно приступал к исповеди и причастию — ибо на исповеди приходилось и называть

свое настоящее имя, и открывать свое прошлое, вводя исповедника в страшный соблазн разглашения тайны. Впоследствии его духовник отец Петр Попов, ставший епископом Томским, а также отец Николай Сосунов и томские иеромонахи — Рафаил и Герман подтвердили, что духовно окормляли покойного и знают, кто он, однако никогда и никому не разгласят. При жизни же Феодора Козьмича об этом окормлении почти никто не ведал, и многие полагали, что к таинствам покаяния и причастия странный старик во всю свою сибирскую жизнь так и не приступал. [\[340\]](#)

Феодор Козьмич вскоре был замучен общением; он-то искал не душеспасительных (для него — душегубительных) разговоров о «высоком», но тишины для неуклонной молитвы. (По смерти, обмывая тело, на коленях его обнаружили уплотнения от многолетнего стояния на молитве.) Тем менее радовала его разгульная атмосфера каторжного края. Спустя несколько месяцев он перебрался на жительство в деревню Зерцалы; здесь ему выстроил келью каторжанин Иван Иванов. В 1843 году отправился куда-то работать — скорее всего, на прииски Попова в енисейскую тайгу. Вернувшись, провел в Зерцалах еще шесть лет. Очевидно, именно в эти годы его стали почитать как православного старца — то есть как подвижника, имеющего опыт многолетней жизни в духе и потому обладающего особыми «религиозными полномочиями». [\[341\]](#)

В 1848-м или 1849-м, как раз когда во Франции разразилась очередная революция, он поселился близ села Краснореченского, где ему устроил «пасечную» келью богатый крестьянин Иван Гаврилович Латышев. Здесь Федор Козьмич прожил до 1857 года — время от времени переноса келью подальше, поскольку

окрестные «ходоки» новь стали не давать ему молитвенного покоя.

Когда же Феодор Козьмич, переселившийся в 1858 году на заимку Хромова, в четырех верстах от Томска, почил в бозе, то над его могилою поставили православный крест и сделали надпись: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Феодора Кузьмича, скончавшегося 20-го января 1864 года». Позже, по приказанию томского начальства слова «Великого Благословенного», слишком прямо посягавшие на монаршее «звание» Александра I, были замазаны белой краской но вылиняли и проступали сквозь покрытие полупрозрачным намеком. Перед самою смертью Феодор Козьмич, со словами: «В нем моя тайна», указал Семену Феофановичу на мешочек, висевший на стене. В мешочке оказались зашифрованная запись и ключ к шифру, так и оставшийся неразгаданным.

Не прошло и двух лет со дня успения старца Феодора Козьмича, как купец Хромов отправился в Петербург, чтобы довести до сведения властей предержащих важнейшее известие: обитатель его заимки Феодор Козьмич был не кто иной, как с 19 ноября 1825 года поминаемый за упокой Государь Император Александр Павлович. Царь не умер осенью 1825 года в Таганроге, а тайно ушел; страдал; был бит плетьюми; скрывался в Сибири; спасал свою душу. Семен Феофанович подал соответствующую записку Александру II; не дождавшись решения, вернулся домой...

Юношеская мечта Александра об удалении в частную жизнь, о переселении из Зимнего дворца в маленький домик на берегу Рейна, президентская утопия его молодых лет, сквозной мотив его зрелых размышлений о возможности «досрочного» освобождения от царского бремени — все это словно бы

слилось воедино и перевоплотилось в народное предание о русском царе, отказавшемся от бремени власти, проведшем остаток жизни в посте и молитве и спустя годы и годы умершем вдали от столиц и дворцов, на сибирской заимке.

БЕГСТВО МОЕ СОВЕРШИЛОСЬ ТАК...

— На переломе двух столетий, XIX и XX, граф Лев Николаевич Толстой узнал легенду о старце Феодоре Козьмиче и дотошно выспросил подробности у военного историка генерала Шильдера, работавшего над четырехтомной биографией Александра I Павловича.

История о царе, добровольно отказавшемся от сладкого бремени власти, бежавшем из придворного мира, где светские условности, греховная атмосфера, противоестественное сластолюбие змеями оплетали душу; о царе, прошедшем остаток жизни в посте и молитве и спустя годы и годы умершем вдали от столиц и дворцов, поразила Толстого в самое сердце. Ведь это он сам, царственный патриарх русской словесности, несвободен в собственном яснополянском доме, это его поработают условности света, не давая жить по правде! Это ему нужно бежать, бежать, бежать без оглядки в простоту здоровой крестьянской жизни; это он должен поселиться в Сибири, просвещать крестьянских детей, не иметь лишнего и величие свое претворять в духовную волю.

Чуть позже Толстой начнет писать «Посмертные записки старца Федора Кузмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца Хромова»; при этом вольно или невольно он будет ориентироваться не на мемуарную стилистику александровской эпохи, не на язык писем самого Александра, но на свою собственную стилистику, на язык личного дневника Л. Н. Толстого.

«...Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся

на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла — я еще полон его, хотя и борюсь с ним, — но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте...

Бегство мое совершилось так...»^[342]

Толстой был человеком эпохи не то чтобы приземленной, тем более не безрелигиозной (быть может, напротив, слишком мистичной и непрактической), но постепенно, и чем дальше, тем неостановимее, утрачивавшей вкус к сакрализации политической жизни, к таинственной природе монархии. Оно бы и ничего — наступала пора новых принципов самоорганизации русского общества. Но понять «монархическое прошлое», в том числе недавнее, становилось все труднее. Существенной разницы между русским солдатом, забитым шпицрутенами, русским писателем и русским царем Толстой уже не видел. А потому исходил из человеческого, а не Божественного понимания «царской участи». Причем, если Семен Феофанович умилялся подвигом многолетнего «царственного смирения» любимого старца, продолжившего в хижине служение Богу, начатое во дворце,^[343] то Лев Николаевич славил решимость Александра незримо уйти с трона, порвать с «харизматическим прошлым». Государь — такой же человек, его поведение подчинено тем же импульсам, его поступки должны оцениваться по той же шкале, что и поступки простых смертных. Был первым — стал последним; а последние станут

первыми... Так волей-неволей мечтавший о побеге яснополянский старик свел легенду об ушедшем с трона русском царе и томском старце к неким элементарным психологическим основаниям. [\[344\]](#)

Естественно, на этом пути он не был первопроходцем; сентиментальная параллель: раскаявшийся царь — странствующий праведник — была дорога многим толстовским современникам. Уже в 60-е годы князю Н. С. Голицыну показали фотографию: [\[345\]](#)

«...Великого роста и благолепного вида старец, с почти обнаженною от волос головою, в белой крестьянской рубахе, опоясанный пояском, с обнаженными ногами, стоящий среди крестьянской хижины. Лицо — прекрасное, кроткое, величественное; никакого сходства ни с кем припомнить не могу. Наконец приятель мой спрашивает меня:

— Не находите ли сходства с... покойным Императором Александром Павловичем?

Я крайне удивился, начал пристальнее всматриваться и, точно, стал понемногу находить некоторое сходство и в чертах лица, и в росте».

Тогда приятель и рассказал Голицыну распространенную в Сибири легенду об императоре Александре I, скрывшемся от мирской суеты в образе отшельника Феодора Козьмича... Позже, в 1873-м, могилу старца посетил великий князь Алексей Александрович; есть стойкое убеждение, что в 1891-м у нее был и цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II... С конца 1880-х годов в русской печати шла оживленная полемика: можно ли верить версии Хромова, легендарное ли предание сохранила народная память или историческую правду — и авторы многочисленных публикаций, [\[346\]](#) независимо от занимаемой ими позиции, понимали проблему так же,

как понимал ее Лев Толстой. То есть — как романтически-прекрасный эпизод ухода царя с трона — в Сибирь; вероятный или невероятный — другой вопрос. В 1897-м, поддавшись обаянию легенды, Шильдер увенчает 4-й том жизнеописания Александра I легендой о старце Феодоре Козьмиче, завершая фрагментом истории русской святости исследование в области политической истории...

Но именно моральный авторитет Толстого, эстетическая убедительность его построений (которая, как помнит всякий читатель «Войны и мира», подчас была убедительнее самой исторической реальности!) окончательно привели «проблему старца Феодора Козьмича» к общему знаменателю и обрекли последующие поколения историков на разгадку одного-единственного вопроса: как? Как мог — и мог ли — совершиться уход? Как могли — и могли ли — скрыть тайну придворные? Как мог — и где — скрыться царь в «промежутке» между ноябрем 1825-го и осенью 1836-го?..

Вставной сюжет. СОЛДАТ И ЦАРЬ (Интервью Льва Толстого.)

«Ах, какое сказание я о нем [Александре] знаю. Я непременно обработаю когда-нибудь этот сюжет. Это дивная драма, изумительная по своей глубине и по своей разящей, сильной, национальной правде.

Вот это сказание.

Грех, совершившийся в Михайловском замке, лег тяжелым камнем на душу Александра, и он нигде не находил себе покоя... он все чаще замыкался в себе. Религиозные наклонности его складывались в определенное мирозерцание, рисовавшее Александру иную будущность и иное призвание. Он твердо решил отказаться от царства и заявил об этом великому князю Николаю и его жене. Он поселился потом в Таганроге и жил совершенно частным человеком...

Но Александр чувствовал, что он еще не на том берегу, что надо переплыть еще большую широкую реку и многое, многое пережить. И он ждал с тревогой и молением минуты, когда это будет.

Вот раз гуляет он за городом и видит: народ валом валит к площади, занятой войсками. Войска выстроены в две шеренги длинной улицей и стоят без ружей, но с короткими палками в руках.

Видит, вывели пожилого солдата, привязали его вытянутые вперед руки к прикладу ружья и, сорвав с него рубашку, повели его с оголенной спиной между шеренгами солдат.

Началось под звуки барабанного боя ужасное наказание, свирепое, дикое наказание, которое называлось «через строй».

Александр смотрел в лицо побледневшего предсмертной бледностью солдата и был поражен

удивительным сходством с собою. Лицо солдата точь-в-точь его лицо.

Из расспросов он узнал, что несчастный уже дослуживал 25-й год своей службы, и, получив из деревни весть, что отец умирает, он стал проситься в отпуск, чтобы попрощаться с отцом. Но его не отпустили. Тогда он бежал... его за двукратный побег присудили прогнать сквозь строй и дать ему 8 тысяч палок. Это верная смерть...

Ужас охватил душу Александра.

«Боже мой, — думал он. — Отца хотел увидеть, в последний раз прильнуть к его губам и слово родное услышать, и за это его моим именем терзают и мучают так?! А я... я... Что я сделал?»

И страшная сцена в Инженерном замке предстала во всей яркости пред его глазами.

— Отец, — застонал он и тягучим, хриплым голосом зарыдал, как ребенок.

Но плакали многие из толпы, и его не замечали. Никто не знал, кто он такой.

...В дежурной комнате врача сидел седенький, с добрым лицом доктор и спешно отдавал распоряжения помощнику, что нужно делать принесенному солдату.

— Будет ли он жить, доктор? — спросил Александр, когда они остались одни, и тут же назвал себя...

— Он умрет сегодня же. Он получил 4000 ударов, и в двух местах произошел перелом позвоночника. Его смерть неизбежна.

— В таком случае, — заволновался Александр, — моя строгая просьба к вам, и последняя просьба, доктор. Но прежде поклянитесь, что тайна умрет вместе с вами.

— Клянусь. Клянусь моей любовью к вам, великий государь.

— Верю, — сказал Александр и вынул позолоченный ключ из кармана.

— Вот вам ключ от моей комнаты и велите перенести туда солдата. Я сниму с себя одежду мою, и надо будет одеть его. А сам я буду здесь на койке, вместо больного...

Назавтра весь мир узнал о смерти императора, и заколоченный гроб его, никому не показывая израненное тело, перевезли в Петербург.

А Александр недели через две залечил свои «раны» и был проведен сквозь строй палок, чтобы добить остальные удары.

Ему дали 4000 палок, но он чудом остался жив.

Солдаты, вероятно, щадили уже раз наказанного.

Когда показались рубцы на коже, его, по законам того времени, как лишенного прав, сослали в Сибирь на поселение.

В далекую, затерянную среди оврагов и долин сибирскую деревню привели высокого стройного солдата, Михаила Силина, и отдали под надзор начальства».

Лев Николаевич на минуту остановился. Умиленный поэтичностью взволновавшего его образа, он не мог продолжать дальше рассказ. Его давили спазмы в горле, а в глазах стояли светлые, лучистые слезы, слезы великого сердцеведа.

«И вот, рассказывают, — продолжал он с дрожью в голосе, когда прошли спазмы, — что долго прожил Михаил в той деревне, научился хозяйству, помогал крестьянам и учил детей их грамоте.

Случилось, что пригнали в ту деревню двух ссыльных, и из них один был старый придворный служитель. Вскоре служитель этот заболел тяжелой болезнью и уже был при смерти.

Положили его люди на повозку и привезли к старцу Михаилу, когда тот молился.

Александр порывисто посмотрел на больного и узнал в нем своего старого придворного слугу,

работавшего в саду.

Узнал его и слугитель...

И от сильного волнения он упал на землю и лишился чувств.

Подхватили его люди и унесли домой.

Когда он очнулся и поведал окружающим его все, что с ним было, — народ бросился к Александру.

Но Александра уже не было.

С той поры, рассказывают, долго бродил по Сибири высокий стройный старик и где-то около Уральских гор, у самой границы Европы, встретил свой последний час...

Какая то была величественная минута, должно быть... Какое освобождение души...»

Источник: Огонек. 1905. № 17, от 15 мая.

ИСТИНА, УБИТАЯ В СПОРЕ

Полемика продолжается до сего дня. Причем читатель многочисленных сочинений о старце Феодоре Козьмиче чувствует себя чеховской Душечкой, поочередно проникаясь силой и стройностью доводов, предлагаемых той и этой стороной. Или героем Свифта, которого вовлекают в свой нескончаемый спор тупоконечники и остроконечники.

Вот две книги — одна наиболее основательно излагает взгляды «союзников» Хромова; другая — противников. Первую написал князь В. Барятинский. Вторую — профессор К. В. Кудряшов. [\[347\]](#)

Как не поверить князю, когда он указывает на сплошные противоречия в «показаниях» таганрогских спутников Александра Павловича о его последних днях! Вот запись в дневнике доктора Виллие: «Ночь прошла дурно». А вот — в дневнике императрицы под тою же датой: «Государь прислал сказать, что ночь прошла хорошо». Единственно разумное объяснение: и врач, и жена писали о том, чего не было, создавали хронику несуществующей болезни, путали следы.

Нет, не единственное и совсем не разумное, — возражает профессор, и невозможно с ним не согласиться. Виллие пишет о том, что видел сам; императрица — о том, что слышала; разноречия неизбежны. И мы уже готовы развить мысль Кудряшова: какой же любящий муж пошлет сообщить жене, что очередная ночь его болезни прошла плохо? Это жестоко.

Но рядом лежит книга «Царственный мистик», глаза перебегают на ее страницы, и новые доказательства вновь переубеждают нас: нет, был, был сговор приближенных! Иначе откуда другие разночтения в

одновременных записях? Например: больной за обедом пил то ли «хлебную отварную воду», то ли «яблочную воду с соком черной смородины».

Впрочем, не станем спешить; послушаем Кудряшова: когда все поглощены болезнью, не до деталей. Логично. (Однако вопросы остаются: когда не до деталей, зачем вдаваться в подробности?)

Барятинский, далее, обращает наше внимание на очередную неувязку: Виллие считает, что «болезнь продолжается», императрица же видит супруга «не в таком состоянии, как прежде».

Кудряшов же убедительно отводит довод оппонента: «Болезнь могла продолжаться, хотя состояние больного несколько и изменилось».

Барятинский: доктор Тарасов констатировал, что обморок с государем случился 14 ноября, в седьмом часу; князь Петр Волконский тогда же указывал: все это произошло в восемь вечера; говоря о времени смерти императора, одни зафиксировали 10 часов 50 минут, другие — 10.47, третьи — 10.45. Впрямь, несогласованность.

Кудряшов: противоречия ничтожны, и главное: они не отрицают самого факта смерти! Нечего возразить.

Однако и князь Барятинский, как говаривал Фаддей Булгарин, «не в темя бит»; он предлагает все новые и новые доказательства. Вот подпись доктора Тарасова под протоколом вскрытия тела покойного императора Александра Павловича; а вот — соответствующее место из воспоминаний доктора, где факт участия во вскрытии отрицается! В таком случае подпись не что иное, как подделка.

Кудряшов опровергает: у нас имеется свидетельство квартирмейстера Шенига (он сопровождал Александра Павловича в его последнем вояже) о «месте» на теле покойного, которое «хватил Тарасов» и которое стало оттого «черного цвета».

Записки же Тарасова относятся к 1842 году, а мемуаристам свойственно ошибаться.

Барятинский замечает: в протоколе описан «рубец на ноге от бывшей язвы», причем на правой ноге. Между тем рожистое воспаление царь перенес на левой. Стало быть, протокол есть плод вымысла.

Кудряшов: ничего подобного. Тот же Тарасов в своих записках упоминает о том, как на учениях 19 сентября 1823 года лошадь лягнула императора в правое бедро; когда же 13 января 1824-го случилось рожистое воспаление, рожа сосредоточилась в том самом месте, где лошадь ударила копытом. Ergo: рожа была справа.

На это князь Барятинский (и читатель вместе с ним) мог бы возразить, что профессор Кудряшов противоречит сам себе. Едва отказавшись признать записки Тарасова достоверным источником, тут же сам на них опирается. Но князь Барятинский не возразил, поскольку исследование профессора Кудряшова вышло значительно позже; зато он высказал еще несколько полезных соображений. Как то: в дневнике лейб-медика Якова Виллие содержится не только загадочная фраза «Мы приехали в Таганрог, где кончилась 1-я часть вояжа. Finis», [\[348\]](#) но и прямое свидетельство о том, что дневник его не велся синхронно с событиями, а создавался задним числом: «Как я припоминаю, сегодня ночью я выписал лекарства»; то же и с записью императрицы Елизаветы Алексеевны от 11 ноября: «Он посмотрел вокруг себя с таким выражением лица, которое я приняла за веселое и которое я видела позже в ужасные минуты»; то же и с собственноручной пометой царского генерал-адъютанта П. М. Волконского в рукописи Виллие против записи от 9 ноября (об извещении о болезни, посланном Константину

Павловичу): «Сие распоряжение г. Дибичу дано было 11 ноября, а не 9-го».

И если рассуждения князя Барятинского насчет намека, содержащегося в словах о первой части вояжа и в латинском «Finis», а также о «припоминании» Виллие, профессор Кудряшов сравнительно легко отводит (из Таганрога планировали ехать далее, и первой части путешествия действительно пришел «Finis»; дневник обычно ведут вечером, когда события прошлой ночи слипаются в сонный комок, так что их приходится буквально раздирать, припоминая), то в остальном убедительных возражений он не нашел и прибег к помощи риторических восклицаний и вопрошаний, к методике психологического давления на читателя. Да, запись в дневнике императрицы от 11 ноября сделана явно позже, но разве из того следует, что весь дневник велся асинхронно? Да, он обрывается 11 ноября, но разве это означает, что «остаток» уничтожен Николаем I? Ведь Николай Павлович уничтожал только документы, порочившие память о царственном брате! Скорее нужно предположить, что Елизавета начиная с 11 ноября неотлучно была при императоре, чему есть косвенное подтверждение в письме Дибича к Вилламову...

И так во всем.

Выйдя за пределы очерченного книгами Барятинского и Кудряшова круга фактов (но оставаясь внутри «толстовского» концепта!), обнаруживаем ту же многосмысленность и разноречивость допустимых толкований.

То ли декабрьский запрос вдовствующей императрицы-матери Марии Феодоровны Волконскому и Дибичу о подробностях смерти Александра означал, что она не верит известию о кончине старшего сына и подозревает нечто, то ли он свидетельствовал о ее

желании сохранить драгоценно-скорбные детали его ухода, — но не в странствие по Руси, а в мир иной.

То ли Волконский потому настаивал на погребении царя в Таганроге, [\[349\]](#) что хотел скрыть подмену тела; то ли потому, что страшился ответственности за неудачное бальзамирование (и — порождаемых им подозрений в отравлении монарха); то ли потому, что боялся народных волнений во время многонедельной траурной процессии; то ли потому и боялся, что подменили.

То ли вдовствующая императрица при открытии крышки гроба воскликнула: «Я узнаю его, это мой дорогой сын Александр», то ли наоборот: «О, как он изменился! я не узнаю его». [\[350\]](#) И даже если она публично признала, что зрит во гробе сына лежаща, как понять: был ли ее вскрик произвольным? или предназначался окружающим, чтобы погасить слухи? или чтобы скрыть истинное положение? Царское дело — тяжкое; даже в личном горе приходится помнить о возможных социальных следствиях.

То ли в выражениях поминального письма Елизаветы Алексеевны к матери (письма, которое произвело столь сильное впечатление на эпистолярно чутких современников, что «ударную» формулу «мой ангел на небе, а я здесь, на земле» даже вырезали на перстнях) заключено уклончивое указание на не вполне обычные обстоятельства, то ли это просто дань стилистическому кодексу эпохи...

То ли ошибка в рассказе Феодора Козьмича о въезде Александра I со свитой в послевоенный Париж (старец утверждал, что с правой стороны от русского императора ехал Меттерних, тогда как ни Меттерниха, ни Франца Австрийского в Париже тогда вообще не было и быть не могло [\[351\]](#)) свидетельствует о пересказе с чужих слов, то ли, напротив, служит лучшим

психологическим доказательством непосредственного участия рассказчика в описываемых событиях, причем на главных ролях. Мемуаристы не исследователи; их память не архивохранилище. Сразу после взятия Парижа Меттерних принялся портить кровь Александру и его ближайшему окружению, причем столь успешно, что образ австрийского министра не мог не въестся в сознание русского царя и не сублимироваться во всех воспоминаниях о 14-15-м годах. Во всех — без исключения.

Так же обстоит дело и с «посмертными» доказательствами и опровержениями.

В 1921 году, во времена срывания всех и всяческих масок, было произведено и вскрытие царских гробниц в Петропавловском соборе Петрограда. С тех пор сторонники («остроконечники») не устают напоминать противникам («тупоконечникам»), что гробница Александра I оказалась пустой.^[352] Свидетельства, собранные ими, многочисленны и разнообразны; беда лишь в том, что ни одного прямого показания добыть так и не удалось — только косвенные. Дочери говорил отец, участвовавший в событии... ученику рассказывал учитель... Не верить показаниям невозможно, доверяться — нельзя.

Единственное, на что можно указать уверенно, — это не на точки опоры, а на точки провала той и другой версии.

Самое уязвимое место в системе доказательств первых — вопросы о том, мог ли Александр I решиться на уход в историческое небытие? как практически был осуществлен побег? кто именно в окружении был осведомлен о плане ухода? каким образом совершена подмена тела и кто стал этим самым телом — случайно погибший в те дни фельдъегерь Масков? И чьим телом подменили останки самого Маскова? Чай царь не

иголка, а у Маскова тоже родственники имелись. (Позднейшее семейное предание Масковых о «подмене» нас сейчас не интересует: где доказательства, что оно не возникло под влиянием разговоров 1870-х годов?)

Самое уязвимое место противников — ответ на вопрос: кто же такой старец Феодор Козьмич, если не Александр I?

Ни одного сколь-нибудь вразумительного объяснения они так и не смогли предложить. Известный историк александровской эпохи, великий князь Николай Михайлович, долгое время бывший «остроконечником» и внезапно (по сведениям Мориса Палеолога, дополненным историком Грюнвальдом — после резкого объяснения с Николаем II^[353]) переменявший точку зрения на противоположную, указал на незаконнорожденного сына Павла I и Софии Чарторыйской (в замужестве Ушаковой), Семена Великого, морского офицера, пропавшего без вести в 1794 году.^[354] Не согласившись с ним, профессор Кудряшов назвал имя действительного статского советника Федора Уварова-второго. После поражения в правах декабриста Лунина Уваров, женатый на лунинской сестре, попытался прибрать к рукам его имение, и вдруг — 7 января 1827 года — исчез.

Предположение Кудряшова, конечно, менее невероятно, нежели совершенно фантастическая гипотеза Николая Михайловича. (Особенно если учесть, что мичман Семен Великий в документах Морского министерства значился не пропавшим без вести, а вполне определенно погибшим 13 августа 1794 года, во время кораблекрушения близ Антильских островов — на что и указал Кудряшов.) Но есть ли смысл ставить на место одного неизвестного другое? Почему скоропостижное раскаяние Федора Уварова правдоподобнее скоропостижного раскаяния

Александра Романова? Споры нет: Александр I был изнежен и совершил много нехороших поступков; но, во-первых, иначе и не в чем было бы каяться, нечего искупать; во-вторых, Уваров тоже был человек отнюдь не самый добродетельный.

Так что дальнейший поиск в заданном направлении лучше всего признать заведомо безрезультатным — и успокоиться. Ибо вопрос изначально был поставлен неверно — и потому доказательства сторонников ничего не доказывают и опровержения противников ничего не опровергают.

Прежде всего: проблема Феодора Козьмича ставит перед нами не один вопрос («был или не был»), а несколько групп вопросов. Группа первая — собственно, ею и занимались до сих пор историки, пущенные по ложному следу Толстым: о вероятности тайного ухода Александра I из таганрогского дворца и предполагаемом способе реализации этого опасного плана. Группа вторая: если уход состоялся, меняет ли он что-нибудь в общей оценке александровского царствования? Отбрасывает ли старчество Феодора Козьмича свой луч назад, во тьму монаршего прошлого Александра Павловича? Группа третья: если Александр ушел, то стал ли он старцем Феодором Козьмичом? Если не ушел и (или?) не стал, то кем же был старец?

Но как только мы таким образом расслаиваем мнимую единую проблему, сразу выясняется, что многие «лелеющие душу» ожидания сторонников (вдруг найдутся в архивах КГБ акты вскрытия царских гробниц, и там — черным по белому — будет сказано, что интересующий нас гроб пуст... или всплывут неопровержимые свидетельства организаторов таганрогской интриги... или еще что-нибудь волнующее случится) теряют смысл. По крайней мере эмоциональный. Тему эти находки все равно не закроют и всей ее полноты не изъяснят — тем менее послужат

доказательством тождества Александра I с Феодором Козьмичом.

Но лишаются какого бы то ни было значения и многие логические увертки противников.

Ибо даже если удастся подтвердить, что старец Феодор Козьмич вовсе не был Александром I, из этого не будет с необходимостью следовать, что русский царь умер своей (а не чужой) смертью в Таганроге 19 ноября 1825 года.

Таежный тупик.

ЦАРЬ АЛЕКСАНДР I — НЕ СТАРЕЦ ФЕОДОР КОЗЬМИЧ

Чтобы выбраться из этого тупика, нужно пересилить себя, покинуть поле толстовского притяжения — и вступить в поле притяжения — пушкинского.

Незадолго до появления Феодора Козьмича в Красноуфимске Александр Сергеевич Пушкин применил к себе, к своему биографическому мифу легенду об уходе Александра I с трона.

Он знал о московско-петербургских слухах 1826–1827 годов — будто царь не умер в Таганроге, но тайно ушел с трона (к этим слухам мы еще вернемся); в реальность легенды не верил: слишком долго жил под Александром Павловичем и знал цену его душевным порывам. Но под явным воздействием иронически воспринятых слухов в поэзии Пушкина (где метафора «царского призвания поэта» наделена вполне весомым смыслом) возникает и на все лады обыгрывается мотив ухода, бегства. Сначала просто из мира условностей и недоброжелательства, а затем от собственных «алчных прегрешений».

Бегства куда?

«В соседство Бога».

В «обитель дальнюю трудов и чистых нег».

В «тесные врата».

К «Сионским высотам».

Эта метафора цели, к которой стремится поэт, указывает на некую религиозную перспективу; но не следует искать в ней строго церковных соответствий. Поэт, ощущающий себя царем особого поэтического царства, хочет бежать в некое подобие монастырской тишины, где (если воспользоваться не вполне

корректным заимствованием у Михаила Булгакова) царит не свет, но покой.

Так в лирике Пушкина рождается формула, по видимости абсолютно нелогичная, по существу же — предельно точно описывающая его «монаршую роль»: «Ты царь — живи один». Царь — тот, кто всегда одинок на земле, ибо помещен в пространство между Богом и Державой, но никогда не живет один, ибо окружен множеством кругов: народа, приближенных, дипломатов. Однако царство Поэзии таково, что допускает (требует!) от своего Царя — именно уединенности и созерцательной, почти молитвенной атмосферы Творчества: «Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв».

Именно тут Пушкин проводит границу между «реальной» монархией и монархией поэтической; между царственным Поэтом и «собственно» Царем, между поэтикой и политикой. Он, человек дотолстовской эпохи, хоть и не слишком верит в непосредственную Богопоставленность земных владык, но еще продолжает — пусть предельно слабо — ощущать ее. И потому Пушкин ни на миг не забывает, что «царственное бегство» для Поэта — благо, а для Царя, обручаемого с Державой в соборном акте венчания на царство и помазания, — нет. Причем опирается он не только (может, и не столько) на церковную, сколько на поэтическую традицию.

Невероятной популярностью пользовался тогда эпизод из жизни Петра Великого, прославленный еще Ломоносовым — и затем воспетый Державиным. Государь обширнейшего государства, «оставя скипетр, трон, чертог», переодевается плотником, строит корабли, трудится, как простой смертный. Но ни Ломоносов, ни его последователи, ни его читатели вовсе не имели в виду призвать царей к бродяжничеству и пролетарству. Петр Великий оставил

свой двор, чтобы выучиться и вернуться, — так следует поступить и любому истинному монарху.

По существу, о том же писал и Карамзин, перелагая в «Письмах русского путешественника» романс Лефорта из оперы Гретри-Буйи стихами, как бы предсказывающими пушкинскую «Сказку о царе Салтане».^[355] Он менял знаки и оттенки; целью монаршего «отпуска» должно быть не столько обретение трудовых навыков, сколько нравственное совершенствование:

Жил-был в свете добрый Царь,
Православный Государь,
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили.
Любит Царь детей своих;
Хочет он блаженства их:
Сан и пышность забывает —
Трон, порфиру оставляет.
Царь как странник в путь идет
И обходит целый свет,
Посох есть ему — держава,
Все опасности — забава...
Чтоб везде добро собирать,
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами.

Но «для чего ж ему желать / Душу, сердце украшать?». Только для того, чтобы по возвращении

...мудростью своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить

И в искусстве жить наставить.

Второй Болдинской осенью 1833 года Пушкин завершил стихотворную повесть «Анджело», где отзвуки карамзинского романа несомненны. Сквозь ее итальянский антураж просвечивала александровская эпоха, сквозь узор псевдоисторического сюжета проступала канва предания о таганрогском уходе царя. [\[356\]](#)

«Предобрый старый Дук», который мягкосердо, а потому не слишком успешно правил своей окончательно разболтавшейся державой, внезапно исчезает. Власть переходит в руки сурового законника Анджело, отвергающего монаршую милость как форму государственного произвола... Венчается же поэма словами об участии Анджело, этого чересчур сурового нарушителя возлюбленной им законности.

Внезапно возвратясь,
...Дук его простил.

Не все так просто в обманчиво-безмятежном финале; но для нас теперь важно другое. Дук потому и остается единственным до конца положительным героем повести, что он не нарушил своего царского долга; что он, уйдя, не ушел; что он сохранил все обязательства перед страной и народом, вверенным ему Провидением; что он не только вернулся, но, по существу, никуда и не исчезал, наблюдая за происходящим из толпы.

Пройдет два года, и Пушкин напишет стихотворение «Родрик», где повторит тот же сюжетный ход. Потерпевший поражение в битве с маврами, король Родрик

Бросил об земь шлем пернатый
И блестящую броню.
И спасенный мраком ночи
С поля битвы он ушел.

Печально его бегство; «Все Родрика проклинают; / И проклятья слышит он». Наконец в третий день Родрик находит пещеру на берегу моря, а в пещере — крест, заступ и нетленный труп отшельника.

И с мольбою об усопшем
Схоронил его король,
И в пещере поселился
Над могилою его.
Он питаться стал плодами
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл,
Как предшественник его.

Нетрудно догадаться, что Родрика начинает «упоеанием соблазна» искушать лукавый.

Но отшельник, чьи останки
Он усердно схоронил,
За него перед Всевышним
Заступился в небесах.

В чем же выразилось заступничество? А в том, что отшельник вымолил Родрику, прошедшему искус покаяния и пустынножительства, возможность вернуться к «исполнению королевских обязанностей».

Пробудясь, Господню волю Сердцем он уразумел, И, с пустынею расставшись, В путь отправился король.

Для короля единственно возможный путь спасения — это возвратная дорога к трону. Напротив, «обычный» человек спасается, лишь убегая из града, обреченного «пламени и ветрам», от дома, что «в угли и золу вдруг будет обращен». Даром ли сразу после «Родрика» Пушкин переложил книгу протестантского проповедника XVII века Джона Бэньяна — «Странник»? Сюжетный вектор этого трагически-величественного стихотворения противоположен «родриковскому»:

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих...
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городское поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Что позволено подданному, то не позволено царю. Полнота власти дается ему в обмен на «свободу воли».

Не веря слухам об уходе Александра Павловича, Александр Сергеевич тем не менее идеально точно описывает условия, при которых уход царя без отречения был бы мыслим. И эти условия предельно жестки: уход в принципе возможен (хотя все равно — невероятен) только как политический прием, как некое испытание, налагаемое на страну; необходимым условием ухода является приход. [\[357\]](#)

Пушкин не столько отчетливо сознавал, сколько ощущал родовой памятью, что царь не имеет права самовольно оставить свой трон раз и навсегда, ибо этим потрясаются мистические и юридические основания христианской монархии, — по крайней мере в русском ее варианте. [\[358\]](#) Православный русский государь — не

египетский тиран Хаким из династии Фатимидов, который правил столько же, сколько и Александр — 25 лет, запрещая ночью спать, а днем бодрствовать, «пока... не сел на осла, не объявил правоверным, что они не достойны такого правителя, и уехал, исчез».^[359] Метафора церковного венчания на царство отнюдь не метафорична; и потому, как уход из семейного дома без бракоразводного процесса есть, по существу, измена семье, так и уход из дворца есть измена стране, которой государь обручен и с которой он обвенчан.^[360] Поскольку же коронация предполагает взаимную клятву царя и царства на верность перед Крестом и Евангелием, постольку уход без передачи царской благодати другому лицу — это еще и клятвopреступление. (Вспомним Карла V!)

Даже «уход через постриг» (а Феодор Козьмич черноризцем не был!) не освободил бы царя от необходимости предварительно отречься, — как это сделал царевич Иасаф. Только в одном — совершенно исключительном, практически непредставимом случае — «окончательный и бесповоротный» уход «буки русского царя» был бы объясним, по крайней мере с мистической точки зрения. Если бы царя благословил на это его духовный наставник, старец, которому полностью предана личная, человеческая воля монарха и которому ведомы пути Промысла. Однако никто не имел тогда духовного права взять на себя такую ответственность, кроме — нетрудно догадаться — преподобного Серафима Саровского.^[361] В статьях и книгах «остроконечников» указание на преподобного иной раз встречается; наиболее восторженные разворачивают перед глазами читателя карту пути следования царского кортежа в Таганрог: вот же, дорога шла через муромское направление, отсюда до Сарова рукой подать; но — увы!

Во-первых, лишь спустя шесть дней после официальной даты смерти Александра — вместе с концом александровской эпохи — преподобный Серафим окончательно завершил многолетний подвиг затвора. Можно почти уверенно сказать, что Александр I о святом Серафиме ничего не знал, а с архиепископом Филаретом (который тоже узнал о старце, скорее всего, лишь в николаевскую эпоху^[362]) в последний год своего царствования не общался.

Он общался с архимандритом Фотием, а тот, в свою очередь, был связан с Саровским игуменом Нифонтом, который в духовный дар старца Серафима не только не верил, но и всячески этого подвижника притеснял.^[363] Больше того: царственный современник преподобного Серафима прямо говорил отцу Феодосию Левицкому о своем религиозном одиночестве: «...что он не видит и не знает таковых духовных и облагодетельствованных свыше людей, посредством коих... великие дела Христовы в сем мире благонадежно совершаться бы могли; а только известны ему и под одеждою духовною, почти все служители Христовы, плотские и земные...»

Во-вторых — именно потому, что в Сарове игуменом был Нифонт, наивно полагать, будто величайший русский святой мог кого бы то ни было (тем более — царя!) в обители или в пустыни спрятать. Конечно, чудотворцу все возможно, — но ни единого намека на подобное чудо церковная память до нас не донесла.

Да и все, что мы знаем об Александровой религиозности — утонченно-нервной, мистически перенапряженной, романтически необузданной, подсказывает нам, что направить русского царя к русскому святому в 1825 году было некому.

Тут, пожалуй, может прийти на память вторая — анонимная — исповедь Александра Павловича слепому иеросхимонаху Киево-Печерской лавры Вассиану,

спустя день после которой государь впервые принародно заговорил о прижизненном отречении: не тогда ли и было преподано требуемое благословение? Слава Богу, на исповеди сторонних лиц не допускают; так что, о чем шла тогда речь, мы никогда не узнаем. Но кое о чем догадаться — можем.

Во-первых, Александр назвался тогда князем Волконским. Старец Вассиан, славившийся духовной прозорливостью, догадался, кто перед ним (и после сказал об этом лаврским инокам). Но, приняв правила «игры», беседовал с царем, как с его генерал-адъютантом. Стало быть, мог поделиться с «Волконским» неким предвидением, до царя касающимся, но отнюдь не мог дать ему благословение на уход: посредничество тут было бы неуместно. Во-вторых же, как было сказано, 8 сентября 1817 года царь сообщил ближайшему окружению не план побега, а замысел легитимного устранения от монаршей «должности». И позже неизменно заводил речь о прижизненном отречении — отнюдь не об «уходе».

Так что если вдруг царь в Таганроге не умер, то он из Таганрога не ушел, а сбежал.^[364] И не потому, что хотел спасти душу, а потому, что не хотел терять жизнь. И не в здравом уме и трезвой памяти, а в припадке нервного пароксизма, поняв — что значит летний донос Шервуда об окончательно созревшем заговоре тайных обществ, помноженный на осенний доклад начальника Южных военных поселений генерала Витта о всероссийском масштабе и всеармейском охвате грядущего путча. Вполне вероятно, что после разговора с Виттом Александр в ином свете представил сентябрьский инцидент с Аракчеевым.

Могло это быть? Это — в принципе — могло. (Совершенно не значит, что было.) И в таком случае

помогавшие Александру стали преступными сообщниками совершенной им государственной измены.

Меньше всего нас должно волновать, почему тогда беглого царя не узнал первый же встречный. Ответ прост: фотография еще не была изобретена. Парадные (читай: приукрашенные до неузнаваемости) портреты государя имелись в «казенных домах». Но прохожих в кабинеты столоначальников не допускали, а столоначальники не были прохожими; они пользовались экипажами. И потому, убежав осенью 1825 года из таганрогского «дворца», Александр остался бы неузнанным. Как в 1812 году он оставался неузнанным в Вильно, когда, по воспоминаниям Шуазель-Гуффье, инкогнито «часто заходил в находившиеся на его пути дома частных лиц, беседовал с хозяевами, своей предупредительностью приобретал их доверие, расспрашивал их и таким путем открывал разные скрываемые от него злоупотребления властью... Однажды он вошел таким образом к одному дворянину, сельскому жителю, хорошему малому. Последний принял его радушно... восхищенный дружеским видом, с которым император отозвался на его гостеприимство, и стал пить с ним пиво... «Наконец, друг мой, — сказал он, все более оживляясь с каждым стаканом крепкого пива, — скажите, прошу вас, ваше имя, чтобы я знал, кого я имел счастье принять в своем доме?» Император, немножко смущенный, ответил, улыбаясь, что он называется честным человеком. «Итак, мой милый честный человек, — сказал дворянин, сердечно обнимая его величество, — благослови вас небо!» В эту самую минуту приезжают несколько лиц из свиты его величества: инкогнито открыто. Дрожащий и смущенный дворянин падает к ногам Государя, который ласково поднимает его и, уезжая, оставляет ему знак своего благоволения». [\[365\]](#)

Трогательно, эффектно, театрально. Но неинтересно.

Куда занимательнее вопрос — что было бы дальше... если бы было! Что предпринял бы царь, очнувшись от настигшего его пароксизма и обнаружив себя — бежавшим... если бы он убежал? С помощью невидимых чернил подставив это «бы» в каждый пассаж последующего рассуждения, приступим.

В отличие от нас, Александр, убегая, ничего бы не знал о «тайне Феодора Козьмича», не догадывался, как прекрасна его участь — участь царственного странника. Вот, все имел, на золоте едал, а теперь босичком, босичком — по пути в Царство Небесное... И — опять же, в отличие от нас — он (бы) понимал, что натворил, и понимал: обратного пути нет. Он не Дук, ему не вернуться на трон. Не он должен прощать, а его — не простят.

Создавшееся положение нужно было обдумать. Где? В каком укромном уголке?

Первая мысль очевидна: к Аракчееву, в Грузине.

Очевидна и вторая мысль: единожды солгавши, кто тебе поверит. Если Аракчеев не пожелал разделить с отцом и благодетелем рискованное таганрогское уединение, если в самую тяжелую минуту воспользовался трагическим поводом и послал неформальное прошение об отставке, — кто может поручиться, что не выдаст снова?

Третья мысль не очевидна, но предположить ее можно с большой степенью вероятности: в Киев, в Лавру, в пещеры или скиты. Здесь он найдет укрытие, где его не найдут. Здесь дадут душеполезный совет. Здесь о нем помнят; возможно, что именно здесь ему и было предсказано прижизненное удаление с трона. Здесь не выдадут.

Мысль четвертая: к Фотию, в Новгородский Юрьевский монастырь. Фотий спрячет, Фотий поймет,

Фотий сам говорил, что грядет страшная революция.

Пятая: Москва, Филарет. Владыка мудр, он умеет хранить тайну, что уже доказал однажды.

Мысль шестая: Валаам. Здесь царь тоже был, здесь его тоже помнят, здесь его тоже не выдадут.

А больше бежать было некуда. Потому что в Сибири русского царя не ждали. Надежных знакомых здесь он не имел. Сибири прежде не посещал.

Чтобы понять, какой выбор сделал (бы) Александр Павлович, не надо заглядывать ему в душу. Достаточно посмотреть на карту: ближе всего к Таганрогу Киев.

Последнее, о чем не так уж трудно догадаться, — это о том, что сказали (бы! бы!) Александру лаврские старцы, и среди прочих — слепой провидец Вассиан, который был тогда еще жив (он умрет в 1827 году). Они сказали бы ему правду. Их оценки не совпали бы с оценками великого русского сердцеведа Льва Николаевича Толстого. А если бы старцев и давили «спазмы в горле», если бы в их глазах и «стояли светлые лучистые слезы», то были бы слезы сочувствия и спазмы сострадания: какой же ценой придется искупать грех! Какой угол отражения предстоит вычерчивать, чтобы он оказался равен углу падения...

Но гадать бесполезно. Бывший царь пошел бы туда, не знаем куда, и сделал бы то, не знаем что.

Впрочем, трудно удержаться от (вполне соблазнительного!) предположения, что какой-то язвительный полунамек на дальнейшую перспективу содержится в книге одного из самых осведомленных (и политически, и религиозно) людей первой половины XIX века, кандидата в обер-прокуроры Святейшего Правительствующего синода Андрея Николаевича Муравьева. [\[366\]](#) Муравьев описывает свое паломничество на Валаам, где в 1819 году побывал и Александр I. На

малом кладбище паломнику указали деревянную доску, «время от времени поновляемую».

Надпись гласила:

На сем месте тело погребено,
В 1371 году земле оно предано,
Магнуса Шведского короля,
Который, священное крещение восприя,
При крещении Григорием наречен.
В Швеции он в 1336 году рожден.
В 1360-м на престол возведен,
Велику силу имея и оною ополчен,
Двоекратно на Россию воевал,
И о прекращении войны клятву давал;
Но, преступив клятву, паки вооружился,
Тогда в свирепых волнах погрузился,
В Ладожском озере войско его осталось
И вооруженного флота знаков не оказалось;
Сам он на корабельной доске носился,
Три дня и три ночи Богом хранился,
От потопления был избавлен,
Волнами ко берегу сего монастыря управлен;
Иноками взят и в обитель внесен,
Православным крещением просвещен;
Потом вместо царские диадимы
Облечен в монахи, удостоился схимы,
Пожив три дни, здесь скончался,
Быв в короне и схимою увенчался.

И тут же Муравьев начинает подробно — очень подробно — слишком подробно — пересказывать сюжет жития Варлаама и обращенного им царевича Иоасафа, — день церковного поминовения которых стал последним днем царской жизни Александра I Павловича. (Житие, составителем которого был святой

Иоанн Дамаскин, Муравьеву подарил тогдашний валаамский игумен отец Варлаам.)

«Тщетно вельможи и народ умоляли его оставаться на престоле. Влекомый жаждою уединения, он избрал им достойного Царя, и сам устремился к иным подвигам. Плачущий народ весь день следовал за ним по пути к пустыне, но с солнечным закатом исчез навеки от него Иоасаф. Долго скитаясь по безлюдным местам, открыл он наконец вертеп наставника своего Варлаама, и одною молитвою потекла жизнь обоих, доколе юноша не воздал последнего долга старцу. Одиноким труженик еще многие годы подвизался подле него в пустыне, как некий ангел охраняя пределы своего царства, променяв Индийскую корону на венец нетленный».

Точка.

И в следующем же абзаце, без всякого перехода, Муравьев заводит речь об Александре I:

«Размышляя о великом отречении Иоасафа, я воротился от Игумена в те самые келий, где другой царственный искатель уединения приходил на время облегчить душу, обремененную мирским величием. Здесь в Августе 1818 (1819. — А. А.) года, благочестивый Император Александр два дня удивлял своим смирением самых отшельников Валаама. Оставив в Сердоболе свиту, с одним лишь человеком приплыл он вечером в монастырь. Братия, созванная по звуку колокола, уже нашла Государя на паперти церковной. Несмотря на поздний свой приезд, ранее всех поспешил он к утрени в собор и смиренно стал между иноками, отказавшись от царского места. Исполненный благочестивого любопытства, пожелал он лично видеть пустынные подвиги отшельников, посетил все их келий, с иными беседовал, с другими молился, и утешенный духовным состоянием обители, щедро наделил ее своими милостями. Игумен Иоанафан впоследствии

имел всегда свободный вход в царские покои. Память кроткого монарха священна Валааму».

Читаем — и останавливаемся в недоумении.

Носитель риторической традиции, Муравьев понимает — не может не понимать! — что он делает. Не может не догадываться, что рассказ о посещении Валаама Александром I сам собою встраивается в контекст чересчур подробно изложенного жития.

Что фраза об игумене Иоанафане, всегда имевшем доступ в покои Александра, немедленно рождает мысль о старце Варлааме, получившем доступ в покои царевича Иоасафа.

Что без всякого усилия, сам собою, в читательском сознании перекидывается мостик к стихотворной истории о шведском короле, спасшем душу на Валааме.

Проверяем себя: не происходит ли с нами то же, что со сторонниками версии Хромова, которые подставляли конечный «монарший» вывод в размышления о самых рядовых эпизодах жизни старца Феодора Козьмича и превращали эти эпизоды в набор намеков на известные всем события?

Или все-таки Муравьев отнюдь не бесхитростен и указывает на странные, ему одному известные обстоятельства?

Тогда кому он на них указывает? На дворе ведь не конец 1860-х, а начало 1840-х; о старце Феодоре Козьмиче знают только его конвоиры и его односельчане, а слухи об исчезновении Александра давным-давно преданы забвению.

Или он, подобно пушкинскому Пимену, адресует свое послание потомкам через голову современников: догадайся, кто сможет?

Нет у нас ответа. И ни у кого нет. Но умолчать не можем. Потому что — могло быть.

А было ли? Кто знает. Для России — лучше бы не было. А для самого Александра? Ни жив, ни умер, не

отрекался, не предал, не сохранил, не потерял... страшно и подумать о такой перспективе.

Вот чего не хотел заметить Толстой, жизнь положивший на очищение религии от религиозности, на промывку мистического содержания жизни до прозрачности обыденного события. Тем меньше могли разобраться в природе царской власти современники и потомки великого писателя. Авторитет Толстого заменил им глубину личного понимания. Одни умиляются романтичностью предания, другие разоблачают несостоятельность легенды — и никто не посягает на саму романтичность. Между тем она-то и есть единственное, что здесь безусловно отсутствует.

В отличие от своих подданных это, кажется, ясно осознал последний русский царь, Николай II, который — как было уже сказано — буквально запретил члену правящей фамилии Николаю Михайловичу доверяться версии об уходе Александра из Таганрога и впредь распространять ее в публике; вполне вероятно даже, что он и был «заказчиком» странноватой книжки Николая Михайловича о сибирском старце.

Решение Николая II, принятое в грозовой промежуток между русской революцией 1905-го и мировой войной 1914 годов, свидетельствует о детальной продуманности всех потенциальных трагических следствий «версии Хромова», с которыми несравнимы даже кровавые дворцовые заговоры XVIII века, совершавшиеся в большинстве своем до принятия павловского закона о престолонаследии. Если Александр действительно бежал в 1825 году из Таганрога, то юридическая, политическая, нравственная система русской монархии, олицетворяемой Домом Романовых, дает трещину именно как целое. Небезупречно легитимными оказываются все последующие престолонаследники, ибо они в принципе могут быть сочтены не более чем

местоблюстителями престола — до возвращения прежнего царя. Или — до лишения его царского сана, развенчания. Понятно, к чему это могло привести в предреволюционной ситуации.

Последний из русских царей помогает нам понять то, мимо чего, отправившись вослед русскому писателю, прошли русские историки. Что — скончался ли Александр I в Таганроге или нет — в любом случае александровское царствование завершилось 19 ноября 1825 года, ибо как монарх Александр Павлович несомненно в этот день умер. Физически или метафизически — для понимания той эпохи как события политического и ее исторической оценки не так уж и важно — ибо свет, исходящий от личности Феодора Козьмича, не рассеивает темные стороны александровского правления. И в любом случае босиком по сибирскому снегу в толпе арестантов шел не русский самодержец, а частный человек, ищущий спасения. Носил ли он в своей «прошлой» жизни имя Александра Павловича Романова или не носил, этого мы с «последней» достоверностью не знаем. И вряд ли узнаем когда-нибудь. Что не мешает допускать (или — подобно автору настоящей книги — исключать) такую возможность.

Вставной сюжет. САМОЗВАНЕЦ ПОСЛЕ САМОЗВАНСТВА

В 1877 году Генеральный консул России Константин Васильевич Клейменов узнал, что на вверенной его консульскому попечению территории проживает Prince Alexander Tzar. Сей Prince рассказывал о себе, что рос он в Сибири, что отцом его был русский Государь Александр Павлович, скрывавшийся в Сибири под именем Федора Кузьмича.

Самозванец сей, по признанию Клейменова, был, несомненно, еврей; на острове Ява он женился на дочери богатого голландского плантатора. Очевидно, плантатор был рад породниться с человеком царской крови.

В доказательство своего высокого происхождения Prince показывал всем посетителям своей загородной виллы золотую саблю, усыпанную изумрудами.

Правда, иногда он очень нуждался и закладывал саблю в сингапурский ломбард.

Консул был хорошим чиновником. Он сделал все, чтобы открыть местной публике глаза. Но публика предпочитала держать глаза закрытыми, принимая самозванца за высокое лицо.

Источник: Кудряшов К. В. Александр I и тайна Федора Козьмича...

САМОЗВАНСТВО БЕЗ САМОЗВАНЦА

Теперь подойдем к проблеме с другой стороны — со стороны самого старца Феодора Козьмича.

Понять правительственных чиновников, разбиравших челобитную Хромова и не давших ей ход, можно.

Заявитель прибыл из Сибири, перенасыщенной каторжными и ссылными монархами. В конце XVIII века только ленивый не выдавал себя за Петра III Феодоровича; в XIX пришла пора отца, братьев и сестер Александра Павловича. Незадолго до появления Феодора Козьмича в Сибири, в 1833 году, под Иркутском, после молитвы у мощей святого Иннокентия объявилась Мария Павловна, велевшая народу поминать за здоровье брата ее Михаила Павловича. Митрополиту Серафиму (Глаголевскому) тогда же было отправлено ее письмо:

«Уведомляю Вас, что я жива и здорова; по Вашем святом благословении нахожусь во святой Сибири. Однако вы, св. отец, благословили меня, только не знали, когда благословляете, чью дочь. А теперь я вас уведомляю, что я была Государя Павла Петровича. Бог меня сотворил, а Государь меня родил Павел Петрович, вместе с маменькою моею любезною, а с его женою, Государынею Мариєю Феодоровною в Зимнем дворце.

Но я была у них по Божьем желании отдана и находилась в таких местах, что не могла открыть себя, чья я дочь, и принимала мучения со всех сторон.

Покорнейше Вас прошу, св. отец, уведомить тайно самого Государя о моем приключении, абы он меня взял во дворец, знаю, что надобно быть теперь в Империи. За что буду вечно Богу молиться и буду ему правою рукою

вторую не только ему, даже и вам, св. отец, которого я видела чудо». [\[367\]](#)

В том же 1833-м, по убеждению ссыльных поляков, в Сибири должен был объявиться мнимоумерший великий князь Константин (россиянам о том сообщала и «Мария Павловна»). Ему предстояло возглавить новое польское восстание и маршем пройти из Томска в Варшаву. Уже в 1834 году будущий генерал-губернатор Сибири Семен Броневский получил распоряжение «расположить в селениях за Томском на время наступающего лета... пятисотенный казачий полк поэскадронно, а в Томске два орудия конной артиллерии, кроме местного гарнизона, еще роту 5-го линейного Сибирского батальона». [\[368\]](#) Все ждали явления самозванца; в поисках претендента на русский престол казачьи разъезды прочесывали тайгу...

Если роль утверждена общественным художественным советом, актер найдется: в 1835-м семидесятилетний поселенец Красноярского округа Николай Прокопьев стал принимать царские подарки, есть и пить в счет будущих поступлений в государственную казну, пока не был арестован изменниками истинного престола и не получил 30 розог...

В 1836-м эсхатологические чаяния вновь охватили поляков (имелись пророчества, что в этом году будет кровопролитие между народом), и местный заседатель Птичников вынужден был издать Указ «чтоб цесаревича Константина не считать в живых, а считать умершим». [\[369\]](#)

И всякий раз центрами самозваного круга оказывались Томский и Тобольский края. И всякий раз мы обращаем внимание на то, что «случаи самозванства в Сибири падают главным образом на 20-е и 30-е годы XIX столетия». [\[370\]](#)

Но, к сожалению, серьезное изучение самозванства как особого явления русской политической и квазирелигиозной жизни началось только в XX веке, и те, кому поручено было рассмотреть «Записку» Хромова, не имели возможности сопоставить полученное известие с «типовым проектом», понять, насколько оно противоречит «самозванному канону».

Во-первых, до крайности неудачен был выбор царского псевдонима. Идеальным вариантом подмены всегда были ничем не проявившие себя (или — подобно Константину — проведшие жизнь в историческом далеке, в некоем пространственном тумане) члены царской фамилии; желательно рано умершие или, еще лучше, насильственно устраненные придворными. Тогда возникало ощущение недоговоренности, недосказанности их монаршего слова, в воздухе повисала неловкая пауза, вызывающая к завершению и договариванию. Фигура как бы лишалась фона и легко могла переместиться из Петербурга в Тобольск. На месте царского лица оставалась прорезь, в которую так удобно было вставлять физиономию самозванца.

Александр Павлович для этого совершенно не подходил. Он «со славой правил» четверть столетия, слишком многое совершил, слишком полновесно осуществился в истории — русской и мировой. Его «загадочность» была слишком салонной, слишком придворной, чтобы ее различало простонародье. Для крестьянина, мануфактурного рабочего, каторжника, поселенца (то есть для той среды, что и становится закваской для самозванства) он был не «сфинкс, не разгаданный до гроба», а простой русский государь, победитель Наполеона, освободитель России, монарший друг Кутузова.

Что же до отцеубийства, то — даже если бы официальная тайна была оглашена — народная

религиозная фантазия все равно продолжала бы интересоваться убиенным, а не убийцей.

Словом, в Александре Павловиче совершенно нечего было подменять.

Во-вторых, даже в конце 1820-х годов, когда появились некоторые основания для «замены» — кончина царя вдали от столиц, закрытый наглухо гроб, путаница с присягами, военно-поселенские волнения, участникам которых отнюдь не помешал бы свой крестьянский царь, — претендентов на александровскую вакансию практически не нашлось.

Больше того. В любой истории александровского царствования можно прочесть, что зимой 1825/26 года некий дворовый человек Федор Федоров (совершенно случайное совпадение с именем старца) собрал «Московские повести, или Новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утвердить ни одних не могу, но решился на досуге списывать, для дальнего время незабвенного, именно 1825 года, с декабря 25 дня».^[371] Зная славную традицию отечественных слухов, помня обстоятельства таганрогского успения и способ доставки царского тела (закрытый гроб) в столицу Империи, чего вправе мы ожидать? Что по крайней мере две трети версий будут подобны объявлениям в народной газете об открытом конкурсе на освободившуюся должность русского царя. Что почти все они станут толковать о его исчезновении.

Совсем напротив.

Лишь некоторая — не самая значительная — часть слухов прямо дарует Александру Павловичу «жизнь после смерти». Причем один из них при этом указывает и на место «сокрытия», и на род деятельности, каким прежний царь займется в новое правление. То есть заранее отсечена самозванческая перспектива, главное

условие которой — неизвестность царского местопребывания и незавершенность монаршего дела.

...жив, его продали в иностранную неволю...

...жив, уехал на легкой шлюпке в море...

...солдат взошел к государю и сказал ему: «Вас сегодня изрубят, приготовьтесь непременно»... солдат ...надел на себя царский мундир, а Государя спустил в окно, а на солдата вбежали изверги и всего изрубили вместо Государя; ...а настоящий Государь бежал под сокрытием в Киев и там будет жить о Христе с душою и станет давать советы, нужные теперешнему Государю Николаю Павловичу для лучшего управления Государством...

...Государево тело сам Государь станет встречать... и на 30-й версте будет церемония им самим устроена...

Еще какая-то — тоже отнюдь не обширная — часть слухов ставит под сомнение факт царской смерти, ничего определенного не утверждая при том.

...«престарой князь» Долгоруков Юрий Владимирович хочет прежде присяги «видеть тело покойного Государя своими глазами в лицо, тогда и присягнет кому должно»...

...некий сельский дьячок, вернувшись из Москвы, где он встречал монарший гроб, на вопрос мужика, что, видел ли Государя, отвечивал: «Какого Государя, это черта везли, а не Государя» (мужик, между прочим, не поверил и ударил дьячка в ухо)...

Но большая часть слухов, объясняя причину закрытости гроба, толкует о смерти царя; насильственной, но — смерти.

...Убили, изрезали... и нельзя узнать, для того на лицо сделали восковую маску...

...напоили такими напитками, от которых он захворал и умер. Все тело его так почернело, что никак и показывать не годится...

Невероятное, неслыханное смирение народной фантазии. И это во взрывоопасной ситуации 1826 года! Что уж говорить о временах позднейших, особенно после безвременной кончины государя императора Николая Павловича (с его сомнительной легитимностью и двойной присягой) и воцарения «несумненного государя» Александра II! А именно в эту пору — и даже еще позже — рождаются первые слухи о тождестве Александра I и старца Феодора Козьмича...

Однако того, что во-первых и во-вторых, мало. Есть еще — в-третьих и в-четвертых.

Купец Хромов отправился в Петербург со своим неведомым известием только после смерти «подозреваемого», что уж и вовсе полностью противоречит и вековым традициям русского социального мифа о возвращении царя-избавителя, и народному квазирелигиозному мечтанию об «истинной монархии», чья истинность не зависит от формальных обстоятельств.

Наконец (и это главное), в «самозванческом» сюжете отсутствовал немаловажный элемент: сам самозванец.

Сколько бы мы ни искали в словах и жестах старца Феодора Козьмича прямых указаний на его царственное прошлое, — ничего найти не удастся. А те намеки на возможные обстоятельства, о которых сообщают нам источники, близкие к его особе, намеками становятся только после того, как высказан и принят в качестве исходной посылки конечный вывод: Феодор Козьмич есть Александр Павлович. Не намек требует расшифровки, а расшифровка превращает факт — в намек!

Сделаем над собою интеллектуальное усилие.

Забудем, что мы знаем о донесении Хромова.

Представим, что не ведаем о позднейших слухах — и рассмотрим «намекающие» эпизоды изнутри них

самих.

Вот случай, поведанный казаком Семеном Сидоровым (владельцем дома в Белоярской станице).

«Вспоминая однажды в разговоре Красноярск и его начальство и будучи чем-то недоволен, старец сказал: ...«Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь Красноярск содрогнется от того, что будет».

Он произнес эту фразу, смотря прямо в глаза Сидорову, так громко и строго, что тот весь задрожал».

[372]

Что значит — в устах православного старца — «гаркнуть слово в Петербурге»? Следует ли понимать это так, что старец, порвав с миром, которому принадлежал прежде, сохранил с ним потайную связь? Что, бросив все, он не утратил самое главное, самое страшное — власть, и окружающим дано понять, каков масштаб и статус ее? Или речь иносказательна и старец говорит о другом — о том, что власти земные поставлены не для произвола, что есть высший суд и высшая власть; что стоит подвижнику благочестия обратиться к помощи этой власти (а только ею и может быть наделен молитвенник — какою же еще?!), — как в движение придут все государственные механизмы? Зная — заранее зная — «вывод Хромова», предположим первое; не догадываясь о нем — изберем второе.

Или вот слова, сказанные Феодором Козьмичом крестьянину Семену Андреевичу Митрофанову: «Да, панок, тяжело Государю царствовать. Министры все дело в руки забрали». Забудем на миг «монаршую перспективу» — и услышим в словах только то, что и заключено в них: горький вздох праведника об участи здравствующего государя императора. Может быть, на самом дне, уловим след каких-то личных воспоминаний о петербургской жизни, но отнюдь не «признательные показания» бывшего правителя Империи Российской!

Пойдем далее. Томская старушка Аринушка, которая во времена старца была молодой девушкой, в начале XX века вспоминала, как село Краснореченское посетил «архиерей Афанасий»; естественно, любопытная молодежь столпилась у открытого окна дома, в котором епископ остановился. Владыка расспросил, где обретается старец Феодор, и пожелал видеться с ним. За старцем послали. Прибыв и подойдя под благословение, тот стал ходить с епископом по горнице, «разговаривая между собою не по-нашенски». Другой источник сообщает, что во время первого свидания со старцем преосвященный Афанасий просил того открыться, но старец наотрез отказался, сославшись на благословение митрополита Филарета Московского.

Что следует из всего этого? Только то, что Феодор Козьмич говорил по-французски (стало быть, имел образование), что некогда он принял послушание у московского митрополита и что Филарет зачем-то поручил ему подвиг сокрытия имени и неизбежно связанного с этим поношения, поражения в правах, ссылки. К этому эпизоду мы еще вернемся; пока же ограничимся ответом на вопрос, что здесь специфически царского: ничего.

Напротив, в «кулинарной» похвале старца при вкушении любимых им оладий с сахаром: «От таких оладий и сам царь не отказался бы» — царские мотивы несомненны; но чтобы принять эти слова за скрытое признание, нужно окончательно потерять чувство юмора.

Да, отправляя в паломничество по российским монастырям свою любимицу, дочь бедного краснореченского крестьянина Александру Никифоровну, на ее вопрос — как бы в России увидеть царя? — он задумчиво ответил: «Погоди, — может быть и не одного царя на своем веку увидеть придется. Бог

даст, еще и разговаривать с ним будешь, и увидишь тогда, какие цари бывают». Но что из этого следует, кроме прозорливости Феодора Козьмича? — ибо, попав осенью 1849-го в Почаевский монастырь, паломница нашла здесь «добрую и гостеприимную графиню» Остен-Сакен, встречу с которой предвещал ей старец. Та заинтересовалась двадцатилетней богомолкой и ее сибирскими повествованиями и взяла с собою в Кременчуг, где граф Дмитрий Остен-Сакен находился на излечении от венгерских ран; в это самое время в Кременчуг прибыл император Николай Павлович и остановился в доме Остен-Сакен-ов — благочестивую сибирячку предъявили царю, подали на духовный десерт.

Она упомянула в разговоре с Николаем I о «великом старце Феодоре Козьмиче» — и по одной из версий этого эпизода Николай побледнел и велел Остен-Сакену выдать Александре Никифоровне записку-пропуск, позволяющую в любое время явиться во дворец, пред монаршие очи. Но по другой — император не обратил на произнесенное имя никакого внимания и записку приказал написать просто так, из склонности к широкому жесту. Картина с побледневшим императором эффектнее, именно поэтому она менее достоверна; история проще, страшнее и прекраснее исторической мифологии. Следуя старому правилу: из двух версий реального события выбирай наименее литературную, будем считать, что имя Феодора Козьмича впечатления на царя не произвело. Как не произведет оно впечатления и на императрицу Марию Александровну, с которой Александра Никифоровна восемью годами позже встретится на пароходе, плывущем на Валаам, и (как бы во исполнение предвещанного — может быть, не одного царя увидеть придется...) побеседует о Сибири и сибирских подвижниках благочестия...

Да, старец говорил, что и «цари, и полководцы, и архиереи — такие же люди, как мы, только Богу угодно было одних наделить властью великою, а других предназначить жить под их постоянным покровительством».

Да, отводя сочувствие крестьян (вот, мол, жил хорошо, а теперь в лишениях...), объяснял, что его нынешнее положение лучше прежнего, ибо «в настоящее время я свободен, независим, а главное — покоен. Прежде мое спокойствие и счастье зависело от множества условий: нужно было заботиться о том, чтобы мои близкие пользовались таким же счастьем, как и я, чтобы друзья мои меня не обманывали... Теперь ничего этого нет, кроме того, что всегда останется при мне — кроме слова Бога моего, кроме любви к Спасителю и ближним. Теперь у меня нет никакого горя и никаких разочарований, потому что я не завишу ни от чего земного, ни от того, что не находится в моей власти. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа, в этой неземной радости. Если бы вновь вернули меня в прежнее положение и сделали бы вновь хранителем земного богатства, тленного и теперь мне вовсе не нужного, тогда я был бы несчастным человеком».

Да, память старшей дочери Хромова сохранила и такой эпизод:

«Когда Феодор Козьмич... жил в с. Коробейниковом, то мы с отцом приехали к нему в гости. Старец вышел к нам на крыльцо и сказал:

— Подождите меня здесь, у меня гости.

Мы отошли немного в сторону от кельи и подождали у лесочка. Прошло около двух часов времени; наконец из кельи, в сопровождении Феодора Козьмича, выходят молодая барыня и офицер в гусарской форме, высокого роста, очень красивый и похожий на покойного наследника цесаревича Николая Александровича.

Старец проводил их довольно далеко, и, когда они прощались, мне показалось, что гусар поцеловал ему руку, чего Феодор Козьмич никому не позволял. Пока они не исчезли друг у друга из виду, они все время друг другу кланялись. Проводивши гостей, Феодор Козьмич вернулся к нам с сияющим лицом и сказал моему отцу:

— Деда-то меня как знали, отцы-то меня как знали, дети как знали, а внуки и правнуки вот каким видят!»

Но и мысль о царях и власти, и предпочтение «бедной независимости» «зависимому богатству» ни о чем не свидетельствуют, кроме мудрости и простоты; ни о чем не сообщают, кроме как о прежнем состоянии старца, которое променял он на евангельскую жемчужину Царства Небесного. Ни о миропомазании, ни о короновании они не говорят. То же и со сценкой у кельи. Феодор Козьмич ни словом не обмолвился о том, кем были его посетители. Он вновь выражается иносказательно. Иносказательно в любом случае! — ибо у Александра Павловича родных детей и тем более внуков не было, а деда его убили.

Что же до подробных и частых рассказов старца о 1812 годе, о въезде Александра I в Париж, до слез, пролитых им, когда рабочие затаили песню «Ездил Белый русский Царь...», и просьбы никогда эту песню при нем более не петь — то всюду Феодор Козьмич выступает в роли свидетеля царского сияния и никогда, ни разу, ни при каких обстоятельствах не поставляет себя на место «князя, сына человеческого».

Наконец, Феодор Козьмич, вспоминая о своем «достарческом» прошлом, неизменно называл себя «великим разбойником» — но, честное слово, разбойников в русской истории XIX века и без Александра Павловича хватало.

Перед нами случай, предельно располагавший к появлению «царской версии» (внешняя схожесть, несомненно непростое происхождение, твердокаменная

безымянность, и — даже! — французский язык). Стоило бы старцу и впрямь хоть единожды, хоть косвенно, хоть ненароком дать знать окружающим о том, что перед ними русский царь, мы сейчас не разбирались бы с единичными и разрозненными предположениями, а распутывали бы хитросплетения бурного народного романа с похищениями, переодеваниями, изменами и торжеством добродетели. И первая глава романа была бы предана «тиснению» не в 50–60-е годы, а практически одновременно с его появлением в Сибири. Между тем слухи о царском происхождении Феодора Козьмича распространились лишь в последние годы его жизни. [\[373\]](#)

Впрочем, единственную оговорку — уже на смертном одре — Феодор Козьмич допустил; но о ней речь пойдет чуть позже. А пока, просеяв прижизненные данные, что получаем в осадке?

Французский язык.

Военную выправку.

Вензель, изображающий буквицу «А» с короною на венце и с летящим голубком вместо перечерка (Феодор Козьмич сам нарисовал этот вензель карандашом на писчей бумаге, раскрасил зеленовато-голубой и желтой красками и поместил за стекло киота иконы Печерской Божией Матери «старинного письма» [\[374\]](#)).

Высокий рост, голубизну глаз.

Связь с митрополитом Филаретом.

Икону святого Александра Невского.

Старательное искажение своего почерка.

Добровольный разрыв со средой и уход из дому втайне от близких («родные... поминают за упокой»).

По смерти старца к этому перечню совпадений добавились сведения о мозольных уплотнениях на коленях от долгого стояния на молитве — точно такие же, какие были у покойного царя. А также брачное

свидетельство великого князя Александра Павловича и великой княгини Елизаветы Алексеевны, якобы найденное в бумагах старца. Но мозоли сами по себе ничего не доказывают, а брачное свидетельство исчезло раньше, чем его успел взять в руки хотя бы кто-нибудь, кроме Семена Хромова, не слишком сведущего в монаршем делопроизводстве.

Следовательно:

если мы заранее убеждены, что перед нами скрывшийся под именем Феодора Козьмича Александр Павлович, то можем быть счастливы, получив несомненные подтверждения нашей убежденности;

если же мы заранее убеждены в противном, стало быть, все это просто набор случайных совпадений.

...И теперь начнем противоречить себе.

Ибо старец Феодор Козьмич, не давший сибирякам непосредственных поводов считать себя царем, точно так же, никогда, ни при каких обстоятельствах не лишал их возможности такого «толкования».

После того как смутное предположение уже возникло и утвердилось во «мнении народном», вопреки его воле, Феодор Козьмич не произнес ясное и твердое «нет», но стал уклоняться от прямых ответов на лобовые вопросы, как бы равно опасаясь и признания, и отрицания.

Так, когда Александра Никифоровна в 1852 году возвратилась на родину и «спроста» объявила старцу: «Батюшка Феодор Козьмич, как вы на императора Александра Павловича похожи...» — тот нахмурился и «строго так» спросил: «А ты почему знаешь?.. Кто это тебя научил так сказать?» Узнав же, что Александра Никифоровна видела у Остен-Сакена портрет Александра I во весь рост, где покойный государь «так же руку держит», Феодор Козьмич ничего не ответил, молча вышел в другую комнату, и рассказчица заметила брызнувшие из его глаз слезы.

Даже за день до кончины, уже на смертном одре, вновь наотрез отказавшись назвать себя и своих родителей, на коленопреклоненное вопрошание Хромова («Есть молва!., что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный... Правда ли это?») старец тем не менее не отверг самую возможность отождествления; он лишь перекрестился и прошептал: «Чудны дела Твои, Господи! Нет тайны, которая бы не открылась!» Понимать это можно как некое косвенное согласие с молвой, можно — как не имеющее к ней ни малейшего касательства раздумье о собственной тайне, скрытой в мешочке. Единственное, чего решительно нельзя, — так это расслышать в шепоте старца однозначное «нет». Лишь в самую последнюю минуту своего земного жития старец выдохнул нечто, отдаленно напоминающее полупризнание (в котором все-таки оставлено место для сомнения и толкования: имя так и не названо, старец не именует себя Александром, но как бы смиряется с узнаванностью): «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, когда умру, не величь меня, схорони просто».

Не само по себе очередное появление в Сибири «русского царя», но полное выпадение истории старца Феодора Козьмича из всех мифологических и легендарных схем, ее абсолютная политическая неактуальность, ее несомненная церковная каноничность, ее подчеркнутая несоблазнительность, а не что-либо другое, предопределили распространение «версии Хромова» в русском обществе. Это же — плюс чрезмерная «литературность» таганрогского финала — и мешает нам отвергнуть ее без обсуждения, как очередной «царский след» на слишком хорошо пересеченной местности легендарного пласта русской истории. Потому что — скажем прямо — внезапная смерть вполне здорового человека в тот самый момент, когда время его полностью вышло; когда стало

окончательно ясно, что революция, им спровоцированная, уже началась и что производить спокойную рокировку монархов — поздно; когда ближайший сотрудник царя поспешил ретироваться, — эта смерть, развязавшая все узлы биографического сюжета, не менее (если не более) невероятна, чем тайный уход царя в историческое небытие. По крайней мере, не менее подозрительна.

Что-то не так, что-то не то, но что?

СТАРЕЦ ФЕОДОР КОЗЬМИЧ КАК ЦАРЬ АЛЕКСАНДР I

Но вернемся к теме, которую мы уже обсуждали и которую оставили без развития. А именно: никогда не подтверждая своего «царского происхождения», Феодор Козьмич никогда и не отрицал его, как бы неизменно балансируя на опасной грани согласия и отвержения.

И тут вновь нужно вспомнить о нескольких вещах, нескольких обстоятельствах: места и времени.

Тот, кто называл себя Феодором Козьмичом и при этом не отрекался от некоей — возможной — связи с Александром Павловичем, появился в 1836 году именно там, где ему ни в коем случае нельзя было появляться. Человек без паспорта (хотя бы фальшивого, который, кстати сказать, стоил ненамного дороже хорошей лошади, — а деньги на холеную лошадь у «Феодора Козьмича» в 1836 году нашлись) не мог не знать о том, о чем в Сибири и на Урале знали все: о «разъездах Броневского», полицейских заставах на больших дорогах. Не мог он и не догадываться о причинах повышенной бдительности государства: об ожидаемом со дня на день «государе Константине Павловиче» говорили повсеместно. Не мог не ведать и о своем потрясающем, вполне соблазнительном, внешнем сходстве с Романовыми.

Что из всего этого следует?

Вывод первый, безусловный: будущий арестант сознательно направлялся туда, где его арестуют, где его предадут поруганию, где он сможет пострадать.

Вывод второй, правдоподобный: он хотел быть арестованным и оскорбленным именно там, где все напряженно ждут самозванца и где ему — с его явно

непростым происхождением и «узнаваемым» обликом — трудно будет удержаться от соблазна «гаркнуть слово», предъявить портрет мнимо покойного царя в качестве «знака предызбранности», возмутить народ.

Вывод третий, на двух первых основанный: он искал не только возможности как следует «пострадать», но и возможности побороться со страшным искушением «гаркнуть». Перед ним стояла двойная, обоюдоострая задача; с нею он справился безупречно.

Вывод четвертый, предположительный: кем бы ни был тот, кто именовал себя Феодором Козьмичом, он прибыл на Урал проходить своего рода «царское послушание», испытывать смирение мучительным соблазном отождествления с Александром I. Соблазном постоянным, пожизненным, неустрашимым. Сначала потенциальным, а затем и явленным. Достаточно было однажды сказать окружающим: да, я царь — и вся Сибирь собралась бы у его порога, чтобы на руках нести через грады и веси в Зимний дворец. Достаточно было сказать: нет, я не царь, я такой-то — и все разговоры разом прекратились бы. Но вместе с разговорами обессмыслился бы и подвиг борения «с самим собой, с самим собой». Этим — и едва ли не единственно этим — можно объяснить готовность и желание старца балансировать между «да» и «нет» во взрывоопасном «монархическом вопросе».

Опять же: учитывая православную традицию, ни на мгновение не усомнимся в том, что Феодор Козьмич затеял эту опасную «игру с огнем» не сам по себе. На такое требовалось уже не просто благословение, но духовное повеление «старшего по чину», моральный приказ, ослушаться которого нет никакой возможности.

Причем посылавший Феодора Козьмича, этого бывшего «великого разбойника», на суровый путь искупления должен был ясно сознавать, что произойдет в Сибири (да и не только в Сибири), если испытуемый не

выдержит испытания, сделает шаг в сторону от «тесных врат» спасения. Если он все-таки «гаркнет».

Какая волна придет в движение.

Какая кровь может пролиться.

Кто же мог быть этим посылавшим?

Мы почти ничего не знаем о «предуральском» периоде жизни того, кто называл себя Феодором Козьмичом. Но как раз его «церковная биография» просматривается достаточно далеко, реконструируется без особого труда и с большой степенью достоверности. Спустившись вниз по ее ступеням, мы рано или поздно встретимся с «автором посыпания».

Даже если бы в речи старца «из образованных» не застряли простонародные западноукраинизмы (обращение к ближним — «панок», «паночек», и к Богу — «Пречистый Боже»), все равно: по клейму на имевшейся у него иконе Чуда исцеления ног, в народе называемой «Стопочка», по сохранившимся связям с семейством Остен-Сакенов — нетрудно было бы догадаться о длительном жительстве при Почаевской Успенской лавре.

Даже если бы у старца не было иконы Печерской Божией Матери В чудесах, мы предположили бы его связь с Киево-Печерской лаврой по тому, сколь «адресно» направлял он свою любимицу, будущую «майоршу Федорову», к Парфению и Афанасию Печерским. [\[375\]](#)

Третий «монастырский адрес» вычисляется по раскавыченной цитате в одном из речений Феодора Козьмича.

Он говорил: «Православная вера есть великий корабль, который плавает в море; все же секты — это маленькие лодочки, которые привязались к кораблю, как на веревке. Потому только держатся и не тонут».

Самые образы моря как символа земной жизни, человеческой истории, корабля как символа Православия, лодочки как символа иноверия — общие места церковной риторики. Но их смысловое сцепление в речи старца абсолютно нетрадиционно. Немногие православные проповедники XIX века видели «привязь», соединяющую христианские «секты» (прежде всего имелось в виду старообрядчество) с господствующей Церковью. Немногие допустили бы мысль о том, что секты — пусть благодаря невидимой «связке» с Православием — не тонут в море житейском. Большинство сочло бы опасным и соблазнительным отношение к сектантам как к заблуждающимся братьям, а не как к отпавшим нечестивцам. Однако именно так отзывался о раскольниках преподобный Серафим.

Слишком большое сходство — в отличие от общего мнения, облеченного в устойчиво-привычную метафору, — чтобы оно оказалось случайным.

И наконец, четвертый адрес. Быть может, самый важный. На него Феодор Козьмич сам указал: митрополит Филарет. Именно он позволил будущему старцу уклоняться от частой исповеди. Стало быть, он-то и дал послушание, требующее такого позволения.

Что же за послушание? Попробуем разгадать загадку.

Будущий митрополит Филарет (Дроздов) с юных лет был причастен миру большой русской политики. Еще учась в Троицкой лаврской семинарии, он был приближен митрополитом Платоном (Левшиным) — одним из самых «политичных» церковных деятелей конца XVIII — начала XIX столетия. И через него — неизбежно — был в первые же месяцы после переворота посвящен в подробности антипавловского заговора; знал, какую цену Александр I заплатил за

свое преждевременное воцарение; был вовлечен во многие дворцовые тайны.

Едва получив известие о произошедшем в Таганроге и о присяге, принесенной Константину, архиепископ отправит из Москвы личное послание «варшавскому сидельцу»; послание, за стилевым холодом которого будет скрыто смятение писавшего. Да, Филарет выполнил поручение царя; да, он никому не сказал о том, что за документы хранятся в пакете, опущенном в недра ковчежца; но теперь — теперь — что делать? Кому из членов правящей династии и в какой мере Александр счел нужным раскрыть секретные решения; ведает ли Константин об участии Николая и Николай об участии Константина? Или, как было не раз, все запутано до предела?^[376]

После известной заминки, мышиноного шуршания секретных запросов, после двусмысленной паузы в делах Российского государства, после повторной присяги и смуты будет принято высочайшее решение 18 декабря 1825 года вскрыть ковчежец и завещание, в нем покоящееся, огласить.

Решение логичное.

Документ, хранящийся в алтаре Успенского собора Московского Кремля, где совершалась коронация русских царей, как бы освящен изначально, наделен — для народа — дополнительной степенью непререкаемости. Вынуть Манифест из церковного ковчежца и в присутствии сенаторов, «гражданских и военных чинов» объявить его молящимся — совсем не то же самое, что просто опубликовать в правительственной печати текст царского указа, извлеченный из пыльных недр Сената. В первом случае то будет акт сакральный — во втором бюрократический.

Но решение — не слишком этичное, ибо следовало принять его раньше, до событий 14 декабря.

И тогда вновь был использован хорошо известный любому политику принцип громоотвода. Вот — ковчежец, вот — владыка; вот поп, вот приход; разбирайтесь, как знаете. Верховная российская власть тут как бы и ни при чем. Что оставалось Филарету? В знаменитой «Речи при всенародном открытии хранящегося в Московском Успенском соборе завещательного акта в Бозе почивающего Государя Императора Александра Павловича, о назначении на наследственный Всероссийский Престол Его Императорского Величества Благочестивейшего Государя Николая Павловича Императора и Самодержца Российского» он вынужден был использовать все возможности риторического искусства, чтобы отвести от власти подозрение в двусмысленности ее действий. (А значит, в какой-то мере направить эмоциональный удар на себя.)

«Производство» из архиепископов в митрополиты, состоявшееся 22 августа 1826 года, во многом было знаком благодарности Николая I Филарету, закрывшему собою очередной моральный изъян предшествующего правителя.

Однако опалы опалами, награды наградами, а все, что совершалось в александровскую эпоху, не было для Филарета чужим, чуждым. Он прошел, как мы помним, через все ее соблазны и искушения;^[377] позднейшая суровость Филарета и кажущаяся холодность были запоздалым ответом на его юношеские вопросы, который он предложил сам себе. Чрезмерная трезвость его зрелого отношения к миру восполняла и заземляла чрезмерную экзальтированность ранних лет.

Включенность в сферу государственного делания. Тесное сотрудничество с Александром. Внутреннее, опытное знание о болотном мерцании религиозного анархизма начала XIX столетия. Сугубо церковный

взгляд на политику — как на одну из форм человеческого самоосуществления, подлежащую сначала нравственной, а уж затем прагматической оценке. Понимание сакральной сущности монархического правления.

Вот чем было определено Филаретово отношение к личности русского царя, давшего свое имя великой эпохе.

В отличие от большинства верноподданных современников, он не мог видеть в Александре «всего лишь» Правителя Полумира. Он видел еще и человека, с которым жил в одно время, небезучастным свидетелем потаенных поступков которого был; человека, с которым вместе блуждал в смутном пространстве Неабсолютного Духа. Человека, за которого — в отличие от князя Волконского, или доктора Виллие, или тем паче Аракчеева, — готов был нести некую долю вины. Как священник, как подданный, как близкий сотрудник.

В отличие же от членов тайных обществ, он был непреклонным монархистом; подводя итог завершившегося царствования, он думал об Александре не столько в политических, сколько в религиозных категориях, не как о носителе определенных властных полномочий, государственном деятеле, иногда успешливом, иногда не очень; но прежде всего как о носителе бессмертной души, отягченной смертным грехом отцеубийства. Вольным или невольным. Главное, что оставшимся неискупленным.

И вот, после всего сказанного, вообразим встречу митрополита Филарета с тем, кого он мог благословить на пожизненное сокрытие личности под именем Феодора Козьмича.

Если перед преосвященным предстал сам беглый государь, в начале 1830-х годов посланный в Москву киевскими и почаевскими старцами, — все просто до прозрачности. Филарет, в свою очередь, направил

«отставного царя» в Саров, к преподобному Серафиму: не прятаться, нет! но получить епитимью. В таком случае именно в Сарове переименованному тезоименитцу было поручено пройти испытание искусом уральско-сибирского жития, в сантиметре от самопровозглашения и невероятного, неслыханного самозванства, когда беспримесным самозванцем оказывается немнимый государь.

Если же — что гораздо вероятнее — нет, то внешняя схожесть «великого разбойника», пришедшего (тоже скорее всего по «наущению» киевлян) каяться и просить епитимьи, могла подсказать Филарету неожиданный для современного человека, но в общем-то не столь уж исключительный для традиционно православного сознания ход мысли.

Тот ход мысли, который привел преподобного Серафима Саровского к улыбчивому предложению, обращенному сестре любимого служки «Мишеньки», Елене Васильевне Мантуровой: «Вот и послушание тебе: умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка!»^[378]

Говоря проще, не было бы ничего сверхудивительного, если бы митрополит Филарет предложил своему кающемуся посетителю: прими на себя грехи покойного Государя, искупи их, этим спасешься.

Вспомним образок святого Александра Невского, с которым старец не расставался (между прочим, житие святого Александра особо восхваляет его предсмертное желание отвергнуть честь княжеской власти, обменять ее на небесный венец схимы). Вспомним также вензель, изображающий буквицу «А» с короною на венце. Если это не указание на истинное имя старца, то указание на имя того, чей крест он несет в этой жизни.

И вспомним еще одно обстоятельство: спешный отъезд Феодора Козьмича из Зерцал весной 1843 года.

Дело в том, что на другом конце той же деревни жил старец Даниил — один из самых прозорливых православных старцев, спасавших душу в раскольничьей Сибири. Происходил Даниил Корнилович из казаков Полтавской губернии, родился в один день с императором Александром Павловичем, 12 декабря, но 1784 года; обучен грамоте; с 1807-го был ратником; сражался под Бородином; в 1820-м простился с родными: «куда-нибудь залезу в щель, как муха, и там век доживу».^[379] В это время он был представлен к офицерскому чину, от которого — а значит, и от дворянства! — отказался; военным судом приговорен был к работам в Нерчинском руднике, затем определен на «вечную работу» в Боготольском винокуренном заводе, откуда «по неспособности к работе» отправлен в Ачинск. Последние годы как раз и провел в Зерцалах.

Феодор и Даниил были близки по возрасту, по опыту жизни, по опыту участия в новейшей русской истории; их разделяло лишь происхождение. Никаких свидетельств их особенно тесного общения мы не имеем; они жили по разным краям деревни; по одним источникам, старцев видели совместно разгружающими бревна и Феодор Козьмич называл Даниила «человеком святой жизни» и подчеркивал, что поэтому «редко кто мог понимать его», по другим — Феодор Козьмич так отзывался о Данииле: он не имел учеников, «да и не мог никого учить, потому что он был малообразован и едва грамотен».^[380] Впрочем, образованность никогда не входила в число главных добродетелей отечественных подвижников благочестия; так что хулу на Даниила в словах Феодора Козьмича могли усмотреть лишь добросовестные позитивисты начала XX века. А что до «необщения»... Можно общаться — скрытно от глаз; можно общаться — через посыльных богомольцев; можно и просто — общаться в молитве.

Преподобный Серафим Саровский, очевидно, никогда не встречался с Даниилом, и совершенно точно — никогда с ним не переписывался. И тем не менее — все о нем знал. Томской мещанке Марии Иконниковой, которой старец Даниил не дал благословения странствовать и велел сидеть в Томске, чулки вязать, но которая запрета ослушалась и явилась в Саров, преподобный Серафим выговорил: «Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад, домой!..»^[381]

Как бы то ни было, старец Даниил почил в Бозе 15 апреля 1843 года — перед самой смертью перебравшись в Енисейск; и в том же году Феодор Козьмич, покинув Зерцалы, отправился на прииски. К золотоискательству он относился не слишком одобрительно — до нас дошел полуупрек, впоследствии обращенный им к купцу Хромову: «Охота тебе заниматься этим промыслом, и без него Бог питает тебя!» Так что уход из деревни находится в несомненной связи со смертью Даниила — и указывает на последнего как на возможного духовного руководителя Феодора Козьмича, у которого тот проходил «предстарческое» сибирское послушание. (В такой перспективе слова о «малообразованности» Даниила, из-за которой он не имел учеников, напоминают уклончивую отговорку, избавляющую от необходимости «метать бисер», вдаваться в подробности духовной жизни, не подлежащие огласке.)

Но тут встает другой вопрос: почему будущий старец одновременно с благословением на «царский крест» получил имя Феодор?

Смена имени в русском церковном и околоцерковном обиходе конца XVIII — начала XIX века — дело привычное.

К смене имени прибегали не только при монашеском постриге, но и в других случаях — например, принимаясь за особо важное и ответственное духовное дело. Так Василий Васильев, уже ставший отцом Авелем, получает (или берет) еще одно, тайное, имя — Дадамей. Так неудавшиеся «мистические сотрудники» Александра I, священник Феодосии Левицкий с отцом Феодором Лисевичем, принимают новые, сокровенные, имена. За всем этим стояла древняя мистическая традиция, на уровне литературной игры выродившаяся в систему псевдонимов; нам сейчас важно другое.

А именно: что традиция эта не допускала произвола в «переименованиях». «Шифр» должен был иметь «дешифровку». Не столько формально-логическую, сколько духовную.

Так вот: в славном 1812 году архимандрит Филарет, одновременно с утверждением в должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии, был назначен настоятелем первоклассного Новгородского Юрьевского монастыря. Того самого, что позже получит в управление архимандрит Фотий. Именно в Софийском соборе Новгорода покоились мощи святого князя Феодора — старшего брата святого Александра Невского; в «Словаре историческом о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых», изданном в 1836 году (год красноуфимского ареста Феодора Козьмича) и тогда же положительно отрецензированном Пушкиным, читаем: «Сей юный князь (по словам летописи), цветущий красотой, готовился вступить в брак, но внезапная смерть прекратила дни его». [\[382\]](#)

Если — допустим невозможное — посетитель митрополита Филарета был некогда русским царем,

крещенным в честь святого Александра Невского, такое закрытие истинного имени с помощью сакральной метатезы обретает в контексте последующего сибирского жития Феодора Козьмича особенно острый смысл.

Если же нет, но митрополит Филарет назначил ему такое послушание — она все равно разумна. Ибо имена Александра и Феодора носили родоначальники династии Романовых, дядя и отец (будущий патриарх Филарет) Михаила I Феодоровича, а Федоровская икона Божией Матери была фамильной святыней рода.

...Гипотеза и есть гипотеза. Не больше и не меньше. Были бы прямые доказательства — она бы и не потребовалась. Но другого объяснения, которое в такой же мере удовлетворяло всем описанным выше «параметрам», я не вижу. И потому решаюсь на вывод, прямо противоположный тому, каким завершалась одна из предыдущих главок.

Кем бы ни был тот, кто называл себя Феодором Козьмичом, он был *sui generis* Александром I. Он нес крест русского царя, платил по его счетам, искупал его грех. Грех духовный, а не политический. Политические грехи русского царя предстояло искупать России в целом; она должна была понести его крест; в этом смысле именно ей выпала участь «коллективного Феодора Козьмича».

Вместо эпилога: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

...Есть горькие стихи Петра Вяземского. Не молодого Вяземского, участника конституционных преобразований в Польше, едкого насмешника и злого эпиграмматиста, но Вяземского-старика «образца 1868 года», все пережившего, все простившего, но ничего не забывшего. Тем горше их смысл:

Сфинкс, не разгаданный до гроба, —
О нем и ныне спорят вновь;
В любви его роптала злоба,
А в злобе теплилась любовь.
Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был:
И презирал он человека,
И человечество любил. [\[383\]](#)

Современный комментатор указывает, что адресат стихотворения — Вольтер. В XIX веке полагали иначе, узнавая в стихотворном портрете черты Александра Павловича [\[384\]](#) (и, очевидно, угадывая в стихах Вяземского отголосок пушкинского восьмистишия 1829 года «К бюсту завоевателя»: «...Недаром лик сей двуязычен. / Таков и был сей властелин: / К противочувствиям привычен, / В лице и в жизни арлекин»). Все основания для этого были.

...Вблизи отсель есть остров опустелый,
Счастливым уголок земли;
Его гранитных скал страшатся корабли... [\[385\]](#)

*(Эверест Парни; перевод А. Норова,
1821)*

Уголки, островки, колонии — участки реальности, обведенные магическим кругом и освобожденные от ее косности, тягот, непредсказуемости. Упорствуя в их отыскании, Александр I ускользал от страшного для себя признания: реформы, ради которых он принял царство (и во многом ради которых стал вольным или невольным отцеубийцей!), будут отторгнуты Россией не потому, что она в принципе неререформируема, а потому что они сшиты не по ее мерке.

Последствия этого отторжения обречен был расхлебывать преемник Александра, Николай. В одночасье взнесенный над всей страной в минуту для нее роковую, 27 ноября 1825 года он оказался в положении абсолютно двусмысленном. Ему готовили роль безупречно законного усмирителя разгорающейся русской революции — но при этом никто не позаботился обставить его грядущее воцарение безупречно законным образом, заранее объявив об отречении Константина и приняв государственный акт о переназначении наследника престола. Внезапность таганрогской трагедии окончательно запутала дело.

Мало того, что «завещание» Александра не было лишено сомнительности; оно еще и осталось втуне. Николай не мог силой занять трон, формально принадлежавший Константину, — после этого жесткое, но справедливое «узаконение» страны было бы немислимо. Неизбежно предстоявшая борьба с надвигающейся революцией лишалась морально-юридической основы и сводилась к примитивной борьбе за власть.

Не мог новый царь допустить и сдачу позиций «без боя» — понимая, что смиренное принесение присяги Константину и ожидание варшавского Манифеста об

отречении дают возмутителям реальный шанс на успех их безнадежного дела.

Если бы Николай (как помним, задолго до 1825 года «предназначенный» на царство) не был обречен женственно-ревнивым братом на казарменное существование; если бы он изначально был включен в сферу большой политики и привык к кривизне исторического пространства; если бы представления великого князя о бытии не становились тем проще и однозначнее, чем гуще был мистический туман, клубившийся вокруг Александра, — как знать; может быть, он и нашел бы некое извилистое, многоходовое решение поставленной перед ним политической задачи. Но он был таким, каким был, и признавал только два направления: вперед и назад. Впереди была пропасть, услужливо оставленная старшим братом, позади — Россия, отступить некуда; а пути вверх, к небу, новый русский царь, кажется, не знал. Его вера была проста и открыта — тем проще и открытее, чем гуще был мистический туман, клубившийся вокруг Александра. Но она была слишком открыта, слишком проста. Пространство для маневра было сужено до предела. Поэтому шаги Николая Павловича после получения таганрогского известия были тверды и точно отмерены, как расчет на первый-второй.

Шаг вправо: 27 ноября вскрыт конверт с завещанием Александра. Но уже до того, когда стало ясно, что надежд на Александра нет, Николай — вопреки его собственноручной «Записке...» — объявил узкому кругу придворных о притязаниях на престол помимо Константина, с немедленной присягой новому государю. Объявил в надежде, что столичные сановники встанут над своими интересами, разделят с царем ответственность за судьбу Отечества, примут на себя — хотя бы отчасти — удар общего мнения,

сохранив Николаю I возможность действовать «от имени и по поручению» Закона.

Тщетно.

Граф Милорадович, в чьих руках (как когда-то в руках Палена) находилась вся полиция Санкт-Петербурга, неуклонно выступил против исполнения тайной воли покойного императора; доводы его основательны:

1. Никто, даже русский царь, не вправе распоряжаться правами престола по своему усмотрению. Трон — не поместье; «законы Империи не позволяют располагать престолом по завещанию». [\[386\]](#)

1.1. Отречение Константина не было объявлено вовремя — стало быть, оно недействительно.

1.1.1. Указ о лишении наследственных прав членов Дома Романовых, вступивших в морганатические браки:

а) сомнителен,

б) противоречит никем не отмененному павловскому закону о престолонаследии.

1.1.1.1. Главное же: народ ожидает воцарения Константина и воспримет Николая как подменного царя, не настоящего. Ergo: бунт.

2. Мотив не названный, но существенный: Константин благоволит Милорадовичу, Николай — нет.

Поэтому пришлось сделать шаг назад. Принести присягу императору российскому Константину Павловичу, отправить с фельдъегерем запрос в Варшаву: не соблаговолит ли государь или явиться в столицу, чтобы принять бразды правления, или отречься от престола в пользу Николая?

Спустя время (время — упустив) в столицу было доставлено письмо варшавского сидельца, подтверждающее прежнее его отречение. Письмо, — но не Манифест об отречении после уже принесенной присяги! Еще один достойный плод на возвращенном

бабушкою древе; еще один воспитанник лучшего воспитателя всех времен и народов.

И тогда Николаю осталось сделать третий шаг — влево, чтобы после длительного маневра как бы выстроиться в затылок к себе самому.

Что было дальше, слишком хорошо известно. Каре... убитый бунтовщиком Каховским боевой генерал граф Милорадович, так любивший повторять: еще не отлита моя пуля... осуждение ста двадцати одного дворянина, о которых помнит (и будет помнить еще очень долго, всегда) Россия... навсегда безымянные трупы более 1000 человек. 93 солдата Московского полка, 69 — Гренадерского, 103 матроса гвардейского Морского экипажа, 17 конногвардейцев, 39 во фраках и шинелях, 9 — женска пола, 19 малолетних и 903 — черни.

Стреляла — власть, стрелял — Николай.

Ставили под пули — сыны свободы. [\[387\]](#)

Взрачивал поколение и губил его — Александр.

ГОД 1825. Декабрь. 28.

Санкт-Петербург.

Выходит в свет первое собрание пушкинских «Стихотворений», помеченное 1826 годом. Тираж 1200 экземпляров. Цена 10 руб. Эпиграф: «Aetas prima canat veneres, extrema tumultus». «Первая молодость воспевает любовь, более поздняя — смятения».

ГОД 1826. Январь. 1 (?).

Прочитав эпиграф к «Стихотворениям Александра Пушкина», Карамзин приходит в ужас. «Tumultus» — смятения — не намек ли на современные события?

Зачем губит себя этот молодой человек? Карамзина успокаивают: речь о душевном смятении.

Был ли справедлив приговор мятежникам? Да, с точки зрения Николая, приговор был именно справедлив, а не милостив или жесток. Царь мог подписать решение Верховного суда о четвертовании «первой пятерки», или уважить просьбу депутации из 15 генералов о массовой казни, или учесть требование либералиста Михаила Сперанского об увеличении числа подпавших под смертный разряд. Но тогда он бы предстал мстителем за себя, за пережитое унижение, за страх жены, за смертный ужас семилетнего сына. Государь мог поддаться милосердным призывам двух реакционных стариков, двух адмиралов, двух Семеновичей — Александра Шишкова и Николая Мордвинова, и смягчить участь приговоренных. Но в таком случае он бы поставил себя выше Закона, единого правого и совершенного. В том и дело, что Николай не желал стоять ниже или выше Закона: он насмотрелся на полузаконие александровского царствования, налюбовался на Аракчеева, наизумлялся на полуиссохшего архимандрита Фотия, иголкой впившегося в самую плоть самодержавной власти. И потому единственное твердое ограничение ввел он: да не прольется кровь. (О том, почему состоялось «бескровное» повешение пяти осужденных по первому разряду и почему не была произведена предполагавшаяся замена казни на каторгу, — судить трудно; можно только предполагать, какой силы давление было оказано на царя.) Приговор после монаршей конфирмации был много мягче, чем требовал закон о злоумышлении на священную особу государя. Но он и не был мягче, чем закон допускал.

Притом Николай понимал — не мог не понимать, — что истинной законности, законности, возведенной в абсолют, решения Комиссии, расследовавшей

антиправительственный мятеж, заведомо лишены. Хотя бы потому, что в ее состав входили участники предшествующего цареубийства; что бунт и стал возможен по причине юридической двусмысленности николаевского воцарения и, значит, часть вины за произошедшее лежит на Думе Романовых; что в стране, где не кодифицировано законодательство и подчас мирно сосуществуют взаимоисключающие правовые нормы, принятию однозначного обезличенного приговора предшествует личный выбор оснований для него — из нескольких возможных вариантов...

Но страх и ужас повторения пройденного в минувшее царствование вынуждали Николая стилизовать безоговорочную законность своих действий, предпочитать видимость Закона — явным отступлениям от него. А затем он постарался вызвать социальное дежа вю, пробел в общественной памяти на месте событий 14 декабря 1825 года, а в каком-то смысле — и вообще на месте предшествующего правления (исключая 1812 год). Не только воровство подрядчиков стало причиной отказа от Витбергова проекта храма Христа Спасителя; не только. Остановившая в 1826 году строительные работы, перепоручая архитектурное руководство проектом Тону, Николай останавливал продолжавшее по инерции течь время александровской эпохи. Мистический, болезненно-восторженный, эсхатологический стиль уступал место функциональному стилю новой державности — грубоватому, тяжеловесному. А вместе со стилем отменялось и мироощущение, его породившее.

А когда пространство реальной русской истории было расчищено — образовавшуюся пустоту закрыли прекрасным символом неосуществившихся надежд, образом того, как должно было быть, но как не было —

Александровской колонной. Поэт Василий Жуковский писал в 1834 году:

«Там, на берегу Невы, подымается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник, столь же почти огромный, как сама она... и в виду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромное, но уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а стройная, величественная, искусно округленная колонна... На высоте ее уже не человек скоро преходящий, а вечность — сияющий ангел. Россия — прежде безобразная скала, набросанная медленным временем, мало-помалу сплоченная самодержавием, слитая воедино и обтесанная рукою Петра, и ныне — стройная, единственная в свете своей огромностью колонна».

Перестройка закончилась.

Щелкают каблуки.

Пятки вместе, носки врозь.

ГОД 1826. Март. 6.

Прибытие траурной таганрогской процессии в Петербург. Гроб установлен в Казанском соборе. Николай не разрешает открыть крышку.

Март. 13.

Похороны. Метель.

Май. 4.

Белев.

Почила в Бозе Елизавета Алексеевна.

Санкт-Петербург.

Камер-фрейлина Юлия Даниловна Тиссен передает Николаю Павловичу и Марии Феодоровне черную шкатулку покойной императрицы.

«[Мария Феодоровна]... начала поочередно вынимать... какие-то бумаги, прочитывала каждую, передавала Государю, и он, по знаку матери, кидал их в камин...»[\[388\]](#)

Июнь. 21.

Похороны. Солнце.

...А затем... затем одновременно с холерой морбус грянет польское восстание 1830–1831 годов, ставшее расплатой за мечтания Александра Павловича, за утонченные конституционные игры и заведомо невыполнимые обещания. Восстание вынужден будет потопить в крови жестокий полонофоб (действительно, жестокий; действительно, полонофоб) Николай Павлович. Россия окажется на грани общеевропейской войны; только чудо удержит ее на краю новой пропасти.

И наконец, в том же 1831 году по военным поселениям прокатится страшный бунт, после которого в Новгородской губернии еще на десятки лет останется бесконечная череда пустых заброшенных деревень. На месте взорвавшегося утопического государства в государстве реальном воцарится то, что всегда воцаряется после самоуничтожения утопии, — мерзость запустения.

ГОД 1826. Сентябрь. 4. Псков.

Пушкин вызван Николаем I в Москву.

Сентябрь. 8.

Москва. Чудов дворец.
Аудиенция. Общение. Прощение.

Декабрь. 12.

День рождения Александра I.
Пушкин сочиняет «Стансы».

...Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

...2 мая 1837-го.

Нет Александра; умер Карамзин, не переживший потрясения Сенатской площади; четыре года, как почил в Бозе преподобный Серафим; четыре месяца, как «закатилось Солнце русской поэзии — Пушкин умер».

Из Петербурга выезжает поезд. Через Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, Екатеринбург, в ту часть России, куда не ступала нога русского царя и куда только что сослан старец Феодор Козьмич, — в Сибирь...

Воспитатель везет ученика по России; поездка, по его замыслу, должна стать высшей точкой «педагогического процесса», его итогом.

Воспитатель — Василий Жуковский.

Воспитанник — великий князь Александр Николаевич, будущий реформатор Александр II.

Все наконец-то было сделано правильно.

Но времени уже не оставалось.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Император Александр I.

Гравюра Гудлета и Моррисона с портрета Крюгера.



Преподобный Серафим Саровский. Фрагмент прижизненного портрета, хранящегося в женском монастыре Ново-Дивеево (Северная Америка).



Святитель Филарет, митрополит Московский.



Баронесса Варвара-Юлия Криднер.



Кондратий Селиванов.



Архимандрит Фотий (Спасский).



Князь Александр Николаевич Голицын.



Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская.



Адмирал Александр Семенович Шишков.



Серафим (Глаголевский), митрополит Новгородский,

Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский.



Прогулка Александра I по Брюлевской террасе в Дрездене.

С гравюры Виллевальде.



Александр I. Гравюра с портрета Дж. Доу.



Александр I путешествует по Финляндии.



Александр I в дороге.



Николай Иванович Тургенев.



Александр Сергеевич Пушкин.



Ипсиланти, Занд, Марат. Лувель.

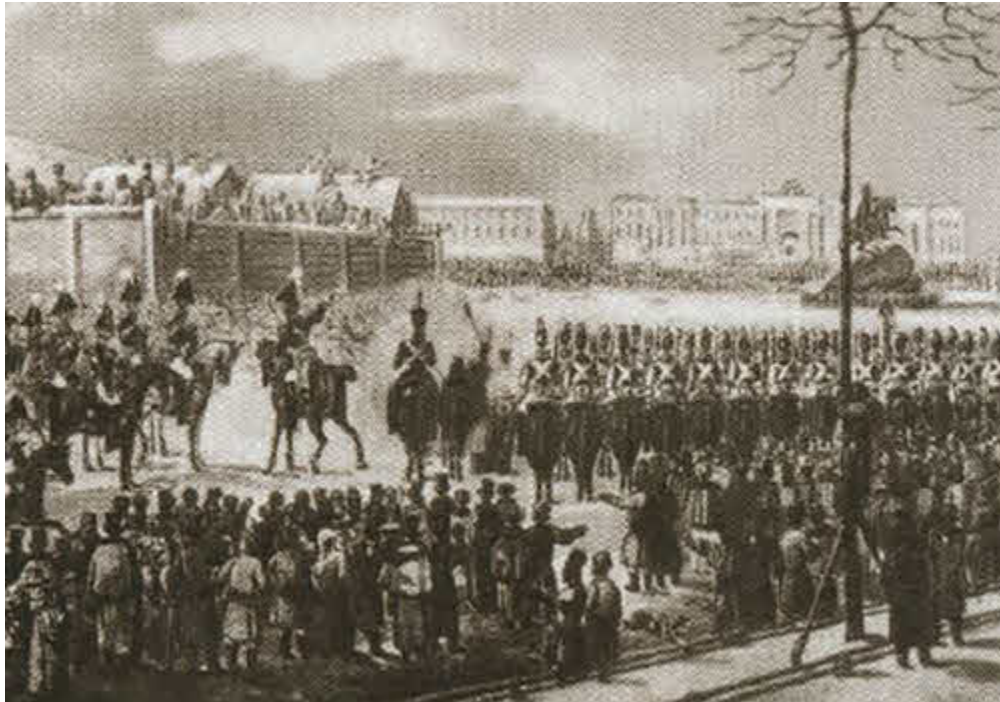
Рисунки А. С. Пушкина на полях черновика. 1821 г.



Павел Иванович Пестель.



И. В. Шервуд-Верный.



***Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825
года.***

Акварель Н. Кельма.



Князь Петр Михайлович Волконский.



Лейб-медик Яков Васильевич Виллие.



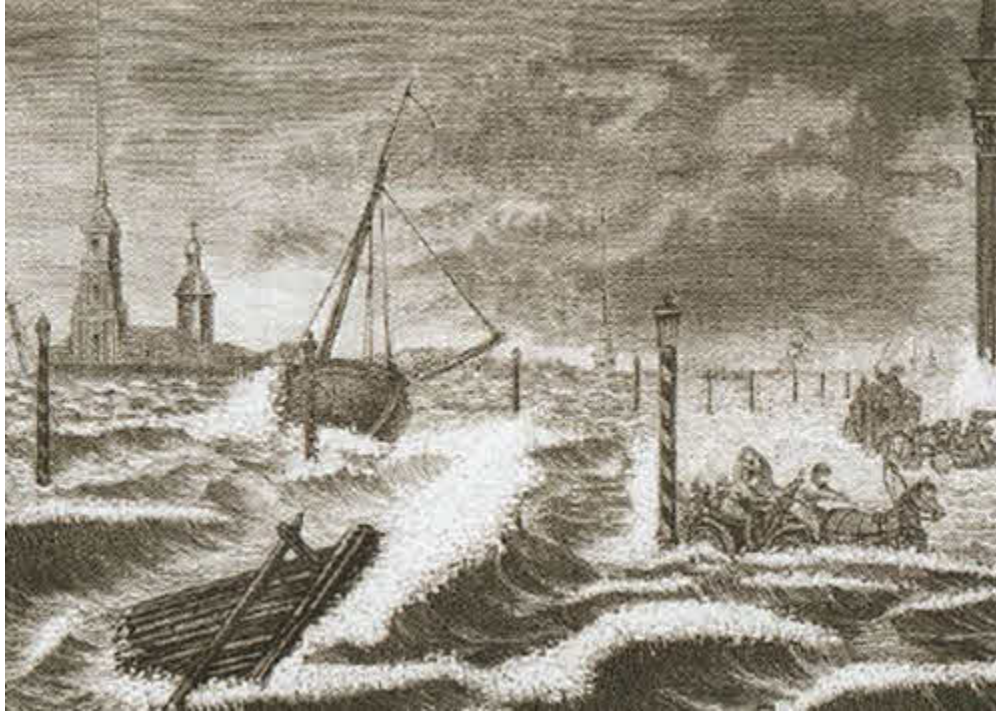
Граф Михаил Андреевич Милорадович.



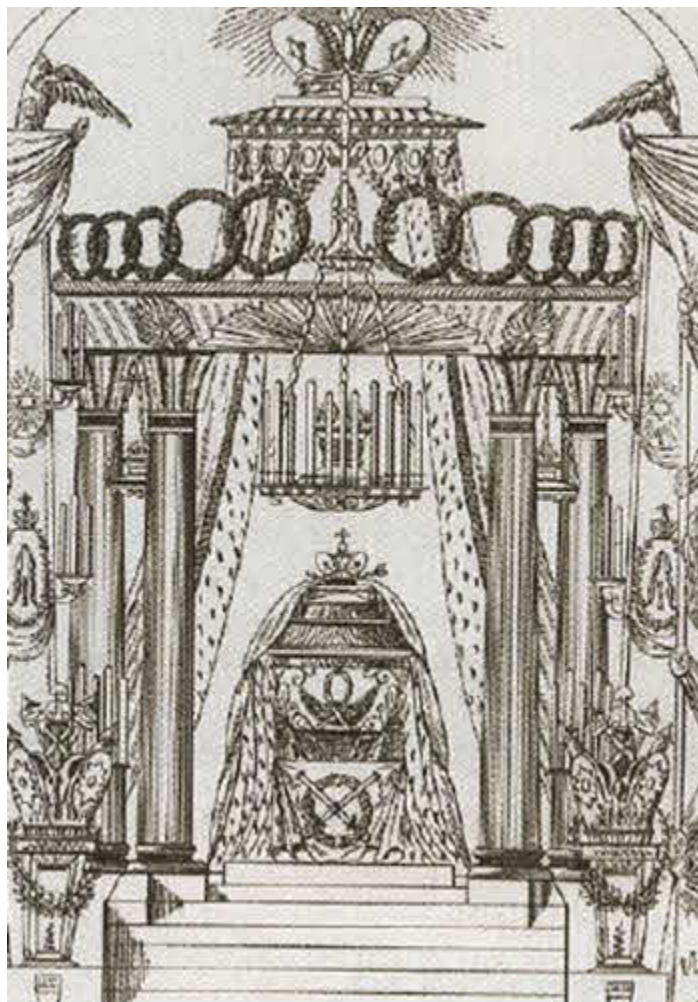
Генерал Илларион Васильевич Васильчиков.



Идиллия: Валаамский монастырь, где Александр I побывал в 1818 году.



Трагедия: петербургское наводнение 1824 года.



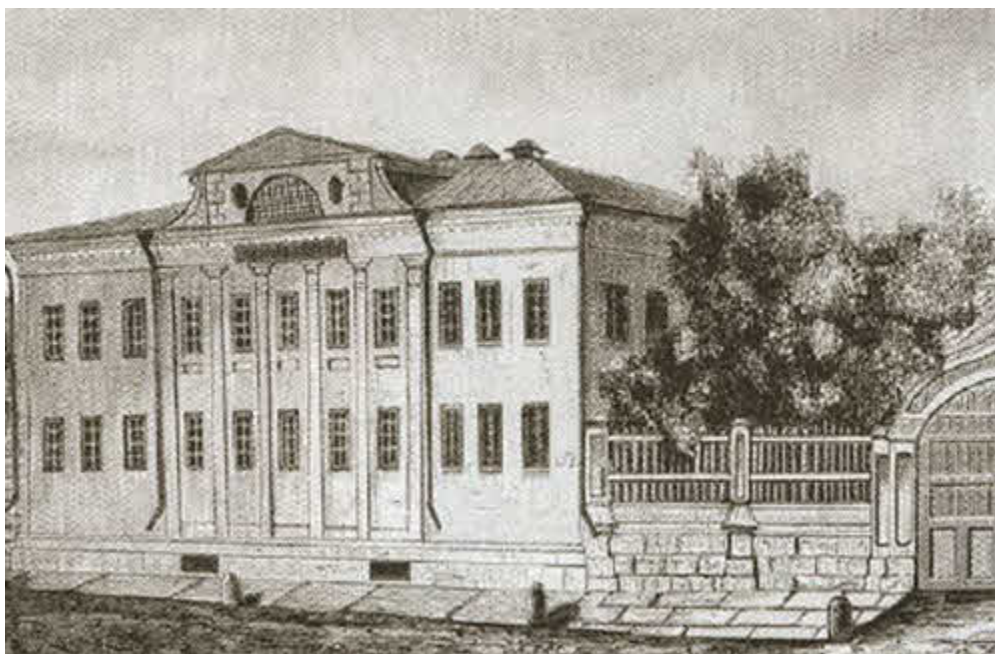
Катафалк, воздвигнутый по распоряжению Л. А. Аракчеева в новгородском соборе для императора Александра I.



Дом в Таганроге, где 19 ноября 1825 года завершился жизненный путь Александра I.



Пастораль. Портрет Е. Ф. Орловой. Акварель из альбома 1810-х гг.



***Дом в Белеве, где 4 мая 1826 года завершился жизненный путь
Елизаветы Алексеевны.***



Старец Феодор Козьмич.



Могила старца Феодора Козьмича.



Antoine Lavoisier
1788



Луиза, королева Прусская.



Фридрих Вильгельм III, король прусский.



***Мемельское свидание Александра и Фридриха Вильгельма
Прусского. Гравюра Болъдта с картины Дилинга.***



Клятва у гроба Фридриха Великого. Гравюра Мейера с картины Кателя.



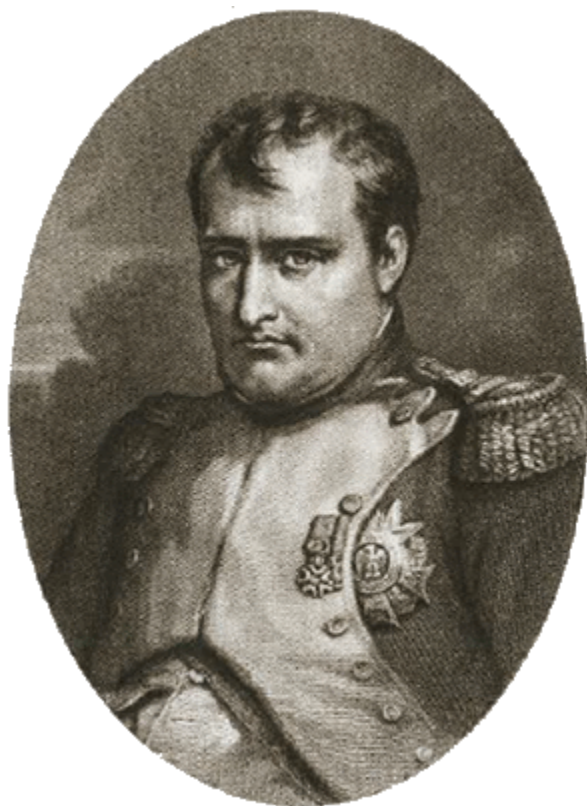
Аустерлицкое сражение. С картины Ф. Жерара.



Свидание императоров Александра и Наполеона на реке Неман.

1807 год.

Гравюра Ламо и Мисбаха с рисунка Лорье.



Наполеон в 1815 году.

Гравюра Гутьера с портрета Зандауси.



Эрфуртский конгресс. Генерал Винсент вручает Наполеону письмо австрийского императора.

Гравюра Манье с картины Госса.



Граф Алексей Андреевич Аракчеев.



Кабинет Аракчеева в Грузии, где останавливался Александр I.



Гаврила Романович Державин.



Николай Михайлович Карамзин.



Зимний дворец. Литография. 1820-е гг.



Михаил Михайлович Сперанский в 1806 году.

1864 / 43. Февр. 4 1771/119
Милостивый Государь Михаил Богданович,
Его канцелярскому величеству Сино-
удово Сино посылает Твоему сиятельству
Князь Левант Закревский редакцию ста-
тей о волеизъявлении Молдавской Ар-
мии на французского короля и на императора
австрийского и на союзников их в
связи с Тобурою канцелярии Сино

Письмо М. М. Сперанского графу М. Б. Барклаю-де-Толли.



Барон Густав Армфельд.



Александр Дмитриевич Балашов.



Алексей Петрович Ермолов.



Князь Петр Иванович Багратион.



Денис Владимирович Давыдов.



Матвей Иванович Платов.



Князь Михаил Илларионович Кутузов-Смоленский.



Граф Михаил Богданович Барклай-де-Талли.



Мост через реку Колоча у села Бородино 17 сентября 1812 года.

Литография по рисунку Х. В. Фабера дю Фора.



Граф Федор Васильевич Ростопчин.



Дом Пашкова в Москве после пожара 1812 года.



Александр I в Париже.



Шарль Морис Талейран.



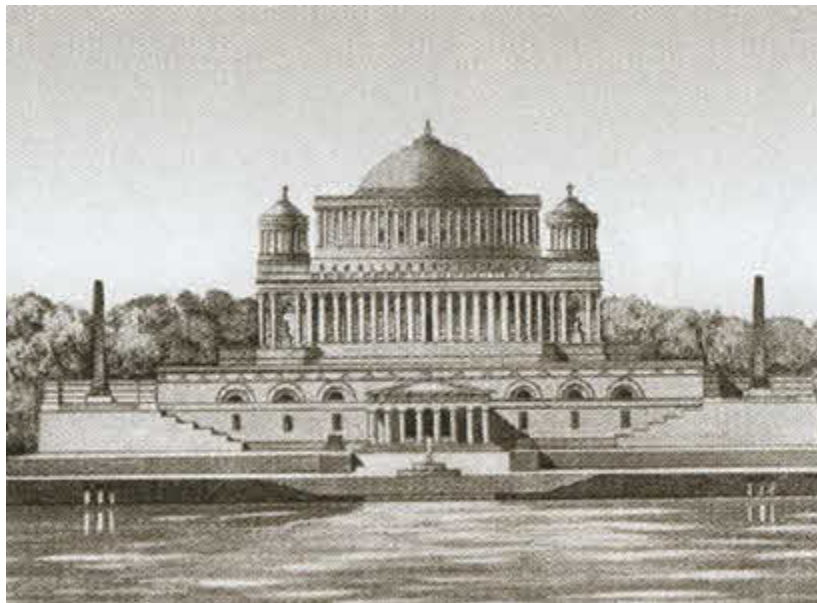
Князь Клеменс Меттерних.



Молебствие в Париже 19 марта 1814 года. Фрагмент.



***Дом Ш. М. Талейрана в Париже, в котором жил император
Александр I в 1814 году.***



Первоначальный проект храма Христа Спасителя в Москве.

Автор проекта А. Л. Витберг.



Александр I восстанавливает Францию. С гравюры начала XIX в.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

1777, 12 декабря — у наследника престола великого князя Павла Петровича и его жены Марии Феодоровны родился сын-первенец, названный Александром.

1779, 27 апреля — родился брат Александра Павловича, Константин.

1784, 13 марта — императрица Екатерина II завершила работу над «Наставлением о воспитании великих князей».

10 июня — швейцарский адвокат Ф.-Ц. Лагарп подает Екатерине II педагогическую записку, подготовленную на основе ее «Наставления»; вскоре Лагарп назначен воспитателем великих князей.

1789, 14 июля — начало Французской революции.

1792, 31 июля — в Россию прибывает баденская принцесса Луиза, которая примет православие и получит имя Елизавета Алексеевна.

1793, 28 сентября — великий князь Александр Павлович вступает в брак с Елизаветой Алексеевной.

1794, октябрь — Лагарпу объявлено об отставке; спустя несколько месяцев он покидает Россию.

1796, 25 июня — родился брат Александра Павловича, Николай.

4 ноября — у Екатерины апоплексический удар; 6 ноября она умирает; новым императором становится Павел I; Александр Павлович — наследник престола, военный генерал-губернатор столицы.

1797, 5 апреля — во время коронации в Москве Павел I объявляет новый закон о престолонаследии.

1799, 27 июля — в Санкт-Петербурге умирает Мария Александровна, двухмесячная дочь Александра и

Елизаветы.

1801, ночь с 11 на 12 марта — дворцовый переворот, в результате которого Павел I убит; на престол возведен Александр I.

2 апреля — объявлен Манифест, по которому восстановлена Жалованная грамота дворянству, распущена Тайная экспедиция.

1802 — начало многолетнего романа Александра I с Марией Нарышкиной.

26 сентября/8 октября — подписан мирный договор с Францией.

29 мая — поездка в Мемель, свидание с королем Пруссии Фридрихом-Вильгельмом III; общение с его женой Луизой; начало формирования антинаполеоновской коалиции.

1804 — Мария Нарышкина родила дочь Софию.

21 марта — по приказу Наполеона расстрелян герцог Энгиенский; в России объявлен траур; спустя несколько дней будет направлена резкая нота французскому правительству, в ответ на которую Талейран оскорбительно намекнет на обстоятельства прихода Александра I к власти.

6/18 мая — Наполеон провозглашен императором всех французов.

1805, 22 октября/3 ноября — Александр I и Фридрих-Вильгельм клянутся в верности принципам Потсдамской конвенции у гроба Фридриха Великого; к этому моменту сформирована коалиция из России, Пруссии, Англии, Австрии; начало войны с Наполеоном.

6/18 ноября — вопреки уговорам окружения, Александр лично является на театр военных действий.

20 ноября/2 декабря — битва на Аустерлицком поле; разгром союзнических войск, торжество Наполеона.

1806, 16 ноября — Александр I объявляет о начале войны между Россией и Францией.

1807, 27 января/8 февраля — сражение при Эйлау.

2/14 июня — поражение при Фридланде.

13/25 июня — свидание двух императоров на Немане.

25 июня/7 июля — Тильзитский мир.

1808,13 января — во главе Военного министерства становится Алексей Аракчеев. Россия присоединяет к себе Финляндию.

Май — во младенчестве умирает Елизавета Александровна, дочь Александра I и Елизаветы Алексеевны.

15/27 сентября — эрфуртское свидание с Наполеоном.

14 октября — заключен Венский мир.

1809, 6 августа — принят указ «О чинах гражданских», окончательно рассоривший молодого реформатора Михаила Сперанского, выдвинутого Александром I, с чиновничеством и служилым дворянством: отныне в коллежские асессоры запрещено производить лиц, не имеющих университетского диплома.

1810, 1 января — первое заседание Государственного совета, учрежденного Александром I.

1811,15 сентября — освящен Казанский собор в Санкт-Петербурге.

19 октября — в присутствии Александра I с семьей торжественно открыт Царскосельский Лицей.

1812, 17 марта — в преддверии надвигающейся войны с Наполеоном Сперанский отставлен и выслан из столицы под надзор полиции.

11 июня — армия Наполеона пересекает границу России, переправляясь через Неман. Начало Отечественной войны.

4-5 августа — бои за Смоленск.

5 августа — главнокомандующим русской армией назначен граф М. И. Кутузов.

26 августа — Бородинская битва.

1 сентября — совет в Филях. Москва сдана французским войскам.

6 октября — Наполеон принимает решение покинуть Москву.

15 ноября — рассеянные французские войска переправляются через реку Березину.

25 декабря, Рождество Христово — окончание Отечественной войны.

1813,1/13 января — русские войска во главе с Александром I и М. И. Кутузовым, пожалованным в князя Смоленские, переправляются через Неман. Начало европейской кампании. После скорой кончины Кутузова во главе войск поставлен возвращенный в армию М. Б. Барклай-де-Толли.

20 апреля/2 мая — поражение при Люцене.

8/20 мая — поражение при Бауцене.

23 мая/4 июня — плейсвицкое перемирие.

4-19 октября — «Битва народов» под Лейпцигом. Победа над Наполеоном.

1814,18/30 марта — капитуляция Парижа.

25 марта/6 апреля — безоговорочное отречение Наполеона.

29 марта/10 апреля — отслужена православная литургия на месте, где был казнен Людовик XVI.

22 апреля/4 мая — Наполеон прибывает на остров Эльба, где определено его пожизненное пребывание.

18/30 мая — заключен первый Парижский мирный договор.

13/25 июля — Александр I возвращается в Петербург.

20 октября/1 ноября — открытие Венского конгресса. Начало «эпохи конгрессов».

22 декабря 1814-13 января 1815 — Франция, Англия, Австрия заключают тайный союз против России и Пруссии.

1815, ночь с 10 на 11 | с 22 на 23 февраля — Наполеон бежит с острова Эльба.

17 февраля/1 марта высаживается во Франции.

8/20 марта — обнаружив в Тюильри текст секретного антироссийского договора, Наполеон отсылает его Александру I; тот демонстративно уничтожает текст соглашения и остается верен коалиции.

6/18 июня — Наполеон терпит сокрушительное поражение при Ватерлоо и спустя четыре дня повторно отрекается от престола.

28 июня/10 июля — заключительный акт Венского конгресса. Начало общения с баронессой Крюденер (Криднер).

14/26 сентября — в Париже подписан Акт о создании Священного Союза.

8/20 ноября — Второй Парижский мирный договор.

15/27 ноября — в Варшаве Александр I подписывает Конституцию Польши; Польша включена в состав Российской империи на особых правах.

1818, сентябрь — ноябрь — Аахенский конгресс Священного Союза.

1819, 24 августа — бунт в Уланском военно-поселенческом полку (город Чугуев).

1820, 20 марта — официально расторгнут брак великого князя Константина Павловича с великой княгиней Анной Федоровной; спустя полтора месяца Константин вступает в мorganaticкий брак с графиней Иоанной (Жанной) Грудзинской.

16 октября — бунт в лейб-гвардии Семеновском полку.

1821, 8/20 января — Лайбахский конгресс Священного Союза. Волнения в Испании, в Савойе, неаполитанская революция, антихристианские казни в Турции, восстание в Греции под руководством Александра Ипсиланти.

23 апреля/5 мая — смерть Наполеона на острове Св. Елены.

24 мая — Александру I поступает донос тайного агента Михаила Грибовского о политическом заговоре со списком участников. Александр произносит по-французски: «Не мне подобает карать».

1822, 8/20 октября — 2/14 декабря — Веронский конгресс Священного Союза.

1 августа — запрет всех тайных обществ и масонских лож в России.

1823, лето — архиепископу Филарету (Дроздову) поручено составить проект Манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича и затем тайно положить пакет на хранение в Успенском соборе Московского Кремля.

1824, май — отставка А. Н. Голицына, министра народного просвещения, мистического конфидента Александра I.

23 июня — смерть Софии Нарышкиной.

7 ноября — разрушительное наводнение в столице.

1825, 13 сентября — царская чета прибывает в Таганрог.

27 октября — Александр I внезапно заболевает.

19 ноября, 10 часов 50 минут — кончина Александра I.

14 декабря — восстание декабристов на Сенатской площади.

29 декабря — траурная процессия с телом Александра I выезжает из Таганрога.

1826, 28 февраля — траурная процессия прибывает в Санкт-Петербург, при въезде в Царское Село ее встречает новый император Николай I.

13 марта — останки Александра I захоронены в Петропавловской крепости.

3 мая — умирает императрица Елизавета Алексеевна.

1864, 20 января — кончина старца Феодора
Кузьмича.

notes

Примечания

1

Русская Старина. 1875. Т. 12. С. 50.

Здесь и далее цитаты из писем Екатерины Гримму даются по изд.: Шильдер Н. К. Император Александр I: Его жизнь и царствование. В 4 т. СПб., 1897-1898 (далее: Шильдер). Т. 1. См. также: Сборник Императорского Русского исторического общества (далее: Сб. РИО). Т. 23.

З

Державин Г. Р. Анакреонтические песни / Изд. подг. Г. П. Макогоненко, Г. Н. Ионин, Е. Н. Петрова. М., 1986 (Серия «Литературные памятники»). С. 10–11,401.

Подробности см.: Кубалов Б. Сибирь и самозванцы // Сибирские огни. 1924. № 3. С. 166-167. Ср. также: Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967.

См.: Чистов К. В. Указ. соч.; Успенский Б. А. Царь и самозванец: Самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Избранные труды. В 2 т. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 206.

Кудряшов К. В. Александр I и тайна Федора Козмича.
Пг., 1923. С. 45, 17.

7

О, мой Бог, что-то получится из этого мальчика?
(нем.)

8

Сб. РИО. Т. 23. С. 72.

См. подробнее о «греческом» проекте и государственно-политической семантике имен Александра и Константина: Зорин А. Л. Русская ода конца 1760-х — начала 1770-х годов. Вольтер и «греческий проект» Екатерины II // Новое литературное обозрение. 1997. № 24.

Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки / Изд. подг. А. Л. Зорин, Н. Г. Охотин. М, 1988. С. 417, 18.

Цит. по: Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. М., 1991. С. 60. Имеются в виду слухи в церковных кругах об уклонении о. Андрея от православия. Попутно: фамилия о. Андрея могла писаться как через «а» («Самборский»), так и через «о» («Сомборский»).

Здесь и далее цитаты (кроме оговоренных случаев) по изд.: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского у., с жизнеописанием основателей ее: преподобного Серафима и схимонахини Александры, уржд. А. С. Мельгуновой / Сост. архим. Серафим (Чичагов). 2-е изд. СПб., 1903. С. 25.

Цит. по: Шильдер. Т. 1. С. 91.

14

Там же.

Ф.-Ц. Лагарп в России (Из его Записок) [Реферат П. И. Бартенева] // Русский Архив. 1866. Т. 1. Стб. 80-81, 83.

Представители России на Венском конгрессе в 1815 году (Из воспоминаний А. И. Михайловского-Данилевского) //Русская Старина. 1899. № 6 (далее: Михайловский-Данилевский). С. 637.

17

Там же.

«Дачная» литература достаточно обширна. См.: [Джунковский С. С] Александрово, увеселительный сад... Е. И. В. благоверного Государя и Великого князя Александра Павловича. Харьков, 1810; Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. СПб., 1869; Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877.

Подробнее см.: Шумигорский Е. С. Император Павел I: Жизнь и царствование. СПб., 1907; Цареубийство 11 марта 1801 года. СПб., 1907; Буцинский П. Н. Отзывы о Павле I его современников. Харьков, 1901; Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М., 1982.

Чарторыйский А. Мемуары и переписка с императором Александром I / Под ред. А. Кизеветтера. Т. 1. СПб., 1912–1913 (далее: Чарторыйский). С. 170.

Там же. С. 113-114.

Французская собака (англ.).

Записки графа Е. Ф. Комаровского. М., 1990. С. 18.

В отличие от старшего брата, Константин Павлович ценил не процесс, а результат. А потому традиционные приемы любовной игры (двусмысленные каламбуры, полуневольные намеки) использовал не для оттягивания развязки и тем более не для уклонения от нее, а для ее приближения. Слухи о его романах — до женитьбы на Иоанне Груздинской — всегда были грубы и авантюрны; характерно, что именно за ним был «закреплен» анекдот, во второй половине XIX века перешедший «по наследству» к персонажу скабрёзных анекдотов поручику Ржевскому: «В обществе, где был Конст<антин> Пав<лович>, спорили о том, где лучше быть: в Петерб<урге> или в Москве. Одна хорошенькая дама говорила, что она желала бы быть одною ногою в Москве, другою в Петербурге. «А я в это время желал бы быть, — гов<орит> Константин Пав<лович>, — в Бологом» (как раз середина между Петерб<ургом> и Москвой)». См.: Анекдот о Великом князе Константине Павловиче / Сообщ. А. Ранчиным // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 272.

Михайловский-Данилевский. С. 633.

Державин Г. Р. Избранная проза / Изд. подг.
П. Г. Паламарчук. М., 1984. С. 224.

Здесь и далее даты событий, происходивших на территории Европы, приводятся по новому стилю.

Так называли Карамзина друзья; это не было его тайное масонское имя.

Цит. по: Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии / С примечаниями и объяснениями М. П. Погодина. В 2 ч. М., 1866 (далее: Погодин). Ч. 1. С. 360–361.

Там же. С. 362.

См.: Богданович М. И. История царствования императора Александра I и Россия в его время. В 6 т. СПб., 1869–1871. Т. 1. С. 18.

Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 603, 605.

См.: Сухомлинов М. И. Фридрих-Цезарь Лагарп, воспитатель императора Александра I. СПб., 1871. С. 30-38.

Хотя это не более чем метафора: вопрос о личной свободе тогда еще не сомкнулся напрямую с вопросом о собственности на землю.

[Граф Мориоль]. Великий князь Константин Павлович и его двор // Русская Старина. 1902. № 8. С. 300.

Чарторыйский. Т. 1. С. 238.

Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе графини Шуазель-Гуффье, урожд. графини Фитценгауз, бывшей фрейлины при Российском дворе. Перевод по изд. 1829 года. М., 1912 (далее: Шуазель-Гуффье). С. 142.

Крылов И. А. Басни / Изд. подг. А. П. Могилянский. М.; Л., 1956 (Серия «Литературные памятники»). С. 83–85.

Вставные новеллы — подражание автору «истинной повести» «Боратынский» Алексею Михайловичу Пескову. Наши новеллы достовернее, хотя им и недостает красок русского историка.

Рассказы бабушки / Изд. подг. Т. И. Орнатская. М., 1988 (Серия «Литературные памятники»). С. 293. Ср. в письме Гримму: «Мой Александр женится, а затем будет коронован — церемониально, торжественно, празднично» (Сб. РИО. Т. 23. С. 574).

Шильдер. Т. 1.С. 112.

Подробнее о нем см.: Николай Михайлович, великий князь. Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817). Историческое исследование эпохи императора Александра I. В 3 т. Т. 1. СПб., 1903.

Об этом эпизоде полезно вспоминать, ломая голову над тем, каким образом вполне цивилизованный царь Александр I мог в 1818-м верить подаваемым ему через Аракчеева доносам Магницкого; тому, например, что на Невском проспекте у золотых дел мастера Арндта продаются стальные перстни с изображением полководца Барклая-де-Толли; перстни заказаны обществом полковника Томмана в количестве 30 или 40 штук; «...общество сие приняло наружным знаком своего соединения портрет известного человека, который не может возбудить никакого подозрения в обществе» (тавтология Магницкого); вывод: общество злоумышляет нечто (Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. СПб., 1883. С. 235). Потому и верил, что сам в юности желал обмениваться знаками и не понимал, что выросло поколение, способное обходиться без всяких знаков и действовать прямо.

Чарторыйский. Т. 1. С. 262-263.

45

Там же.

46

Там же.

Цит. по: Богданович М. И. История царствования императора Александра I и Россия в его время. С. 48.

См.: Русский Архив. 1866. Т. 1. Стб. 111-113.

См.: Санкт-Петербургский вестник. 1779. Ч. 4. С. 196.
Показательно, что этот перевод помещен был в журнале, тесно связанном с кругом великого князя.

Надлер В. Император Александр I и идея Священного союза. В 5 т. Рига, 1886-1892 (далее: Надлер). Т. 1. С. 15.

Из разговора с Е. Мещерской. Цит. по: Пушкин А. С. Евгений Онегин / Изд. подг. А. Тархов. М., 1978. С. 258.

Режисидами в XIX веке называли заговорщиков-убийц.

Их разделяют на три рода: одно колеблет землю, другое разрывает ее, третье извергает пламя. — Примеч. Н. М. Карамзина.

Цит. по: Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя: Избранная проза. М., 1986. С. 257-259.

См.: Житие и страдания отца и монаха Авеля // Русская Старина. 1875. № 2. [Публ. М. И. Семевского] (далее: Авель); Розанов Н. П. Предсказатель монах Авель в 1812–1826 гг. // Русская Старина. 1875. № 4; Ильин-Томич А. А. Васильев Василий // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1. А — Г. М., 1989.

Авель. С. 417. Здесь и далее цитаты из «Жития» — по этому изданию.

Бороздин А. Селиванов Кондратий // Русский биографический словарь. Т. 18. С. 283.

См. подробнее: Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977.

Кубалов Б. Сибирь и самозванцы // Сибирские огни.
1924. № 3. С. 166.

В их числе в конце концов оказался и Кондратий Селиванов. Подробнее см.: Пругавин А. С. Суздальские узники (1800–1836) // Былое. 1907. № 8. С. 67.

Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1863. Кн. 4. С. 217-222. Почему Ермолов именует о. Авеля «образца 1795 года» — отцом Авелем, а не послушником Василием Васильевым — не вполне ясно. То ли дело в ретроспективном «уточнении» мемуаристом данных его собственной памяти, то ли в том, что послушник Василий Васильев уже тогда, до пострига, именовал себя «Авелем».

Здесь не место в деталях обсуждать, чем представления об «имперской» сакрализации государя в России XVIII века отличаются от «царской», сформулированной Иваном Грозным в его переписке с Курбским, а та — от «княжеской», и в чем они сходятся; невозможно говорить о монаршей харизме и об отличии ее от харизмы епископской — прежде всего потому, что для Александра Павловича все эти «дефиниции» — пустой звук. Подробно проблематика, связанная с различными (в первую очередь социокультурными; во вторую — и с некоторыми незначительными натяжками — собственно религиозными) аспектами сакрализации монархии в России, рассматривается в работе: Успенский Б. А. Царь и Бог // Избранные труды. В 2 т. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. Т. 1. См. также: Барсов Е. В. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство... М., 1883; Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг., 1916; Попов К. Чин священного коронования (исторический очерк образования чина) // Богословский вестник. 1896. Т. 2. Апрель-май; и др.

О том, какими методами кружок воздействовал на наследника, см.: Эйдельман Н. Я. Грань веков.

Цит. по: Шильдер. Т. 1. С. 162.

См.: Сафонов М. М. Конституционный проект П. А. Зубова и Г. Р. Державина // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 10. Л., 1978.

Сафонов М. М. Проблема реформ в
правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв. Л., 1988. С. 423.

Чарторыйский. С. 331.

Подробнее см.: Сафонов М. М. Проблема реформ в
правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв.

Между прочим, митрополит Гавриил, подобно игумену Назарию, был одним из последователей молдовлахийского старца о. Паисия Величковского, возродившего в России конца XVIII века старчество, а также исихастское движение «делателей умной молитвы». Подробнее см.: Четвериков Сергей, прот. Молдавский старец Паисий Величковский: Его жизнь, учение и влияние на православное монашество. 2-е изд. Paris, 1988.

См.: Сафонов М. М. Проблема реформ в
правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв. Глава 1.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 17 т. М.; Л., 1937–1959. Т. 12. С. 335. Фраза, выделенная курсивом, в оригинале дана по-французски. Далее все цитаты из Пушкина — по этому изданию.

Не с этим ли эсхатологическим проектом было связано предложение, переданное Павлом папе римскому через короля обеих Сицилии Фердинанда IV?

«13 декабря 1800 года, С.-Петербург.

Мой брат и кузен! Современное положение дел в Италии, угрожающее принять с каждым днем все большие и большие размеры, и увеличивающиеся опасения святейшего отца, чтобы новое вторжение французов в пределы церковной области не заставило его искать себе безопасное прибежище в другой стране, побуждает меня предложить его святейшеству, если бы он увидел необходимость покинуть Италию, поселиться в моих католических владениях...» (Русская Старина. 1898. № 4. С. 159).

Ср. противоположную точку зрения: Эйдельман Н. Я.
«Не ему их судить...» // Он же. Из потаенной истории
России...

Сафонов М. М. Проблема реформ в
правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв. С. 47.

Здесь и далее цит. по: Между троном и страстью: Об истории любви Александра III к княжне Мещерской / Публ. А. Барковец // Вечерняя Москва. 1994, 5 октября.

Волгин И. Л. *Метаморфозы власти: Покушения на российский трон в XVIII-XIX вв.* М., 1994. С. 215.

Тютчев Ф. И. Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1984. С. 242.

Другое дело, что сам кружок, видимо, делал ставку на Александра.

Здесь и далее мы без дополнительных сносок реферируем соответствующие страницы книги: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 184–340.

Традиционно исследователи ссылаются на К. Валишевского, работавшего в британском Record Office (Валишевский К. Сын Великой Екатерины: Император Павел I, его жизнь, царствование и смерть (1754–1801). СПб., 1914. С. 554). Правда, никто больше этих документов не видел. Ср. также: Александренко В. Павел I и англичане (Извлечение из донесений Витворта) // Русская Старина. 1898. № 10.

См.: Сафонов М. М. Проблема реформ в
правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв. Введение.

Шильдер. Т. 2. С. 29.

Впрочем, по версии самого Трощинского, которой доверять не обязательно, он составил Манифест без участия наследника, а тот — потрясенный известием о гибели отца — механически подписал.

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России / Под общ. ред. С. С. Дмитриева. М., 1987. С. 204.

Цит. по: Сафонов М. М. Проблема реформ в
правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв. С. 163.

Вестник Европы. 1815. Ч. 6. № 23.

Так в донесении Талейрану аттестовал Державина за его «законническое» рвение один из французских агентов. См.: Шильдер. Т. 2. С. 286.

Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1981. С. 30-31.

Державин Г. Р. Сочинения: В 9 т. / Изд. подг. Я. Грот.
СПб., 1864-1883.2.0.574.

Державин Г. Р. Избранная проза / Изд. подг.
П. Г. Паламарчук. М., 1984.С. 25.

Именно с такой просьбой обратился некогда к Павлу поручик Иван Биретов. См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 87.

Цит. по: Успенский Б. А. Царь и Бог. С. 149.

Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. // Русская Старина. 1898. № 2.

Заболоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1.С. 28-29.

Погодин. Ч. 1.С. 359.

А в предлагаемой книге речь о нем идет только как о политическом мыслителе — вопрос о Карамзине как гениальном писателе на бытовые, нравственные, фантастические и исторические темы вообще не затрагивается.

Так, некоему О. Пржцеславскому было поручено разобраться в одном юридическом вопросе, и он лишь чудом разыскал «почтенного старца, посевшего в трудах «хождения по делам»». Старец посоветовал обратиться к древнему Уставу камер-коллегии. «После безуспешных поисков во всех книжных лавках... в одном из углов» на складах Сенатской лавки «под кипами печатного хлама найдена наконец целая связка давно заброшенной брошюры...» (Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. // Русская Старина. 1899. № 4. С. 54).

Погодин. Ч. 1. С. 359.

См. подробнее: Мироненко С. В. Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.

100

Михайловский-Данилевский. С. 628.

См.: Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в.

Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 191.

Николай Михайлович, великий князь. Граф Павел Александрович Строганов. Т. 1.С. 126-127.

См.: Сафонов М. М. Проблема реформ в
правительственной политике России на рубеже XVIII и
XIX вв.

Цит. по: Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990. С. 177.

Там же. С. 196.

Выражение Н. М. Карамзина.

См.: Николай Михайлович, великий князь. Граф Павел Александрович Строганов. Т. 1.С. 121. Ср. также: он же. Император Александр I: Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Как здесь верно отмечено, у Александра в его начальную пору была привычка, крайне раздражавшая русских послов, отправлять к европейским монархам посланников со специальными поручениями. Так, для урегулирования вопроса об обмене пленными после Аустерлица в Париж был послан немец Убри, который «под гипнозом величия и мощи Наполеона» 8/20 июня 1806 года самовольно подписал «форменный мирный договор с Францией», который невозможно было ратифицировать в силу его полного расхождения с интересами России, а не ратифицировать значило встать на грань новой войны с Францией (там же. С. 50-51).

Цит. по: Пресняков А. Е. Российские самодержцы. С. 196.

Жуковский В. А. Соч. в 3 т. М., 1980. Т. 1. С. 126.

См.: Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I. Т. 1. Религиозные движения при Александре I / Предисл. и примеч. Н. К. Пиксанова. Пг., 1916.

Шильдер. Т. 2. С. 176.

Николай Михайлович, великий князь. Император Александр I. С. 57.

Слухи эти впоследствии соьют с толку даже аккуратнейшего архивиста П. И. Бартенева. См.: Император Александр Павлович. Проект письма к Московскому главнокомандующему Т. И. Тутолмину по поводу мира с Францией [Публ. и примеч. П. И. Бартенева] // Русский Архив. 1908. № 7. С. 52.

См. комментарий по этому поводу: Шильдер. Т. 2. С. 208.

«...Эти строки будут вашими и моими судьями на суде Верховного Существа...

Императора России завлекли на это свидание именно для того, чтобы проливать кровь... для того, чтобы погубить, уронить его в общественном мнении и подорвать всякое доверие к его характеру...

...Ради Бога, Александр, уклонитесь от этого свидания; уважение народа утрачивается легко, но не столь же легко завоевывается обратно. Вы потеряете его через это свидание, и вы потеряете вашу империю и вашу семью...»

На это собственноручное (подлинник по-французски) письмо императрицы Марии Феодоровны от 25 августа 1808 года император Александр I — также собственноручно и по-французски — ответил немедленно письмом, потрясающим по силе горечи и стоической самоотверженности:

«...Мечты оказались слишком пагубными для целой Европы; пора бы, чтобы они перестали руководить кабинетами и чтобы наконец сообразовали видеть вещи такими, какими оне являются в действительности, и удерживались от всяких предубеждений....

...Поступить иначе значило бы изменить своему долгу, чтобы погнаться за грустным преимуществом оказаться в согласии с этим «что скажут?»... признаюсь, мне тяжело видеть, что, в то время, когда я имею в виду лишь интересы России, чувства, руководящие моим образом действий, могут быть так превратно понимаемы.

Тысячу и тысячу раз целую ваши ручки» (Накануне Эрфуртского свидания 1808 года / Сообщ. Н. К. Шильдера // Русская Старина. 1899. Т. 98).

Шильдер. Т. 2.

Недоверие к Строганову появилось после того, как тот попытался оказать сопротивление идее «обуздания» Бонапарта; Чарторыйский 17 июня 1806 года сдал дела барону Андрею Будбергу — именно потому, что настаивал на войне с Пруссией, войне, необходимой для скорейшего восстановления Польши, но несовместимой с антифранцузскими планами России.

См.: Корф М. Жизнь графа Сперанского. В 2 т. СПб., 1861. Т. 1.

120

Оригинал погиб в 1845 году, при перевозке.

121

См.: Русская беседа. 1859. С. 476, 480.

Цит. по: Еврейские комитеты // Еврейская энциклопедия. Т. 7. СПб. Стр. 442.

Позже, из пермской ссылки, он напишет царю: «Полезнее, может быть, было бы все установления плана приуготовить вдруг, открыть единовременно: тогда они явились бы все в своем размере и стройности и не произвели бы никакого в делах смешения, но Ваше Величество признали лучшим терпеть, на время, укоризну некоторого смешения, нежели все вдруг переменить, основавшись на одной теории. Сколько предусмотрение сие ни было основательно, но впоследствии оно сделалось источником ложных страхов и неправильных понятий. Не зная плана правительства, судили намерение его по отрывкам, порицали то, чего еще не знали, и, не видя точной цели и конца перемен, страшились вредных уновлений» (Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 112).

Шильдер. Т. 3. С. 2.

125

Именно так называлась должность, которую он отвел себе в плане реформ и занял в январе 1810-го.

Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания.
Записные книжки. Примечание. Стб. 282.

127

Там же.

Шильдер. Т. 2. С. 261.

Николай Михайлович, великий князь. Граф Павел Александрович Строганов. С. 592–593.

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря.

Подробнее см.: Сперанский М. М. О военных поселениях. СПб., 1825; Предтеченский А. В. Брошюра М. М. Сперанского «О военных поселениях» // Исследования по отечественному источниковедению: Сб. статей. М.; Л., 1964; Богданов Л. П. Военные поселения в России. М., 1992. С. 86-88.

См: Батеньков Г. С. Граф М. М. Сперанский и граф А. А. Аракчеев // Русская Старина. 1897. Т. 92. № 10.

Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 111.

Цит. по: Надлер. Т. 1. С. 15.

Шильдер. Т. 4. С. 262.

Подробнее обо всем этом см.: Граф Аракчеев и военные поселения 1809–1831. СПб., 1871.

См.: Шильдер. Т. 4. А в стиле многих других высказываний Аракчеева звучат «упреждающие отголоски» стилистики Фомы Фомича Опискина: «... учителем моим был дьячок: мудрено ли, что я мало знаю? Мое дело исполнять волю государеву. Если бы я был моложе, то стал бы у вас учиться; теперь уже поздно» — сказано это будет Карамзину.

Карамзин не знал, что в том же заглазно обвиняют и его самого: «Он целит не менее, как в Спесы или в первые консулы, — это здесь все знают, и все слышат». Так писал новоназначенный на место попечителя Московского университета П. И. Кутузов (Погодин. Ч. 2. С. 63).

В 1810 году И. И. Дмитриев, ставший министром юстиции, предлагал государю назначить придворного историографа на свое прежнее место — министра народного просвещения; царь обдумывал возможность произвести это назначение в звании директора (по малому чину Карамзина), но Сперанский предложение отклонил и по его совету Карамзину было предложено место попечителя Московского университета, от чего тот отказался.

В системе риторических приемов эпохи восхваление екатерининских времен было не чем иным, как косвенным напоминанием Александру I о данном им в Манифесте о воцарении обещании править «по законам и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей бабки нашей» (Шильдер. Т. 2. С. 29). Причем все понимали, что дело не в Екатерине и не в ее временах, а в символизируемом ею блаженном состоянии государства; и намек на то, что государь правит не по-екатеринински, в действительности означал, что его царство — пока, во всяком случае — не «усчастливило» Россию. О других смыслах, какие вкладывал историк в ретроспективную утопию екатерининского правления, речь ниже.

Карамзин намекает на это прозрачно, даже — по тем временам — слишком. Он пишет о губительной роли «женевца» Лефорта в воспитании Петра: Лефорт «от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес». Как не услышать в имени Лефорта звукоподражательный псевдоним Лагарпа? Карамзину этого мало: он вводит в «Записку» малозначащий эпизод из александровских времен, когда в 1803 году Россия чуть ли не встала на грань войны с Францией, вручая «грозные записки Талейрану о каком-то женевском бродяге, взятом под стражу» французами. Что арестованный Кристен состоял на русской службе и находился под защитой русской короны, Карамзина не интересует, и об этом он умалчивает; ему важно скрепить параллель между Лефортом и Лагарпом железным обручем исторической аналогии. Зачем? Единственно ради того, чтобы в воздухе повис вопрос: удастся ли Александру и в лучшем повторить Петра? И чтобы в подтексте слышалось: сомнительно. Пока — сомнительно.

«Если Государство, при известном образе правления, созрело, укрепилось, обогатилось, распространилось и благоденствует, не троньте этого правления, видно, оно сродно, прилично Государству, и введение в нем другого было бы ему губительно и вредно» — запись Н. М. Карамзина в памятной книжке А. Н. Верстовского (см.: Погодин).

Византийские трактаты Агапита и легли в основу русской «монархической экклезиологии».

144

См.: Погодин. Ч. 2.

См.: Рассказы очевидцев о двенадцатом годе, собранные Т. Толычевой [Е. В. Новосильцевой]. 2-е изд. М., 1912.

Самый термин «завещание» в тексте брошюры отсутствовал и вошел в оборот, когда созданный Лезюром миф пошел гулять по страницам печати. См.: Данилова Е. Н. «Завещание» Петра Великого // Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М., 1986. С. 218-279.

147

Владислав Озеров. Отрывок из Расиновой Эсфири,
1812 год; черновой вариант.

Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т. 2. С. 45.

Там же. С. 24.

Там же. С. 13-14.

Впервые войну 1812 года назовут Отечественной в 1813 году; см.: [Ахшарумов Д. А.] Историческое описание войны 1812 года. СПб., 1813.

Патриарх — не папа, никакой особой, в сравнении с любым епископом, благодатью не «располагает», но важна будет не «мистическая реальность»; важен будет внешний эффект ее присутствия.

И в этом он полностью совпадал со своими оппонентами и пересмешниками из литературного окружения Карамзина. Недаром именно они, убежденные западники, стали самыми активными участниками процесса формирования новой национальной идеологии и породили одну из самых популярных патриотических легенд времен Отечественной войны, о русском Муции Сцеволе, отсекающем себе клейменную Наполеоном руку (Сын Отечества. 1812. № 4). По убедительному предположению историка А. А. Ильина-Томича (Кто придумал русского Сцеволу? // Родина. 1992. № 6/7), источником заметки был не реальный случай, а набросок карикатуры знаменитого гравера времен Отечественной войны Ивана Терebeneва; перед нами, так сказать, упреждающая подпись к картинке, растиражированной два месяца спустя.

См.: Шапкина А. Н. Полководец М. И. Кутузов и Бухарестский мир // Российская дипломатия в портретах. М, 1992.

Д. Дохтуров, М. Платов, братья Тучковы; особенно же П. Багратион и А. Ермолов, бывший пружиной интриги.

См.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай // Звезда. 1993. № 8. С. 144. (Отдельное изд.: М., 1996.)

Там же. С. 144.

Цит. по: Надлер. Т. 1. С. 181.

Цит. по: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай.
С. 146.

160

Там же. С. 145.

Слава Богу, тогда еще не сомневались, что народ, нация, Отечество существуют, что это не фикции, не псевдонимы, обозначающие конгломерат групп, движимых своими социальными интересами и культурными предпочтениями. Тогда верили в страну как в неслучайное единство — и по вере своей получали.

Цит. по: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай.
С. 142.

163

Там же.

См: Записки А. П. Ермолова: 1798–1826 / Изд. подг.
В. А. Федоров. М., 1991.

Генерал Багратион: Сб. документов и материалов.
Л., 1945. С. 130–138.

166

См.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай.

Любой русский полководец времен Отечественной войны должен был конструировать легенду о своем преемстве по отношению к Суворову, чтобы казаться — и быть! — «легитимным» военачальником, подобно тому, как русскому поэту желательно было начинать свой путь в большой словесности с благословения Державина. Так, считалось, что князя Петра Ивановича Багратиона, чья биография вообще до предела запутана (высказано даже сомнение, а был ли он вообще сыном князя Ивана Александровича Багратиона; см.: Ивченко Л. «Известный вам князь Багратион» // Родина. 1992. № 6/7. С. 40-41), Суворов заметил и благословил в Очаковском сражении, тогда как Суворова при штурме Очакова не было!

Задерживая «победную» реляцию о Бородинском сражении, Кутузов подгадывал, чтобы приятное сообщение было получено Александром Цавловичем точно в день его тезоименитства 30 августа, и награды оказались более значительными. Это не хорошо и не плохо; это просто поведенческая норма конца XVIII столетия. Когда Наполеон аттестовал Кутузова «старым северным лисом», он не вкладывал в свои слова негативного смысла, скорее наоборот. И когда Александр именовал князя одноглазым хитрым сатиром, он столько же порицал нелюбимого полководца, сколько и характеризовал эпоху, Кутузова породившую: эпоху пышного упадка Империи.

Исторические песни. Баллады / Изд. подг.
С. Н. Азбелев. М., 1991. С. 594.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 90 т. Т. 11. М., 1933.
С. 195.

Рассказы князя Голицына. Из записок Ю. Н. Бартенева // Русский Архив. 1886. № 3, 5, 7, 10. С. 316-317.

См.: Флоровский Г., свящ. Пути русского богословия. Paris, 1979; Толстой Ю. О духовном союзе Е. Ф. Татариновой // XIX век. Кн. 1. М, 1872.

Из воспоминаний Петра Петровича Новосильцева. 1. Эпизод из жизни принца Евгения, бывшего вице-короля италийского // Русский Архив. 1870. Незначительно отличающуюся версию легенды (в частности, здесь читаем, что св. Савва в ночном явлении 1812 года предсказал Евгению Богарне, что его потомки будут служить России) см.: Герцог Г. Лихтенбергский. Семейное предание // Русская Старина. 1914. № 3.

Впрочем, у Закревского — позже, во времена Николая I, — состоялась, однако, встреча, какой и врагу не пожелаешь. Теща генерала подарила дивеевским сестрам полоску земли; гневный вельможа вызвал к себе начальницу общинки, старицу Ксению Михайловну, закричал на нее: «Ах ты, старая развратница!», после чего та «не будучи в состоянии даже что-либо вымолвить, зашаталась и тут же упала замертво, так что долго не могли ее привести в сознание...». После этого преп. Серафим послал ученика своего Михаила Мантурова, «Мишеньку», — «не горячась и не оскорбляя, кротко объяснить всеильному графу его ошибку... и выразить ему, что он совершенно напрасно оскорбил ничем не повинную Божию старицу; затем, низко кланяясь графу, смиреннейше благодарить его за им соделываемое благодеяние этой общинке». Мантуров поручение исполнил — встретив Закревского при выходе из Саровского храма. Окончательно осерчав, генерал по возвращении домой поднял шум, результатом чего стало следствие. И не одно, а два — светское и духовное. Оба они оправдали общинку; тем самым она хоть и не получила документального подтверждения от епархии, но «как бы приобрела законное дозволение на свое существование» (Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. С. 162).

См., напр.: Дименков Д. Саровская пустынь в 1823 году (Из путевых записок) // Душеполезное чтение. 1864. Ч. 2. № 8.

См.: Записи м[итрополита] Филарета на календаре // Русский Архив. 1914. № 11/12. (То же: Филарета, митрополита Московского и Коломенского, творения. М., 1994.) Нетрудно понять, от кого Филарет получил сведения о преподобном — от о. Антония, архимандрита Троице-Сергиевой лавры, с которым он был дружен. Антония св. Серафим некогда и благословил на архимандритство. О роли в преобразении дивеевской общинки в Свято-Дивеев-ский монастырь, какую митрополит Филарет сыграл в царствование Александра II, см.: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря.

Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Изд. подг. С. В. Житомирская. М., 1988 (Серия «Литературные памятники»). С. 121.

Впрочем, кто знает: может быть, лучше такое церковное невежество, чем возбужденное вмешательство православных дам в ход монастырской жизни. Во второй половине столетия, когда смирновороссетское младенческое неведение о монашеской жизни станет немыслимым, две другие фрейлины, Тютчева и Толстая, используют свои придворные связи, чтобы самочинно, помимо преосв. Филарета, решить судьбу дивеевской общинки, что приведет к ее смуте и неисчислимым страданиям сестер.

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. С. 60.

180

Там же. С. 233.

181

Там же. С. 236.

См.: Муравьев М. Н. Соч. Т. 1. СПб., 1847. С. 71.

См. подробнее: Розанов Н. П. Предсказатель монах Авель в 1812–1826 гг. // Русская Старина. 1875. № 4. В житии указана другая дата запроса — 1 октября; очевидно, ошибочно.

Авель. С. 424.

13 марта 1845 года поэт Федор Тютчев сообщил Смирновой-Россет историю о том, как император Александр в 1814 году «должен был обратиться за советом к мадам Ленорман; она должна была в зеркале показать ему будущее. Сперва он увидел свое собственное лицо, которое сменил почти мимолетный образ его брата Константина; тот уступил место величественному и прекрасному лицу имп[ератора] Николая, которое долго оставалось устойчивым; после него он увидел что-то смутное, развалины, окровавленные трупы и дым, окутывавший все это как саваном...» (Из «Автобиографических записок» А. О. Смирновой / Публикация С. В. Житомирской // Литературное наследство: Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М, 1989. С. 12).

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. С. 258.

Там же. С. 418.

До нас дошли разные версии этого эпизода; противоречия друг другу в частности, в существенном они едины.

Позже, во время холерных бунтов 1831 года, переросших в военнопо-селенские волнения, текст псалма станут прибивать к входным дверям; во время Первой мировой войны солдаты будут вкладывать его в нагрудные ладанки как сакральный оберег.

Кстати, эта задача была выполнена Обществом блестяще: за десять лет был издан 704 831 экземпляр книг Священного Писания на 43 языках.

Цит. по: Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. 2-е изд. СПб., 1899. Ч. 1. С. 25. Заметим, что вопрос о Ветхом Завете пока не поднимался; кроме того, царь специально оговорил: «Само собою разумеется, что церковное употребление славянского текста должно остаться неприкосновенным». И когда в 1818 году Александру были представлены печатные образцы русского Евангелия, он вполне сознательно утвердил тот, где славянский и русский тексты печатались параллельно, в два столбца, словно дополняя друг друга.

См.: Шильдер. Т. 4. С. 114.

Переводы были поручены: Евангелия от Матфея — гебраисту о. Герасиму Павскому; от Марка — архимандриту Поликарпу, от Луки — архимандриту Моисею; Евангелие от Иоанна переводил сам Филарет.

К чтению Ветхого Завета на «живых» языках и без комментариев папы тогдашний католический мир относился с подозрением; в 1816 году папа вообще запретил «рядовым» католикам чтение польской Библии, изданной Библейским обществом; в 1824-м запрет был подтвержден Львом XIII.

См. речь Р. Ватсона на 13-м годовом собрании
Великобританского библейского общества: Русский
Архив. 1868. С. 1382.

19 ноября 1819 года один из светских начальников над религиозными делами, славный камергер Александр Иванович Тургенев — по чьему совету маленького Пушкина определили в Лицей (в 1837 году он будет сопровождать тело поэта в Святогорский монастырь) — откровенно напишет князю Петру Андреевичу Вяземскому:

«...Библейские общества в России... будут иметь отдаленные действия на Церковь, а вместе с тем и на Государство, если не противопоставится а се protestantisme en action оплот, который бы, не удерживая в границах мыслящей силы, возбужденной или, лучше, пробужденной в народе чтением поэтов, историков и законодателей в одной книге, привел бы в порядок и в возможную ясность то, что способно к принятию порядка и ясности, а остальное поручил бы вере, без которой не обойдешься (sic!). ...стоит только со вниманием прочесть историю первых лет Реформации, чтобы увидеть ясно, что более всего способствовало первым успехам ее. Народное чтение Библии более утвердит оную, нежели все насмешки и сильные нападения на папское владычество...»

Здесь, между прочим, Шишков противоречит сам себе: что бы он сказал об этих самых архиереях, если бы они вздумали учинить совместное богослужение с методистами?

Письмо Шишкова императору Александру I //
Русская Старина. 1894. № 10.

Жаль, что адмирал не был знаком с цитированным письмом А. И. Тургенева — как бы он удивился, узнав, что библеисты тоже считают это мнение «мечтательным»! Ср.: «Библейские общества сливают религии. В смысле всеобщего филантропизма эта мысль обольстительна; но в смысле государственном она вредна и допущена быть не может. Вот для чего нужны катехизисы, то есть положительные догматы, которые бы удерживали библейскую беспредельность. Хороших у нас еще нет, но и везде были они поздним явлением. Оттого стражи церкви запрещали вход в Библию без провожатых, то есть без комментариев и без проповедников. Но мы не посоветовались с опытностью веков и народов: поспешили печатать, ибо Библию нужно было только перепечатать, а катехизис написать». См.: Остафьевский архив. Т. 1. С. 355.

«Истинный ты русский вождь и барин», — обращался к Ростопчину Багратион. См.: Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815). СПб., 1882. С. 108.

201

См. блистательную работу: Тартаковский А. Г.
Обманутый Герострат. Ростопчин и пожар Москвы // Родина. 1992. № 6/7.

Русский перевод: Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823. См. также: Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф. В. Ростопчина / Перевод с французской рукописи И. И. Ореуса // Русская Старина. 1889. Т. 64. № 12.

Свидетельство адъютанта графа, Василия Обрескова, цит. по: Свербеев Д. Заметка о смерти Верещагина // Русский Архив. 1870. Т. 8.

См.: Коленкур Арман де. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. Смоленск, 1991. С. 120.

Филарета, митрополита Московского и Коломенского, творения. С. 316.

См.: Витберг А. Л. Записки... // Русская Старина.
1872. Т. 5, 6.

См.: Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. СПб., 1883.

Там же. С. 154-155.

Во время первой встречи с Александром пожилой полупарализованный король, сидя в креслах, предложит своему царственному избавителю стул.

210

Шильдер. Т. 3. С. 240.

См.: Надлер. Хотя сам Штейн пруссаком не был; его лишь воодушевляла идея объединения Германии вокруг прусского центра.

Сразу после окончательной победы патриотический граф Ростопчин был назначен заседать в Государственный совет, что было знаком вежливого удаления.

Здесь Талейран «поступался принципами» и послушно оформлял позицию Бурбонов, лично ему совершенно чуждую и опасную с любой, в том числе чисто прагматической, точки зрения. Сам князь Беневентский прекрасно понимал, что Людовик XVIII садится не на трон Людовика XVI, а на трон Наполеона; что отказ признать де-юре революционные перемены, произошедшие де-факто, грозит в ближайшем будущем социальным взрывом. Недаром он уговаривал Бурбонов признать трехцветное знамя и въехать в Париж без белых кокард. Резкий отказ Карла Д'Артуа подтверждал александровский отзыв о династии в целом: не исправилась и не исправима.

Шильдер. Т. 3. С. 256.

215

Там же.

216

Там же. Т. 3. С. 274.

Так называл ее неласковый архимандрит Фотий: «женщина зловерия лжехристианского... начиная с первых столбовых боляр, жены, мужи, девицы спешили, как оракула некоего древнего, послушать женку Криднер» (Автобиография архимандрита... Фотия... // Русская Старина. 1894. № 1-12; 1895, № 1-10; 1896. № 1-12).

См: Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I. Т. 1.

219

Там же. С. 325.

220

Там же.

221

Подробнее см.: Надлер.

О лицейском проекте подробнее см.: Грот
К. Я. Пушкинский лицей. (1811-1817). СПб., 1911.

223

См.: Сын Отечества. 1813. № 11.

Там же. С. 241-243.

Ср.: Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина; Стихи Пушкина о деве-статуе, вакханке и смиреннице // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 145-197.

Идеально — не значит хорошо; идеально — значит, в полном отрыве от практической реальности, бесцельно. Один из немногих лицеистов первого выпуска, сделавший политическую карьеру и потому кое-что в воспитании будущих государственных деятелей понимавший, Модест Корф, как известно, был предельно суров в оценке лицейского проекта: «Нас — по крайней мере в последние три года — надлежало специально приготовить к будущему нашему назначению, а вместо того до самого конца продолжался какой-то общий курс, полугимназический и полууниверситетский, обо всем на свете... Лицей... вопреки мнению Сперанского, смею думать... был заведением, не соответствующим ни своей особенной, ни вообще какой-нибудь цели» (Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 2-е изд. СПб., 1899. С. 225).

Счастливое выражение А. Л. Зорина.

Цит. по: Ходасевич В. Ф. Тайна императора Александра I // Возрождение, 15 августа 1938. (Перепечатано: Юность. 1994. № 1.)

Цит. по: Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. М., 1994. С. 23.

230

Погодин. Ч. 2. С. 32.

Великое лингвистическое реформаторство Карамзина и было превращенной формой его историософского консерватизма. По существу, с помощью реформы языка он собирался довершить преобразования Петра Великого; причем, как заметил Ю. М. Лотман, «роль главного преобразователя Карамзин отводил себе... предположение, что свою деятельность он соизмерял с петровской, не покажется преувеличением...» {Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 229).

Проект указа переделывался четырежды, противоречия в нем устранить так и не удалось: то ли Сперанского прощали и давали возможность исправиться, то ли по зрелом исследовании не нашли в его действиях состава преступления.

5 августа новгородский губернатор Муравьев получит указ — расположить Второй батальон гренадерского, графа Аракчеева, полка Новгородского уезда в Высоцкой волости, на реке Волхове, изъяв волость из зависимости земской полиции, передав ее в ведение батальонного командира и зачислив местное население в военные поселяне со званием «коренных жителей».

Пытаясь обойти жесткие условия Тильзитского мира, по которому прусская армия была ограничена числом 40 тысяч строевых солдат, генерал Шарнгорст нашел способ обойти эту квоту, не нарушая ее. После трех лет службы в регулярных войсках солдат попадал в ландвер первого порядка: несколько недель в году сборы, остальное время полевые общественные работы. Через пять лет — ландвер второго порядка. Две недели в году — военно-полевая жизнь, пятьдесят — просто полевая. К 35 годам солдат выходил в отставку, сохраняя боевую выправку на случай войны и крестьянские навыки на случай мира (второе было менее вероятно, чем первое). Великий Ordnung, бессмертный порядок торжествовал над неупорядоченностью бытия. «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...»

См.: [Граф Аракчеев.] Записка о разных предположениях по предмету освобождения крестьян // XIX век. Кн. 2. М., 1872.

Здесь и далее лит. по: Дубровин Н. Ф. После Отечественной войны (из русской жизни в начале XIX века) // Русская Старина. 1904. № 4. С. 6-13.

Цит. по: Гершензон М. О. История молодой России.
М; Л., 1923. С. 28.

См.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 152–153.

239

Шильдер. Т. 4. С. 149.

Тарасов Е. Д. Николай Иванович Тургенев в Александровскую эпоху. Очерк по истории либерального движения в России. Самара, 1923. С. 227.

Шебунин А. Н. Николай Иванович Тургенев. М., [1925]. С. 86.

242

Там же. С. 58, 68.

243

Погодин. Ч. 2. С. 237-238.

См.: Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. / Изд. подг. Е. Курганов и Н. Охотин. М., 1990.

«Блудящим огнем» (так в XIX веке произносили слово «блуждающий») Александр I называл мистически настроенную княжну Мещерскую.

246

Сын Отечества. 1825. С. 218-219.

Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I. Т. 1. С. 145. Попутно заметим, что мысль о философии как источнике «интеллектуального развращения» впервые открыто высказана Магницким именно здесь, а не в журнале «Радуга» (1832). Ср.: Чернов А. В. Магницкий // Русские писатели. 1800–1917. Т. 3. М., 1994. С. 449.

И ему, в свою очередь, проще было найти общий язык с настоящими шаманами и алеутами, чем с диким племенем просвещенных аристократов. (Имеется в виду евангельский язык, не алеутский.)

Лесков Н. С. Случай у Спаса в Наливках // Собр. соч. В 12 т. Т. 6. М., 1989. С. 553–558.

250

Там же.

См.: [Записка о мистической словесности] // Николай Михайлович, великий князь. Переписка Императора Александра I с сестрой Великой княгиней Екатериной Павловной. СПб., 1910. С. 286–290.

Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 76.

В том числе и по отношению к библейским обществам; ср. в письме тому же Тургеневу от начала ноября 1819 года: «...Я ручаюсь, что в городах изо ста простолюдинов вряд ли у одного сыщется Библия, а в деревнях о ней и слуха нет. Оне все разошлись по барам, которые держат Библию у себя в доме, как вельможи Александра держали шею на стороне. Вот и вся тут недолга» (Остафьевский архив кн. Вяземских. Т. 1. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1812-1819 / Под ред. и с примеч. В. И. Саитова. СПб., 1899. С. 346-347).

См.: Остафьевский архив кн. Вяземских. Т. 1. С. 45, 255; Т. 2. Переписка кн. П. А. Вяземского... 1820-1823. СПб., 1899. С. 18, 19, 20, 25.

255

Там же.

В его записях на календаре, где мы постоянно находим цитаты из Адама Рихтера, его «Магнетических снов» (Annales de la societe Harmonique. Т. III, 1789), а также читаем выписки, выдающие то тревожное предчувствие близкого конца, то утонченные ожидания Тысячелетнего Царства: «[без года] 6/18. Воскресенье Преподобного Вукола Смирнского.

Глаголется же, яко по седмех тысящах лет пришествие Его будет. Синакс. в н. мясопуст. Там же о Антихристе». Или: «13/25. Воск. Преп. Мартиниана. Златоуст сугубу некую силу древу оному имети глаголет: и на земли глаголет раю быти, и умну ему и чувственну любо премудрствует, яко же бе Адам и оба посреде тли и нетления, вкупе и писание соблюдая, и ниже паки пребываяй при письмени. Синакс. в н. сыропустн.» (Записи м[итрополита] Филарета на календаре //Русский Архив. 1914. № 11/12. С. 301).

Такова была сознательно выбранная им линия поведения. Именно потому в одном случае он буквально отбивал у цензуры оду Гаврилы Державина «Христос»; в другом — сам жаловался в цензурный комитет на Пушкина, за его непочтительный стих в «Евгении Онегине» про галок, севших на кресты; в третьем — просто переписывал наивными стихами пушкинский атеистический шедевр «Дар напрасный, дар случайный» и печатал в журнале для всеобщего ознакомления:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана...

Не в том было дело, что московский архипастырь год от года становился консервативнее или, наоборот, либеральнее; но в том, что стих из «Онегина» расценивал он как поэтическое хулиганство — и поступал с автором как с хулиганом, а в мятущихся строках «Дара напрасного» — угадывал затаенную жажду веры и на нее — откликался.

Пушкин, в свою очередь, поймет и примет адресованный ему пастырский жест; в 1830 году напишет он послание, в рукописи названное «Филарету»:

...Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

С помощью смены стилистических обертонов Пушкин подпустит легчайшую иронию. Слишком велик зазор между реальным уровнем Филаретовых виршей — и пушкинской формулой, их характеризующей: арфа серафима, священный ужас... Но этот полузаметный отсвет иронии не затронет существа дела, не поставит под сомнение искренность пушкинского отклика. В то самое время, когда «прилично» было посвящать стихи вельможе, полководцу, даже царю — и непросвещенно, дико — попу; когда в проповеди уместно было взывать к душе садовника, сановника, самодержца, опускаться же до объяснений с неблагонадежным литератором и свободолобцем как-то не полагалось, как не полагалось и публично объясняться с непросвещенным «долгополым» сословием, — в эту самую эпоху лучший русский поэт и один из лучших русских пастырей, не изменяя себе, сделают шаг навстречу друг другу...

Шильдер. Т. 4. С. 185-186.

259

Там же.

Николай Михайлович, великий князь. Император Александр I. С. 250. (Тут же не в меру либеральный великий князь делает весьма оригинальное примечание: «Ссылки на Библию, на Апокалипсис, на Послания апостола Павла к римлянам поражают, как плод болезненного мечтания нравственно расстроенного человека».)

В частности, один из самых умных, самых жестких, самых политичных русских заговорщиков, Пестель. См.: Лебедев Я. М. Пестель — идеолог и руководитель декабристов. М., 1972.

Жмакин В., свящ. Погребение константинопольского патриарха Григория V в Одессе // Русская Старина. 1894. № 12. С. 204-205.

Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I. С. 359.

Ср., впрочем: К[арнович Е.] Фотина Павловна // Русский Архив. 1870. Стб. 893-900.

Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, цит. по:
Автобиография архимандрита Фотия // Русская Старина.
1894. № 1-12; 1895. № 1-10; 1896. № 1-12.

266

Там же.

Остается надеяться, что записывавший за Фотием его «Автобиографию» о. В. Орнатский что-то перепутал.

Вопреки Пушкину, отнюдь не эротическим огнем, но хуже, гораздо хуже, чем эротическим!

Цит. по: Карнович Е. П. Архимандрит Фотий, настоятель Юрьева монастыря. 1798–1838 // Русская Старина. 1875. № 7, 8. С. 310.

В письме к Орловой-Чесменской экзальтированный министр восклицал: «Назидательный разговор Фотия имел такую силу, которую един Господь дать может» (там же).

Здесь и далее цит. по: о. Феодосии Левицкий.
Описание духовных подвигов и всех случаев жизни
свящ. Левицкого... // Русская Старина. 1880. № 9,11.

Подробнее см.: Давыдов М. Оппозиция Его Величества. М., 1995; Экштут С. А. В поиске исторической альтернативы. Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994.

В позднейших записках о. Феодосия об этих двух читаем: «...примечательно то, что они оба безженны, и посреде самой наружной царской пышности, роскоши богатства и великолепия, внутренне, чудною благодатию Христовою, ведут жизнь чистую духовную, в дивной кротости душевной и всегдашнем благоговении находясь пред Богом» (о. Феодосии Левицкий. Описание духовных подвигов и всех случаев жизни свящ. Левицкого... С. 145).

274

Там же. С. 141.

В отличие от о. Фотия, о. Феодосия не пришлось долго уговаривать. Во-первых, потому что был он куда добродушнее и мягче, во-вторых, не смел забыть, что «перед лицом Царского Величества... трепещет всякий подвластный ему человек и теряет даже некоторое время во всех своих чувствах» (там же).

Чтобы понять весь ужас происходящего в этой сцене, нужно помнить: в греческом мифе именно Филемон и Бавкида, в награду за то, что — в отличие от односельчан — впустили в свою хижину переодетого Зевса, избегают затопления. Мало того, они достигают счастливого долголетия и вместо смерти превращаются в вечнозеленые деревья...

См. в «Автобиографии» о. Фотия: Русская Старина. 1895. № 2. С. 196.

См. свидетельство Н. И. Греча (Русский Архив. 1868. Стб. 1403–1412); ср. предположение А. Н. Пыпина о том, что выкраден был и один готовый экземпляр книги (Русская Старина. 1868. № 11. С. 266). Никто из участников придворной смуты в позднейших мемуарах не называет имени Аракчеева как тайного организатора, только как александровского «порученца»; но случай с краденной корректурой указывает, из какого укрывища посылались тогда боевые приказы.

Цит. по: Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. С. 75.

Кажется, дело не только в надежде, что сквозь инвективы в адрес цареубийцы Александр услышит тайную, произнесенную, безмолвно звучащую оду Дому Романовых (которых устами своего предка Григория Пушкина поэт аттестует — «Отечества надежда»), сумевшему вывести Россию из ужасов безначалия. И не только в том, что Романовы и Годуновы — это два извечно враждующих и конкурирующих рода, и очернить один — все равно что возвеличить другой; главная причина социальных упований русского поэта была иной; имя ей — Карамзин. Ход пушкинской мысли — если мы верно ее понимаем — был приблизительно таков. Если историограф по-прежнему принят при дворе и даже еще более обласкан после марта 1824-го, когда вышли в свет 10-й и 11-й тома его великого труда, — как раз и повествующие о временах Годунова; больше того, представляющие легенду об участии царя Бориса в убиении царевича Димитрия несомненным фактом, — стало быть, версия эта «официально одобрена». А сверхсовременный подтекст новоизданных томов («В них трепет жизни, как будто это газета, только вчера вышедшая в свет») признан несуществующим, прочтению не подлежащим. Потому-то Пушкин, ясно сознавая «психологический параллелизм» избранного им сюжета, хватался за спасительную соломинку: «пусть трагедия искупит меня» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 149).

У Пушкина Николку мальчишка щелкает по железной шапке и восклицает: «Эк она звонит!» Кажется, великий поэт заблуждался. Железные колпаки юродивых при ударе могли только глухо звучать, поскольку сделаны были отнюдь не из жести; от их непереносимой тяжести подчас лопались глаза; так что носили их не только из презрения к обычаям мира, но и для настоящего физического страдания.

282

Цит. по: Шильдер. Т. 4. С. 359.

Цит. по: Исповедь Шервуда-Верного [Предисловие Н. К. Шильдера] // Исторический Вестник. 1896. Т. 63. № 1. С. 68.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 6 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1947. С. 274.

285

Корф М. Жизнь графа Сперанского. Т. 1.

286

Там же. С. 73.

287

Там же. С. 76.

Пушкин А. С. Медный всадник / Изд. подг. Н. В. Измайлов. Л., 1978. (Серия «Литературные памятники»). С. 22-23.

Булгарин Ф. В. Поездка в Грузино в 1824 году (Из воспоминаний) // Новоселье. Ч. 3. СПб., 1846. С. 205.

Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. [Часть]
9 // Русская Старина. 1900. № 9. С. 470.

291

Шильдер. Т. 1.С. 241.

292

Там же.

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. С. 379.

294

Шильдер. Т. 4. С. 262.

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. С. 126.

296

Там же. С. 134.

297

Там же. С. 130.

Там же. С. 215.

Рассказы бывших военных поселян о графе
Аракчееве // Русская Старина. 1887. № 8. С. 419.

300

Там же. С. 420.

301

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. С. 33.

См.: Кизеветтер А. Император Александр I и Аракчеев // Кизеветтер А. Исторические силуэты: Люди и события. Б., 1931. С. 313.

Мироненко С. В. Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М. 1989. С. 84-85.

304

Там же. С. 95.

305

Шильдер. Т. 4. С. 204.

306

Шильдер. Т. 3. С. 112.

307

Шуазель-Гуффье. С. 110.

Шильдер. Т. 4. С. 75. (Цитируется запись
А. Михайловского-Данилевского.)

Запись великой княгини Александры Федоровны
цит. по: Шильдер. Т. 4. С. 75. См. также:
Богданович М. И. История царствования императора
Александра I и Россия в его время. Т. 6. С. 352.

Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. 2. М. 1971. С. 115.

Барятинский В. Царственный мистик. СПб., 1913. С. 71.

312

Шильдер. Т. 4. С. 448.

В «Восшествии на престол императора Николая I» М. А. Корфа, основанном на собственноручных записях Николая, добавлено: в разговоре 1819 года Александр утешал брата тем, что оставляет ему царство «в законном течении и устройстве».

Карамзин Н. М. Записка «О Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях» / Подг. текста и коммент. А. Ю. Сегеня; вступ. ст. Ю. М. Лотмана // Литературная учеба. 1988. № 4.

Исповедь Шервуда, где изложено содержание беседы с императором, подтверждает это (см.: Исповедь Шервуда-Верного. С. 76-77).

Оболенский Е. П. Воспоминание о Кондратии Федоровиче Рылееве // Мемуары декабристов: Северное общество / Изд. подг. В. А. Федоров. М., 1981. С. 88.

Декабристы: Биографический справочник / Изд. подг. С. В. Мироненко. Л., 1988. С. 281.

318

Авель. С. 414-435.

Из «Автобиографических записок» А. О. Смирновой. С. 477. В цитируемом источнике рассказ Ф. И. Тютчева приведен во французском оригинале; мы даем перевод публикатора.

После того как в июне 1813-го Авель прибыл в Петербург, он был отправлен в многомесячное паломничество — в награду за точность предоставленных провиденциальных сведений (а заодно — чтобы удалить, не ссылая).

Хотя традиционно считается, что причиной стала фраза, произнесенная Авелем при воцарении Николая I: «Змей проживет тридцать лет» (Давыдов Д. Сочинения. М., 1962. С. 482). На стиль Авелевых прорицаний это абсолютно не похоже (Авель предсказывал дату кончины, а не срок жизни; эмоциональных оценок он вообще избегал). Кроме того, «звание» Змея в лексиконе эпохи было твердо закреплено за Аракчеевым; так что скорее всего перед нами яркий пример информационной «накладки».

См.: Свербеев Д. Н. Об отношении Александра Павловича к католичеству//Русский Архив. 1870. Т. 8. Стб. 1811-1818.

323

Шильдер. Т. 4. С. 350.

Исторический сборник Вольной русской типографии
в Лондоне А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. 2. С. 114.

325

Шильдер. Т. 4. С. 351.

Военно-поселенский бунт был здесь не так давно подавлен, зачинщики выявлены, так что можно было рассчитывать на покорную верность «вычищенных» войск.

327

Свиньин П. П. Картины России. Ч. 1. СПб., 1839. С. 350.

328

Там же. С. 354.

329

Там же. С. 346.

См.: Воспоминания Николая Игнатъевича Шенига // Русский Архив. 1880. № 11-12; 1881. № 1.

Цит. по: Василич Г. Император Александр I старец
Феодор Кузьмич. М., 1911. С. 30.

Николай Михайлович, великий князь. Император Александр I: Опыт исторического исследования. С. 566.

Как служили они оправдательным документом перед лицом общественного мнения при повторном тиснении двумя книжечками, без указания места и даты выпуска. Документом, настолько для Аракчеева важным, что он даже не счел нужным испросить разрешение Николая I на публикацию монарших автографов — зная, что согласия не будет, и предпочитая неизбежный гнев царя ропоту неосведомленных современников и потомков.

Николай Михайлович, великий князь. Император Александр I: Опыт исторического исследования. С. 334.

Возможно, в конверте хранились слова стихотворной молитвы, которую приводит в своих письмах из Таганрога Ф. И. Мартос: «Ты, Господи, путь мой направишь и от гибели меня весьма избавишь, спасешь создание Свое» (Последние дни жизни императора Александра I [Письма Ф. И. Мартоса И. Р. Мартосу из Таганрога] // Исторический вестник. 1869. № 2. С. 494.

336

Имя св. Иоасафа приводится здесь в том написании, которое принято виршевой поэзией.

Г[олембиевский] А. Феодор Козьмич // Русский биографический словарь. Т. 25. СПб., 1913. С. 301.

338

Не родовое ли древо имеется в виду?

Здесь и далее высказывания Феодора Козьмича, дошедшие до нас в воспоминаниях современников (то есть заведомо приблизительно воспроизведенные) с сохранением разницы в написании имени старца цит. по: а) Василич Г. Император Александр I старец Феодор Кузьмич; б) Г[олебмиевский] А. Феодор Козьмич. Компилятивную сводку данных о старце, достаточно точно воспроизводящую сведения разрозненных журнальных публикаций 1880-1900-х годов, см.: Два монарха. М, 1991.

В истории русского благочестия новейшего времени имеются такие — исключительные — случаи уклонения от зримого участия в литургической жизни Церкви без действительного отрыва от нее. Были затворники, которые по особому благословию или призванию свыше (никогда — самочинно) удалялись в многолетний, если не пожизненный, подвиг молчаливости. Были юродивые, добровольно (а точнее, с полным забвением своей воли — и злой, и доброй) надолго лишавшие себя этой высшей для православного человека духовной радости.

Случалось, наконец, что больных монастырских праведников, забытых неправедными, но здоровыми братьями, окормляли ангелы. Ср. слова преп. Серафима Саровского: «Бывает иногда и так... другой хочет приобщиться, но почему-нибудь не исполнится его желание совершенно от него независимо. Такой невидимым образом сподобляется причастия чрез Ангела Божия» (Рошко В., прот. Преп. Серафим: Саров и Дивеево: Исследования и материалы. М., 1994. С. 60). Но все это исключения, а не правило. Потому священноначалие должно (обязано!) было настороженно относиться к такому «переложению» мистических обязанностей с церкви земной на силы небесные и каждый раз тщательно проверять — чудо это или наваждение. Потому епископ Томский Парфений, прослышав о том, что почитаемый в народе Феодор Козьмич ни разу не приобщился, а на уговоры священства дерзко отвечает: «Господь удостоил меня принимать эту пищу», лично явился на заимку Хромова. И если преосвященный ошибся поначалу, если воспринял твердый отказ старца подчиниться

иерархической воле («я каждый день вкушаю хлеба небесного») как верный признак того, что Феодор Козьмич «едва ли не находится в прелести», — то и в этой ошибке заключена своеобразная правда. Лучше недооценить святость праведника, чем упустить грех грешника. Тем более что епископ Парфений оказался достаточно чутким иерархом и позже признал свою неправоту — после того, как во сне ему явился св. Иннокентий Иркутский чудотворец, чтобы приобщить их со старцем из одной чаши.

О «феномене» старчества см.: Экземплярский В. И. Старчество // Дар ученичества: Сборник. М., 1993. Об истории русского старчества конца XVIII — начала XIX века см.: Прот. Сергей Четвериков. Молдавский старец Паисий Величковский, его жизнь, учение и влияние на православное монашество. 2-е изд. Paris, YMCA-PRESS, 1988.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 60.

Попутно заметим: вопреки мнению С. С. Аверинцева, предание о старце возникло «посреди цивилизованного XIX столетия» совсем не потому, что «нельзя же было примириться с мыслью, что Александр I, прикосновенный к убийству своего царственного отца, так и умер императором». Легенда исходит из той среды, которая достоверно не знала об убийстве Павла I, а о слухах начала века давно забыла. Но распространялась она «в широких дворянских кругах» действительно по причине, описанной в статье: Аверинцев С. С. Византия и Русь: Два типа духовности. Статья первая // Новый мир. 1988. № 7. С. 220.

Больше того, он спутал социальные роли старца и странника. Между тем «старчество» и «странничество» — совершенно разные (чтобы не сказать противоположные) типы религиозного поведения. Старец малоподвижен, он как бы приковывает себя к определенному пространству, чтобы погружаться духом в невидимое царство молитвы, упокоиваться в нем. Странник, напротив, бежит от греха; его молитва, как домик улитки, всегда с ним. Первому никак невозможно странствовать, второму никак невозможно сидеть на месте.

Обратим внимание на то, что, во-первых, речь идет о фотографии, сделанной с литографии, — Феодор Козьмич никогда не фотографировался; во-вторых, что «узнавание» происходит по четкой схеме: пока человек не знает, кто перед ним, он не припоминает сходства, но, получив подсказку, тут же «узнает» царя.

См., например: Долгорукий В. Отшельник Александр (Феодор) в Сибири//Русская Старина. 1887. № 10; Мельницкий М. Ф. Старец Феодор Козьмич // Русская Старина. 1892. № 1. с. 81-108. Из «послетолстовских» публикаций ср.: Голембиевский А. Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Феодора Козьмича // Русский Архив. 1908; Кизеветтер А. А. Александр I и старец Феодор Кузьмич // Русские Ведомости. 1912. № 299; [Изложение доклада Вергуна] // Записки русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Кн. 1 (указано А. Л. Топорковым).

Барятинский В. Царственный мистик; Кудряшов К. В. Александр I и тайна Федора Козмича. Пг., 1923. Здесь и далее все цитаты по этим изданиям.

В другом переводе с французского загадочности явно меньше: «...мы прибыли в Таганрог, где заканчивается первая часть путешествия; погода переменчивая. Finis» (Русская Старина. 1892. № 1. С. 71).

Письмо к Г. И. Вилламову от 7 декабря 1825 г. См.: Шильдер. Т. 4. С. 441-442.

350

См.: Валоттон А. Александр I / Пер. с фр. М., 1991.

351

Дочь Франца, напомним, была женою поверженного Наполеона.

См.: Эйдельман Я. Я. «Не ему их судить...» // Он же.
Из потаенной истории России...

Paleologue M. Alexandre I. Un tsar enigmatique. Paris, 1937; Griinwald C de. Alexandre 1-er, le tsar mystique. Paris, 1955. См. также: Валоттон А. Александр I. С. 330-331.

Николай Михайлович, великий князь. Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Козьмича. СПб., 1907.

355

См. подробнее: Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. С. 150-151.

356

См.: Лотман Ю. М. Идейная структура поэмы Пушкина «Анджело» // Собр. соч. В 3 т. Т. 2. Таллин, 1992.

Что, между прочим, доказывают исторические прецеденты; вспомним хотя бы демарш Ивана Грозного, удалившегося в Александровскую слободу именно для того, чтобы вернуться в столицу еще более сильным и еще менее зависящим от бояр.

По необходимости краткое и ясное сопоставление западного, византийского и русского типов отношения к проблеме «Священной Державы», а значит, к фигуре самодержца и природе его власти, см.: Аверинцев С. С. Византия и Русь: Два типа духовности. Статья первая.

359

См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. С. 86.

См., например: Барсов Е. В. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство... М., 1883; Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг., 1916; Попов К. Д. Юрьевский архимандрит Фотий и его церковно-общественная деятельность. Ср. также чрезвычайно важную работу, где проблема сакрализации монарха в России рассмотрена в социокультурном аспекте (с некоторыми издержками системного подхода к подвижному историческому материалу): Успенский Б. А. Царь и патриарх.

И если передававшийся из уст в уста дивеевскими сестрами и Саровскими иноками рассказ о посещении Сарова инкогнито великим князем Михаилом Павловичем в 1826 году (см.: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. С. 154) справедлив, то вполне вероятно, что под воздействием распространяющихся слухов младшему из Павловичей было высочайше поручено проверить: а вдруг и впрямь теперь царям благословляется исчезать с трона?

Именно в 1831 году начинается духовное общение митрополита Филарета с архимандритом Антонием (Медведевым), будущим настоятелем Троице-Сергиевой лавры, который в 1818 году поступил в Саровский монастырь, с 1820-го, продолжая посещать преподобного, спасался в близлежащем монастыре, а в 1831-м св. Серафим предсказал ему скорое игуменство в Лавре.

363

См.: Рошко В., прот. Преп. Серафим: Сэров и Дивеево.

Именно это слово употреблял Н. Я. Эйдельман, обсуждая возможные варианты развязки «таганрогского сюжета», хотя он и находился под обаянием «Посмертных записок...» Л. Толстого. См.: Эйдельман Н. Я. «Не ему их судить...». С. 381.

365

Шуазель-Гуффье. С. 157.

Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. В 2 ч. СПб., 1846. Кстати, Муравьев был автором едва ли не первого описания Саровской обители: Муравьев А. Н. Саровская пустынь. СПб., 1849.

Кубалов Б. Сибирь и самозванцы // Сибирские огни.
1924. № 3. С. 169.

368

Там же. С. 174.

369

Там же. С. 173.

370

Там же. С. 170.

Ниже цит. по: Василя Г. Император Александр I старец Феодор Кузьмич. С. 89-91, с небольшим дополнением по: Шильдер. Т. 4. С. 447.

Попутно заметим, что нам ничего не известно о пребывании Феодора Козьмича в Красноярске; единственное упоминание о том, содержащееся в книжке некоего К. Г-ва «Сибирский замечательный и загадочный старец Феодор Козьмич, умерший в Томске 20 января 1864 года, и о том, как жили в Сибири русские люди в его время» (СПб., 1905), настолько неправдоподобно, что разбирать его нет смысла. Проще предположить, что или пребывание в Красноярске относится ко времени до 1836 года — или что Сидоров что-то напутал.

См.: Г[олембиевский] А. Феодор Козьмич // Русский биографический словарь. Т. 25. СПб., 1913. С. 304.

Икону же, перебираясь впоследствии из села Зерцалы на новое место, он перенес в часовню и после молебна велел крестьянам хранить ее и вензель пуще глаза.

Когда именно это произошло — судить трудно. Сама Александра Никифоровна называла конец 1857 года; однако лаврский духовник схимонах Парфении из Ближних пещер отдал Богу душу в Великую пятницу 1855 года и уже с зимы никого не принимал. Так что либо она посетила его до конца 1854 года, когда старец — хотя бы изредка — продолжал принимать; либо благословение ей дал старец Афанасий, а впоследствии произошел сбой в памяти. Об о. схимонахе Парфении см.: Сказание о жизни и подвигах Старца Киево-Печерския лавры иеросхимонаха Парфения. Киев, 1856

376

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра Первого. С. 473.

377

О них, быть может, излишне строго, зато подробно пишет о. Георгий Флоровский.

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. С. 418.

379

О Данииле см.: Кудряшов К. В. Александр I и тайна Федора Козмича.

380

Обе версии приведены в кн.: Василии Г. Император Александр I старец Феодор Кузьмич. С. 125.

381

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. С. 415.

382

Словарь исторический о святых... 2-е изд. СПб., 1862. С. 245.

Вяземский П. А. Сочинения. В 2 т. / Изд. подг.
М. И. Гиллельсон. М., 1982. Т. 1. С. 360.

См.: Ф.-Ц. Лагарп в России (Из его Записок).
[Реферат П. И. Бартенева] //Русский Архив. 1866. Т. 1. С.
18.

Французская элегия XVIII-XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры / Изд. подг. В. Э. Вацуро. М., 1989. С. 443-444.

Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. С. 89.

«Кто из нас может отрицать, что мы употребили во зло доверенность к нам войска, что мы увлекли за собою людей простых, не чтити законную присягу, ими принятую так недавно?... Необходимость близкая, неотвратимая заставила отказаться от нравственного убеждения в пользу действия, к которому общество готовилось столько лет» // Оболенский Е. П. Воспоминание о Кондратии Федоровиче Рылееве // Мемуары декабристов: Северное общество/Изд. подг. В. А. Федоров. М., 1981.

388

См: Каменская М. Воспоминания. М., 1991.